

СОЦИОС

Журнал основан
в июне 1974 года

Содержание

XXIII ХАРЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

- 3 О мировой и отечественной теоретической социологии (круглый стол)
16 АДАМЬЯНЦ Т.З. Социальные смыслы как предмет социологического анализа

ДЕМОГРАФИЯ. МИГРАЦИЯ

- 26 СУЩИЙ С.Я. Русские на Южном Кавказе: факторы динамики в постсоветский период и геодемографические перспективы
42 САКЕВИЧ В.И., ДЕНИСОВ Б.П., НИКИТИНА С.Ю. Прерывания беременности в России по данным официальной статистики

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

- 54 ИБРАГИМОВА З.Ф., ФРАНЦ М.В. Динамический анализ неравенства достижений и возможностей в российском школьном образовании
64 ЗИНЬКИНА Ю.В., ШУЛЬГИН С.Г., НОВИКОВ К.Е., КОРОТАЕВ А.В. Универсальные эффекты влияния формального образования на ценностные установки в кроссрегиональной перспективе
71 ОСИПОВ А.М., МАТВЕЕВ В.В., МАТВЕЕВА Н.А., ВОРОНЦОВА Т.И. Школьные администраторы: агенты и жертвы бумажного прессинга

ВОЕННАЯ СОЦИОЛОГИЯ

- 80 МАЛЕШЕВИЧ С. Конец войне? Социологический анализ основных подходов к изучению войны

ИСТОРИЯ СОЦИОЛОГИИ

- 94 ШМЕРЛИНА И.А. А.С. Лаппо-Данилевский и методологические вопросы изучения истории отечественной социальной мысли
105 КОНОНОВ И.Ф. Проект марксистской социологии Николая Бухарина

ДИСКУССИЯ. ПОЛЕМИКА

- 117 БАЛАЦКИЙ Е.В., ЕКИМОВА Н.А. Рынок университетов мирового класса: пересмотр геополитических и национальных стереотипов
-

ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. ЗАМЕТКИ

- 132 СМЕРНОВ Р.Г. О показателях социальной мобильности аспирантов
137 АЛИЯРОВ Е.К., ЖАНГУЖЕКОВА Д.Ж., НУРОВ М. М. Оккультизм в сознании горожан Казахстана

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

- 143 ОСИНСКИЙ И.И. Народонаселение Сибири Дальнего Востока: проблемы сбережения и развития
147 ВАН ЦИ, РУБАНЛ. С. О XVIII российско-китайском экспертном форуме
149 МАРКИН В.В., ХАРЧЕНКО К.В. Социология регионального управления vs социология в региональном управлении

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД НОВОЙ КНИГОЙ

- 151 КАРАСЕВ Д.Ю. Реляционно-цивилизационный подход Й. Арнасона и глобальное измерение советского модерна
157 **КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ** (рецензируются книги: *Jemielniak D. Thick Big Data: Doing Digital Social Sciences. Oxford: Oxford Univ. Press, 2020. Рец. Н.Н. Мещерякова; Ваньке А.В., Полухина Е.В., Стрельникова А.В. Как собрать данные в полевом качественном исследовании. М.: ВШЭ, 2020. Рец. С.Ю. Демиденко*)

ЮБИЛЕЙ

- 165 Антонову А.И. – 85 лет

ЖУРНАЛЬНЫЙ ГИД

IN MEMORIAM

- 173 Памяти В.И. Чупрова
174 Памяти А.О. Лапшина

1991: A LOOK AT EVENTS 30 YEARS LATER

- 175 MIRONOV B.N. The Formation of National Elites as a Factor in the Disintegration of the USSR
189 YAKOVENKO A.V. USSR as a Mirror of an Unrealized Humanistic Perspective

SOCIAL POLICIES. SOCIAL STRUCTURE

- 198 ANDREEV A.L., ANDREEV I.A. Russia-2021: Experiencing the Present and Looking into the Future
208 KUZNETSOV I.M. Foundations of Russians' Value Consolidation: Traditionalism and Renewal

ECONOMIC SOCIOLOGY

- 217 SHABANOVA M.A. Separate Waste Collection as Russians' Voluntary Practice: The Dynamics, Factors and Potential

XXIII KHARCHEV READINGS

- 231 Theoretical Sociology Abroad and in Russia Today: The Round Table

DEMOGRAPHY. MIGRATION

- 242 SUSHCHIY S. Ya. Russians in the South Caucasus: Factors of Dynamics in the Post-Soviet Period and Geodemographic Prospects
257 SAKEVICH V.I., DENISOV B.P., NIKITINA S. Yu. Pregnancy Terminations in Russia According to Official Statistics

MILITARY SOCIOLOGY

- 267 MALEŠEVIĆ S. The End of Warfare?

DISCUSSION. POLEMICS

- 278 BALATSKY E.V., EKIMOVA N.A. World-Class University Market: Rethinking Geopolitical and National Stereotypes

291 CONTENTS

**НОВЫЕ КНИГИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ НАУКАМ (2-Я СТР. ОБЛ.)
В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ (4-Я СТР. ОБЛ.)**

© 2021 г.

О МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ (круглый стол)

Участники: ГОФМАН Александр Бенционович – доктор социологических наук, профессор НИУ «Высшая школа экономики»; главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (a-gofman@yandex.ru); ЗАЛУНИН Владимир Иванович – кандидат философских наук, профессор Государственного академического университета гуманитарных наук (zaluninv@mail.ru); КИРДИНА-ЧЭНДЛЕР Светлана Георгиевна – доктор социологических наук, Институт экономики РАН (kirdina@bk.ru); КОЗЛОВСКИЙ Владимир Вячеславович – доктор философских наук, профессор, директор Социологического института, филиала ФНИСЦ РАН, Санкт-Петербург (v.kozlovskiy@socinst.ru); НИКОЛАЕВА Ульяна Геннадьевна – главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, доктор экономических наук (ynikolaeva@list.ru); ОВСЯННИКОВ Анатолий Александрович – доктор экономических наук, профессор МГИМО-Университета МИД РФ (ibda@ibda.ranepa.ru); ПОКРОВСКИЙ Никита Евгеньевич – доктор социологических наук, заведующий кафедрой общей социологии, профессор НИУ «Высшая школа экономики»; главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (pokrovsky@hse.ru); РОМАНОВСКИЙ Николай Валентинович – доктор исторических наук, профессор, зам. гл. редактора журнала «Социологические исследования»; главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (romanival@yandex.ru); ТИТАРЕНКО Лариса Григорьевна – доктор социологических наук, профессор Белорусского государственного университета, Минск, Республика Беларусь (larisa166@mail.ru); ТОЩЕНКО Жан Терентьевич – член-корреспондент РАН, председатель Редакционного совета журнала «Социологические исследования»; научный руководитель социологического факультета РГГУ (zhantosch@mail.ru); ШИЛОВА Валентина Александровна – кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (vshilova@yandex.ru); ЩЕРБИНА Вячеслав Вячеславович – доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (sherbina.vyacheslav@mail.ru). Все, особо не обозначенные, – Москва, Россия.

Аннотация. 2 июня 2021 г. Научный совет Отделения общественных наук РАН «Новые идеи и явления в социологии и социальной практике», Институт социологии ФНИСЦ РАН, РОО «Сообщество профессиональных социологов» с участием журналов «Социологические исследования» и «Социологический журнал» провели в дистанционном формате круглый стол «Траектории эволюции мировой и отечественной теоретической социологии». На обсуждение были вынесены вопросы: 1) какие принципиальные изменения происходят в мировой теоретической социологии и как складываются траектории социологии марксистской, позитивистской, публичной, постмодернистской, глобальной и др.; 2) какие процессы характеризуют современную российскую теоретическую социологию; 3) преподавание теоретической социологии в университетах мира и в России как показатель общего тренда развития социологии. Вели круглый стол член-корреспондент РАН Ж.Т. Тощенко и профессор Н.Е. Покровский.

Ключевые слова: теоретическая социология • парадигмы социологии • траектории эволюции социологии • глобальная социология • российская социология • преподавание социологии

DOI: 10.31857/S013216250016494-6

1. Какие принципиальные изменения происходят в мировой теоретической социологии.

Обсуждение вынесенных на круглый стол вопросов начал **Ж.Т. Тощенко**. Среди принципиальных изменений в мировой и российской теоретической социологии на первое место он поставил рост популярности конструктивистской парадигмы, социологического реализма (общество – человек) и социологического номинализма (человек – общество). Конструктивизм преодолевает крайности реалистов и номиналистов, пытается соединить анализ объективных условий и субъективных факторов, макро-, мезо- и микромира, активной деятельностью природы человека.

Ж. Тощенко выделил из наиболее действенных теоретических концепций социологии концепцию *глобализации*. Она содержит много верных суждений и выводов, однако имеет ограничения: а) глобализация нередко приобретает характер «американизации» или «вестернизации», объявляя стандарты развития в американском и/или западноевропейском обществе единственно приемлемыми всеми без исключения; б) требования глобализации распространяют на духовную жизнь, сферы культуры и образования, что противоречит национальным, региональным, анклавным особенностям; в) отвергается значение и необходимость защиты национальной культуры как якобы покушение на демократию, свободу и права человека, обязательные для всех. Эти позиции – источник противостояния политике Запада во многих странах, которые выбрали путь самостоятельного развития.

В ряд современных теоретических концепций выступающий поставил далее концепцию *устойчивого развития*, рекомендуемую как перспективу человеческой цивилизации на базе соблюдения некоего баланса между решением социальных, экономических проблем и сохранением природной среды, когда «удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Формулировка «устойчивое развитие» широко используется в научной литературе. Не отрицая ее позитивную сторону, докладчик выдвинул ряд соображений: а) смысл «устойчивого развития» при переводе на русский язык формулы *sustainable development* передан неточно; б) позитивные качества этой концепции абсолютизируются; в) сегодня 53 государства мира, по данным Всемирного банка, переживают стагнацию и рецессию, что позволяет говорить о такой модальности развития, как общество травмы; г) это понятие нередко примитивизируется: устойчивое развитие города, села, региона невозможно в стране без устойчивого развития.

Концепции *модернизации, инновационного развития, цифровизации и др.* отражают важные, но отдельные стороны развития общества. Издержками таких концепций в России стали: а) отсутствие комплексности, увязки, согласованности, заложенных в основанные на них программы и планы развития; б) отказ государственной бюрократии выполнять решения о внедрении стратегического планирования; в) игнорирование социальной и гуманитарной составляющей.

Увлечение *постмодернизмом* (и постпостмодернизмом) не дало результатов, более того, породило ситуацию неопределенности, произвольного толкования сущности явлений и смысла процессов. В определенной степени такой подход приемлем в искусстве и литературе; в науке он неприменим из-за требования иметь хотя бы относительный консенсус, особенно если речь идет о потребностях практики.

Русским обществом и российской наукой ряд концепций отвергнуты – конец истории, транзитология, исчезновение классов, конец идеологии – или потребовали коренного пересмотра – нация-государство, общество потребления. В отечественной социологии появились идеи, обладающие эвристическим потенциалом в теоретическом осмыслении меняющейся действительности. В рамках мир-системного анализа актуальны взаимоотношения «Север-Юг», в рамках системного подхода – гуманистический поворот в социологии, в рамках конструктивизма – проблемы глокализации, кардинальные изменения в культуре, функционирование общества травмы, появление новых классов и социальных общностей, рост конфликтности на почве национальных и конфессиональных отношений, приграничья.

Н.Е. Покровский предложил свое видение «ландшафта» мировой социологии, выдвинув гипотезу/предположение, что 2000-е гг. ознаменовались распространением варианта так называемой «левой» социологии как доминанты смены социально-научной парадигмы в целом.

Глобализация сделала реальными слом границ между странами и регионами, интенсивное движение капитала по миру, трудовую миграцию, инфокоммуникационную прозрачность прежде изолированных анклавов. При этом главенствующее значение приобрел процесс корпоративизации социальных институтов и подчинение их рыночной логике выгодоизвлечения. Основным инструментом корпоративизации стал менеджериализм, направленный на удержание власти корпораций. «Революция менеджеров», о которой давно говорили социологи, стала всеобщим фактом. Указанный процесс охватил экономические институты общества, сферы политики, культуры, в том числе и университеты, в которых как раз представлена современная социологическая наука.

Социология в ее научном варианте становится несколько неудобной и невостребованной в силу своей независимости, критичности, объективности. Она не совпадает с менеджериализмом по многим идейным основаниям. Между ними возникло противоречие и даже противостояние. В США, в еще сравнительно недавно цитадели социологии, социология, в каком-то смысле, перешла на периферию интересов университетского менеджмента и даже студенческих масс.

Возникает ситуация своего рода конфронтации между корпусом социальных наук и прессингом менеджериализма. Притом именно по социологии наносится основной удар, ибо эта наука по своей природе «расколдовывает мир» (Макс Вебер) и вскрывает смысл и содержание современной ситуации, расстановку сил и игру общественных интересов – от нее мало что скрыто в современном обществе, а это и опасно, и неудобно, и вообще, как считают многие, «лучше без социологии». На выбор менеджериализм предложил социологии два варианта ухода с арены: либо мимикрировать в прикладные и инструментальные дисциплины, либо трансформироваться в безграничное и чисто фантазийное конструирование социальной реальности с ее субкультурной замкнутостью и групповой идентичностью.

Таковы были предложенные условия договора о самоликвидации социологии. И этот договор по принципу воленс-ноленс стал реализовываться в обоих вариантах. Но далеко не все социологи, включая американские университеты, согласились с таким положением дел. Возникли и созрели гроздь гнева против корпоративистского вмешательства в дела науки, поставившего социологию на грань выживания. Средство противостояния этому давлению было обнаружено в марксизме с его основополагающим тезисом о миссии общественной науки преобразовывать мир, не только его изучая, но, главным образом, институционально переделывая. Вследствие этого в 2000-е гг. развернулся процесс политизации социологии, отстаивавшей свое право на существование через противостояние корпоративному миру.

Сложилась ситуация масштабного скрыто-открытого социального конфликта в поле науки. Марксизм и «левый поворот» постепенно стали мейнстримом американских и западноевропейских социологов. Быть немарксистом, быть чистой воды «научником», «позитивистом» в духе Мертона и Парсонса стало неприличным и даже небезопасным, ибо это грозило быть непонятым, стигматизированным и даже исторгнутым из сообщества.

Состояние открытого противоборства повлекло за собой смену парадигмы, смену языка. Возникла теория так называемой «глобальной социологии», которая ставит во главу угла политизированную повестку дня, посаженную на такие концепты, как «пост-колониализм», «неравенство», «глобальный Север», «глобальный Юг», «доминирование западной социологии», «доминирование английского языка» и многое другое. Если суммировать, то с известной долей условности можно констатировать, что социология перешла (переходит?) в формат мягкого политического движения под знаменем марксизма. Конкретно это проявляется в том числе в провозглашении всех региональных («индигенных»)

социологий, вне зависимости от их научного вклада в общий корпус социологического знания, рядоположенными социологии, развиваемой в ведущих университетах «глобального Севера». Борьба за социальную справедливость стала повсеместным лейтмотивом социологического дискурса, а партисипаторные качественные методы (со)участия в общественных движениях возобладали над всеми другими. Этот тренд получил широкое распространение и институализированное оформление, он отличается радикальной политической ангажированностью, а научность, объективность, рациональность исследований уводятся на второй план. На этом тренде первым сфокусировал свое внимание Петр Штомпка (Sztompka P. Ten Theses on the Status of Sociology in an Unequal World // Global Dialogue. 2011. Vol. 2. No. 2. Его поддержал Н.Е. Покровский: Pokrovsky N. 'Patient Denied Hospitalization', or 'In Defence of Sociology' // Global Dialogue. 2011. Vol. 2. No. 2).

Разумеется, социология была и остается разнообразной. В данном случае речь идет о доминирующем тренде, о *мейнстриме*, что и стало предметом нашего обсуждения. Как пример Н.Е. Покровский привел повестки дня пленарных заседаний Всемирного социологического конгресса в Торонто (2019), программы и повестки Европейских социологических конгрессов, программы учебных курсов по общей и теоретической социологии в западных университетах, журнальные публикации, трактующие «левую» социологию как не требующую ни объяснений, ни доказательств. Она носится в воздухе университетов, она в значительной мере вошла в моду со всеми вытекающими последствиями.

Анализ программ по теоретической и общей социологии ряда университетов с выборкой по континентам и регионам мира показал, что лидирующие позиции «левая» социология занимает, как ни странно, в США и Европе, тогда как университеты развивающихся стран тяготеют к классической традиции. Казалось бы, в развивающихся странах должны в первую очередь поднимать знамя борьбы за освобождение социологии от засилья глобального Севера. Но этого не происходит. Глобальная социология со своей апелляцией к униженным и оскорбленным в остальном мире, как представляется, используется не столько для защиты интересов самих униженных и оскорбленных на глубоком Юге, сколько как средство противостояния корпоративизации университетов на Севере. Мы видим своего рода мобилизацию внешних сил Юга для решения внутренних проблем Севера. В этом нет признаков некоего мирового заговора одних против других. Это динамическая композиция современных процессов в сфере социологии.

В итоге, можно утверждать, что общее состояние поля социологии в современном мире таково: оно густо засеяно левыми политизированными идеями, отодвигающими на второй план собственно научные основания и мотивации социологических исследований. Во главу угла ставятся задачи борьбы за справедливость во всем мире. Важно подчеркнуть: именно *борьбы*, что весьма характерно для современной социологии глобализированного мира.

А.Б. Гофман свое понимание ситуации выстроил вокруг «внутренних» и «внешних» факторов развития современной социологической теории, известных как дилемма теоретико-методологических позиций «интернализма» и «экстернализма». Согласно первой, развитие науки определяется главным образом *внутренней логикой научного познания*, факторами, коренящимися внутри процесса познания. Согласно другой точке зрения, детерминанты развития науки находятся *вне ее самой*, являются «внешними» по отношению к ней, будь то политическая власть, политические и моральные движения, религия, экономика, психологические особенности и ценностные ориентации творцов науки и т.д.

В действительности речь идет о псевдодилемме. Очевидно, имеют место комбинации и взаимодействия факторов «внутренних» и «внешних». Соответственно, изучение развития науки состоит в исследованиях этих комбинаций и взаимодействий, а не в редукции одной группы к другой, в отрицании или недооценке одной из них.

В социологической теории, точнее, социальной метафизике, часто выдающей себя за эту теорию, в последние десятилетия мы наблюдаем тенденцию *существенного преобладания «экстернализма» над «интернализмом»*, как осознанное, преднамеренное, так и неосознанное,

непреднамеренное, как явное, так и неявное. На стороне «экстернализма» очевидный перевес, если иметь в виду модные, популярные направления и тенденции. Значение, приписываемое не только «внешним» факторам, усиливается, а «внутренним» – уменьшается. «Внешнее» в данном случае относится и к социологии как дисциплине, в том смысле, что возрастает роль несоциологических научных моделей и объяснений, и к социологии как науке вообще: все большее значение в ее развитии придается разного рода вненаучным факторам. В первом случае речь идет о проникновении в социологию понятий и подходов из таких дисциплин, как постмодернистская философия, лингвистика, литературная критика, политическая философия и т.п.; во втором – искусство, беллетристика, политический активизм и т.д. Во втором случае мы наблюдаем редукцию внутринаучных аспектов социологического знания к разного рода социальным, политическим и прочим детерминантам, таким как власть, сила и т.п.; часто этот редукционизм воспроизводит те идеи, которые когда-то назывались «вульгарным социологизмом».

В последние годы социология, вероятно, больше, чем другие социальные и гуманитарные науки, оказывалась под мощным воздействием таких движений, как постмодернизм, феминизм, постколониализм, ЛГБТ-движение, БЛМ, «новая этика», «культура отмены», экологизм, антикапитализм, антилиберализм, антиглобализм и т.п. Часто эти движения интегрируются со старыми, более или менее радикальными движениями левого и правого толка.

Хорошо это или плохо для социологического знания, постижения социальной реальности, наконец, «улучшения» этой последней? Мне ближе вариант ответа «плохо»: в основе отмеченной тенденции лежит обесценивание научного знания как такового и социологического в частности. Это обесценивание носит программный характер в работах ряда современных теоретиков. Мы наблюдаем постоянные и далеко не всегда справедливые обвинения науки, и социологии в частности, во многих прегрешениях, констатации ее несостоятельности, ее теперешнего или предстоящего «конца» и т.п. Отсюда постоянное обращение к иным формам знания и дисциплинам: искусству, публицистике, литературной критике и т.д., что порождает огромное количество всякого рода бессмыслиц, пустословия, банальности, откровенного бреда: все это научному сообществу и широкой публике выдается за новейшие творческие достижения. Нередко за социологическую теорию выдаются социальная метафизика, политическая и моральная философия. Не хочу сказать, что эти области знания менее важны, чем социология, но выдавать их за социологию вредно для всех.

Мы часто утверждаем, что разрыв между теоретической и эмпирической социологией препятствует плодотворному развитию социологического знания. Но, учитывая, в каком печальном состоянии находится теоретическая социология, отмеченный разрыв, на мой взгляд, можно рассматривать скорее как *благо* для этого развития: слишком часто теория в ее нынешнем виде в лучшем случае бесполезна.

Л.Г. Титаренко отметила, что на «глобальном» уровне социологические подходы и доминирующие парадигмы второй половины XX в. не пользуются широкой поддержкой даже в странах социологического мейнстрима, где они когда-то возникли. Это верно в отношении структурного функционализма, интегралистских теорий, созданных в 1980-е гг. Отказ от этих макротеорий повлиял на снижение престижа социологии в мире; упал ее статус как важной социальной науки, способной дать обоснованный социальный прогноз, снизился интерес к социологии как профессии. Одновременно растет интерес к социальным движениям – на когнитивном и деятельностном уровнях. Социальный активизм вытесняет академические подходы во многих странах мира. Важной чертой современной социологии стало снижение интереса к универсальным макротеориям, отказ от поиска законов функционирования и развития общества. Социология распадается на специальные направления, которые за пределами социологии стали модой, например в американской социологии – движение BLM. Политической модой в социологии объясняется ставшая популярной тематика гражданства, национальных меньшинств, миграции. Современные теоретики работают

в рамках частных проблем, отдельных социальных институтов, получают в этих областях результаты (например, в экономической социологии, культуральной социологии), но из этих работ не складывается картина глобальной социологии.

Нет общего подхода в разработке новых социологических направлений и теорий. Некоторые новации (социобиология, нейросоциология) многими, особенно западными, авторами оцениваются как натурализация социологии, угроза потери ею своей дисциплинарности, как позитивистский в целом тренд в ее развитии. Неоднозначно оценивается междисциплинарность: одни социологи ее приветствуют, другие рассматривают как «растворение» социологии в смежных дисциплинах.

Что касается национальных социологий в странах, не относящихся к Западу (т.е. глобальному Северу), имеет место их рост, но эти социологии не объединены даже в региональные кластеры, способствуя фрагментации социологии в мире. Разделительные линии глобальной социологии углубляются по линиям Восток–Запад, Север–Юг. Постколониальная социология рефлексивна фрагментарность современного социума и отход от моделей глобализации, так популярных в конце прошлого века.

Нельзя не отметить, что, в отличие от структурно-функциональных теорий, неомарксизм по крайней мере заметен и поныне. Активно работают критические западные авторы (третье поколение Франкфуртской школы, другие критики капитализма левого толка). Они ищут новые пути противостояния капитализму, большинство – вне связей с аутентичным марксизмом. Это объяснимо, так как никто не рассматривает в настоящую эпоху пролетариат как драйвер радикальных реформ и изменений капитализма. Поэтому другие западные теоретики высказывают мнения (известные со времен Д. Белла), что нынешние «марксисты» – это постмарксисты, которые сохранили только критику капитализма, но не ключевые идеи Маркса.

Н.В. Романовский поддержал мысль, что наиболее общую характеристику ситуации с мировой социологией передает термин *кризис*. О нем пишут на Западе в применении к социологии, к социальной науке и теории в целом, к университетам, к журналистике, к сферам общественной жизни.

Ситуация кризиса говорит о том, что ждет социологию впереди – новый этап ее истории, научная революция – в терминах Т. Куна. Переломные эпохи в обществе сопровождаются глубокими сдвигами в научной – в нашем случае социальной и социологической – теории как каркасе науки. Социологию ждет именно это.

В.В. Щербина выразил согласие с теми, кто говорил о том, что: а) социология (в первую очередь западная) сегодня действительно переживает кризис; б) этот кризис связан с фактической утратой представлений о социальной реальности. Именно это, по его мнению, лишило социологию статуса полноценной социальной науки, изучающей объективные социальные процессы, протекающие в разнотипных социальных общностях.

Он выразил убежденность в продуктивности для социологии только тех объяснительных схем, которые Мертон (в отличие от так называемых общих теорий) именовал теориями среднего уровня, а отечественные социологи (Тощенко, Бабосов и др.) именовали специальными или частными социологическими теориями. Такие теории: а) всегда привязаны к определенному типу социальных общностей (целевых, территориальных и др.); б) формируются на основе обобщения итогов эмпирических исследований и наблюдений этих социальных образований; в) используют представления об устойчивых зависимостях, фиксируемых в привязке к некоей заданной ситуации; г) убедительно объясняют логику протекающих процессов; д) позволяют прогнозировать логику протекания социальных процессов; е) создают возможность применения положений социологии в социальной практике. По его мнению, развитие социологической теории – длительный и поэтапный процесс, который строится не на отбрасывании прошлых теоретических схем. При этом ориентация социологической теории на задачи социальной практики (если таковая действительно сохранилась) ставит перед социологами вопрос о поиске объективных критериев позитивности осуществляемых социальных изменений. Таким критерием сегодня

остается вопрос о том, как содержание, объем и темпы социальных изменений влияют на способность социальных образований выживать и оказываться конкурентоспособными в динамичной внешней среде. Попытки найти выход из этих противоречий без помощи социальной науки обречены на неудачу.

2. О теоретической социологии в России сегодня ряд важных положений сформулировал Ж.Т. Тощенко во вступительном слове. 1. В 2000-е гг. в нашей социологии растет число исследований и публикаций прикладного характера, но меньше стало попыток теоретизировать на основе получаемых исследователями данных. В рамках экономической, политической социологии, социологии культуры, молодежи и т.п. разрабатывались предметные теоретические положения в применении к объектам исследования, но они имели ограниченный диапазон, осмысляли одну сферу деятельности и жизни людей; общие теоретические вопросы анализировались мимоходом или частично. 2. Теоретическую мысль во многом питают эмпирические исследования, давая обобщающие выводы для теоретического осмысления состояния общества и перспектив его развития. У нас огромные массивы данных изучены пока в самом первом приближении, в основном лежат на малообеспеченном хранении. 3. Перспективы есть: наша теоретическая мысль в социологии должна сосредоточиться на вопросах, которые вышли на первое место практически во всех странах мира, на тех, которые волнуют и беспокоят людей и от которых зависят стабильность и успешное прогрессивное развитие: социальная справедливость, социально-экономическое и социально-политическое равенство, социальное согласие и взаимопонимание. Подобные идеи коренятся в исторических культурных контекстах России, в свое время они вошли в мировую социологию в форме (возникших параллельно модернизации по Парсонсу–Мертону) амитологии, альтруизма П.А. Сорокина. Для отечественной современности такая ориентация знаменательна, полагает Ж.Т. Тощенко: по данным ряда исследований, справедливость выходит на первый план как насущная потребность россиян, залог их соответствующего отношения к изменениям в обществе, (не)желания доверять общественным институтам. Ряд исследователей, исходя из того, что стремление к справедливости приобрело устойчивый характер, предлагают сделать его идеологическим ориентиром новой России.

В.В. Козловский заострил внимание на «догоняющей модели» развития современной российской социологии. Наше общество из постсоветской фазы трансформации по модели догоняющей модернизации перешло в стадию проектирования новой конфигурации социально-экономических основ, социальной стратификации, культурного пространства. Современное мироустройство свидетельствует о новой цивилизационной динамике мира, включая российское общество. Мир стремительно меняется (климат, новые технологии, виртуализация, милитаризация, эпидемии и т.д.). Российское общество не исключение. Все это требует адекватного своевременного ответа, на что сегодня социальные науки малоспособны.

Правда, в российской социологии возникали авторские концепции (социология жизни, концепция служебно-домашней цивилизации и др.), но их эвристический потенциал еще не раскрыт. Довлеет и тот факт, что российская социология долгое время осваивала достижения западной социальной теоретической мысли, когда переводились и публиковались труды зарубежных ученых, использовались их методологические и теоретические ресурсы. Импорт зарубежных социологических теорий укладывался в традицию доминировавшего в советский период марксизма и аргументировался в постсоветское время достоинствами мультипарадигмальности, опытом методологии эмпирических исследований. Своеобразие российской общества ускользало в таких конструкциях и находило слабое концептуальное отражение.

Широкая сеть эмпирических исследований российского общества разной тематики в государственных и частных научных центрах обеспечила приток обширных массивов данных, отражающих социально-структурные перемены, динамику общественного мнения, особенности регионального развития, изменения в повседневной жизни и т.д. Но заметно

отставание в теоретических концептуализациях этих данных, в понимании тенденций перемен и формировании современной общественной фигурации в России. Одна из перспектив развития социологии современной России состоит в социологически ориентированном цивилизационном анализе развития российского общества в мировом контексте¹.

Цивилизационное развитие² современного российского общества в социологических штудиях остается на периферии интересов, поскольку считается, что это смещает фокус в сторону внесоциологических дисциплинарных траекторий. В крайнем случае, можно поместить эту тематику в рамки междисциплинарных исследований. В зарубежной литературе цивилизационный подход разворачивается в нескольких направлениях (Арносон, Эйзенштадт и др.). Можно упрекнуть сторонников продвижения цивилизационного анализа в российской социологии в следовании зарубежной традиции. Однако разработка и применение цивилизационного подхода в социологии означает создание собственного концептуального аппарата фиксации, обозначения, объяснения, интерпретации большого массива о сопряженных социальной структуры и культуры, институтов и агентных структур (индивидов, групп, сообществ), разных капиталов в изменчивом социокультурном пространстве российских территорий. Оптика этого подхода может поспособствовать российской социологии в осмыслении разворачивающихся в стране перемен.

С.Г. Кирдина-Чэндлер осветила две грани понимания процессов в отечественной теоретической социологии. Первая связана с эффектами глобализации: любая национальная социология не может не быть глобальной, не учитывать роль связей национального и глобального, регионального и глобального, вплоть до индивидуального и глобального в анализе социальных процессов. Явная эта связь или неявная, она имеет место и пронизывает национальную социальную ткань. Глобальная обусловленность порождает ряд эффектов, связанных с адаптацией национальных социологий, включая российскую, к глобальному миру. 1. Имеет место «положительная адаптация», содействующая развитию социологии: овладение новыми, продвинутыми и строгими, по сравнению с российскими, стандартами организации и проведения социологических исследований, более глубокая научная рефлексия национальных и общемировых тенденций в ходе сопоставлений. 2. Стремление стать частью мировой (часто понимаемой как западная) социологии подталкивает исследователей к изучению тем, которые такой социологии интересны, поскольку включение в мировую социологию означает и публикацию в зарубежных журналах.

В современных условиях противостоения России со стороны западных стран это означает интерес к исследованиям наших ученых, которые вписываются в концепцию западных представлений о России. Темы, вскрываемые в рамках таких представлений о российских проблемах: nepoтизм, недоверие населения к власти, национальные конфликты и т.п., – будут с большей вероятностью приняты к публикации. Анализ цитируемых статей российских авторов на английском языке подтверждает интерес к проблематике подобного рода. Исследования, где рассматриваются механизмы развития самого российского общества, менее интересны. Следствием глобализации в данном случае становится деформация исследовательского поля в пользу исследований, укрепляющих отрицательный имидж России в глазах мировых акторов, в том числе научных. «Негативная адаптация» поддерживается, как ни парадоксально, введенной в России оценкой научного труда: публикации в журналах, индексируемых в международных базах, где доминируют западные подходы. Таким путем «догнать и перегнать» западную социологию нам вряд ли удастся. В этих условиях глобальной контекстности перспективной видится активизация нашей деятельности по взаимодействию со странами мира за пределами западного мейнстрима, что характерно для внешнеполитической повестки нашей страны. Почему бы

¹ На это обратил внимание в недавно опубликованной журналом СоцИс статье чешский социолог И. Шубрт (см.: № 1, 2021).

² С ним связана важная в нашей дискуссии концепция множественных модернов.

социологам не следовать этому пути? Здесь мы можем найти баланс между «позитивной» и «негативной» адаптацией, способствуя развитию российской социологии.

Вторая тема, связанная с первой, возможно, более важна в практическом плане, – маркировка и представление результатов наших исследований, написание социологических текстов. То, как мы представляем наши тексты, на каком языке, каким словарем – не менее значимо, чем содержание. Цифровая реальность усиливает значение этой работы. Культура социальных сетей, в частности, показывает роль того, КАК артикулировано то или иное высказывание, насколько ярко, убедительно и кратко. И здесь надо учитывать глобальный контекст, поскольку мы все чаще пишем и по-английски если не статьи, то аннотации к ним.

В.А. Шилова считает важным не отрывать проблематику нашей теоретической социологии от развития российского общества, от его социальных недугов, которые отразились на отечественной социологии и будут влиять на ее развитие. У современных управленческих государственных элит, подчеркнула она, отсутствует запрос на теоретическое фундаментальное социологическое знание по многим причинам, ключевая из которых – привычка использовать социологию как «обслуживающую» практику легитимации власти и принимаемых решений. Отсюда недофинансирование фундаментальных исследований.

Кризис российского общества 1990-х гг. нанес огромный урон отечественной социологии. Произошел сбой в воспроизводстве кадров, нет научной когорты, которая бы сменяла уходящее поколение теоретиков пятидесятников-шестидесятников. Нарушены механизмы преемственности научного знания, особенно теоретического, развития научных школ. Научная работа становится фрагментарной, теряя канву смыслов. Негативный эффект нанесла реформа Российской академии наук, университетов: в погоне за публикационной активностью теряются истинные принципы научной работы.

Н.В. Романовский отметил, что российские социологи в своей большей части не поддались на посулы авантюристов от публичной социологии, постмодернизма, серии модных течений. Но равенство на «модерн» по парсоновской «Системе современных обществ» в соросовском изложении остается. Признание на Западе их краха осталось без последствий. Недооцениваются влияния признанных теоретиков социологии Бека, Бурдьё, Гидденса, Кастельса и т.д., о чем говорил выше Покровский, которые опирались на марксизм; не интериоризированы достижения феноменологической социологии; не поняты позиции постколониальной социологии и т.д.

Ряд наших социологов-теоретиков выступали – начиная с советского времени и выступают сейчас – с идеями, сопоставимыми с тем, чем живет сегодня условная глобальная социология. Мы лишь не осуществляем нужный в науке маркетинг прорывных идей, – эти технологии следует осваивать. Плохо обстоит дело с предельной бедностью эмпирической базы исследований на фоне огромных массивов собранной нашими флагманами социологии в лице ВЦИОМа, ФОМа, Левада-Центра, институтов РАН, охватывающих страну региональных социологических центров, коммерческих центров информации. Она собрана, но проанализирована лишь в первом приближении. Теоретического осмысливания таких баз данных незаметно.

Ситуация неоднозначна, но представляется преодолимой. Российским социологам целесообразно видеть перспективу перемен в социологии, в ее теоретических основах, равняться на нее. Здесь главное – убеждать общество в том, что наука не только обеспечит страну технологиями, но и станет путеводителем в будущее для общества.

Для России важны социологическая теория, ее вызовы и решения, поиск путей в будущее. Предложения, затрагивающие общие и частные аспекты этих поисков, известны. Такая ситуация не только обещает новое, но и обязывает его приближать. Реализация сырьевых, промышленных и инфраструктурных проектов, сопровождающие их перемены на пространствах Востока России настоятельно требуют анализа сопутствующих цивилизационных, социальных, культурных преобразований и проблем. Общие контуры предстоящих поисков уже сейчас предвидит социология. Такие работы социологов, как труд Н.И. Лапина о модернизации России и ее регионов, неизбежно лягут в основу социально-культурного обеспечения «поворота на Восток» и «социального поворота» в стране.

По плечу ли эта задача современной российской социологии? Не вижу причин не ответить на этот вопрос положительно. Следует «лишь» не ждать ответов от некоей «передовой» социальной мысли «цивилизованного» мира. Там социальная мысль в кризисе. И мы в особом положении лишь постольку, поскольку не делаем практических шагов к выходу из незавидной ситуации. Мы опоздали с признанием этого факта и соответствующими действиями. А они возможны при определенных усилиях ныне действующих поколений российских социологов.

Л.Г. Титаренко отметила в своем выступлении тот факт, что в зарубежной западной социологии бытует в последнее время русофобия. Многие годы после распада СССР ряд социологов в Украине, Молдове, Беларуси пытались развивать схему постколониализма как ведущую для своих социологий (получая гранты с Запада). Куда это привело, теперь известно. А что это добавило в теоретическом плане? Ничего. И в российской социологии у некоторых авторов было желание рассматривать постсоветскую российскую социологию как постколониальную. Надо разобраться – чьей социологической колонией была советская социология? Вероятно, те, кто полагает, что все достойное внимания в советской и российской социологии создано под влиянием Запада, считают советскую социологию производной от западной, интеллектуально зависимой от нее. Трудно с этим согласиться. Одни авторы, в советское время не согласные с такой оценкой, сейчас ее открыто высказывают, тем самым перечеркивая советское социологическое наследие как «пережиток» интеллектуального колониализма. Может быть, есть смысл российским теоретикам переосмыслить и свое наследие, и пути развития России, чтобы найти альтернативу, которая пусть и не признана глобальной социологией как «мировое достояние», но станет вполне функциональной для интерпретации и объяснения российской цивилизации?

По поводу постколониальной социологии **Н.В. Романовский** отметил, что стремление некоторых отечественных социологов связывать СССР с империализмом и колониализмом для него неожиданно. Зарубежные сторонники этой теории, труды которых попадали в поле внимания и на страницы журнала «Социологические исследования», рассматривают колониализм как порождение капитализма и империализма. Эксплуатация, насильственная экспроприация, рабство и расизм неприменимы к реалиям истории России, тем более СССР. Влиятельный в «левой», неомарксистской постколониальной социологии Дж. Го (J. Go), ряд статей которого опубликованы в «Социсе» (см. № 6, 2021; № 4, 2019), настоятельно проводит идеи пересмотра прежних представлений о модерне, глобализации, базовых чертах наиболее влиятельных социологических теорий. Скорее всего, то, о чем говорила Л.Г. Титаренко, результат действий в рамках гибридной войны (реализуемой через каналы Сороса и университеты Турции с их планами расширения тюркоязычного мира).

3. Преподавание теоретической социологии как показатель общего тренда развития социологии отражает ряд трудностей этой сферы нашей науки. **Н.Е. Покровский** отметил, в частности, что в университетах США в 2000-е гг. стали «сливаться и поглощаться» социологические факультеты – формально по причине невостребованности студентами. Чистая социология *per se* растворяется и теряет самостоятельность. Она не слишком интересует ни менеджмент университетов, ни массы студентов. Таков, на его взгляд, социальный фон современной социологии США, Западной Европы и отчасти России.

Группа коллег Н.Е. Покровского проанализировала программы по социологии ряда университетов с выборкой по континентам и регионам мира. Выяснилось, что лидирующие позиции публичная социология занимает в США и Европе, университеты стран третьего мира тяготеют к классической традиции. Казалось бы, там должны поднять знамя борьбы за освобождение социологии от засилья глобального Севера. Но этого не происходит. Глобальная социология с апелляцией к интересам униженных и оскорбленных в остальном мире используется не столько для защиты интересов униженных и оскорбленных, сколько для противостояния корпоративизации университетов «Севера».

Н.В. Романовский заметил, что с начала 2000-х гг. мы констатируем снижение теоретической подготовки и требований к научной продукции в нашей стране – от научно-учебных

работ до диссертаций. Современная социологическая теория несовместима с компетентно-рыночным подходом. Объем ее в учебных курсах минимален. В реальной обстановке профессорам и преподавателям следует убеждать общество, наших студентов в том, что наука не только обеспечит страну технологиями, ресурсами и т.п., но и станет путеводителем в будущее для ее общества. Мы можем формировать общественное мнение, убеждая наши аудитории в важности социальной теории. Стране, пытающейся динамично идти вперед, к чему стремится в последние годы Россия, не пристало делать это без опоры, в частности, на передовую социальную науку (науку об обществе), которую следует должным образом организовать и ориентировать.

В.И. Залунин привел в своем выступлении две иллюстрации теоретизирования в учебном процессе. Первая касается определения предмета социологии. На занятии приводятся определения (1–3) предмета социологии: 1) общество в его субъектном измерении, социальная жизнь людей, социальные отношения – как отношения между субъектами по поводу воспроизводства их самих и условий их жизни с точки зрения положения, статуса, равенства, справедливости, солидарности; 2) формы совместной жизни и деятельности людей, социальные явления и процессы с точки зрения их места и роли в интеграции (солидарности) и дезинтеграции общества как целостной системы; 3) общие формы и принципы социальных взаимодействий в их конкретном проявлении на основе широкого привлечения эмпирических данных.

Затем, обобщив их, приводится авторское (подводя студентов к его (не)приятию) определение предмета социологии: 4) наука о закономерностях становления, развития и взаимодействия социальных систем (от личности до общества в целом) в их объективном и субъективном измерении, методах исследования и технологиях оптимизации и управления ими. Предложенное (небесспорное) видение предмета социологии позволяет предложить новые подходы к структурированию социологического знания.

У.Г. Николаева обратила внимание на существенное усложнение в современной социологии представлений о социально-исторической динамике общества, на необходимость отражения новых подходов в работе со студентами. Линейные схемы уступают место многофакторным моделям социальной эволюции, по-новому концептуализируется проблема неравномерности развития, социальной и экономической отсталости, подчеркивается значение не только прогрессивных, но и дисфункциональных факторов, противоречивого сочетания новейших тенденций и «архаических» пластов социоисторической памяти.

Прошлое не аннигилируется историей, а переходит в своего рода историческое «бессознательное», перемещается в некий «депозитарий», откуда время от времени, по определенной социальной логике, извлекается и имплантируется в актуально-настоящее. Мы имеем дело с турбулентной динамикой социокультурных и экономических систем, когда прошлое присутствует в виде не только отдельных традиций и ритуалов, но целых социальных комплексов, что осознается не всегда даже специалистами. Это подводит к теме архаики и ее присутствия, функционирования, развития в наши дни. Многовековая архаика заявляет о себе здесь и сейчас.

Понятия «архаика», «архаизмы», «архаизация» первоначально использовались в искусствоведении и обозначали использование устаревших художественных элементов, форм языка, мотивов. Лишь в последнее время (в том числе благодаря усилиям докладчика) эти понятия стали применяться для характеристики возвратно-регрессивных тенденций в развитии обществ. Однако неожиданная популярность термина «архаизация» обернулась выходом за рамки научного использования, появлением массы обыденных смыслов. «Архаикой» стали называть и коррупцию, и увлечение магией, и страх перед вакцинацией в условиях пандемии, и отрицание науки, и празднование советских праздников и др. Эти разноплановые явления и процессы иллюстрируют различную «ретро-удаленность» и возвратно-поступательные тренды общественного развития, создающие сложную картину социума. Необходимы научная концептуализация, теоретическое осмысление этих феноменов, связанных, как представляется, в первую очередь с реанимацией «домодерных» (дориночных, докапиталистических) социально-экономических отношений,

социокультурных институтов и способов миропонимания. При этом «премодерность» исторически и типологически предельно разнообразна, поэтому объединение дорыночных (домодерных) обществ под единой шапкой понятия «традиционные общества» представляется малопродуктивным (о чем писали Л. Морган, К. Маркс, Б. Малиновский, К. Поланьи, Ю.И. Семенов и многие другие обществоведы, историки, антропологи). Наиболее глубокий научный анализ ранней истории человечества (включая процесс антропосоциогенеза) и дорыночных обществ представлен в работах крупнейшего российского историка Ю.И. Семенова, на которые необходимо опираться при анализе современных процессов архаизации общества.

«Архаизация» в современном обществе, как представляется, обнаруживается в следующих формах: реанимация докапиталистических социально-экономических отношений (рэкет, рейдерство, внеэкономическое принуждение, коррупция, блат, nepотизм, бюрократизация, элементы неополитаризма и др.); распространение «силовых» практик социального взаимодействия и решения социальных конфликтов, расширение зоны внеправового регулирования, снижение значения формального и расширение влияния «неформального» права; «корпоративизация» общества, снижение социальной мобильности, возникновение элементов полуфеодальной сословности; возрождение дорациональных форм общественного сознания, десциентизация и ремифологизация культуры. Объяснение «архаических» явлений должно опираться на фундамент исторической социологии, экономической антропологии, теорий дорыночной экономики, мир-системного анализа, концепций «периферийного» капитализма, теорий «множественной» модернизации.

Социально-исторический анализ сквозь увеличительное стекло указанных выше подходов позволяет формировать у студентов значительно более глубокое и многогранное видение социальной реальности, в которой ультрасовременные формы жизни (цифровизация, технологизация, роботизация, виртуализация) соседствуют и вступают в симбиозы, в гибридные соединения с давно пройденными, досовременными, архаичными социальными моделями.

А.А. Овсянников резко поставил вопрос в своем выступлении о важности наполнения преподавания социологии российскими социальными практиками и проблемами. В российских учебниках социологии отечественная практика занимает не более 7–8% объема. Учебники для российских университетов, а России в них нет; они могут концентрироваться на пересказах западной социологии, не имеющей отношения к российским практикам. Мы, как и в СССР времен истмата, попали в когнитивную петлю: теоретическая социология без эмпирии стала бессмыслицей, а эмпирическая социология без внятной теоретической рефлексии стала слепой спекулятивной деятельностью. Интерпретация зарубежных социологических теорий в определенной мере оправдана и правильна. Но есть пределы. Эти пределы определяются научной критикой, которая в нашей социологии, похоже, отсутствует вовсе. В итоге российский студент охотно говорит о проблемах Техаса или о положении арабов во Франции, американском солдате и польском эмигранте, современной аномии и «сложном обществе» на примере американского чернокожего мира. Но ничего путного не скажет о положении дел в Бурятии или на Алтае, о российской армии. И еще: отечественная социология не должна игнорировать русофобию, насаждаемую западным истэблшментом везде, где возможно.

*Стенограмму круглого стола подготовила В.А. Шилова;
текст статьи – Н.В. Романовский.*

THEORETICAL SOCIOLOGY ABROAD AND IN RUSSIA TODAY: A 'Round Table'

Participants: Aleksandr B. GOFMAN, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., National Research University Higher School of Economics; Institute of Sociology FCTAS RAS (a-gofman@yandex.ru); Svetlana G. KIRDINA-CHANDLER, Dr. Sci. (Sociol.), Institute of Economics RAS (kirdina@bk.ru); Vladimir V. KOZLOVSKIY, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Director, RAS Sociological Institute, FCTAS RAS branch, St.-Petersburg, Russia (v.kozlovskiy@socinst.ru); Ul'yana G. NIKOLAEVA, Dr. Sci. (Econom.), Prof., Institute of Sociology FCTAS RAS (ynikolaeva@list.ru); Anatoliy A. OVSIANNIKOV, Dr. Sci. (Econom.), Prof., MGIMO University (ibda@ibda.ranepa.ru); Nikita E. POKROVSKIY, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Scientific Research University Higher School of Economics; Institute of Sociology FCTAS RAS (npokrovsky@hse.ru); Nikolay V. ROMANOVSKIY, Dr. Sci. (Hist.), Prof., Institute of Sociology FCTAS RAS; 'Sociological Studies' journal (romanival@yandex.ru); Larisa G. TITARENKO, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Belarus' State University, Minsk, Republic of Belarus (larisa166@mail.ru); Zhan T. TOSHCHENKO, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Corresponding member RAS, Chairman of Editorial Board, 'Sociological Studies' Journal (zhantosch@mail.ru); Vyacheslav V. SHCHERBINA, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Institute of Sociology FCTAS RAS (sherbina.vyacheslav@mail.ru); Valentina A. SHILOVA, Cand. Sci. (Sociol.), Institute of Sociology FCTAS RAS (vshilova@yandex.ru); Vladimir I. ZALUNIN, Cand. Sci. (Philos.), Prof., Public Academic University for Humanities (zaluninv@mail.ru). All not otherwise indicated – Moscow, Russia.

Abstract. A 'Round Table' "Trajectories of Global and Russian Theoretical Sociology Evolution" has been held on June 2, 2021 under auspices of the Academic Council of the Social Sciences Section, Russian Academy of Sciences, Institute of Sociology, Federal Center for Theoretical and Applied Sociology, RAS, Russian Society "Community of Professional Sociologists" with participation of the journals "Sociological Studies" and "Sociological Journal" in remote format. Following topics have been suggested for discussion. 1. Which principal changes are underway in the global and Russian theoretical sociology? How do fare Marxist, positivist, public, postmodern, global etc. sociologies? 2. Which processes are characteristic for Russian sociology today? 3. Teaching of theoretical sociology in the universities of the world and in Russia as an indicator of overall trends. The 'Round Table' has been chaired by RAS corresponding member Zhan T. Tochshenko and Professor Nikita E. Pokrovskiy. The materials of the 'Round Table' are published above.

Keywords: trajectories of theoretical sociology evolution, global sociology, Russian sociology, changes in sociology, theoretical sociology, teaching of sociology.

*Compiled by V.A. Shilova, Institute of Sociology FCTAS RAS;
text of the paper composed by N.V. Romanovskiy, "Sociological Studies" journal.*

Т.З. АДАМЬЯНЦ

СОЦИАЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ КАК ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

АДАМЬЯНЦ Тамара Завеновна – доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия (tamara-adamiants@yandex.ru).

Аннотация. При изучении смыслов социального действия целесообразно расширить предмет анализа на область социальной коммуникации с использованием данных о смыслах социокультурной среды, влияющих на социально значимые процессы и события. Концепт «смысл социокультурной среды» рассматривается в статье как константная многоуровневая виртуальная структура (конструкт) взаимоподчиненных коммуникативно-познавательных программ, ориентированных на интенциональность коммуникатора (направленность сознания на предмет, «равнодействующая мотивов и целей»). Представлены ключевые характеристики и особенности анализа таких смыслов: принципы мотивационно-целевой организации их латентных структур; понимание смысла как ментальное освоение мотивационно-целевой структуры; социоментальные группы, различающиеся навыками понимания смысловых доминант. Мониторинг особенностей влияния смыслов социокультурной среды на социально значимые грани «картин мира» разных групп людей, в том числе групп социоментальных, расширит возможности понимания и прогнозирования вектора и тенденций развития социально значимых процессов.

Ключевые слова: смысл • конструирование смыслов • интенция • интенциональность • семиосоциопсихология • мотивационно-целевая структура • понимание • социоментальные группы • социокультурная среда • «картины мира»

DOI: 10.31857/S013216250015252-0

Термин «смысл» получил широкое распространение в научном и обыденном дискурсах, что обусловлено возрастающей потребностью в выявлении и понимании глубинных, сущностных признаков непростой современной реальности. Концепт смысла изучается разными дисциплинами и направлениями социально-гуманитарного знания. Онтологический анализ смысла проводится в поле философии, категория значений лежит в основе логической семантики, знаки как способ «проявления» смыслов изучает семиотика, личность как носителя смысловой реальности исследует психология, взаимосвязь между социально значимыми процессами и иницирующими эти процессы смыслами (*социальными смыслами*) анализирует социология.

Внимание к смыслу как к уникальному феномену, определяющему возможность и развитие социальных связей и взаимодействий в социуме, – очень давняя традиция, начинающаяся с учения Платона об *эйдосах* (априорных идеях как подлинной сущности, существующей вне материального мира и лежащей в основе любой вещи). Среди философов и социологов XIX–XX вв., анализировавших проблематику смысла и значения, упомяну В. Дильтея [1996], Э. Гуссерля [1994], М. Вебера [1990], А. Шюца [2004], Н. Лумана [2004], П. Рикера [2008], Дж. Александера [2013], а также российских исследователей: Т.М. Дридзе [1984], А.Н. Леонтьева [1975], Д.А. Леонтьева [2019], Ж.Т. Тощенко [2017]. Обращение социальной науки к концепту «смысл» закономерно: выявление прямых, линейных закономерностей и соответствий дает либо краткосрочное, сиюминутное знание, либо и вовсе оказывается малоинформативным, в то время как включение в предмет анализа сферы смыслов позволяет проследивать многофакторные зависимости и взаимозависимости, влияющие на тенденции и вектор развития социально значимых процессов.

В современной социальной науке смыслы понимаются расширительно. Это, во-первых, смыслы социального действия и, во-вторых, реализованные коммуникативными средствами смыслы и значения, как традиционные, так и вновь созданные (авторские), которыми обмениваются люди в процессе общения и взаимодействия в рамках социокультурной среды. И те и другие являются *социальными смыслами*, поскольку они влияют (могут влиять) на социально значимые процессы. Концепт «социальный смысл» автор рассматривает как свойственное только социуму виртуально-ментальное многоуровневое образование, имеющее свойства как атрибуции (константности), так и модуса (модификации), в зависимости от ситуаций общения, взаимодействия и самоопределения людей.

Смыслы социального действия в социологическом поиске. Если не вставать на позиции теологов, рассуждающих о Божественном смысле, Промысле Божиим, Откровении и т.д., то следует признать, что носителями смыслов являются *люди* как мыслящие существа с их ценностными ориентациями, идеалами, представлениями, настроениями, желаниями, намерениями и т.д. – осознанными или рефлекслируемыми, в целом – личностными смыслами, или «картинами мира» (представлениями об окружающем мире и своем месте в нем), в которых всегда можно найти мотивационно-целевую доминанту. Придание смысла возможно только в процессе мышления. Смысл вне мышления невозможен.

Традиция исследований социальных смыслов базируется на размышлениях М. Вебера об особенностях концепта «смысл» в социологическом поиске: «Слово “смысл” имеет здесь два значения. Он может быть: а) смыслом, действительно субъективно предполагаемым действующим лицом в данной исторической ситуации, или приближенным, средним смыслом, субъективно предполагаемым действующими лицами в определенном числе ситуаций; б) теоретически конструированным чистым смыслом, субъективно *предполагаемым гипотетическим действующим лицом или действующими лицами* в данной ситуации» [Вебер, 1990: 603]. Разработки М. Вебера о смыслах социального действия продолжились в социальной науке поиском оптимальных способов интерпретирования полученных данных. Примером тому является теория социальных систем Н. Лумана, который считал возможности толкований смысла «неравновероятными», иными словами, зависящими от выбора интерпретатора среди возможных вариантов [Луман, 2004]. Вслед за Луманом П. Рикер также характеризует смысл как «множество неравновероятных возможностей». Для исследовательских задач настоящей статьи это значимые наблюдения; к проблеме «неравновероятности» при толковании смыслов социального действия мы еще вернемся.

При изучении смыслов социального действия современная социологическая наука опирается на подход, согласно которому исследуются экзистенциально-личностные характеристики, типичные для социума в целом и/или для отдельных социальных групп. Предметом изучения оказываются «смыслы жизненного мира» [Тощенко, Великий, 2018]; «смыслы жизни» [Возьмитель, 2019], «смысловая саморегуляция» [Зубок и др., 2021]; «смысловые отклонения» [Сорокин, 2020] и т.д. Поиски социальной науки в сфере смыслов продолжились поиском факторов, условий и характеристик, оказывающих прямое или опосредованное влияние на социальные представления, ценности людей. Закономерным оказалось обращение к феномену социальной коммуникации и/или к механизмам коммуникационных взаимодействий.

Концепции, в центре внимания которых оказались взаимовлияния между социальной коммуникацией и смыслом социального действия, можно дифференцировать по преимущественной сфере внимания. Это, во-первых, научные теории, посвященные особенностям восприятия, а также механизмам и способам влияния на аудиторию посредством коммуникационных средств; во-вторых, это теоретические и методические разработки о феномене смысла в сфере коммуникации. Любую из таких концепций независимо от сферы ее применения можно рассматривать как отдельный вклад в копилку знания механизмов и катализаторов социальных процессов.

Вот уже несколько десятилетий и за рубежом, и в нашей стране явные приоритеты в представлениях о феномене смысла и его понимания имеют современные герменевтические

концепции, развивавшиеся в 1950–1970-е гг. под эгидой идеи постмодернизма [Gadamer, 1976]. Согласно этим концепциям, *нет и не может быть единого смысла в рамках целостных произведений*; есть только смыслы и значения в рамках слов, фраз, дискурсов, которые могут и должны быть индивидуальными, личностными. Есть также выводы, догадки, предположения, идеи, которые могут совпадать, а могут и не совпадать с мотивацией автора, которая сама по себе предметом внимания не является. В результате, как следствие обозначенных идей, в научном и общественном дискурсах широко распространились заявления о множественности смыслов и даже, в порядке метафоры, о «смерти автора», поскольку смысл меняется с каждым новым прочтением и никак не зависит от мотивации и коммуникативного намерения автора. Аналогичными оказались понимание смыслов среди представителей континентальной философии, или «постструктуралистов»: [Барт, 1994; Деррида, 2007; Фуко, 1994] и их последователей, сосредоточивших сферу анализа на словах и фразах, что повлекло за собой появление нового термина – «лингвистический поворот». Противоположная позиция по отношению к феномену смысла представлена в отечественной семиосоциопсихологической концепции социальной коммуникации [Дридзе, 1984; 2000а], которая декларирует константность смысловых доминант в рамках целостных, завершенных коммуникативных актов (произведений, материалов, пропагандистских кампаний и т.д.), причем не только декларирует, но и обладает оригинальным методом выявления искомым смыслов.

Прикладной подтекст обозначенных концептуальных разночтений оборачивается разными представлениями о возможности диалога и взаимопонимания в социуме. Так, следование идее многозначности смыслов и значений (одна сторона разночтений) повлекло за собой не только право на разнობой в трактовке авторской мотивации, но и возможность произвольного интерпретирования значений и смысловых нюансов общепринятых терминов, морально-нравственных норм, законов, правил и т.д., что создает в СМИ благоприятные условия для манипуляции сознанием неискушенных слушателей с помощью терминологических софизмов, путем подмены понятий, использования их в новых, измененных значениях, не тождественных исходным, в отрыве от начального контекста дискуссии, а также посредством незаметной подмены доказываемого или опровергаемого тезиса. Этому способствует многозначность многих слов обычного разговорного языка.

Представление о константности смыслов в рамках целостных, завершенных коммуникативных актов (другая сторона разночтений) утверждает возможность диалога и взаимопонимания на всех уровнях социума: договариваться и взаимодействовать можно только на единой смысловой платформе. Кроме того, возникает возможность релевантного и своевременного выявления пребывающих в конкретных пространственно-временных рамках социокультурной среды смыслов, в том числе для распознавания нечестных полемических уловок, например подмены смысла обсуждаемого тезиса или преднамеренного извращения фактов в целях оказания деструктивного воздействия на сознание собеседника.

Социокультурная среда как «место пребывания» смыслов. Местом «пребывания» смыслов является также социокультурная среда, в которой создается постоянно меняющаяся и расширяющаяся совокупность социокультурных продуктов (различных произведений литературы: художественных, общественно-публицистических и иных, материалов масс-медиа, учебников, справочников, сводов законов, норм, предписаний, правил и т.д.), которой располагает социум и, в зависимости от запросов, уровня подготовки и возможностей, человек в социуме. Традиционно социокультурную среду изучают в ее содержательно-информационной и эмоционально-образной представленности. Однако социокультурная среда – это еще *значения и смыслы*, наличествующие во всех произведениях, материалах, пропагандистских кампаниях и т.д. Главная особенность смыслов социокультурной среды кроется в их двоякой природе: с одной стороны, коммуникационной, поскольку процессы общения и восприятие происходят посредством коммуникационных средств (знаков и их сочетаний), с другой стороны, виртуальной, «проявляющейся» в сознании воспринимающей личности. Даже в простейших случаях использования/

восприятия простых знаков (отдельных слов, кадров, рисунков и т.д.) необходимо либо «связать» в сознании объект с его обозначением, либо отождествить знак с объектом.

Гораздо большая доля виртуальности свойственна процессам создания/восприятия фраз, образов и т.д.: там привычные «простые» значения приобретают способность модифицироваться благодаря контексту или другим художественно-выразительным средствам, приобретая новые качественные характеристики. К тому же в результате внутренних взаимодействий могут возникать абсолютно новые значения и смыслы. Еще большая доля виртуальности присуща смыслам, наличествующим в целостных, завершенных произведениях и/или материалах, а также в пропагандистских кампаниях, их понимание – «высшая математика» для ума: такие смыслы кроются «между» слов, звуков, кадров, фраз, образов и т.д. Их отличает продолжительность виртуальной «жизни», начиная от создания и распространения и заканчивая, в случае актуальности и распространенности, влиянием на социально значимые, а порой даже глобальные процессы [Адамьянц, 2017]. Приведем в качестве иллюстрации наблюдение К. Маркса о «призраке коммунизма» и вспомним о результатах его хождения-блуждения по Европе и миру. Вспомним также о результате влияния на представления населения бывшего СССР смыслов о преимуществах западного образа жизни, созданных посредством технологий «мягкой силы», или о таких «мишенях» современных смысловых атак, как традиционные ценности, представления, нормы и т.д., миллионов людей.

В числе отличительных особенностей большинства константных смыслов социокультурной среды можно назвать также сложность в их распознавании (понимании) вследствие кажущейся случайности, разноплановости и «разнесенности» по времени отдельных деталей и элементов (блоков, дискурсов, символов, терминов и т.д.), создающих в комплексе, тем не менее, главный и единственный коммуникационный посыл; игнорировать факт наличия таких посылов значило бы противоречить фактам реальности.

Способы распространения смыслов социокультурной среды в наше время качественно изменились, причем не только благодаря новым техническим средствам и информационно-коммуникационным технологиям, но и вследствие появления новых и новейших методов их создания. Если еще сравнительно недавно прерогатива создания социальных смыслов принадлежала в основном единоличным авторам, стремившимся, как правило, открыто, доходчиво и с ориентацией на позитивный социальный результат донести свое коммуникативное намерение, то сегодня мы наблюдаем качественно иную ситуацию: над созданием смыслов работают целые коллективы, как обеспокоенные проблемами рейтингов редакции СМИ, так и специализированные многопрофильные учреждения по разработке и созданию латентных смыслов деструктивного влияния.

Возможность оказания целенаправленного смыслового влияния на массового человека фактически не отрицают и современные концепции, посвященные методам создания/конструирования новых многоуровневых смыслов, уровни которых могут быть представлены не только коммуникационными, но и не коммуникационными средствами, например специально организованными событиями, ситуациями. Назовем в качестве примера теорию конструирования смысловой реальности, или, по определению ее авторов, «новых социальных миров» [Pearce, Cronen, 1980]. Фактически речь идет о создании новых смыслов на основе латентных многоуровневых структур. При этом истинное целеполагание не верифицируется, а именуется «тайной», иными словами, скрывается от целевой аудитории [Ионова, 2010].

Смыслы социокультурной среды как многоуровневые структуры (конструкты). Впервые представление о смыслах социокультурной среды как о многоуровневых структурах было представлено в семиосоциопсихологической концепции социальной коммуникации, разработанной российским ученым Т.М. Дридзе [1984; 2000а; 2000б]. Согласно этой концепции, в любом целостном, завершенном коммуникативном акте, реализованном в любой знаковой системе (художественном произведении, материале СМИ, устном выступлении, кинофильме, пропагандистской кампании и т.д.), помимо его очевидного, «овеществленного» состава в виде слов, фраз, звуков, изображений и прочих средств

выражения, наличествует виртуальная иерархически организованная структура взаимоподчиненных и взаимообусловленных коммуникативно-познавательных программ, ориентированных на коммуникативную (авторскую) интенцию, которая и является константным смыслом данного коммуникативного акта.

Понятие «интенция» (от *лат.* *intentio* – намерение, стремление), присутствующее еще в античной философии и в средневековой схоластике, было взято на вооружение в экзистенциальной и феноменологической философии. Э. Гусерль считал, что представление о предмете одновременно является пониманием его, мышлением о нем, приданием ему смысла, потому что предмет раскрывается исключительно благодаря смысловой проекции направленного на него сознания. Категорию интенциональности Гусерль заимствовал у австрийского философа и психолога Ф. Brentano.

Понятие интенции было расширено и уточнено Т.М. Дридзе в концепции коммуникации, в рамках которой интенция понимается как *«равнодействующая мотивов и целей (точнее – искомого результата) деятельности, общения и взаимодействия людей с окружающим их миром»* [Дридзе, 2000а: 16]. Соответственно, термин «интенциональность» здесь обозначает формулировку «равнодействующей мотивов и целей» конкретного коммуникативного акта. Еще одно положение концепции связано с утверждением тождества между интенциональностью и смыслом: оба являются *главным*, что хотел *сказать, передать, выразить* коммуникатор, причем и на уровне осознанных целей, и на уровне не всегда осознаваемых мотивов. Смысл константен, поскольку в рамках произведения уже «овеществился» посредством слов, фраз, дискурсов и особенностей их взаимодействия между собой.

Смыслом любого целостного, завершенного коммуникативного акта, следовательно, является константная интенциональность («равнодействующая мотивов и целей») коммуникатора, представленная на виртуальном плане латентной многоуровневой структурой (конструктом) взаимоподчиненных коммуникативно-познавательных программ. Соответственно, *смыслы социокультурной среды представляют собой константные многоуровневые виртуальные структуры (конструкты) взаимоподчиненных коммуникативно-познавательных программ, ориентированных на интенциональность коммуникатора.*

Как это ни покажется парадоксальным, идея множественности смыслов не отвергается семиосоциопсихологией. Личностных смыслов, складывающихся в результате восприятия авторских материалов и текстов, оказывается столько же, сколько и людей. При этом интенциональность автора может как стать элементом личностной «картины мира», так и не стать ею в силу разных причин и обстоятельств. Не отвергается и утверждение о вариативности смысловых нюансов при восприятии фраз, дискурсов, образов, символов: в большинстве случаев составляющие их элементы не имеют жесткой детерминации; формально это зачастую поточная система «открытых» значений.

К проблеме доказуемости константных смыслов. Метод интенционального (мотивационно-целевого) анализа позволяет «увидеть» латентные многоуровневые структуры в любых произведениях, материалах, пропагандистских кампаниях и тем самым доказательно сформулировать, назвать их латентный смысл. В качестве рабочего инструмента разработана *типовая мотивационно-целевая структура целостных, завершенных коммуникативных актов*, состоящая из следующих взаимосвязанных уровней:

- интенциональность – I уровень (вершина структуры);
- тезисы – II уровень;
- аргументы и контраргументы – III уровень;
- иллюстрации к тезисам и контртезисам, аргументам и контраргументам – IV уровень;
- фоновый материал к любым из вышестоящих уровней – V уровень;
- фоны к фоновым – VI, VII и т.д. уровни (низ структуры).

Все уровни структуры «пронизывает» проблемная ситуация, вызвавшая к жизни коммуникативный акт. И проблемная ситуация, и все уровни структуры ориентированы на авторскую интенциональность, служат целям ее реализации. Жесткая детерминация уровней структуры делает невозможным «выстроить» их как-то иначе и тем самым заявить какую-то иную смысловую доминанту.

Проведенный с использованием мотивационно-целевой структуры анализ позволяет зримо увидеть особенности донесения автором своей интенциональности. Так, смыслы деструктивного влияния в большинстве случаев оказываются жестко ориентированными на скрываемый константный результат, в то время как служащие для их донесения срединные и нижние уровни мотивационно-целевых структур оказываются многозначными из-за произвольных модификаций значений слов, терминов, фактов и т.д. Такую ментальную уловку, к сожалению, замечают далеко не все представители аудитории [Адамьянц, 2016].

Понимание константных смыслов как ментальная процедура. Предмет понимания в семиосоциопсихологической концепции конкретен: понять надо коммуникативную интенцию (то, что коммуникатор хотел *сказать, передать, выразить, что у него «сказалось»*). В этом коренное отличие данной концепции и от чисто семантических подходов к проблеме смысла и понимания, и от постмодернистских представлений о бесконечном пространстве интерпретаций, согласно которым успешность в понимании связывается либо с накоплением новой для воспринимающего субъекта информации (фактологической, практической, содержательной), стимулированием любознательности, либо с появлением новых самостоятельных выводов, умозаключений, предположений относительно воспринимаемого материала, то есть с интерпретированием.

Задачу понимания общего замысла произведения декларирует и *объективная герменевтика*; метод понимания связан здесь с сокращением и отбрасыванием контекстов-ситуаций и, далее, с созданием «единой истории с непротиворечивым смыслом» [Oevermann, 1987]. При таком варианте ментального поиска задача выявления интенциональности автора также не ставится; к тому же, поскольку процедура не операционализирована, не исключены случаи произвольных толкований или невольных ошибок, особенно при встречах с произведениями манипулятивной направленности.

Иное представление о процедуре понимания дается в семиосоциопсихологии: чтобы понять смысл, человеку необходимо выстроить в сознании виртуальную многоуровневую структуру, аналогичную той, что латентно наличествует в воспринятом произведении. Обычно ментальный поиск происходит снизу вверх, по принципу апдукции¹: от деталей, подробностей, художественно-выразительных элементов к иллюстративным уровням, далее – к аргументам, тезисам и, наконец, к интенциональности. Чтобы определить, произошло ли понимание, используется метод интенционального (мотивационно-целевого) анализа, позволяющий не только доказательно «увидеть» многоуровневую структуру анализируемого произведения, но и сопоставить эту структуру с особенностями ее отражения в интерпретациях воспринимающей личности (в ответах на специальные вопросы анкеты) [Дридзе, 1984].

Особенности «освоения» константной мотивационно-целевой структуры представляют собой, по сути, следы незримых ментальных процессов; специфика процедуры аналогична методам прослеживания следов заряженных частиц в физике (принцип камеры Вильсона). На протяжении нескольких десятилетий (столько времени существует опыт таких наблюдений) доля респондентов, «добирающихся» в своих интерпретациях до «верхушки» мотивационно-целевой структуры, то есть до смысла, составляет от 14 до 25–30% [Дридзе, 1984; Адамьянц, 2017]; разброс в цифрах обусловлен различиями в сложности содержания, форме организации материала, степени убедительности автора.

Значительная часть респондентов (30–35%) ограничивается пересказом содержания, нередко используя банальные сентенции; проекция следов их ментальных процессов на константную мотивационно-целевую структуру воспринятого произведения ограничена уровнями аргументов или иллюстраций. Такого рода интерпретации свидетельствуют о **частично адекватном** понимании константного смысла.

¹ Термин, введенный американским логиком и математиком Ч. Пирсом; познавательная процедура, состоящая из выдвижения и опровержения гипотез [Peirce, 1956].

Статус *неадекватных* (по отношению к константному смыслу) получают интерпретации, где обнаруживается как невнимание к содержанию, так и нежелание/неумение хотя бы сколько-нибудь приблизиться к пониманию целей и мотивов автора (также 30–35%); это те случаи, когда проекция следов ментальных процессов на константную мотивационно-целевую структуру показывает нулевой результат. Эмпирически подтвержденный факт разного качества понимания смысла (интенциональности) воспринятых произведений позволил в дополнение к традиционным вариантам дифференциации в социологическом поиске включить еще один вариант – по принадлежности к условным социоментальным группам (употребляются также термины «группа сознания», «группа по уровню коммуникативных навыков»). В исследованиях прикладного плана обычно используется следующая дифференциация: *группа адекватного понимания (восприятия); группа частично адекватного понимания (восприятия); группа неадекватного понимания (восприятия)*.

В серии исследований² были зафиксированы (на уровне тенденций) схожесть реакций и характеристик среди представителей *одной и той же социоментальной группы*, независимо от пола, возраста, рода занятий, уровня образования и прочих особенностей респондентов. Сходными в рамках одних и тех же социоментальных групп оказались, например, такие грани личностных «картин мира», как *представления о желательном и нежелательном; эмоциональное восприятие «мира вокруг»; знание и интерес к основным проблемам страны; частота обращения к материалам СМИ, художественной литературе; проявленный интерес и особенности личностных оценок по отношению к определенным темам, жанрам, авторам, публичным персонам*. Были зафиксированы, также на уровне тенденций, существенные различия в вышеприведенных характеристиках и реакциях у людей с одинаковыми социально-демографическими признаками, проявивших, однако, *разное* качество понимания смысла воспринятых произведений, относящихся, следовательно, к *разным* социоментальным группам [Адамьянц, 2017].

Представляется уместным вспомнить о «неравновероятности» и «многослойности» смыслов социального действия в теориях Н. Лумана и П. Рикера. Обозначенные ими особенности относятся скорее к первичным исследовательским данным, полученным в поиске искомых смыслов, то есть к данным о предпочтениях, ценностях и т.д. Разнобой и разнонаправленность ответов респондентов П. Рикер называет «многоголосием», среди которого необходимо сделать выбор; предлагаемый им метод анализа состоит в «сравнении возможностей и выборе наиболее вероятных сценариев» [Рикер, 2008: 47–48]. Надо ли говорить об относительной релевантности такого метода?

Учет социоментальных особенностей респондентов расширяет возможности анализа смыслов социального действия. Данные о параметрах социоментальных групп в исследуемом массиве (коллективе, группе, социуме) в сочетании с данными о типичных характеристиках представителей этих групп позволяют осуществлять прогнозирование вероятных сценариев развития социально значимых событий, процессов, действий, включая тенденции в особенностях самоорганизации и самоопределения [Адамьянц, 2013].

Выводы. Тенденции и вектор социальных процессов и действий неразрывно связаны с постоянно происходящими влияниями и взаимовлияниями между человеком и социокультурной средой. С одной стороны, ценности, представления и т.д. людей складываются под влиянием социокультурной среды и «живущих» в ней смыслов; с другой – смыслы создаются людьми и для людей, с учетом их ценностей, представлений, эмоций (или в расчете на их изменение).

Для понимания особенностей и тенденций развития социальных процессов и действий необходим постоянно действующий мониторинг «пребывающих» в социокультурной среде социально значимых смыслов, хотя было бы неверно говорить об автономии их

²Проект РФФИ «Задачи и методы социоментального развития современной молодежи» (2015–2017); проект РФФИ «Качественные индикаторы процессов самоорганизации и самоопределения в социуме» (2011–2013) и др.

влияния на «формирование действий и институтов», подобно рассуждениям о влиянии культуры в «сильной программе» Дж. Александера [Александр и др., 2010: 13]. Влияние смыслов социокультурной среды не автономно, поскольку на формирование социально значимых граней «картин мира» людей влияют и нравственно-правовые нормы нашего человеческого общежития, и отблески озарений творческих и научных открытий, и «предания старины глубокой», и религиозные учения, и коллективное бессознательное. Составной частью этого «сплава» оказывается также осознанная рефлексия людей: их цели, мотивы, интенции, представления, надежды, мечты, стремления, опасения и т.д., вызванные к жизни проблемными ситуациями и скорректированные имеющимися в социуме и в личностном арсенале способами, возможностями и/или препятствиями для их решения.

Изучение и анализ непрерывно происходящих процессов создания и распространения, выбора и отбраковки, понимания и интерпретирования смыслов социокультурной среды, вкупе с изучением особенностей их и влияния на «картины мира» разных групп людей, в том числе социоментальных групп, позволит получить углубленное и уточненное понимание социально значимых процессов, действий и взаимодействий. Обозначенные задачи невозможно решить без институционализации теоретических и методических разработок семиосоциопсихологической концепции социальной коммуникации, рожденной в рамках российской академической науки и не имеющей аналогов в мире. А также без включения соответствующих тем в курсы теоретической социологии в российских университетах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Адамьянц Т.З. Концепции понимания в коммуникации: в поисках платформы для взаимопонимания // Общественные науки и современность. 2014. № 4. С. 121–131.
- Адамьянц Т.З. Латентные технологии информационных войн и «двойных стандартов» // Социологические исследования. 2016. № 12. С. 123–127.
- Адамьянц Т.З. Осторожно: смысловые атаки! // Человек. 2015. № 4. С. 77–83.
- Адамьянц Т.З. Социальные смыслы глобальных процессов и перемен: механизмы и катализаторы. М.: ИС РАН, 2017. URL: <http://www.isras.ru/publ.html?id=5020> (дата обращения: 15.02.2021).
- Адамьянц Т.З. Социоментальные индикаторы процессов самоорганизации и самоопределения в учебных коллективах // Социологическая наука и социальная практика. 2013. № 4. С. 48–61.
- Александр Дж., Смит Ф. Сильная программа в культуросоциологии // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 2. С. 11–30.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс; Универс, 1994.
- Вебер М. Основные социологические понятия // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 602–643.
- Возьмитель А.А. Становление и смыслы жизни советской интеллигенции // Судьбы российской интеллигенции: прошлое, настоящее, будущее. М.: РГГУ, 2019. С. 72–79.
- Гуссерль Э. Амстердамские доклады II // Логос. 1994. № 5. С. 7–24.
- Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. с фр. Д. Кралечкина. М.: Академический проект, 2007.
- Дильтей В. Описательная психология. Второе издание. СПб.: Алетейя, 1996.
- Дридзе Т.М. Две новые парадигмы для социального познания и социальной практики // Социальная коммуникация и социальное управление в экوانтропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах. Кн. 1. М.: ИС РАН, 2000а. С. 5–42.
- Дридзе Т.М. От герменевтики к семиосоциопсихологии: от «творческого» толкования текста к пониманию коммуникативной интенции автора // Социальная коммуникация и социальное управление в экوانтропоцентрической и семиосоциопсихологической парадигмах. Кн. 2. М.: ИС РАН, 2000б. С. 115–137.
- Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. М.: Наука, 1984.
- Зубок Ю.А., Чупров В.И., Сорокин О.В. Смысловая саморегуляция жизнедеятельности молодежи: гендерные различия в сфере труда // Женщина в российском обществе. 2021. Специальный выпуск. С. 38–59. DOI: 10.21064/WinRS.2021.0.1.
- Ионова О.Е. Конструирование социальной реальности в теории координированного управления смыслообразованием // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 4(13). С. 130–135.
- Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.

- Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. М.: Смысл, 2019.
- Луман Н. Общество как социальная система. М.: Логос, 2004.
- Рикер П. Модель текста: осмысленное действие как текст // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 1. С. 25–43.
- Сорокин О.В. Смысловые отклонения в молодежной среде: опыт социологического исследования // Знание. Понимание. Умение. 2020. № 4. С. 116–128. DOI: 10.17805/zpu.2020.4.10.
- Тощенко Ж.Т. Смыслы как качественная и сущностная характеристика социологии жизни // Гуманитарий Юга России. 2017. Т. 6. № 5. С. 13–28. DOI: 10.23683/2227-8656.2017.5.1.
- Тощенко Ж.Т., Великий П.П. Основные смыслы жизненного мира сельских жителей России // Мир России. 2018. Т. 27. № 1. С. 7–33. DOI: 10.17323/1811-038X-2018-27-1-7-33.
- Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В.П. Визгина, Н.С. Автономовой. СПб.: А-скад, 1994.
- Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004.
- Gadamer H.-G. *Philosophical Hermeneutics* / Transl. and ed. by D.E. Linge. Berkeley: Univ. of California Press, 1976.
- Oevermann U., Allert T., Konau E., Krambeck J. *Structures of Meaning and Objective Hermeneutics // Modern German Sociology* / Ed. V. Meja, D. Misgeld. New York: Columbia Univ. Press, 1987.
- Pearce W.B., Cronen V.E. *Communication, Action and Meaning: The Creation of Social Realities*. New York: Praeger, 1980.
- Peirce Ch. *Collected Papers*. Vol. 6. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard Univ. Press, 1956.

Статья поступила: 26.02.21. Финальная версия: 21.05.21. Принята к публикации: 26.07.21.

SOCIAL MEANINGS AS A SUBJECT OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS

ADAMYANTS T.Z.

Institute of Sociology of FCTAS RAS, Russia

Tamara Z. ADAMYANTS, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Chief Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia (tamara-adamyants@yandex.ru).

Abstract. The article deals with the expediency to expand the study of the meanings of social action by data on the meanings of the sociocultural environment which affect socially significant processes and events. The topicality of the theme is explained by a widespread practice of designing the meanings of long-term latent action in the current information wars aimed at qualitative changes in the “pictures of the world” (social perceptions) of millions of people. The concept of “the meaning of the sociocultural environment” is seen as a constant multi-level virtual structure (construct) of interconnected communicative-cognitive programs, focused on the intentionality (“equilibrium motives and goals”) of the communicator. Key characteristics and features of the analysis of such meanings are discussed: principles of the motive-target organization of their latent structures; understanding the meaning as a mental understanding of the organization of the motive-target structure; socio-mental groups that differ in their skills to understand intentions of communicator. Monitoring peculiarities of the impact by the meanings of the sociocultural environment on socially significant facets of the “picture of the world” in different groups of people, including sociomental groups, will increase ability to understand and predict vectors and trends of socially significant processes.

Keywords: meaning, intention, intentionality, semio-sociopsychology, motive-targeted structure, understanding, socio-mental groups, socio-cultural environment, views of the world.

REFERENCES

- Adamyants T.Z. (2015) Beware Semantic Attacks! *Chelovek*. No. 4: 77–83. (In Russ.)
- Adamyants T.Z. (2016) Latent Technologies of Information Wars and Double Standards. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 12: 123–127. (In Russ.)
- Adamyants T.Z. (2013) Sociomental Indicators of the Processes of Self-Organization and Self-Determination in Educational Establishments. *Sociologicheskaja Nauka i Social'naja Praktika* [Sociological Science and Social Practice]. No. 4: 48–61. (In Russ.)
- Adamyants T.Z. (2014) The Concept of Understanding in Communication: In Search of a Platform for Mutual Understanding. *Obshchestvenny'e nauki i sovremennost'* [Social Sciences and Contemporary World]. No. 4: 121–131. (In Russ.)

- Adamyants T.Z. (2017) *The Social Meanings of Global Processes and Change: Mechanisms and Catalysts*. Moscow: IS RAN. URL: <http://www.isras.ru/publ.html?id=5020> (accessed 16.02.2021). (In Russ.)
- Alexander J.C., Smith Ph. (2010) Strong Program in Cultural Sociology. *Sotsiologicheskoye obozreniye* [Russian Sociological Review]. Vol. 9. No. 2: 11–30. (In Russ.)
- Bart R. (1994) *Selected Works: Semiotics. Poetics*. Moscow: Progress; Universe. (In Russ.)
- Derrida J. (2007) *Writing and Difference*. Moscow: Akademicheskii proekt. (In Russ.)
- Dilthey W. (1996) *Descriptive Psychology and Historical Understanding*. 2nd ed. St. Petersburg: Aletheia. (In Russ.)
- Dridze T.M. (2000b) From Hermeneutics to Semio-sociopsychology: From “Creative” Interpretation of the Text to Understanding the Author’s Communicative Intention. In: *Social Communication and Social Governance in Ecoanthropocentric and Semio-sociopsychology Paradigms*. Book 2. Moscow: IS RAN: 115–137. (In Russ.)
- Dridze T.M. (1984) *Textual Activity in the Structure of Social Communication*. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Dridze T.M. (2000a) Two New Paradigms for Social cognition and Social Practice. In: *Social Communication and Social Governance in Ecoanthropocentric and Semio-sociopsychology Paradigms*. Book 1. Moscow: IS RAN: 5–42. (In Russ.)
- Foucault M. (1994) *The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences*. St. Petersburg: A-sad. (In Russ.)
- Gadamer H.-G. (1976) *Philosophical Hermeneutics*. Transl. and ed. by D.E. Linge. Berkeley: Univ. of California Press.
- Husserl E. (1994) Amsterdam Reports II. *Logos*. Iss. 5: 7–24. (In Russ.)
- Ionova O.E. (2010) The Construction of Social Reality in the Theory of Coordinated Management of Meaning. *Vestnik MGIMO-Universiteta* [MGIMO Review of International Relations]. No. 4(13): 130–135. (In Russ.)
- Leontiev A.N. (1975) *Activities. Consciousness. Personality*. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Leontiev D.A. (2019) *Psychology of Meaning: Nature, Structure, and Dynamics of Semantic Reality*. Moscow: Smysl. (In Russ.)
- Luhmann N. (2004) *Society as a Social System*. Moscow: Logos. (In Russ.)
- Oevermann U., Allert T., Konau E., Krambeck J. (1987) Structures of Meaning and Objective Hermeneutics. In: Meja V., Misgeld D. (eds) *Modern German Sociology*. New York: Columbia Univ. Press.
- Pearce W.B., Cronen V.E. (1980) *Communication, Action and Meaning: The Creation of Social Realities*. New York: Praeger.
- Peirce Ch. (1956) *Collected Papers*. Vol. 6. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard Univ. Press.
- Ricoeur P. (2008) The Model of the Text: Meaningful Action Considered as a Text. *Sotsiologicheskoye obozreniye* [Russian Sociological Review]. Vol. 7. No. 1: 25–43. (In Russ.)
- Schutz A. (2004) *Favourites: A World Shining Meaning*. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Sorokin O.V. (2020) Deviations in Meaning within Youth Environment: A Sociological Research. *Znanie. Ponimanie. Umenie* [Knowledge. Understanding. Skill]. No. 4: 116–128. DOI: 10.17805/zpu.2020.4.10. (In Russ.)
- Toshchenko G.T. (2017) Sense as a Quality and Essential Characteristic of Sociology of Life. *Gumanitarniy Yuga Rossii* [Humanities of the South of Russia]. Vol. 6. No. 5: 13–28. DOI: 10.23683/2227-8656.2017.5.1. (In Russ.)
- Toshchenko G.T., Velikiy P.P. (2018) The Key Meanings of the Lifeworld of Rural Residents in Russia. *Mir Rossii* [Universe of Russia]. Vol. 27. No. 1: 7–33. DOI: 10.17323/1811-038X-2018-27-1-7-33. (In Russ.)
- Vozmitel A.A. (2019) The Formation and Meanings of the Life of the Soviet Intelligentsia. In: *The fate of the Russian Intelligentsia: The Past, the Present, the Future*. Moscow: RGGU: 72–79. (In Russ.)
- Weber M. (1990) Basic Sociological Concepts. In: Weber M. *Selected Works*. Moscow: Progress: 602–643. (In Russ.)
- Zubok U.A., Chuprov V.I., Sorokin O.V. (2021) Meanings in Self-regulation of Young People’s Life: Gender Differences in the Labor Sphere. *Zhenshchina v rossijskom obshchestve* [Woman in Russian Society]. Special Issue: 38–59. DOI: 10.21064/WinRS.2021.0.1. (In Russ.)

Received: 26.02.21. Final version: 21.05.21. Accepted: 26.07.21.

© 2021 г.

С.Я. СУЩИЙ

РУССКИЕ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: ФАКТОРЫ ДИНАМИКИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД И ГЕОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

СУЩИЙ Сергей Яковлевич – доктор философских наук, главный научный сотрудник, ФИЦ Южный научный центр РАН, Ростов-на-Дону, Россия (SS7707@mail.ru).

Аннотация. Распад СССР резко ускорил процесс депопуляции русского населения Южного Кавказа, которое за 1990–2010-е гг. сократилось с 783 тыс. до 140–148 тыс. чел. Основные демографические потери были связаны с оттоком в Россию. Сокращение численности русских было повсеместным и сопровождалось серьезной деформацией их половозрастной структуры – в настоящее время в ней ощутимо преобладают женщины и люди старших возрастов. Заметная часть поселенческой сети региона (за исключением Абхазии) утратила постоянное русское население. Эпицентрами русского этнического присутствия остаются столицы, а в сельской местности – отдельные поселения, основанные старообрядцами в имперский период. Превращение России в гаранта безопасности региональных государств (Абхазия, Южная Осетия) замедляло темпы убыли русского населения, а конфронтация с РФ (Грузия) их заметно ускоряла. К 2050 г. численность русских в регионе может сократиться до 70–90 тыс. чел. Крупнейшим их средоточием будет оставаться Баку. Однако при сохранении сложившихся трендов через 30–50 лет сопоставимой с бакинской по размеру может стать русская община Абхазии. В середине века данные две группы могут заключать 85–90% русских Южного Кавказа (в 1989 г. – 47%). По мере дальнейшего сокращения старожильческих общин перспективы этнического присутствия русских в регионе будут все более коррелировать с размерами туристического потока и величиной группы россиян – владельцев местной недвижимости. Заметную роль в качестве крупных средоточий наличного русского населения в ряде стран будут играть дислоцированные в регионе российские военные части. В то же время все эти группы уже не будут представлять диаспор – комплексно укорененных этнических сообществ с высоким уровнем внутренней коммуникации и способностью к устойчивому самовоспроизводству.

Ключевые слова: Южный Кавказ • русское население • геодемографическая динамика • форма расселения • половозрастная структура • миграция • ассимиляция

DOI: 10.31857/S013216250015744-1

Постановка исследовательской задачи и обзор исследований. На протяжении 150 лет (середина XIX – XX в.) русские являлись одной из наиболее быстро растущих этнических групп Южного Кавказа (далее ЮК). За 1850–1917 гг. русское население региона выросло с 30 тыс. до 400 тыс. человек, а в 1970 г. достигло 975 тысяч [Кабузан, 1996: 265–266]. Расширение русского этнического присутствия на ЮК являлось одной из основных

составляющих имперского (а затем советского) проекта по комплексной интеграции данного региона в жизнедеятельные циклы Российского государства. Однако и в постсоветский период гео- и социодемографические показатели русских ЮК остаются важным индикатором сохранения государств региона в российском геодемографическом пространстве. Самостоятельный аспект представляет геодемографическая и расселенческая динамика русского населения непризнанных и частично признанных политий ЮК, позволяющая уточнить роль социально-политического фактора в сохранении и воспроизводстве русских общин региона.

Различные аспекты геодемографической, расселенческой и половозрастной динамики русского населения постсоветского пространства находились в центре внимания научного сообщества с начала 1990-х гг. Тем не менее русские ЮК становились объектом исследования достаточно редко, хотя трудности их комплексной адаптации к новым условиям жизнедеятельности были почти максимальными (на это указывают и темпы депопуляции). Среди комплексных исследований русского населения ЮК в 1990-е гг. выделим монографию С.С. Савоскула [2001: 315–343], а также работы Н.М. Лебедевой [1995] и А.С. Юнусова [2001].

В последние 10–15 лет активность исследований на данном научном направлении снизилась еще больше. В литературе практически отсутствуют публикации, посвященные непосредственно геодемографической динамике русского населения региона и отдельных его государств. Некоторые аспекты указанной проблемы затрагиваются в статьях, где обсуждаются общие этнодемографические процессы на современном ЮК [Камахия, 2007; Масаки, 2018; Лашценова, 2006]. Однако очевидно, что эта тема нуждается в более детальном изучении.

В качестве информационной базы геодемографического анализа русских ЮК могут быть использованы данные национальных переписей государств региона, которые, однако, существенным образом различаются по полноте своих этнодемографических разделов (табл.).

Таблица

Переписи населения в странах Южного Кавказа, 1999–2019 гг.

Государство	1999	2001	2002	2003	2005	2009	2011	2014	2015	2019
Азербайджан	*					*				*
Армения		*					*			
Грузия			*					*		
<i>Непризнанные и частично признанные государства</i>										
Абхазия				*			*			
Нагорный Карабах					*				*	
Южная Осетия									*	

Поскольку со времени последних переписей в странах региона прошло уже 5–10 лет¹, для оценки современного демографического потенциала и географии русского населения потребуются проведение аналитических процедур. Значительно более сложной задачей является выполнение геодемографического прогноза. Тем не менее при соблюдении ряда условий возможность для этого существует. Такой расчет должен быть ориентирован на получение наиболее вероятного диапазона. При этом прогноз должен учитывать геодемографические тренды, сложившиеся за 1990–2010-е гг. в динамическую «колею», которая с большой вероятностью сохранится и в будущем. Наличие данных по половозрастной структуре русских общин позволяет с помощью метода передвижки возрастов рассчитать естественную компоненту их предстоящей демографической динамики (такая

¹ В Азербайджане последняя перепись прошла в 2019 г., но ее данные до сих пор не опубликованы, и приходится использовать результаты переписи 2009 г.

информация в полном объеме существует для Армении и Нагорного Карабаха, частично – для Грузии и Южной Осетии).

Динамика русского населения ЮК в постсоветский период. Максимального уровня этнического присутствия в регионе русские достигли в 1970 г. – 973 тыс. чел. К 1989 г. данная цифра сократилась до 783 тысяч. Однако настоящий «исход» русских с ЮК начался после распада СССР. По темпам депопуляции местные русские общины в 1990-е гг. опережали все другие страны ближнего зарубежья, за исключением Таджикистана. Причин столь массового оттока было несколько. Серьезные этнополитические и социально-экономические проблемы, характерные для всего постсоветского пространства, серьезно усугубила межнациональная конфликтность. По сути, все вновь образованные государства ЮК оказались в начале 1990-х гг. вовлеченными в военные противостояния, определившие стремительный рост миграции русских из региона. За 1989–1995 гг. Армению оставило 55% ее русского населения, Азербайджан – 43%, Грузию – около 40% [Савоскул, 2001: 321]. К началу XXI в. численность русских на ЮК сократилась до 250 тыс. чел., почти вернувшись на уровень 1900 г.

Интенсивная депопуляция продолжилась и в 2000–2010-е гг. Основная демографическая убыль по-прежнему была связана с оттоком в Россию. В то же время по мере сокращения численности русских и нарастающей деформации их половозрастной структуры более заметную роль в этих потерях начал играть естественный фактор. К настоящему времени русское население региона сократилось до 140–150 тысяч.

Многие геодемографические тренды были схожими для всех русских общин ЮК в постсоветский период, включая повсеместный и устойчивый характер депопуляции, концентрацию в столицах, постепенный рост среднего возраста и ощутимый гендерный дисбаланс. Однако имела и определенная страновая специфика, создававшая возможности для различных вариантов дальнейшей демографической динамики. Не последнюю роль в повышении данной сценарной вариативности играл характер отношений между государствами региона и Россией. Таким образом, геодемографические перспективы русского населения в каждой из стран ЮК (включая непризнанные/частично признанные) нуждаются в самостоятельном анализе. Поскольку комплексность современной этнодемографической статистики заметно различается по странам региона, логично начать исследование с общины, о состоянии которой имеется наибольший объем информации.

Армения. Даже в советский период Армения выделялась из союзных республик минимальными масштабами присутствия русских – на демографическом пике их численность составляла 70,3 тыс. чел. (1979). К моменту распада СССР (начало 1992 г.) данная цифра сократилась до 41–42 тыс. чел., а в середине 1990-х гг. составила 24–25 тысяч (расчитано по: [Савоскул, 2001: 341]). Перепись 2001 г. зафиксировала в Армении 14,6 тыс. русских. Следовательно, самая значительная часть процесса депопуляции уложилась в первое постсоветское десятилетие и была связана с миграцией – на нее пришлось 96–97% всех демографических потерь (рис. 1).

Темпы убыли различались по формам системы расселения. Число русских Еревана сократилось за 1989–2001 гг. в 3,3 раза, других городов Армении – в 5,7 раза. Значительно большую устойчивость демонстрировали сельские русские, среди которых количественно доминировало старожильческое население, обосновавшееся на ЮК еще в имперский период.

Существенно усилился ощутимый уже в советский период гендерный дисбаланс. В 2001 г. на 100 русских мужчин Армении приходилось 249 женщин, а средний возраст поднялся до 45 лет (у горожан – до 47,6 года). Сочетание этих двух векторов деформации половозрастной структуры привело к резкому увеличению доли возрастных (старше 60 лет) женщин: в 2001 г. они составляли около четверти русских Армении. Значительная их часть имела «титულных» мужей, что и являлось основной причиной, заставившей воздержаться от миграции в 1990-е гг.

К началу 2000-х гг. в Армении оставалась самая адаптированная часть русского населения, не захотевшая (не сумевшая) выехать из страны. Данное обстоятельство определило дальнейшую его геодемографическую динамику. В первом десятилетии XXI в. масштабы

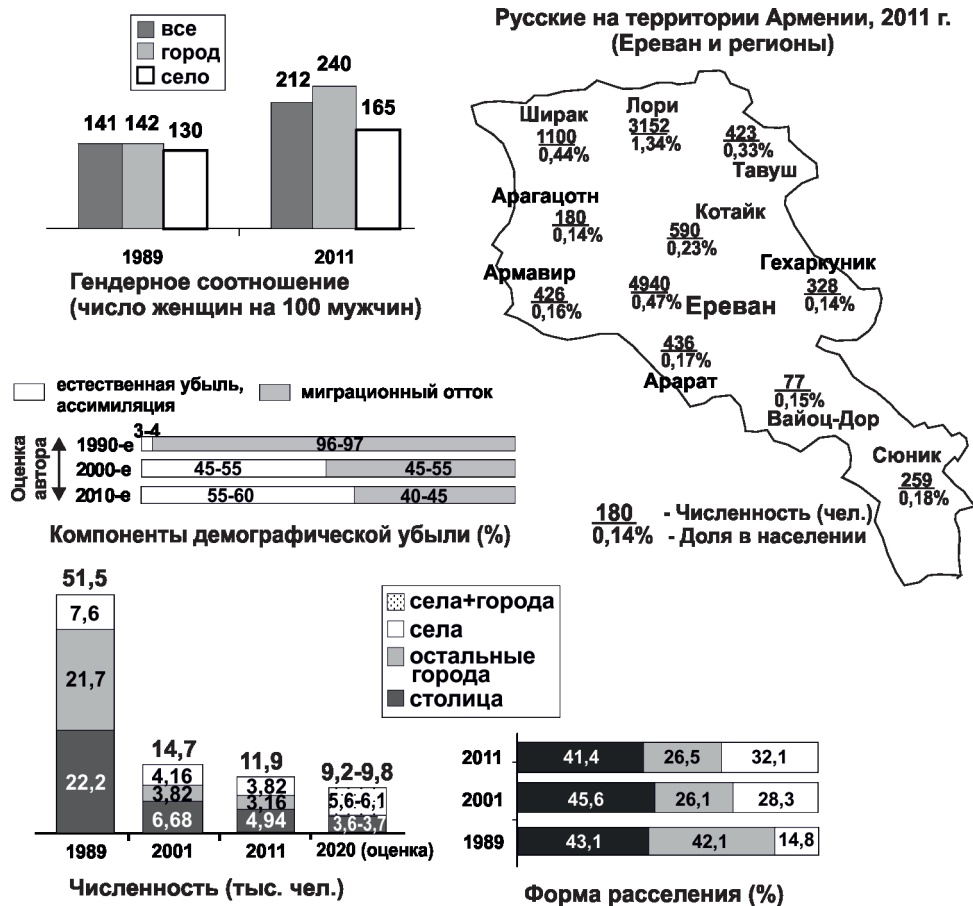


Рис. 1. Русское население Армении

Источники: рис. 1–7 выполнены на основе [Всесоюзная перепись...]; Population Statistics of Eastern Europe and the Former USSR (URL: <http://pop-stat.mashke.org> (дата обращения: 30.05.2021)) и данных национальных переписей.

оттока сокращаются на порядок и все более заметную роль в депопуляции русских начинает играть естественный фактор, взаимосвязанный (через межнациональную брачность) с ассимиляцией смешанного потомства армяно-русских семей.

В 2001–2011 гг. русское население Армении сократилось на 18,8% (до 11,9 тыс. чел.). В отличие от 1990-х гг. это сокращение не было повсеместным. В половине районов страны численность русских несколько возросла или осталась неизменной. Однако демографическая динамика общины в указанный период определялась двумя ее основными средоточиями – русскими Еревана и поселениями Лорийской области (несколько молканских общин, в том числе крупнейшие в селах Лермонтово и Фиолетово). В общей сложности на два эти эпицентра приходилось более 2/3 русских Армении, а с учетом русских г. Гюмри – около 75%.

Сравнение по переписям 2001 и 2011 гг. отдельных возрастных поколений русского населения обнаруживает основную убыль среди людей среднего (30–50 лет) и старшего возрастов (свыше 60 лет). В первом случае основным фактором убыли была миграция, во втором – повышенная смертность (естественный фактор). Согласно расчетам, в 2000-е гг. депопуляция русских в сопоставимой степени формировалась оттоком и естественной убылью.

Существенное повышение роли естественного фактора имело и положительные последствия. Поскольку значительная часть убыли формировалась старыми женщинами, прекратился рост среднего возраста русского населения и несколько снизился гендерный дисбаланс. Тем не менее и в начале 2010-х гг. «возрастные» женщины продолжали по-прежнему оставаться самой значительной группой в половозрастной структуре русской общины страны, что, помимо дисбаланса, вызывало огромный возрастной перекокс между полами (средний возраст русских мужчин Армении составлял 28,2 года, женщин – 51,3). Естественно, подобная диспропорция негативно сказывалась на воспроизводственных показателях русского населения.

Перепись Армении, намеченная на 2020 г., из-за пандемии была перенесена на неопределенный срок, и динамику русского населения в 2010-х гг. можно установить только путем экспертной оценки. Учитывая его половозрастную структуру, наиболее вероятным динамическим сценарием в данный период являлось сохранение сложившегося в 2000-е гг. темпа депопуляции. Некоторое сокращение оттока дополнялось растущей естественной убылью, связанной уже не только с повышенной смертностью «возрастных» русских, но и с падением рождаемости. В репродуктивный возраст начали входить малочисленные генерации конца XX в., и число потенциальных русских «мам» в возрасте 20–39 лет за 2011–2020 гг. даже без учета миграции должно было сократиться на 22% (с 1750 до 1370 чел.). При среднегодовой естественной убыли в 10–11% и некотором оттоке численность русских в Армении в 2010-х гг. могла сократиться на 18–20%. Потери столичной общины, скорее всего, были выше вследствие значительной доли старых людей. К началу 2020-х гг. в стране могло оставаться порядка 9,2–9,8 тыс. русских, в том числе 3,6–3,7 тыс. в Ереване, 2,5–2,6 тыс. в Лорийской области и 0,9–1,0 тыс. в Гюмри. Около 2,2–2,5 тыс. чел. было расселено по остальной Армении.

Дальнейшие геодемографические перспективы русской общины во все большей степени будут определяться естественной динамикой. В 2021–2030 гг. число русских женщин репродуктивного возраста сократится еще на 24% (с 1370 до 1040 чел.). Соответственно, уровень рождаемости продолжит снижаться, в том числе и потому, что некоторая часть русских невест, вступая в брак с представителями титульной нации², начинает «работать» на воспроизводство армянского народа.

Расчет естественной динамики русской общины с помощью метода передвижки возрастов обнаруживает убыль в размере 9–10% за 2020-е гг. и по 14–15% в 2030-е и 2040-е гг. Таким образом, без учета миграции, численность русских может сократиться до 8,6–9 тыс. к 2030 г. и до 6,3–6,7 тыс. к 2050 г. Однако полная остановка оттока – сценарий крайне маловероятный, а сохранение его даже на уровне 3–5% за десятилетие способно сократить указанные цифры на 1–1,5 тыс. чел. При этом средний возраст русских Армении к середине века может вырасти до 51 года (43 года у мужчин и 57,5 года у женщин).

Эпицентрами русской общины продолжат оставаться Ереван, Лорийская область и Гюмри, но соотношение между ними может меняться. К 2050 г. численность русских в столице и Лорийской области с большой вероятностью сравняется вследствие ускоренной убыли «возрастных» русских Еревана. К ним приблизится группа русского населения Гюмри, где размещается российская военная база. Данное обстоятельство делает его центром притяжения для русских со всей Армении. Остальные области страны (за исключением окрестностей Еревана) к середине века могут практически полностью утратить свое немногочисленное русское население.

Русское этническое присутствие в стране будет также связано и с туризмом, значение которого может расти по мере сокращения старожильческого населения. В конце 2010-х гг. страну ежегодно посещало 400–450 тыс. россиян [Сравнительная статистика..., 2020]. Даже

²Повышенный уровень межнациональной брачности определялся, кроме всего прочего, дефицитом русских «женихов» – в группе 20–29-летних на 100 русских женщин приходилось 89 мужчин, в группе 30–39-летних – 71.

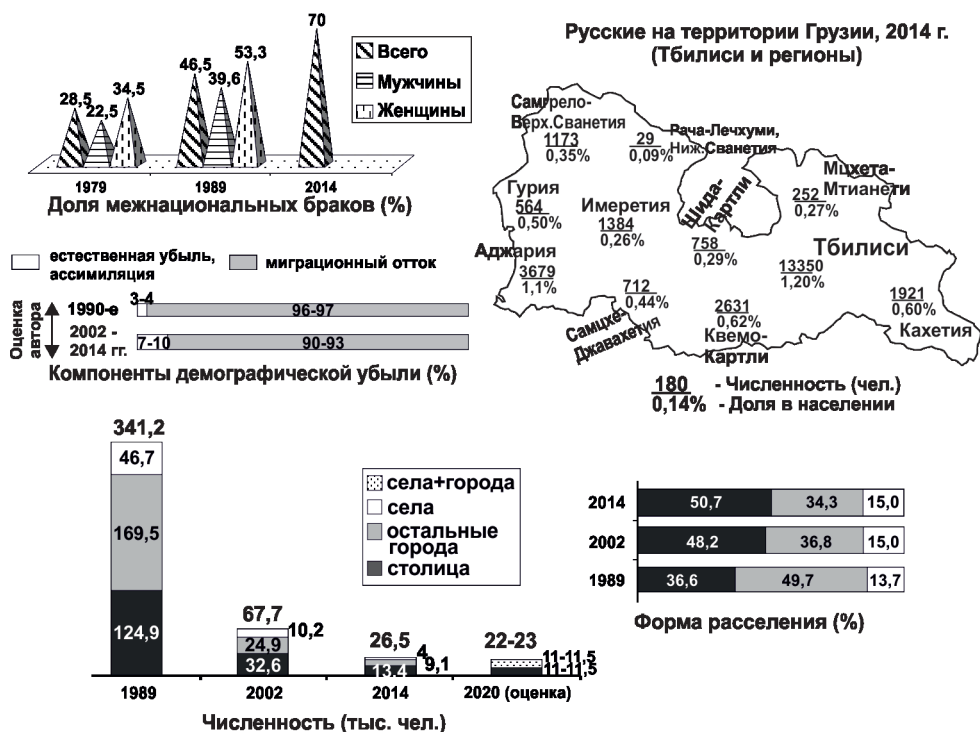


Рис. 2. Русское население Грузии

если русские составляли только половину этого турпотока, в каждый момент времени их находилось в Армении несколько тысяч, что сопоставимо с размерами русской общины.

Грузия. По темпам убыли русского населения Грузии в постсоветский период превосходила все государства ближнего зарубежья за исключением Таджикистана. Причем масштабные потери, не ограничившись 1990-ми, продолжались и в первые 10–15 лет XXI в. В 2014 г. в стране оставалось 26,4 тыс. русских (10% от уровня 1989 г.). Примерно половина из них проживала в Тбилиси, 35–40% – в ряде других центров (Батуми и Рустави – более 1 тыс. чел. в каждом, по 400–500 в Кутаиси и Поти), 15% было расселено в сельской местности (рис. 2).

Половозрастная структура русского населения Грузии обнаруживает диспропорции, еще более существенные, чем у русских Армении. В середине 2010-х гг. доля людей старше 65 лет среди них составляла 30,8% [Bruijn, Chitanava, 2017: 23] и с учетом когорты 60–64-летних она вырастает до 39–40% (на 10% больше, чем в Армении). Вместе с тем на молодежь (15–29 лет) в Грузии приходилось только 13–14% местных русских [Eelens, 2017: 17]. Не менее значим был и динамический аспект. Из всех заметных этнических групп страны именно русские в 2002–2014 гг. отличались самыми быстрыми темпами старения [Bruijn, Chitanava, 2017: 23]. В середине 2010-х гг. их средний возраст составлял 52–53 года, а гендерный дисбаланс оказался сопоставим с показателем русской общины Армении. Порядка 70% семейных русских Грузии состояли в межэтнических браках (максимальный уровень среди крупных и средних диаспор страны) [Hakkert, Sumbadze, 2017: 32], причем самая значительная часть таких семей была представлена «титальными» мужем и русской женой, и они фактически выпадали из естественного воспроизводства русской общины.

Сказанное указывает на очень высокие темпы естественно-ассимиляционной убыли, которые в начале XXI в. могли достигать 1,5–2% в год. Однако реальные среднегодовые потери русских Грузии составляли в 2002–2014 гг. более 20%. Следовательно, именно

отток продолжал играть абсолютно доминирующую роль в их депопуляции, хотя и миграция пульсировала в широком диапазоне, с пиком в конце 2000-х гг. (после событий августа 2008 г.).

Пролонгация темпов убыли 2002–2014 гг. еще на десятилетие (крайне негативный сценарий) дает для середины 2020-х гг. цифру в 10–11 тыс. русских. К 2035 г. она может сократиться до 4–5 тыс. Учитывая, что речь будет идти преимущественно о старых людях, данное множество рискует почти полностью исчезнуть уже к середине века. Но даже если темпы оттока со второй половины 2010-х гг. снизились, избежать сокращения на 15–25% за каждое десятилетие (естественная убыль + некоторый отток) русской общине будет предельно сложно при любом демографическом сценарии. При таком «щадящем» темпе депопуляции русских в стране к 2050 г. останется 12–14 тысяч, но весьма вероятны более негативные варианты депопуляции.

По мере сокращения старожильской общины, русское этническое присутствие в Грузии будет в нарастающей степени коррелировать с масштабами российского турпотока и размером группы владельцев местной недвижимости. В 2017–2019 гг. страну посещали 1,2–1,4 млн россиян в год; в зависимости от сезона в пределах страны одновременно находилось 20–60 тыс. чел. (рассчитано по: [Сравнительная статистика..., 2020]). За 2016–2019 гг. более 15 тыс. россиян обзавелось здесь жильем или земельными участками³, т.е. за эти 4 года порядка 8–10 тыс. русских выбрали Грузию местом своего если и не постоянного пребывания, то более или менее частого посещения. При нормализации российско-грузинских отношений десятки тысяч таких русских представляются реальной величиной и в самой отдаленной перспективе. Однако эти люди, не имеющие отношения к русскому старожильческому населению, не будут диаспорой. Они составят дисперсное множество, география которого ограничена Тбилиси и приморской зоной, прежде всего Батуми и Кобулету.

Азербайджан. За 1989–2009 гг. численность русских в Азербайджане сократилась в 3,3 раза – с 390 тыс. до 119 тыс. человек. Несмотря на масштабную депопуляцию, это лучший показатель среди трех основных государств ЮК. Специфической чертой русских Азербайджана является «столичность», свойственная им еще в советский период (в 1920–1980-е гг. в Баку проживало 2/3–3/4 всех русских республики), но максимально усилившаяся в последние десятилетия. В 1999 г. в столице было сосредоточено 84% русских Азербайджана, в 2009 г. – уже 91%. За пределами Баку оставалось менее 11 тыс. русских, из которых 2,1 тыс. приходилось на Сумгаит и 0,89 тыс. на Гянджу (рис. 3). Около 2 тыс. чел. проживало в Ивановке – молоканском поселении (Исмаиллинский район), заключавшем около половины всех сельских русских страны.

На момент подготовки статьи результаты переписи населения 2019 г. еще не были опубликованы и пришлось прибегнуть к экспертной оценке современного демографического потенциала русского населения Азербайджана. Второе десятилетие XXI в. оказалось для страны периодом, устойчивым как в политическом, так и социально-экономическом плане, поэтому отток русских в Россию, учитывая ее сложное положение в 2010-е гг., должен был сократиться. Параллельно с этим в русской общине с большой вероятностью возросли естественные потери. Уже в конце XX в. средний возраст русских страны составлял 41 год, а на 100 мужчин приходилось 170 женщин [Юнусов, 2000]. В 2000–2010-е гг. диспропорции половозрастной структуры должны были заметно усилиться, поскольку в 2010-е гг. в период репродуктивной активности начала вступать малочисленная генерация 1990-х.

Положение русской общины Азербайджана осложнялось тем, что здесь (в отличие Армении) существенный гендерный перекос затронул молодежные поколения. В группе 14–29-летних русских на 100 девушек приходилось всего 69 молодых людей [Youth of Azerbaijan, 2020: 28]. Только по причине дефицита русских «женихов» около трети

³Двали Г. Россияне скупают недвижимость в Грузии // Коммерсантъ. 2020. 12 августа. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4451146> (дата обращения: 12.05.2021).

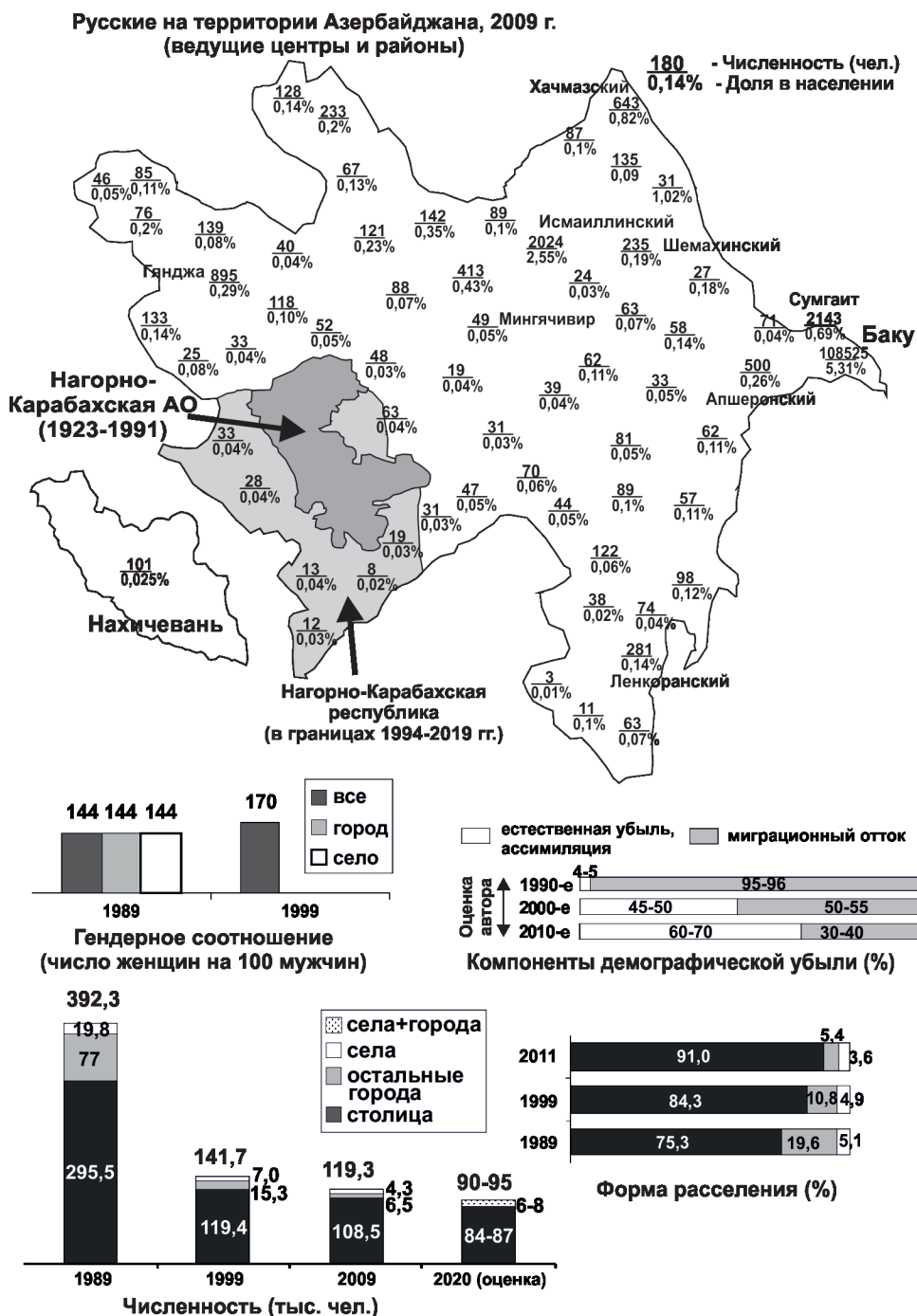


Рис. 3. Русское население Азербайджана

молодых русских женщин вынуждены были вступать в межнациональные браки. Однако, помимо этого, имелись и другие факторы, еще более увеличивавшие долю таких семей.

Есть все основания полагать, что в 2010-е гг. темпы депопуляции русской общины, по сравнению с началом XXI в., как минимум не сократились или даже несколько возросли, составив примерно 20–25%. В этом случае к 2020 г. в Азербайджане могло оставаться около 90–95 тыс. русских, причем 92–94% из них, вероятнее всего, проживало в Баку. Другими словами, демографическое будущее русских страны – это в первую очередь перспективы их столичной группы, дальнейшая депопуляция которой неизбежна, но ее темпы могут заметно варьировать. Учитывая сказанное, естественная убыль русских в Баку в 2020-е гг. едва ли будет ниже 12–15% в год⁴. С учетом оттока, даже если он сократится до 3–5% за десятилетие, депопуляция за 2021–2030 гг. составит порядка 15–20%, и такой демографический сценарий можно считать скорее положительным.

В дальнейшем, по мере старения русских Баку, темпы их естественной убыли будут расти, а масштабы оттока сокращаться. Подобный депопуляционный темпоритм – 15–20% за десятилетие – представляется достаточно вероятным вариантом динамики до середины века. В итоге, даже без социального форс-мажора, к 2030 г. численность русских в Баку может сократиться до 65–75 тыс., а к 2050 г. – до 40–50 тыс. (при «ускоряющемся» сценарии эта цифра может оказаться меньше в 1,5–2 раза).

География русских в Азербайджане продолжит сокращаться вследствие исчезновения локальных групп дисперсного расселения. В конце 2000-х гг. в большинстве сельских районов страны их размеры ограничивались несколькими десятками человек (0,04–0,1% местного населения), а к 2020 г. эти небольшие группы могли потерять еще порядка 1/4–1/3 от своей величины. Относительную демографическую устойчивость в постсоветский период демонстрировал только ряд старожильческих поселений молокан, хотя и они теряли население достаточно быстро: за 2000-е гг. численность русских в Ивановке сократилась с 2,5 до 2,0 тысяч. Тот же депопуляционный тренд с большой вероятностью мог сохраняться и в 2010-х г., однако он едва ли помешал Ивановке к 2020 г. увеличить свою долю в демографическом потенциале сельских русских до 55–65% и, обогнав Сумгаит, стать вторым центром страны по размерам русского населения.

Таким образом, в географии русских Азербайджана все отчетливее выделяются два эпицентра системы расселения: Баку для горожан и Ивановка для сельских жителей. В последние десятилетия эта пространственная особенность, вероятнее всего, только усилится.

По мере убыли старожильческого населения русское этническое присутствие в Азербайджане, как и в соседних Армении и Грузии, будет во все большей степени коррелировать с российским турпотокком, который в конце 2010-х гг. составлял 800–900 тыс. чел. в год. В зависимости от сезона в Азербайджане одновременно находилось 15–30 тыс. россиян (рассчитано по: [Сравнительная статистика..., 2020]), причем у страны есть все возможности сохранить или увеличить данный показатель. В то же время Азербайджан (в отличие от Грузии) не стал местом, привлекательным для приобретения недвижимости россиянами (не считая этнических азербайджанцев с российским гражданством).

Непризнанные и частично признанные государства ЮК. В результате вооруженных конфликтов, произошедших в постсоветский период, на территории региона возникло три таких образования – Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. Несмотря на ряд сходных черт, геодемографическая динамика их русского населения обладает заметной спецификой.

⁴ Для сравнения, согласно демографическому прогнозу Росстата РФ, среднегодовая естественная убыль населения в максимально «русских» Новгородской и Псковской областях в 2020-е гг. будет составлять при среднем варианте 8,5–9%, при низком – 10,5–11% (см.: Прогноз по демографическим показателям до 2035 года по Российской Федерации и ее субъектам. URL: <https://showdata.gks.ru/finder/> (дата обращения: 28.05.2021)). Также учтем, что диспропорции половозрастной структуры русского населения России существенно ниже, чем у русских Азербайджана, и у первых практически отсутствует межнациональная брачность.

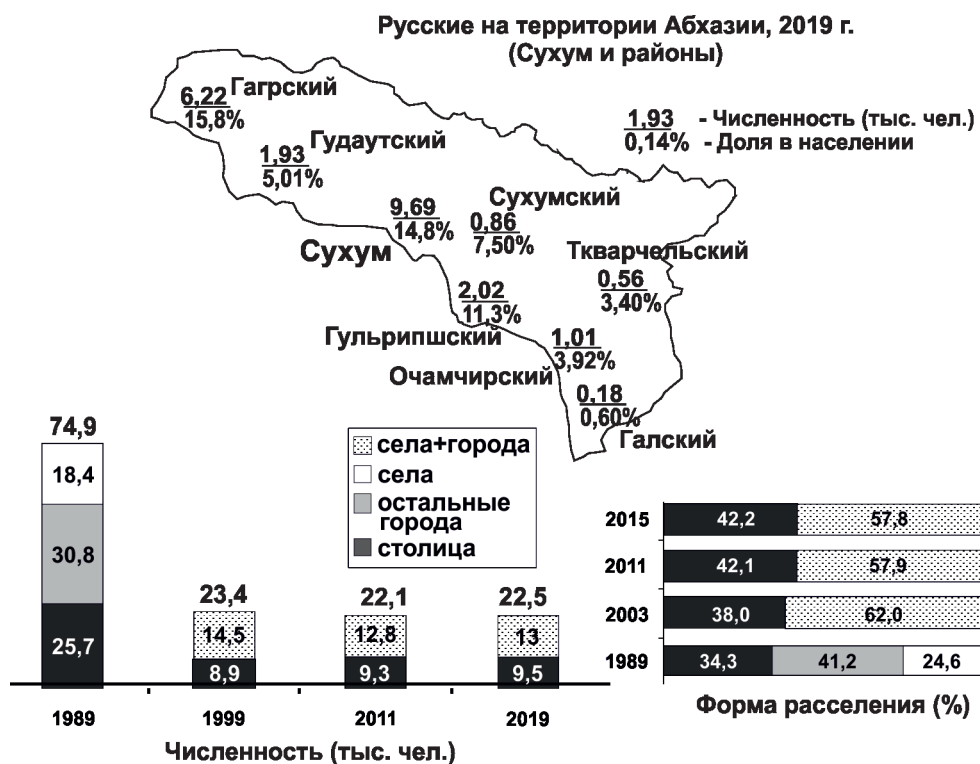


Рис. 4. Русское население Абхазии

Абхазия. Основная депопуляция местной русской общины пришлось на период грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992–1993 гг. В целом, за 1990-е гг. численность русских сократилась в 3–3,5 раза – с 75 тыс. до 20–25 тыс. чел. (рис. 4), что сопоставимо с темпом убыли русского населения Грузии. Тем не менее уже к концу XX в. размеры русской общины Абхазии стабилизировались: 23,4 и 22,1 тыс. чел. в 2003 и 2011 гг. соответственно⁵. Аналогичную величину обнаруживают и результаты текущего демографического учета в 2015–2019 гг. – 22,3–22,5 тыс. [Абхазия в цифрах..., 2020: 27–29].

Достоверность текущей статистики республики республике под вопросом, однако не вызывает сомнения то, что ряд значимых факторов работает на устойчивое сохранение русского населения Абхазии. Среди них – исключительная роль России в качестве гаранта независимости республики, а российского туризма как основного источника доходов республиканского бюджета и значительной части населения. Все это, безусловно, находит отражение в отношении властей и титульного сообщества к местным русским.

После признания Россией в 2008 г. независимости Абхазии предпосылки для быстрого увеличения в ней русского этнического присутствия существенно усилились. Основные факторы – природно-климатическая привлекательность и низкая цена местной недвижимости. В то же время рост группы русских – собственников жилья весь последующий период существенно сдерживался законодательной неотрегулированностью сферы приобретения недвижимости иностранцами. Власти Абхазии, очевидно, сознательно не шли на решение данной проблемы из опасения перехода заметной части республиканского жилого фонда в собственность россиян. Другим нежелательным последствием мог

⁵Population Statistics of Eastern Europe and the Former USSR. URL: <http://pop-stat.mashke.org> (дата обращения: 30.05.2021).

представляться быстрый рост русского населения, ощутимо меняющий национальную структуру малочисленного республиканского общества. Однако даже в условиях правовой незащищенности число россиян, приобретавших недвижимость в Абхазии, было весьма значительным. Только количество судебных разбирательств, связанных с ее покупкой, в середине 2010-х гг. составляло 3–4 тыс.⁶, а общая численность россиян – собственников жилья (группа «спорадического» пребывания) могла быть в разы больше, т.е. оказывалась сопоставимой с постоянным русским населением.

Если же принять во внимание весь российский турпоток (4,3–4,8 млн чел. ежегодно в 2016–2019 гг.), можно говорить о куда больших величинах. В зависимости от сезона на территории Абхазии одновременно находится 100–200 тыс. российских туристов (рассчитано по: [Сравнительная статистика..., 2020]), причем русские, исходя из национальной структуры РФ, могут составлять 3/4 этого множества, что делает их самой многочисленной национальной группой «наличного» населения Абхазии. А в приморской зоне с мая по октябрь русские кратно превосходят все остальное население.

Указанные обстоятельства накладывают свой отпечаток на структуры повседневности, экономическую деятельность, социокультурные практики республиканского общества и повышают социопсихологическую комфортность жизни местных русских. Кроме того, проницаемость границы между Абхазией и РФ существенно облегчает пространственную циркуляцию между странами. Таким образом, демографическая динамика русской общины Абхазии в первую очередь определяется миграцией, масштабы которой регулируются властями республики в соответствии с интересами титульного народа.

Наиболее вероятным сценарием демографической динамики русских и в среднесрочной, и в отдаленной перспективе представляется колебание численности в пределах сложившегося коридора в 22–24 тыс. чел. Значительную устойчивость, очевидно, будет демонстрировать и география их расселения, охватывающая в основном приморскую поселенческую сеть с эпицентрами в Гагрском районе и Сухуми, – в последние 20 лет на них в сумме приходится около 70% русских Абхазии.

Южная Осетия. Русское население Южной Осетии (далее ЮО) всегда было незначительным. Достигнув максимума к началу 1960-х гг. (2,38 тыс. чел.), оно в последние десятилетия советского периода держалось на уровне 2–2,1 тыс. чел. Вооруженный конфликт с Грузией и социально-экономические проблемы 1990-х гг. привели к стремительному сокращению численности русских в республике. С начала XXI в. размеры русской общины в ЮО вновь стабилизировались, сохраняясь на уровне 500–600 человек, причем 75–80% из них приходилось на столичный Цхинвал.

Перепись 2015 г. зафиксировала в республике 610 русских, обнаружив у них крайне высокий уровень гендерного дисбаланса – 439 женщин и 181 мужчина (рис. 5). Почти 2,5-кратный перевес женщин сам по себе являлся предпосылкой высокой межнациональной брачности местного русского населения, но ее реальный уровень в ЮО оказался максимальным. Только у 13 из 213 (6%) состоявших в браке русских женщин был русский муж, а у 180 (88,7%) – осетин. У русских мужчин республики сложилась аналогичная ситуация – лишь 13 из 68 русских мужей (19%) были женаты на русских, 51 (75%) – на осетинках.

Исключительно малый процент мононациональных браков у русских ЮО указывает на то, что практически все такие семьи оставили республику. Лишь наличие «титульного» мужа/жены удерживало семью от выезда в РФ. Соответственно, все детские, подростковые и молодежные группы русской общины ЮО в настоящее время представлены русско-титульными биэтнофорами, и это имеет центральное значение для ее демографического будущего. Уже в среднесрочной перспективе ассимиляционный процесс может привести к ускоренной депопуляции местного русского населения. При подобном сценарии к

⁶ Колесников Е. Жилищный вопрос испортил // Версия. 2017. 5 октября. URL: <https://versia.ru/kak-otzhimayut-kuplennuyu-rossiyanami-nedvizhimost-v-abkhazii-i-pochemu-russkix-v-respublike-vse-menshe> (дата обращения: 02.06.2021).

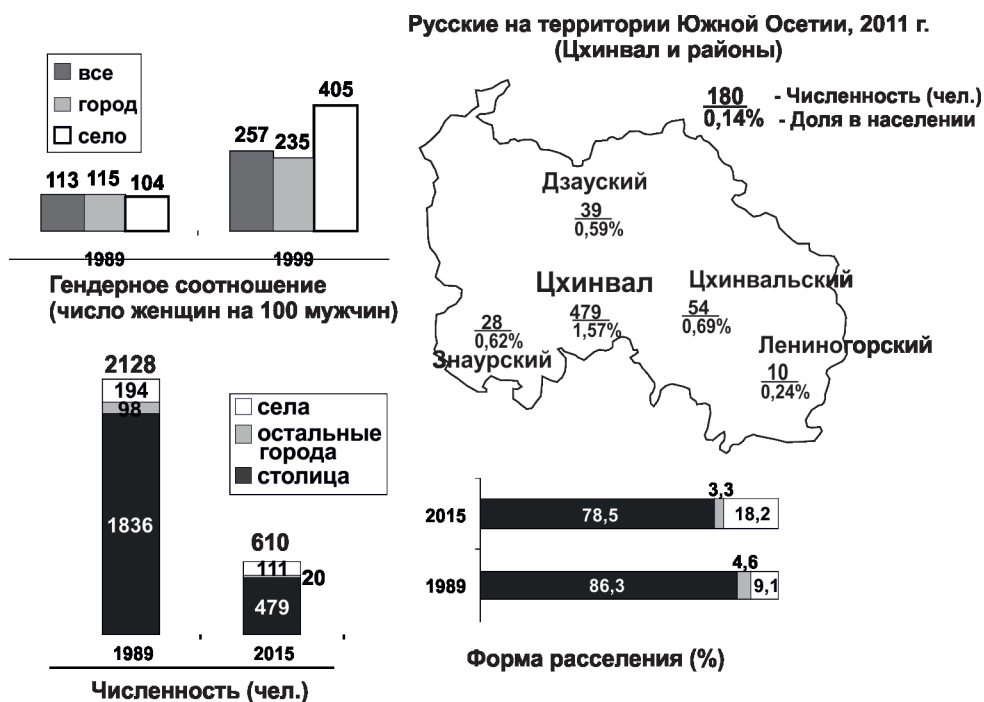


Рис. 5. Русское население Южной Осетии

середине века оно может сократиться в 1,5–2 раза, и тогда русское этническое присутствие в республике будет в основном ограничено военнослужащими дислоцированной в Цхинвале и Джаве 4-й гвардейской военной базы, которая фактически является (и будет оставаться) основным средоточием «наличного» русского населения в ЮО.

Нагорный Карабах. Численность русских в Нагорном Карабахе достигла своего максимума в конце 1930-х гг. (2,1 тыс. чел.). В послевоенные десятилетия эта цифра постепенно сокращалась вплоть до второй половины 1980-х гг., когда в автономии появилось значительное число беженцев, в том числе русских, из различных центров и районов Азербайджана. Однако рост, наблюдавшийся в последние годы существования СССР, оказался кратковременным – во время армяно-азербайджанского вооруженного конфликта 1992–1994 гг. регион покинула самая значительная часть русских.

Республиканская перепись 2005 г. зафиксировала в Нагорно-Карабахской республике (далее НКР) только 170 русских, более 44% которых проживало в Степанакерте (соответствует показателю конца 1980-х гг.)⁷. Половозрастные характеристики этой небольшой группы (средний возраст 42,8 года; 69,5% женщин) указывали на высокую вероятность ее дальнейшей депопуляции, однако за 2005–2015 гг. число русских НКР выросло до 239 чел., т.е. почти на 40% (рис. 6). Почти весь прирост пришелся на Степанакерт при сохранении численности сельских русских. Учитывая естественную убыль, он обеспечивался в основном за счет миграционного притока. Тем не менее это не изменило негативной динамики половозрастной структуры русских.

В середине 2010-х гг. средний возраст русских НКР поднялся до 49,9 года, а доля женщин выросла до 72,7%. Почти треть русского населения республики составляли женщины старше 60 лет, а на одну русскую женщину в активном репродуктивном возрасте (20–39 лет)

⁷ Population Statistics of Eastern Europe and the Former USSR. URL: <http://pop-stat.mashke.org> (дата обращения: 27.05.2021).

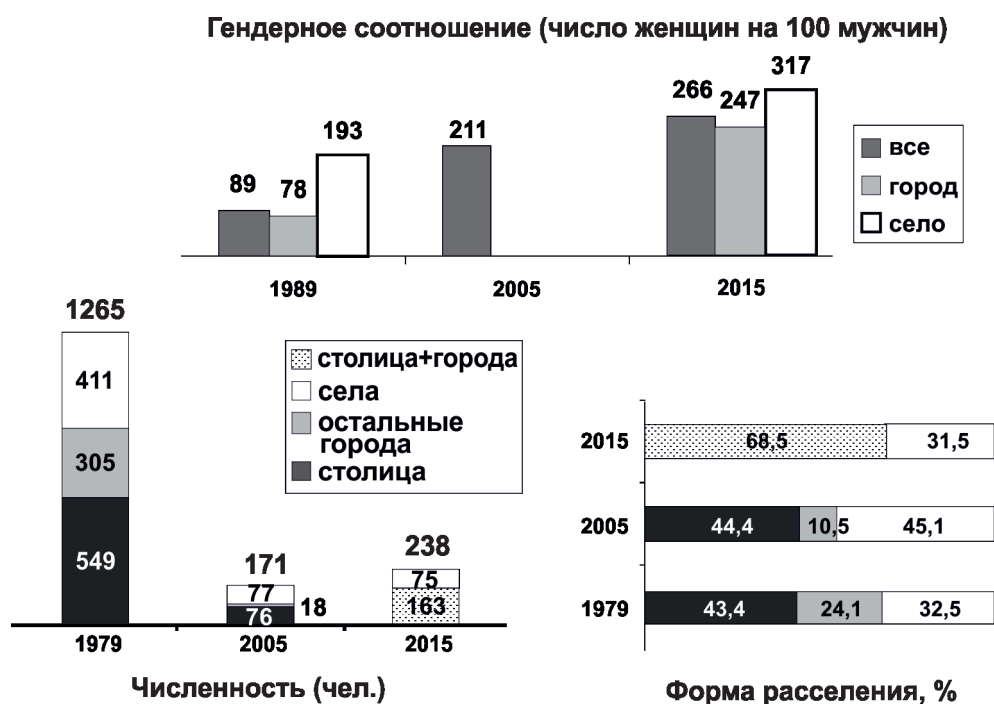


Рис. 6. Русское население Нагорно-Карабахской АО и Нагорно-Карабахской республики

приходилось только 0,56 ребенка (у русских РФ данный показатель составлял 1,28). Главная причина столь низкого показателя заключается не в реальной малодетности русских женщин НКР, а в межнациональных (прежде всего, русско-армянских) браках, вследствие чего основная масса детей в таких семьях фиксировалась переписью в составе титульного народа. Наконец, возрастная структура русских женщин НКР указывала на самое существенное сокращение рождаемости в перспективе 10–15 лет: в 2015 г. в возрасте 20–39 лет находилось 50 из них, к 2025 г. это число должно сократиться до 31, а к 2035 г. – до 11. Однако данная нисходящая динамика не учитывает негативных последствий второй Карабахской войны (сентябрь–ноябрь 2020 г.) и высокой вероятности миграционного оттока из НКР части местных русских.

Таким образом, собственные характеристики русского населения Нагорного Карабаха и современные реалии жизни в республике будут способствовать быстрой депопуляции русской общины уже в среднесрочной перспективе. Единственным фактором ее поддержки является российский миротворческий контингент, с ноября 2020 г. размещенный в республике. Очевидно, именно военнослужащие будут, по крайней мере до 2025 г., основной группой наличного русского населения в НКР.

Выводы. Распад СССР резко ускорил процесс этнической дерусификации ЮК, фиксируемый уже с 1960–1970-х гг. Сокращение численности русских было повсеместным и сопровождалось серьезной деформацией их половозрастной структуры, в которой в настоящее время ощутимо преобладают женщины и люди старших возрастов. На сегодняшний день значительная часть поселенческой сети стран региона (за исключением Абхазии) почти полностью утратила свое постоянное русское население. Эпицентрами русского этнического присутствия на ЮК остаются столицы, а в сельской местности – отдельные поселения, основанные старообрядцами в имперский период. Превращение России в ближайшего союзника и гаранта национальной безопасности региональных политий (Абхазия, Южная Осетия) тормозило или останавливало депопуляцию местного русского населения, а жесткая конфронтация государств региона с РФ (Грузия) ее заметно ускоряла.

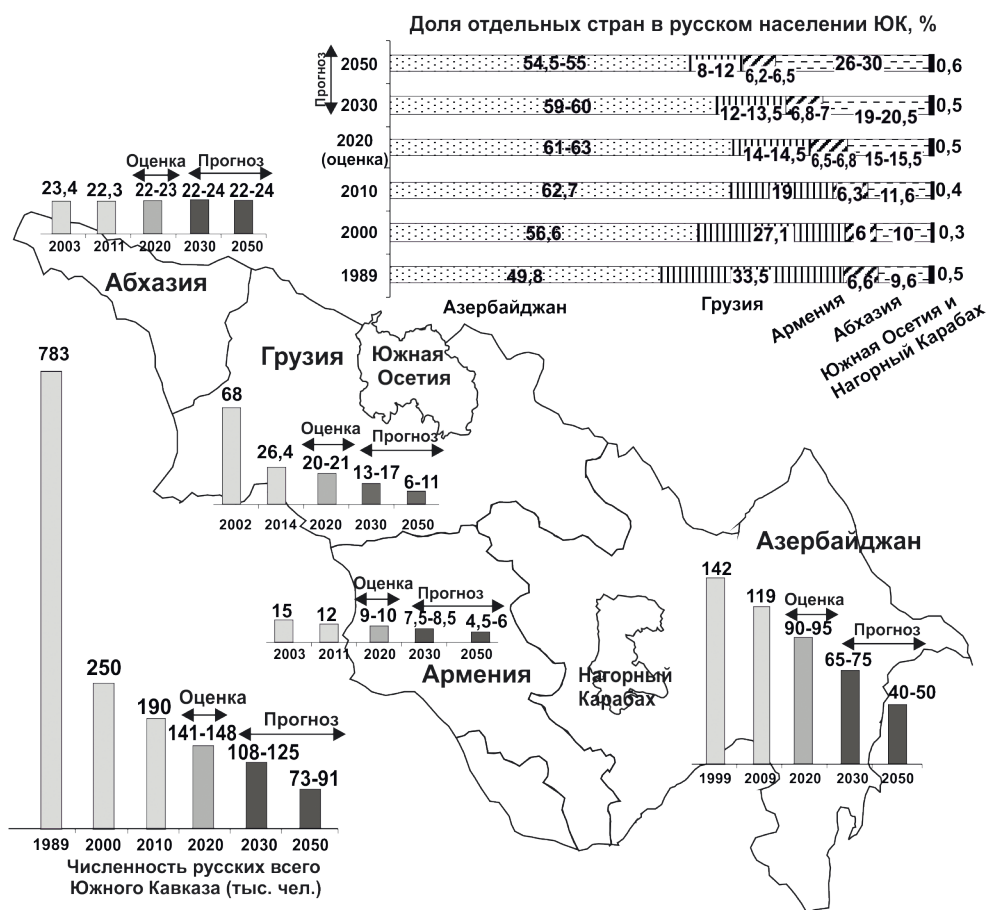


Рис. 7. Русское население Южного Кавказа

Примечание. Оценка и прогноз фиксируют наиболее вероятные диапазоны численности русских.

К середине века численность русских на ЮК может сократиться до 70–90 тыс. чел. (рис. 7). Крупнейшим их средоточием будет оставаться Баку. Однако при сохранении сложившихся трендов через 30–50 лет сопоставимой с ним по размеру может стать русская община Абхазии. К 2050 г. в этих двух центрах может проживать порядка 85–90% всех русских ЮК (в 1989 г. – 47%, в 2020 г. – 75–80%).

Регион является одним из привлекательных направлений российского туризма. По мере сокращения старожильческих общин именно с туристами и россиянами – владельцами местной недвижимости могут быть связаны основные перспективы сохранения русского этнического присутствия в большинстве стран ЮК, причем наибольшим потенциалом в этом отношении обладает Абхазия и отчасти Грузия (при условии нормализации межгосударственных отношений с Россией). Заметную роль в поддержании русского этнического присутствия на ЮК играют и дислоцированные в регионе российские военные части (13–14 тыс. чел.). Для Южной Осетии, Армении и НКР именно они в долгосрочной перспективе могут оставаться основным средоточием наличного русского населения. В то же время следует учитывать, что все перечисленные группы временного пребывания не будут представлять диаспор, т.е. комплексно укорененных этнических сообществ с высоким уровнем внутренней коммуникации и способностью к устойчивому самовоспроизводству, а их география будет ограничена столицами, курортами и популярными туристическими маршрутами, а также военными базами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Абхазия в цифрах за 2019 год. Сухуми: Лагвилава А., 2020.
- Всероссийная перепись населения 1989 года: Распределение городского и сельского населения областей республик СССР по полу и национальности // Демоскоп-Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_89.php (дата обращения: 30.05.2021).
- Кабузан В.М. Русские в мире. СПб.: Блиц, 1996.
- Камахия М. Славянское население Грузии // Центральная Азия и Кавказ. 2007. № 4(52). С. 152–165.
- Лашенова Е.А. «Русский мир» в Армении // Россия и современный мир. 2006. № 3(52). С. 225–231.
- Лебедева Н.М. Новая русская диаспора: Социально-психологический анализ. М.: ИЭА, 1995.
- Мосаки Н.З. Этническая картина Грузии по результатам переписи 2014 г. // Этнографическое обозрение. 2018. № 1. С. 104–120. DOI: 10.7868/S0869541518010086.
- Савоскул С.С. Русские нового зарубежья: Выбор судьбы. М.: Наука, 2001.
- Сравнительная статистика выезда российских граждан за рубеж в 2018 и в 2019 годах // Ассоциация туроператоров. 2020. 13 февраля. URL: https://www.atorus.ru/ratings/analytic_mrch/new/50476.html (дата обращения: 28.05.2021).
- Юнусов А.С. (2001) Этнические и миграционные процессы в постсоветском Азербайджане // Материалы международной конференции «Проблемы миграции и опыт ее регулирования в полиэтничном Кавказском регионе». URL: <http://chairs.stavsu.ru/geo/Conference/c1-67.htm> (дата обращения: 17.05.2020).
- Brujin B., Chitanava M. Ageing and Older Persons in Georgia. Tbilisi: NFPA Office in Georgia, 2017.
- Eelens F. Young People in Georgia. Tbilisi: NFPA Office in Georgia, 2017.
- Hakkert R., Sumbadze N. Gender Analysis of the 2014 General Population Census Data. Tbilisi: NFPA Office in Georgia, 2017.
- Youth of Azerbaijan: Statistical Yearbook. State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. Baku, 2020.

Статья поступила: 25.06.21. Принята к публикации: 27.07.21.

RUSSIANS IN THE SOUTH CAUCASUS: FACTORS OF DYNAMICS IN THE POST-SOVIET PERIOD AND GEODEMOGRAPHIC PROSPECTS

SUSHCHIY S.Ya.

FIC Southern Scientific Center RAS, Russia

Sergey Ya. SUSHCHIY, Dr. Sci. (Philos.), Chief Researcher, FIC Southern Scientific Center RAS, Rostov-on-Don, Russia (SS7707@mail.ru).

Acknowledgements. The article was prepared as part of a grant from the Russian Science Foundation “Wars and the population of southern Russia in the 18th – early 21st centuries: history, demography, anthropology” (project No. 17-18-01411).

Abstract. Collapse of the USSR dramatically accelerated the process of depopulation of Russians in the South Caucasus. In the 1990–2010s, the Russian population of the region decreased from 783 thousand to 140–148 thousand people. Main losses were associated with the outflow to Russia. This decline was widespread and accompanied by serious deformations in age and sex structure of Russians. At present, women and older people are significantly predominant among them. A noticeable part of the settlements in the region (with the exception of Abkhazia) lost the Russian population. The capitals, as well as specific settlements in the countryside founded by the Old Believers during the Imperial period, remain the epicenters of the Russian ethnic presence. Transformation of Russia into the closest ally of the regional states (Abkhazia, South Ossetia) slowed down the rate of decline of their Russian population, while confrontation with Russia (Georgia) significantly accelerated this process. By 2050, number of Russians in the region may fall to 70–90 thousand people. Baku will remain the largest center of the Russian population in the region; however, Russian community of Abkhazia can become comparable to it. In the middle of the century, these two territorial groups may include 85–90% of the Russians of the entire region (in 1989 – 47%). As communities shrink, prospects for an ethnic Russian presence in the South Caucasus will increasingly correlate with the size of the tourist flow and the number of Russians owning local real estate. Russian military units will remain large (or main)

centers of the Russian population in a number of countries in the region. Nevertheless, all these groups of Russians will no longer represent diasporas (rooted ethnic communities with a high level of internal communication and the ability to sustainably reproduce themselves).

Keywords: South Caucasus, Russian population, geo-demographic dynamics, form of settlement, sex and age structure, migration, assimilation.

REFERENCES

- Abkhazia in Figures in 2019*. (2020) Sukhumi: Lagvilava A. (In Russ.)
- All-Union Population Census of 1989. *Demoscope-Weekly*. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_89.php (accessed 30.05.2021). (In Russ.)
- Bruijn B., Chitanava M. (2017) *Ageing and Older Persons in Georgia*. Tbilisi: NFPA Office in Georgia.
- Comparative Statistics of the Departure of Russian Citizens Abroad in 2018 and 2019. (2020) *Association of Tour Operators*. February 13. URL: https://www.atorus.ru/ratings/analitic_mrch/new/50476.html (accessed 28.05.2021). (In Russ.)
- Eelens F. (2017) *Young People in Georgia*. Tbilisi: NFPA Office in Georgia.
- Hakkert R., Sumbadze N. (2017) *Gender Analysis of the 2014 General Population Census Data*. Tbilisi: NFPA Office in Georgia.
- Kamakhia M. (2007) Georgia's Slavic Population. *Tsentral'naya Aziya i Kavkaz* [Central Asia and the Caucasus]. No. 4(52): 152–165. (In Russ.)
- Lashchenova E. A. (2006) "The Russian World" in Armenia. *Rossiya i sovremennyj mir* [Russia and the Contemporary World]. No. 3(52): 225–231. (In Russ.)
- Lebedeva N.M. (1995) *The New Russian Diaspora: A Socio-psychological Analysis*. Moscow: IEA. (In Russ.)
- Mosaki N.Z. (2018) Georgia's Ethnic Landscape According to the 2014 Census. *Etnograficheskoe obozrenie*. No. 1: 104–120. DOI: 10.7868/S0869541518010086. (In Russ.)
- Savoskul S.S. (2001) *Russian New Abroad: The Choice of Fate*. Moscow: Nauka, 438 p. (In Russ.)
- Youth of Azerbaijan: Statistical Yearbook*. (2020) State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. Baku.
- Yunusov A.S. (2001) Ethnic and Migration Processes in post-Soviet Azerbaijan. In: *"Migration Issues and Migration Governance Experience in the Multi-ethnic Caucasus Region"*: International Conference Proceedings. URL: <http://chairs.stavsru/geo/Conference/c1-67.htm> (accessed 17.05.2021). (In Russ.)

Received: 25.06.21. Accepted: 27.07.21.

В.И. САКЕВИЧ, Б.П. ДЕНИСОВ, С.Ю. НИКИТИНА

ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В РОССИИ ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

САКЕВИЧ Виктория Ивановна – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института демографии им. А.Г. Вишневого Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (vsakevich@hse.ru); ДЕНИСОВ Борис Петрович – кандидат экономических наук, инженер первой категории экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (denisov@demography.ru); НИКИТИНА Светлана Юрьевна – кандидат экономических наук, начальник Управления статистики населения и здравоохранения Росстата (nikitina_s@gks.ru). Все – Москва, Россия.

Аннотация. В течение длительного периода Россия входила в число мировых лидеров по распространенности прерываний беременности (абортов), это было серьезной проблемой общественного здоровья. В постсоветские годы показатели абортов неуклонно снижались, и сегодня больше половины российских женщин репродуктивного возраста живут в регионах, характеризующихся низким даже по европейским меркам уровнем искусственных абортов. В статье описана эволюция статистического учета прерываний беременности в России. Самые последние изменения учетных форм впервые позволили оценить вклад негосударственных клиник в общее число абортов и разделить искусственные и самопроизвольные аборты, имеющие разные факторы и причины. На основе данных государственной статистики, не публикуемых в сборниках Росстата, сделан вывод о значительном повышении эффективности внутрисемейного контроля рождаемости в современной России. Из основного инструмента регулирования числа детей и сроков их рождения аборт превратился в экстренную, «пожарную» меру. Анализ региональных различий показал, что в части регионов, расположенных в основном на севере и востоке страны, проблема абортов не потеряла своей актуальности. В регионах с высоким уровнем искусственных абортов проживает каждая шестая россиянка репродуктивного возраста.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье • репродуктивное поведение • регулирование рождаемости • аборты • планирование семьи

DOI: 10.31857/S013216250014958-6

Аборт в России был, возможно, основным инструментом демографического перехода в рождаемости. Россия первой в мире (в 1920 г.) легализовала право на аборт по желанию. Женщины, не имея в своем распоряжении других способов отложить или избежать рождения ребенка, были вынуждены прерывать беременность. В ответ на запрос населения возникла «абортная индустрия», пережившая и период запрета аборта. В 1964 г. в России зафиксирован рекордный уровень в 5,6 млн прерванных беременностей, или 169 абортов в расчете на 1000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Затем уровень абортов немного снизился, но все равно оставался очень высоким [Демографическая модернизация..., 2006: 195–246].

За последние 30 лет произошли важные сдвиги в структуре методов, с помощью которых достигается регулирование числа детей и сроков их рождения на индивидуальном и семейном уровне. Тем не менее проблема неэффективного контроля рождаемости в России продолжает привлекать внимание политиков и общественности. Вокруг темы

абортов и планирования семьи существует много информационного шума; в общественных дискуссиях и даже в научной литературе зачастую используются недостоверные данные, сомнительные источники информации, а иногда факты намеренно искажаются с той или иной целью. Например, сторонники религиозного взгляда на аборт («эмбрион – отдельный человек, а аборт – это убийство») или «государственники», расценивающие аборт как резерв роста рождаемости, плохо представляя, как устроен учет абортов, склонны преувеличивать остроту данной проблемы. И те, и другие, как правило, призывают власти ужесточить абортное законодательство¹.

Наряду с длительной историей легального права на прерывание беременности, в России существует и довольно долгая история учета абортов органами статистики. В 1955 г. аборт были повторно легализованы, а к середине 1960-х восстановлен их учет [Avdeev et al., 1995: 52]. С тех пор стало общим местом критиковать полноту отечественной статистики абортов. Во времена СССР главным аргументом для такой критики служила советская традиция манипуляции статистикой по идеологическим соображениям, а в постсоветские годы у многих вызывает сомнение стремительное сокращение абортов. Есть мнение, что в современной России часть абортов «переместилась» в частные клиники и якобы выпала из поля зрения статистики [Стародубов, Суханова, 2012: 187]. Мы с этим не согласны. Целый ряд выборочных обследований населения в постсоветские годы показал тот же уровень распространенности абортов, что и официальная статистика [Денисов, Сакевич, 2014: 148–149]. Некоторый недоучет абортов в частном секторе, вероятно, имеет место, но в условиях, когда аборт – вполне легальная операция, а сокрытие его медицинским учреждением наказуемо, такой недоучет не может быть статистически заметным. Россия входит в относительно небольшую группу стран, обладающих официальной статистикой прерываний беременности, и это наше реальное преимущество – в большинстве стран число абортов достоверно неизвестно и приходится опираться на оценки.

В статье дается описание системы статистического учета прерываний беременности в России, приводится краткая истории ее изменений за последние десятилетия и оценивается сопоставимость официальных данных за разные годы. На основе государственной статистики анализируется современная ситуация с абортами, в том числе в региональном разрезе. Начиная с 2018 г. обновленные формы учета прерываний беременности предоставляют ценную информацию, недоступную в прежние годы, в частности позволяют ответить на вопрос, каков вклад негосударственных организаций в общее число абортов, и отделить искусственные аборт от самопроизвольных, имеющих другие причины и требующих совсем других мер реагирования.

Данные. С 1956 по 1991 г. порядок статистической регистрации абортов оставался практически неизменным [David, Popov, 1999: 242]. В отчет медицинского учреждения включались как аборт, проведенные в этом учреждении, так и аборт, начатые или начавшиеся вне лечебного учреждения («внебольничные»). Последние состояли из самопроизвольных абортов (выкидышей) и криминальных вмешательств, причем их соотношение было и остается неизвестным. Включение в отчет выкидышей отчасти обусловлено характером социалистической экономики, когда на основе отчета планировалось будущее число «абортных коек», независимо от характера аборта [Avdeev et al., 1995: 57]. Стоит также отметить, что статистика абортов в этот период имела гриф «для служебного использования» и не публиковалась вплоть до конца 1980-х гг.

В 1991 г. введена новая форма для регистрации абортов в клиниках министерств и ведомств, которая подразумевала учет нескольких категорий прерванных беременностей,

¹ Демидов А. В РПЦ высказались за идею о включении абортов в статистику смертности // Газета.ру. 2021. 20 февраля. URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/20/n_15646544.shtml (дата обращения: 25.06.2021); Шипачева Д. «Женщина так запрограммирована, что ей надо рожать для кого-то»: О чем представители Минздрава и Госдумы говорили на дискуссии о проблемах абортов в России // Такие дела. 2020. 18 декабря. URL: <https://takiydel.ru/news/2020/12/18/reshit-problemu-abortov/> (дата обращения: 25.06.2021). См. также: [Жуков, 2018; Рязанцев и др., 2019].

частично соответствующих МКБ девятого пересмотра. Собираемые сведения дополнились выделением нескольких возрастных групп женщин и сроков беременности. В 1992 г., уже после распада СССР, эта форма («форма 13») воспроизведена в Постановлении Госкомстата РФ для государственных учреждений здравоохранения России.

Аборты в форме 13 подразделялись – и такое разделение, по сути, сохраняется до сих пор – на следующие группы: самопроизвольные (спонтанные), искусственные легальные (позже «медицинские легальные»), искусственные по медицинским показаниям, искусственные по социальным показаниям, искусственные криминальные (позже «другие – криминальные»), неучтенные. До 2009 г. учитывались также мини-аборты (т.е. аборты на ранних сроках беременности, проведенные методом вакуум-аспирации)².

Искусственные легальные или медицинские легальные – это аборты по желанию женщины в сроки до 12 недель беременности. Вместе с абортами по медицинским и социальным показаниям они образуют группу «медицинских» аборт. В число самопроизвольных аборт (или выкидышей) включаются аборты, начавшиеся спонтанно, но произошедшие или завершившиеся в медицинском учреждении. Аборт принято относить к криминальным, если выявлено вмешательство самой беременной женщины или других лиц с целью прервать беременность вне стен лечебного учреждения. В других странах, где налажен учет аборт, публикуется, как правило, число искусственных аборт (без выкидышей и нелегальных аборт), то есть российский показатель завышен относительно других стран.

В настоящее время по форме 13 учитываются прерывания беременности в организациях, подчиняющихся Министерству здравоохранения. Для остальных организаций – негосударственной формы собственности, а также медицинских подразделений других министерств и ведомств – используется иная форма федерального статистического наблюдения («форма 1-здрав»); данные об абортах по этой форме поступают не в Минздрав, а в территориальные подразделения Росстата. Росстат суммирует сведения из всех источников и публикует объединенные данные о прерванных беременностях.

На протяжении постсоветского периода указанные статистические формы неоднократно корректировались, однако вплоть до недавнего времени изменения были не очень существенными. Начиная с 1999 г., с переходом на МКБ десятого пересмотра, аборты стали именоваться прерываниями беременности³, но учетные категории аборт при этом почти не изменились. После принятия нового определения живорождения уменьшились сроки беременности, на которых разрешен аборт: с 27 полных недель до 21 полной недели, но таких поздних аборт было относительно немного⁴, так что это не сильно повлияло на статистику.

Более заметным шагом в реформировании системы учета по форме 13 стало расширение критериев самопроизвольных аборт – в 2012 г. к ним была добавлена еще одна рубрика по МКБ-10 («другие анормальные продукты зачатия»). Это было сделано с целью подчеркнуть высокую значимость невынашивания беременности как важной репродуктивно-демографической проблемы в условиях ухудшающегося, по мнению некоторых авторов, репродуктивного здоровья россиянок и угрозы депопуляции в стране [Стародубов, Суханова, 2012; Суханова, 2013]. В результате число и удельный вес самопроизвольных аборт значительно возросли. За один год, с 2011 по 2012-й, число самопроизвольных аборт в клиниках Минздрава увеличилось с 176,6 тыс. до 222,9 тыс. (на 26%), в том числе в сроки до 12 недель – со 147,2 тыс. до 199 тыс. (на 35%).

² Мини-аборты разрешены в 1987 г. (Приказ МЗ СССР № 757 от 05.06.1987), хотя, по некоторым свидетельствам, практиковались с начала 1980-х гг. [Авдеев, 2011].

³ «Прерывания беременности» и «аборты» мы используем как синонимы. Аборты включают как искусственные, так и самопроизвольные (спонтанные) прерывания беременности.

⁴ В 2011 г., накануне перехода на новые критерии рождения, Минздрав зарегистрировал 16,3 тыс. прерываний беременности в сроки с 22 по 27 неделю беременности, около 60% из которых составили выкидыши, с 2012 г. перешедшие в разряд сверхранных родов. Вклад аборт на 22–27 неделях в 2011 г. равен 1,65% всех аборт в системе Минздрава.

В 2016 г., согласно решению Минздрава, форма 13 претерпела еще более радикальные изменения. Прерывания беременности стали «беременностями с абортивным исходом», а список учитываемых рубрик МКБ-10 расширен и дополнительно включил: внематочную беременность, пузырный занос и неудачную попытку аборта (коды О00-О07 взамен О02-О06 до 2016 г.). Обновленная форма 13 действовала всего год; по всей видимости, при составлении отчета за 2016 г. нестыковки стали очевидными. Если между 2015 и 2014 гг. общее число прерванных беременностей сократилось почти на 9% (а среднегодовой темп снижения за предыдущее десятилетие составлял 6%), то между 2016 и 2015 – всего на 1,4%. С 2017 г. учетная форма 13 содержит все рубрики отдельной строкой, что позволяет выделять нужные категории аборт, как это было до 2016 г.

Отдельно следует сказать про возрастное распределение прерванных беременностей. С 1991 по 1995 г. в форме 13 учет велся по укрупненным возрастным группам женщин, прервавших беременность: моложе 15 лет, 15–19 лет, 20–34 года, 35 лет и старше. Начиная с 1996 г. Минздрав выделял стандартные пятилетние возрастные группы. Однако в 2016 г., по непонятным причинам, пятилетняя группировка ликвидирована и возрастное распределение приняло следующий вид: до 14 лет, 15–17, 18–44, 45–49, 50 лет и старше. Поскольку на одну возрастную группу (18–44) приходится 98% всех аборт, новое возрастное разбиение аналитического смысла не имеет.

Что касается формы 1-здрав⁵, то до недавнего времени она мало менялась, правда, в отличие от формы 13, содержала скудный набор сведений – общее число аборт и число мини-аборт. После 2010 г. в учетной форме выделялись отдельные категории прерываний беременности, но далеко не все, и критерии выбора этих категорий неясны – либо только медицинские, но без самопроизвольных, либо и самопроизвольные, но только на поздних сроках беременности. По сути, использовать для анализа можно было только общее число прерванных беременностей. С 1991 по 2007 г. Росстат вел разработку общего числа аборт по укрупненным возрастным группам, а с 2008 по 2015 г. – по пятилетним возрастным группам.

Существенные поправки в содержание формы 1-здрав внесены в 2016 г., когда список наименований «беременностей с абортивным исходом», как и в форме 13, был расширен (коды О00-О07 вместо О03-О06 согласно МКБ-10⁶). В таком виде форма 1-здрав действовала в течение 2016 и 2017 гг., и отчеты за эти годы несопоставимы с другими годами. По нашей оценке, показатели общего числа прерываний беременности за эти годы завышены на 8–10% относительно предыдущих лет. По этой причине статистику прерванных беременностей Росстата за 2016–2017 гг. приходится исключать из анализа.

Начиная с отчета за 2018 г., учет прерываний беременности вне Минздрава снова изменился и впервые стал таким же подробным, как и учет Минздрава. Данные Росстата о количестве аборт не только снова пригодны для изучения динамики, но и впервые содержат информацию о распределении аборт по рубрикам в негосударственных медицинских организациях. Наконец, появилась возможность разделить искусственные и самопроизвольные аборт, имеющие совершенно разные обоснования и причины. Можно только сожалеть, что не восстановлена прежняя разбивка по возрасту.

Таким образом, в настоящее время государственная статистика прерываний беременности, которую разрабатывает Росстат, складывается из трех составляющих. Главный источник сведений – Министерство здравоохранения, которое учитывает прерванные беременности в подведомственных ему организациях (83,7% всех аборт в 2019 г., 92–94% – в 1990-е гг.). Существенно меньший вклад вносит негосударственный сектор здравоохранения (14,4% в 2019); доля аборт, выполненных в организациях, принадлежащих другим

⁵ Здесь и далее мы будем говорить только о седьмом разделе данной формы, касающемся аборт.

⁶ Более широкое определение самопроизвольных аборт введено для организаций Минздрава в 2012 г., а для остальных организаций – в 2016 г.

ведомствам, кроме Минздрава, еще меньше (менее 2% в 2019). В данной работе мы опираемся на статистику Росстата как наиболее полную.

Тенденции в распространенности прерываний беременности. В течение последних тридцати лет в России происходит неуклонное снижение уровня абортс; эта тенденция ни разу не нарушалась. Как показывают данные Росстата, за постсоветский период (с 1992 по 2019 г.) общее число прерываний беременности (включая выкидыши и аборты по медицинским и социальным показаниям) снизилось с 3,5 млн до 622 тыс., или в расчете на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет с 94,7 до 18,0 (табл. 1), то есть в 5,3 раза, с оговоркой, что в 2019 г. применялось другое определение самопроизвольных абортов и территория страны к этому времени расширилась по сравнению с 1992 г. Суммарный коэффициент абортов, расчет которого возможен до 2015 г., тоже свидетельствует о значительном снижении уровня абортов: в начале 1990-х гг. на одну женщину в среднем приходилось более трех прерванных беременностей, а в 2015 – 0,78.

Таблица 1

Прерывания беременности в России, 1992–2019 гг.

Год	Прерывания беременности (тыс.)		Прерывания беременности* в расчете на		Суммарный коэффициент абортов*
	всего*	в том числе самопроизвольные**	1000 женщин в возрасте 15–49 лет	100 живорождений	
1992	3436,7	н/д	94,7	216	3,24
1995	2766,4	н/д	72,8	203	2,62
2000	2138,8	н/д	54,2	169	2,00
2005	1675,7	н/д	42,7	117	1,51
2010	1186,1	н/д	31,7	66	1,07
2015***	848,2	н/д	23,8	44	0,78
2018	661,0	243,4	19,0	41	н/д
2019	621,7	232,3	18,0	42	н/д

Примечания. *Коды согласно МКБ-10: для организаций Минздрава России: О03-О06 в 1992, 1995, 2000, 2005 и 2010 гг., О02-О06 в 2015, 2018 и 2019 гг.; для организаций вне Минздрава России: О03-О06 в 1992, 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 гг., О02-О06 в 2018 и 2019 гг. **Коды согласно МКБ-10: О02-О03. ***С 2015 г. включая Крым и Севастополь.

Источник: рассчитано по данным Росстата.

Коэффициент абортов (на 1000 женщин репродуктивного возраста), рассчитанный по стандартной методике, т.е. исключая самопроизвольные аборты, показывает снижение за эти годы почти в восемь раз: с 89,0 до 11,3. Именно последнюю цифру следует использовать при сравнении с другими странами.

Важной характеристикой ситуации с абортами является также соотношение абортов и рождений, которое показывает, какая доля беременностей не заканчивается родами. В 2019 г. государственная статистика зафиксировала 42 прерванные беременности в расчете на 100 рождений; это значит, что примерно около 30% зачатий завершились прерыванием. Вплоть до 2007 г., в течение нескольких десятилетий, годовое число абортов в России превышало число родов; в отдельные годы соотношение составляло свыше 250 абортов на 100 рождений, то есть всего треть беременностей заканчивались живорождением. К сегодняшнему дню эффективность контроля рождаемости значительно повысилась – произошло сближение числа беременностей и числа рождений.

Благодаря многократному сокращению уровня абортов изменилось положение нашей страны на фоне других развитых стран. Не так давно Россия входила в число лидеров

по распространенности абортс среди стран с либеральным законодательством в отношении аборта, но сейчас разрыв в значительной степени преодолен. Для сравнения: коэффициент искусственных абортов в Швеции – 16,9 на 1000 женщин 15–49 лет (2017), Франции – 15,7 (2019), Эстонии – 13,2 (2019), Дании – 11,2 (2017), Норвегии – 10,6 (2017), Германии – 5,8 (2019)⁷.

Рассмотрим более подробно ситуацию 2019 г. Большинство (56,2%) зарегистрированных в организациях всех форм собственности прерываний беременности – это «медицинские легальные» аборты, то есть аборты по желанию женщины в сроки до 12 недель беременности. Второй по величине вклад вносят самопроизвольные аборты или выкидыши (37,4% в 2019). Рост доли выкидышей был обусловлен как изменениями учетной формы, так и стремительным снижением числа и удельного веса искусственных абортов. На долю абортов по медицинским показаниям (включая социальные показания) и неуточненных абортов приходится примерно по три процента общего числа прерываний беременности, и, наконец, совсем небольшой удельный вес (0,1%) занимают криминальные аборты (всего в 2019 г. зарегистрировано 352 криминальных аборта).

Вклад различных видов абортов в государственных и негосударственных организациях здравоохранения различается. В случае выкидыша женщины чаще всего попадают в государственные учреждения, поэтому подавляющее большинство (96%) самопроизвольных абортов приходится на учреждения Минздрава. В клиниках системы Минздрава доля самопроизвольных абортов среди всех абортов в 2019 г. составляет 42,9%, тогда как в частных клиниках доля самопроизвольных абортов не доходит до 6% (рис.). В негосударственных организациях почти нет поздних абортов, что вполне ожидаемо, поскольку выполнять такие аборты имеют право клиники, обладающие возможностями специализированной (в том числе реанимационной) медицинской помощи.

В то же время наиболее безопасный для здоровья метод прерывания беременности – медикаментозный – гораздо шире применяется в частных клиниках, чем в государственных. В 2019 г. в негосударственных организациях 72% искусственных абортов были сделаны с использованием медикаментозного метода, а в клиниках Минздрава – около 34%. Здесь кроется некоторый резерв для репродуктивного здоровья женщин.

Обновленная учетная форма позволяет сделать более точную оценку вклада негосударственного сектора в общее число прерываний беременности. Если исключить выкидыши, доля негосударственных организаций повысится с 14,4 (как было указано выше) до 21,6%; это значит, что как минимум каждый пятый искусственный аборт в стране произведен в частной клинике.

Региональные различия в распространенности прерываний беременности. За средними по России показателями скрываются существенные региональные различия. Отмечается тенденция увеличения уровня абортов с запада на восток и с юга на север. В 2019 г. разница между минимальным и максимальным показателями – в Республике Ингушетия и в Еврейской автономной области – превысила шесть раз. Коэффициент вариации, рассчитанный на основе коэффициента абортов, свидетельствует о значительной региональной неоднородности (табл. 2). По уровню рождаемости страна является более однородной, чем по уровню прерываний беременности.

Самыми низкими (десять и ниже на 1000 женщин репродуктивного возраста) коэффициентами зарегистрированных абортов характеризуются ряд Республик Северного Кавказа, Республика Калмыкия и Москва. Самые высокие показатели (более 30 на 1000 женщин)

⁷ Induced Abortions in the Nordic Countries 2019 // Finnish Institute for Health and Welfare. URL: <https://thl.fi/en/web/thlfi-en/statistics/statistics-by-topic/sexual-and-reproductive-health/abortions/induced-abortion-in-the-nordic-countries>; Abortions: Number of Induced Abortions and Annual Indicators since 1976 // INED. URL: https://www.ined.fr/en/everything_about_population/data/france/abortion-contraception/abortions/; Statistics Estonia: Statistical Database. URL: <https://andmed.stat.ee/en/stat>; Abortions by Age of the Women and Quota // Statistisches Bundesamt. URL: <https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Health/Abortions/Tables/age.html> (дата обращения: 20.04.2021).



Рис. Структура зарегистрированных абортов в организациях системы Минздрава России и в негосударственных организациях, 2019 г. (в %)

Источник: рассчитано по данным Минздрава России и Росстата.

Таблица 2

Характеристики региональной* вариации числа прерываний беременности на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет, 2012–2015 и 2018–2019 гг.

	2012	2013	2014	2015	2018	2019
Минимум	9,7	10,1	8,3	8,0	6,1	6,0
Максимум	58,4	55,6	53,0	47,2	37,7	37,0
Средняя арифметическая невзвешенная	33,5	32,4	29,6	27,2	21,6	20,4
Коэффициент вариации (%)	33,5	34,5	34,7	34,6	34,7	34,9

Примечания. *Не включая Республику Крым и Севастополь.

в 2019 г., помимо Еврейской автономной области, отмечены в Якутии, Оренбургской области, Сахалинской области, Туве, Ненецком автономном округе и Республике Алтай. В десятку антилидеров входят также Магаданская, Иркутская и Свердловская области.

При этом различия в распространенности самопроизвольных абортов относительно невелики; коэффициент вариации, рассчитанный на основе показателя числа выкидышей на 1000 женщин репродуктивного возраста, равен 21,4% (2019). Частота выкидышей колеблется от 3,9 на 1000 женщин 15–49 лет в Тамбовской и Тульской областях до 10 на 1000 в Иркутской и Магаданской областях при средней по России – 6,7 на 1000 (2019).

Согласно оценке, на которую ссылается ВОЗ, выкидышем заканчивается в среднем от 10 до 15% клинических беременностей⁸. Лишь один российский регион вышел за максимальную границу в 15% в 2019 г. – Ульяновская область, зато в 17-ти регионах эта доля

⁸Why We Need to Talk about Losing a Baby // World Health Organization. URL: <https://www.who.int/news-room/spotlight/why-we-need-to-talk-about-losing-a-baby> (дата обращения: 20.04.2021).

не дотягивает до 10% при средней по России – 11%⁹. Вопрос, с чем связана дифференциация регионов по частоте выкидышей, требует специального исследования. Предположительно, помимо состояния здоровья женщин, некоторую роль здесь играет уровень рождаемости, поскольку чем больше зачатий, тем больше рисков потери беременности. Действительно, значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена ($r = 0,461$) подтверждает наличие умеренной связи между относительным числом самопроизвольных аборт и специальным коэффициентом рождаемости, тогда как между относительным числом медицинских легальных абортов и рождаемостью подобной связи не обнаружено.

Территориальная неоднородность по уровню искусственных абортов (без выкидышей, но включая аборты по медицинским и социальным показаниям и неуточненные аборты) значительно выше, чем по общему уровню прерываний беременности. Сразу оговоримся, что в ряде регионов число зарегистрированных искусственных абортов настолько мало, что эти регионы можно исключить из анализа. Например, в Республике Ингушетия в 2018 г. было зарегистрировано 26, в 2019 г. – 36 искусственных абортов. Менее 300 искусственных абортов в год регистрируется в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Калмыкии. В Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии специальный коэффициент искусственных абортов (на 1000 женщин репродуктивного возраста) составляет три или ниже – таких низких показателей нет ни в одной стране с либеральным законодательством в отношении абортов; примечательно, что Чечня при этом входит в число лидеров по частоте выкидышей. К этой группе регионов с рекордно низким коэффициентом искусственных абортов примыкает и Москва (2,7 на 1000 в 2019 г.); столь низкий показатель заставляет усомниться в полноте учета абортов в столице. Второй причиной настороженности является сомнительное качество данных о численности населения республик Северного Кавказа и Москвы (используемых в качестве знаменателя при расчете коэффициентов) [Мкртчян, 2019; Андреев, 2012].

Однако даже без этих регионов разброс показателей искусственных абортов очень велик: от 4,6 на 1000 женщин в Московской области до 26,0 в Якутии и 30,1 на 1000 в Еврейской автономной области (2019 г.); коэффициент вариации равен 41,5%. К группе с низким уровнем искусственных абортов (менее 10 на 1000) можно отнести 24 из 77 российских регионов, в то время как 16 регионов образуют группу с относительно высоким уровнем искусственных абортов – выше 20 на 1000, при среднем значении для 77 регионов – 14,2 на 1000 (табл. 3). Снижение абортов в последней группе регионов происходит с лагом примерно в десятилетие по сравнению со средней группой.

В целом по России примерно половина женщин репродуктивного возраста (18 млн из 35 млн) проживают в регионах с низким уровнем искусственных абортов и втрое меньше – 16% (6 млн) – в регионах с высоким уровнем искусственных абортов. На территориях со средними показателями проживают около трети россиянок.

Обсуждение и выводы. Учет прерываний беременности в организациях Минздрава России и в медицинских организациях, не подчиняющихся Минздраву, основан на разных формах федерального статистического наблюдения. Вплоть до недавнего времени учет Минздрава оставался намного более подробным, но не охватывал все аборты, производимые в стране. Самые существенные изменения статистических форм произошли после 2010 г., среди которых стоит упомянуть: сокращение срока беременности, на котором разрешен аборт (с 2012 г.), расширение определения самопроизвольных абортов (с 2012 г.), почти полная ликвидация возрастного распределения (с 2016 г.). В 2016–2017 гг. в публикуемое общее число абортов включены все беременности с абортивным исходом (в том числе, например, внематочная беременность), что привело к несопоставимости с другими годами. Однако, начиная с 2018 г., содержание статистических форм для организаций Минздрава и для организаций вне Минздрава снова изменилось, и это стало важным

⁹Число беременностей оценивалось как сумма числа родов (включая мертворождения) и числа прерываний беременности.

Таблица 3

**Число искусственных абортов на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет
в регионах России, 2019 г.**

Число искусственных абортов на 1000 женщин 15–49 лет	Регионы*
Менее 10	Московская область, Карачаево-Черкесская Республика, Ростовская область, Белгородская область, Республика Северная Осетия – Алания, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Волгоградская область, Республика Адыгея, Республика Мордовия, Рязанская область, Самарская область, Воронежская область, Тульская область, Астраханская область, Ульяновская область, Ярославская область, Ставропольский край, Республика Крым, Ивановская область, Липецкая область, Республика Башкортостан, Калужская область, Омская область
10–20	Севастополь, Саратовская область, Пензенская область, Ленинградская область, Тверская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан, Мурманская область, Нижегородская область, Тамбовская область, Приморский край, Алтайский край, Курская область, Смоленская область, Владимирская область, Новгородская область, Орловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Костромская область, Республика Хакасия, Республика Карелия, Челябинская область, Удмуртская Республика, Калининградская область, Брянская область, Чувашская Республика, Камчатский край, Амурская область, Республика Бурятия, Вологодская область, Республика Коми, Хабаровский край, Кировская область, Архангельская область (без Ненецкого автономного округа), Томская область, Магаданская область, Иркутская область
20 и выше	Тюменская область (без автономных округов), Кемеровская область, Забайкальский край, Республика Марий Эл, Пермский край, Красноярский край, Свердловская область, Псковская область, Курганская область, Новосибирская область, Республика Тыва, Сахалинская область, Республика Алтай, Оренбургская область, Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная область

Примечание. *Исключены из анализа: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республика Калмыкия, Москва.

шагом вперед на пути совершенствования государственной статистики абортов. Редакция форм наблюдения для всех типов медицинских организаций стала почти идентичной, что открыло новые аналитические возможности. Правда, публикуется лишь небольшая часть собираемых сведений.

В 2020 г. в учетную форму добавлен раздел «Результаты доабортного консультирования», в который планируется добавлять сведения о числе женщин, прошедших специальное консультирование, а также о том, сколько женщин отказались от искусственного прерывания беременности и встали на диспансерный учет по беременности. По нашему мнению, предлагаемая статистика плохо верифицируема; обязательное консультирование, нацеленное на отговаривание от аборта, толкает женщин из области бесплатной медицины в область платных услуг и является благодатной почвой для расцвета коррупции.

Недостатком официальной статистики остается отсутствие важных социально-демографических характеристик женщин, прерывающих беременность (возраст, брачное состояние, уровень образования и др.). Возможно, Росстату имеет смысл отдать это направление деятельности на аутсорсинг, как это принято, например, во Франции, где аналогичную статистику разрабатывают научные организации.

Основываясь на данных государственной статистики, можно сделать вывод, что проблема абортов как медико-демографическая проблема в современной России потеряла

свою остроту¹⁰. Уровень аборт в постсоветские годы снизился в несколько раз. Происходит сближение общего числа беременностей и числа рождений, что свидетельствует о повышении эффективности внутрисемейного контроля рождаемости. Благоприятная динамика привела к тому, что изменилось положение России в рейтинге развитых стран, имеющих статистику абортов, – наша страна потеряла статус абсолютного лидера. Можно предположить, что в ближайшем будущем снижение абортов замедлится из-за существенного исчерпания резервов этого снижения.

При этом в общем числе прерываний беременности в России растет доля самопроизвольных абортов или выкидышей, не зависящих от воли женщины; в 2019 г. она превысила 37%. Выкидыши представляют собой в основном потери желанных беременностей, и их профилактика имеет важное значение как для семьи, так и для демографической ситуации.

В 2019 г. каждый пятый (21,6%) искусственный аборт в стране произведен в частной клинике. В негосударственных клиниках гораздо шире применяется наиболее безопасный для здоровья метод прерывания беременности – медикаментозный. Возможно, именно предпочтение женщинами современного медикаментозного метода прерывания беременности ведет к росту обращений в частные медицинские организации. Повышение качества услуг и продвижение современных технологий прерывания беременности в государственных организациях здравоохранения является резервом улучшения репродуктивного здоровья женщин.

Анализ также показал, что за средними по России показателями скрываются значительные региональные различия, и они больше, чем по уровню рождаемости. Примерно треть российских регионов характеризуется низкой распространенностью искусственных абортов, сопоставимой с самыми благополучными странами Европы [Singh et al., 2018: 11]; одна пятая регионов имеют относительно высокие показатели, в 1,5–2 раза превышающие средние по стране. Другими словами, в части регионов, расположенных в основном на севере и востоке, проблема абортов еще далека от разрешения и требует пристального внимания.

Главной причиной снижения уровня абортов стало распространение современного планирования семьи – россияне стали чаще использовать надежные методы контрацепции [Вишневецкий и др., 2017]. К сожалению, качество статистики применения контрацепции уступает качеству учета прерываний беременности, а выборочные обследования на эту тему проводятся крайне редко. Но с уверенностью можно сказать, что за последние десятилетия аборт из основного средства регулирования рождаемости в России превратился в «пожарную» меру, к которой прибегают в случаях сбоя контрацепции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Авдеев А.А. Искусственный аборт и контрацепция в 1990–2000-е годы в зеркале публичной и частной статистики // Рождаемость и планирование семьи в России: История и перспективы: сборник статей / Под ред. И.А. Троицкой, А.А. Авдеева. М.: ТЕИС, 2011. С. 9–36.
- Андреев Е.М. О точности результатов российских переписей населения и степени доверия к разным источникам информации // Вопросы статистики. 2012. № 11. С. 21–35.
- Вишневецкий А.Г., Денисов Б.П., Сакевич В.И. Контрацептивная революция в России // Демографическое обозрение. 2017. Т. 4. № 1. С. 6–34. DOI: 10.17323/demreview.v4i1.6986.
- Демографическая модернизация России, 1900–2000 / Под ред. А.Г. Вишневецкого. М.: Новое издательство, 2006.
- Денисов Б.П., Сакевич В.И. Аборты в постсоветской России: есть ли основания для оптимизма? // Демографическое обозрение. 2014. Т. 1. № 1. С. 144–169. DOI: 10.17323/demreview.v1i1.7698.
- Жуков В.И. Законодательство об абортах: мировые тренды и национальные интересы // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 113–123. DOI: 10.7868/S0132162518030121.
- Мкртчян Н.В. Миграция на Северном Кавказе сквозь призму несовершенной статистики // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17. № 1. С. 7–22. DOI: 10.17323/727-0634-2019-17-1-7-22.

¹⁰ При этом дискуссия вокруг морально-этических и социально-политических аспектов абортов только нарастает.

- Рязанцев С.В., Ростовская Т.К., Сигарева Е.П., Сивоплясова С.Ю. Аборты и абортивное поведение в контексте поиска резервов демографического развития в России // *Экология человека*. 2019. № 7. С. 17–23. DOI: 10.33396/1728-0869-2019-7-17-23.
- Стародубов В.И., Суханова Л.П. Репродуктивные проблемы демографического развития России. М.: ИД «Менеджер здравоохранения», 2012.
- Суханова Л.П. Статистическая информация о состоянии проблемы абортов и бесплодия в РФ: Аналитическая справка. М.: ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России, 2013.
- Avdeev A., Blum A., Troitskaja I. The History of Abortion Statistics in Russia and the USSR from 1900 to 1991 // *Population: An English Selection*. 1995. No. 7. P. 39–66.
- David H.P., Popov A.A. Russian Federation and USSR Successor States // *From Abortion to Contraception: A Resource to Public Policies and Reproductive Behavior in Central and Eastern Europe from 1917 to the Present* / Ed. by H.P. David, J. Sklogianis. Westport, CT; London: Greenwood Press, 1999. P. 223–258.
- Singh S., Remez L., Sedgh G., Kwok L., Onda T. Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access. U.S.: Guttmacher Institute, 2018. URL: <https://www.guttmacher.org/report/abortion-worldwide-2017> (дата обращения: 21.04.2021).

Статья поступила: 28.04.21. Финальная версия: 28.06.21. Принята к публикации: 02.07.21.

PREGNANCY TERMINATIONS IN RUSSIA ACCORDING TO OFFICIAL STATISTICS

SAKEVICH V.I.*, DENISOV B.P.***, NIKITINA S.Yu.***

*National Research University Higher School of Economics, Russia; **Lomonosov Moscow State University, Russia; ***Rosstat, Russia

Victoria I. SAKEVICH, *Cand. Sci. (Econ.)*, Senior Researcher, Institute of Demography named after A.G. Vishnevsky, National Research University Higher School of Economics (vsakevich@hse.ru); Boris P. DENISOV, *Cand. Sci. (Econ.)*, First Category Engineer, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University (denisov@demography.ru); Svetlana Yu. NIKITINA, *Cand. Sci. (Econ.)*, Director, Department of Population and Healthcare Statistics, Rosstat (nikitina_s@gks.ru). All – Moscow, Russia.

Acknowledgements. The article is based on the research implemented in the framework of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics.

Abstract. For a long period, Russia was among the world leaders in the prevalence of abortions, which was a serious public health problem. In the post-Soviet years, the induced abortion rates have been steadily declining, and today more than half of Russian women of reproductive age live in regions characterized by a low abortion rate even by European standards. The article describes in detail the evolution of statistical accounting for abortions in Russia. The most recent changes in registration forms for the first time produced a possibility to evaluate the contribution of non-governmental clinics to the total number of abortions and to distinguish between induced and spontaneous abortions, which have completely different causes. On the basis of official state statistics that are not routinely published by Rosstat, we conclude about a significant increase in the effectiveness of birth control in modern Russia. From the main instrument of regulation of the number of children and the timing of their births by families, abortion has turned into an emergency, “firefighting” measure. Analysis of regional differences showed that in some regions located mainly in the north and east of the country, the problem of abortion has not lost its relevance. Every sixth Russian woman of reproductive age live in regions with a relatively high level of induced abortions.

Keywords: reproductive health, reproductive behavior, birth control, abortion, family planning.

REFERENCES

- Avdeev A. (2011) Induced Abortion and Contraception in the 1990s – 2000s in the Mirror of Public and Private Statistics. In: Troitskaja I., Avdeev A. (eds) *Fertility and Family Planning in Russia: History and Prospects*. Moscow: TEIS: 9–36. (In Russ.)
- Andreev E.M. (2012) On Accuracy of Russia Population Censuses Results and Level of Confidence in Different Sources of Information. *Voprosy Statistiki*. No. 11: 21–35. (In Russ.)
- Avdeev A., Blum A., Troitskaja I. (1995) The History of Abortion Statistics in Russia and the USSR from 1900 to 1991. *Population: An English Selection*. No. 7: 39–66.

- David H.P., Popov A.A. (1999) Russian Federation and USSR Successor States. In: David H.P., Skilogianis J. (eds) *From Abortion to Contraception: A Resource to Public Policies and Reproductive Behavior in Central and Eastern Europe from 1917 to the Present*. Westport, CT; London: Greenwood Press: 223–258.
- Denisov B., Sakevich V. (2014) Abortion in Post-Soviet Russia: Is There any Reason for Optimism? *Demograficheskoe obozrenie* [Demographic Review]. Vol. 1. No. 5: 50–68. DOI: 10.17323/demreview.v1i5.3172.
- Mkrtchyan N. (2019) Migration in the North Caucasus and the Accuracy of Statistics. *Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki* [The Journal of Social Policy Studies]. Vol. 17. No. 1: 7–22. DOI: 10.17323/727-0634-2019-17-1-7-22. (In Russ.)
- Ryazantsev S.V., Rostovskaya T.K., Sigareva E.P., Sivoplyasova S.Yu. (2019) Abortions and Abortive Behavior in the Context of Searching for Demographic Development. *Ekologiya cheloveka* [Human Ecology]. No. 7: 17–23. DOI: 10.33396/1728-0869-2019-7-17-23. (In Russ.)
- Singh S., Remez L., Sedgh G., Kwok L., Onda T. (2018) *Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access*. U.S.: Guttmacher Institute. URL: <https://www.guttmacher.org/report/abortion-worldwide-2017> (accessed 21.04.21).
- Starodubov V.I., Sukhanova L.P. (2012) *Reproductive Problems of Demographic Development in Russia*. Moscow: Menedzher zdavooohraneniya. (In Russ.)
- Sukhanova L.P. (2013) *Statistical Information on the State of the Problem of Abortion and Infertility in the Russian Federation*. Moscow: FGBU TSNII OIZ. (In Russ.)
- Vishnevsky A.G. (ed.) (2006) *Demographic Modernization of Russia, 1900–2000*. Moscow: Novoe izdatel'stvo. (In Russ.)
- Vishnevsky A., Denisov B., Sakevich V. (2017) The Contraceptive Revolution in Russia. *Demograficheskoe obozrenie* [Demographic Review]. Vol. 4. No. 5: 86–108. DOI: 10.17323/demreview.v4i5.8570.
- Zhukov V.I. (2018) Legislation on Abortion: World Trends and National Interests. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 3: 113–123. DOI: 10.7868/S0132162518030121. (In Russ.)

Received: 28.04.21. Final version: 28.06.21. Accepted: 02.07.21.

© 2021 г.

З.Ф. ИБРАГИМОВА, М.В. ФРАНЦ

ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕРАВЕНСТВА ДОСТИЖЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ В РОССИЙСКОМ ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

ИБРАГИМОВА Зульфия Фануровна – кандидат экономических наук, доцент, доцент Башкирского государственного университета (badertdinova@mail.ru); ФРАНЦ Марина Валерьевна – кандидат технических наук, доцент, старший научный сотрудник Института социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра РАН (tan-marina@mail.ru). Обе – Уфа, Россия.

Аннотация. Представлен анализ динамики неравенства возможностей в образовательных достижениях российских школьников на базе данных «Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся» (PISA) за 2003–2018 гг. Методика основана на параметрическом подходе и ex-ante – определении равенства возможностей. Установлено, что динамика неравенства образовательных достижений довольно неустойчива, имеет тренд к сокращению по всем рассматриваемым направлениям грамотности. Выше всего уровень неравенства возможностей в читательской грамотности. Выявлено, что вклад семейного бэкграунда в неравенство возможностей приблизительно 60–80%, при этом практически одинаково важен его как материальный, так и образовательно-культурный аспект. Также значим пространственный фактор, его роль имеет тенденцию к нарастанию в последние годы. Значителен вклад фактора пола в неравенство возможностей в отношении читательской грамотности.

Ключевые слова: неравенство возможностей в образовании • индивидуальные достижения • факторы-обстоятельства • факторы-усилия • PISA

DOI: 10.31857/5013216250013781-2

Введение. Практически во всех развитых обществах ценность образования высока. В связи с этим образовательное неравенство, выражающееся в обусловленности образовательных достижений неконтролируемыми обстоятельствами, прежде всего характеристиками семейного бэкграунда, интерпретируется как яркое проявление социальной несправедливости. Эта проблема в той или иной степени актуальна для всех стран, и соответствующие исследования имеют обширную географию.

Исследователи обсуждают неравенство возможностей как в доступе к образованию, так и в образовательных достижениях. В первом случае резульативная переменная – это достижение определенного образовательного уровня, во втором – итоги тестирования знаний в той или иной области. Достигнутый уровень образования не всегда отображает реальные достижения, в частности уравнивает троечников и отличников, не учитывает, в каком образовательном учреждении (топ-университете или низкорейтинговом вузе)

получен диплом. При попытках межстрановых сопоставлений из-за различий национальных образовательных систем недостатки подхода становятся еще более ощутимыми.

Для объективной оценки образовательных достижений учащихся был запущен ряд международных проектов с использованием стандартизованных тестов. К их числу относятся «Международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования» (TIMSS) и «Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся» (PISA). Свободный доступ к данным PISA позволяет ученым разных стран использовать их для исследовательских проектов. В российском научном сегменте много работ посвящено обсуждению динамики средних образовательных достижений российских школьников с детализацией по видам заданий с целью установить, с какими заданиями учащиеся справляются успешно, а какие вызывают сложности [Демидова, Ковалева, 2011; Пентин и др., 2018], сравнительному анализу достижений российских школьников и их сверстников из других стран [Ковалева, 2011; Попов и др., 2012], а также изучению послешкольных образовательных траекторий и факторов, их определяющих [Попов и др., 2012; Хавенсон, Чиркина, 2018; 2019].

Менее многочисленны работы, посвященные изучению зависимости образовательных достижений учащихся от факторов семейного, пространственного и школьного бэкграунда. В работе [Капуза и др., 2017] выполнена попытка исследовать влияние культурного капитала (в качестве индикатора которого использовался образовательный уровень матери) и пространственного фактора (размера населенного пункта, в котором находится школа) на образовательные достижения школьников. Согласно полученным результатам, дети, чьи матери имели высшее образование, демонстрируют более высокие образовательные достижения по сравнению со сверстниками, чьи мамы менее образованны. Кроме того, наблюдается заметная вариация средних баллов школьников в зависимости от размера населенного пункта, в котором расположена школа. При этом авторы отмечают, что за период 2003–2015 гг. этот разрыв имел тенденцию к сокращению.

В работе [Кузьмина, Тюменева, 2011] на данных PISA-2009 сделана попытка оценить влияние семейных, индивидуальных и школьных характеристик на уровень читательской грамотности российских школьников. Для нас это исследование представляет значительный интерес, так как в нем: 1) применяется многофакторный регрессионный анализ, 2) делается попытка оценить относительную важность изучаемых групп факторов. Авторы приводят результаты расчета нескольких регрессионных моделей, отличающихся набором факторных переменных. Первая модель включает только факторы семейного бэкграунда, вторая модель дополнительно включает факторы, описывающие степень увлеченности ребенка чтением, в третью добавляются факторы контекстуальных характеристик школы, в четвертую – композиционные характеристики школы. Авторы приходят к выводу, что перечисленные группы факторов объясняют 38% дисперсии индивидуальных достижений учеников в отношении читательской грамотности, при этом на долю семейного бэкграунда приходится 20%, вклад отношения ученика к школе и чтению составляет 9%, остальные 9% приходятся на школьные факторы. Неожиданным результатом этой работы стало выявление отрицательного влияния материального благосостояния семьи на уровень читательской грамотности ребенка. Обе последние работы в значительной степени родственны нашему исследованию, и в разделе обсуждения результатов с ними мы будем проводить сопоставления.

Цель, информационная база и методика исследования. Для измерения неравенства возможностей в образовательных достижениях российских школьников и его динамики на данных PISA 2003–2018 гг. (табл. 1) использовалась разработанная с учетом особенностей программы методика, впервые предложенная в работе [Ferreira, Gignoux, 2014] и применяемая, например, [Ersado, Gignoux, 2017; Luongo, 2015].

В ней важен выбор дисперсии (стандартного отклонения) в качестве меры неравенства образовательных достижений школьников. Применение этой меры неравенства удовлетворяет свойству порядковой эквивалентности к процедуре стандартизации

Таблица 1

Объем наблюдений

Год	2003	2006	2009	2012	2015	2018
Общее количество наблюдений	5974	5799	5308	5231	6036	7608
Объем выборки после удаления наблюдений с пропусками	5945	5732	5275	5168	5776	7084

результатов тестирования учащихся. Она основана на *ex-ante* – критерии равенства возможностей и параметрическом подходе, т.е. равенство возможностей считается достигнутым, если средние достижения индивидов одинаковы во всех группах, однородных с точки зрения факторов-обстоятельств. Параметрический подход предполагает использование конкретной спецификации уравнения, описывающего зависимость достижения от неконтролируемых обстоятельств.

Применяемая методика включает следующие этапы.

1. Рассчитывается регрессия образовательного достижения на факторы-обстоятельства. В уравнении (1) y_i – уровень читательской, математической, естественно-научной грамотности учащегося, $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ik}$ – набор принимаемых во внимание факторов-обстоятельств, b_0, b_1, \dots, b_k – вектор регрессионных коэффициентов, ε_i – ошибка регрессии, инкапсулирующая влияние собственных усилий школьника и других неучтенных факторов на его образовательные достижения.

$$y_i = b_0 + b_1 \cdot x_{i1} + \dots + b_k \cdot x_{ik} + \varepsilon_i \quad (1)$$

2. Рассчитываются прогнозные значения образовательных достижений (формула 2), где \bar{y}_i представляет собой условное среднее достижение при фиксированном наборе значений факторов-обстоятельств. Согласно *ex-ante* критерию, в случае достижения равенства возможностей вариации в распределении \bar{y}_i быть не должно. Поэтому дисперсия этого распределения отражает уровень неравенства возможностей. Коэффициент детерминации (R^2), представляющий собой отношение дисперсии прогнозных значений к дисперсии фактических значений, является относительной мерой неравенства возможностей, показывающей, какая часть вариации достижения обусловлена влиянием неконтролируемых индивидом факторов-обстоятельств.

$$\bar{y}_i = b_0 + b_1 \cdot x_{i1} + \dots + b_k \cdot x_{ik} \quad (2)$$

3. Для оценки вклада отдельных факторов выполняется декомпозиция по Шепли [Shorrocks, 2012]. Из-за ее вычислительной затратности в случае большого числа факторов мы объединили включенные в модель факторы в несколько групп (домашние материальные, культурные, образовательные ресурсы; ИКТ-ресурсы; образовательный и профессиональный статус родителей; тип местности, где расположена школа; кадровая обеспеченность школы; пол ученика) и выполняли декомпозицию не по отдельным факторам, а по их группам.

Преимущество PISA в контексте исследования неравенства возможностей – большое число переменных, потенциально полезных для объяснения вариации образовательных достижений школьников, в том числе показателей, отражающих внешние обстоятельства, ответственность за которые нельзя возлагать на ученика. В перечень факторов-обстоятельств мы стремились включить обстоятельства семейного бэкграунда, пространственного неравенства, а также индивидуальные неконтролируемые характеристики (табл. 2).

Некоторый перевес характеристик семейного бэкграунда дает возможность детально рассмотреть, какие его особенности более всего влияют на образовательные достижения ребенка. На теоретическом уровне идентифицированы разнообразные механизмы такого воздействия [Barone, Ruggera, 2018]. Во-первых, экономический фактор: в более богатых семьях ребенку обеспечивается лучшее сопровождение внутриутробного развития,

Таблица 2

Переменные, используемые в исследовании в качестве факторов-обстоятельств

Краткое обозначение в БД	Название	Тип	Способ получения
<i>Характеристики семейного бэкграунда</i>			
HOMEPOS	Домашнее имущество	Непрерывная	Переменная, вычисляемая из ответов на вопросы о наличии в семье бытовой и вычислительной техники, автомобиля, книг, музыкальных инструментов, а также особенностях жилищных условий
CULTPOSS	Культурные ресурсы семьи	Непрерывная	Переменная, вычисляемая из ответов на опросы о наличии в семье классической литературы, книг об искусстве и музыке, произведений искусства и музыкальных инструментов
HEDRES	Семейные образовательные ресурсы	Непрерывная	Переменная, вычисляемая из ответов на вопросы о наличии дома условий для учебы, компьютера, учебной литературы
ICTRES	Семейные информационно-коммуникационные ресурсы	Непрерывная	Переменная, вычисляемая из ответов на вопросы о наличии дома образовательного ПО, планшета, компьютера и телефона с выходом в Интернет
HISEI	Максимальный профессиональный статус родителей	Непрерывная	Переменная, вычисляемая из ответов на вопросы о родительской занятости и содержании труда
HESCED	Максимальный уровень образования родителей	Дискретная	Переменная, вычисляемая из ответов на вопросы об образовании родителей и классификации образовательных уровней ISCED 1997
<i>Пространственные характеристики</i>			
SC004Q001	Тип местности, в которой расположена школа	Дискретная	Вопрос о типе местности, в которой расположена школа (варианты ответов: деревня, маленький город, средний город, крупный город, мегаполис)
STAFFSHORT	Нехватка персонала в школе	Непрерывная	Переменная, вычисляемая из ответов на вопросы о том, в какой мере нехватка персонала является фактором, ухудшающим образовательный процесс в школе
<i>Индивидуальные характеристики</i>			
ST004Q001	Пол ученика	Дискретная	Мужской/женский

Примечание. Обозначения переменных в базе данных в разные годы могут отличаться; в таблице они приведены по базе 2018 г.

родов и ранних лет жизни, что имеет огромное значение для его когнитивных способностей. Кроме того, относительные затраты на образование ниже у обеспеченных слоев, что обеспечивает лучшую материальную поддержку учебного процесса. Во-вторых, культурно-образовательный фактор: считается, что образовательная среда в культурном смысле сама по себе сродни культуре обеспеченных и образованных слоев населения. Дети с хорошим семейным бэкграундом легче адаптируются, а их способности лучше распознаются и вознаграждаются в системе образования. В-третьих, психологический фактор – считается, что образование родителей служит для ребенка «референтной точкой» – если человек не достигает образовательного уровня родителей, он воспринимает это как социальный провал, желание избежать которого выступает мотивацией к учебе.

В связи с тем, что связь образовательного достижения с непрерывными переменными (HOMEPOS, CULTPOSS, HEDRES, ICTRES, HISEI, STAFFSHORT) может не носить линейного характера, эти индексы были дискретизированы на три уровня: низкий (меньше нижнего квартиля), средний (в диапазоне от нижнего до верхнего квартиля), высокий (выше верхнего квартиля распределения). При оценке регрессий средний уровень использовался как базовый.

В расчетах рассматривалось три уровня максимального образования родителей: ISCED4 и ниже (начальное профессиональное образование на базе полного среднего и ниже), ISCED5B (среднее профессиональное на базе полного среднего), ISCED5A и выше (высшее профессиональное и выше). Категория ISCED5B использовалась в качестве базовой.

Переменные SC004Q001 и ST004Q001 (тип местности, в которой расположена школа, и пол ученика) использовались без каких-либо модификаций. Средний город и мужской пол применялись как базовые категории.

Результаты. Характеристики центральной тенденции (средний балл) и вариации (стандартное отклонение) образовательных достижений российских школьников по трем предметам – математике, чтению и науке – приведены на рисунках 1, 2.

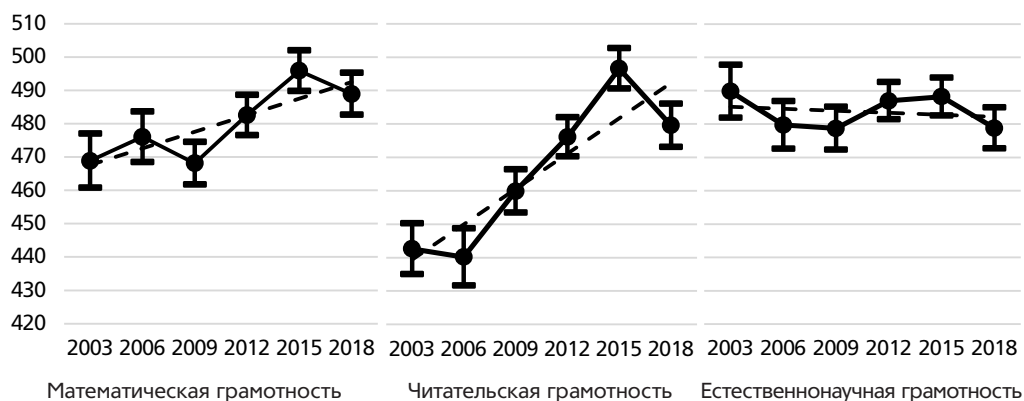


Рис. 1. Динамика среднего балла (приведены доверительные интервалы для среднего и линии тренда)



Рис. 2. Динамика неравенства образовательных достижений (приведены стандартные отклонения, доверительные интервалы и линии тренда)

Динамика среднего балла является неустойчивой с положительной тенденцией в отношении математической и читательской грамотности со слабой отрицательной тенденцией в отношении естественнонаучной грамотности. Динамика неравенства образовательных достижений также довольно неустойчива с трендом к сокращению по всем трем рассматриваемым направлениям. Следует отметить, что в последний рассматриваемый период (2018) видны значительные негативные изменения по сравнению с результатами 2015 г.: уровень грамотности по всем трем направлениям снизился, а неравенство образовательных достижений, напротив, возросло (табл. 3).

Домашние материальные ресурсы (HOMEPOS) не оказывают значительного влияния на математическую успеваемость учащегося – регрессионные коэффициенты при этом факторе практически всегда незначимы. Низкий уровень домашних культурных ресурсов (CULTPOSS) значимо снижает достижения по математике. Уровень образовательных ресурсов (HEDRES) и социального статуса родителей (HISEI) прямо влияет на математическую грамотность (табл. 3), значимо улучшает ее наличие высшего образования хотя бы у одного из родителей.

Таблица 3

Результаты регрессионного анализа уровня математической грамотности на факторы-обстоятельства

Факторы	2003	2006	2009	2012	2015	2018
<i>Уровень домашних материальных ресурсов</i>						
Низкий	-14,07***	-0,91	4,66	1,33	-0,75	-8,29*
Высокий	20,97***	3,75	3,32	8,26**	0,12	5,01
<i>Уровень домашних культурных ресурсов</i>						
Низкий	-23,34***	-16,38***	-23,34***	-23,86***	-21,95***	-26,05***
Высокий	-15,26***	2,01	-1,43	0,59	-2,43	-3,52
<i>Уровень домашних образовательных ресурсов</i>						
Низкий	-12,84***	-25,03***	-21,97***	-18,36***	-10,79**	-10,13
Высокий	-1,65	23,00***	21,17***	11,48***	5,03*	-2,69
<i>Образование родителей</i>						
ISCED4 и ниже	-3,27	-21,82*	-11,03**	-9,21*	-12,93	-10,74
ISCED5A и выше	12,83***	9,44**	16,46***	23,16***	12,36***	12,96***
<i>Социальный статус родителей</i>						
Низкий	-10,76**	-17,44***	-10,02***	-15,01***	-14,78***	-15,98***
Высокий	16,23***	8,47**	12,84***	11,80***	-3,14	-7,04**
<i>Уровень домашних ИКТ-ресурсов</i>						
Низкий	-	-	-4,74	-3,61	0,61	-4,20
Высокий	-	-	4,46	-25,77***	-3,10	-7,27*
<i>Тип местности проживания</i>						
Село	-16,34	-13,61	3,17	1,80	3,67	-15,33*
Маленький город	-19,49**	-6,33	-2,53	-0,49	2,61	-22,21***
Большой город	-2,09	6,94	8,43	15,29*	19,10**	1,88
Мегаполис	26,45**	12,68	31,01**	31,54***	21,01***	26,91***
<i>Уровень кадрового обеспечения школы</i>						
Высокий	-2,10	1,27	-	7,23	1,91	0,16
Низкий	-3,38	-6,36	-9,34	3,24	-4,24	-14,95**
<i>Пол ученика</i>						
Женский	-9,72**	-3,92	-3,01	-2,15	-7,65**	-6,76***
Константа	480,37***	473,81***	455,55***	469,43***	492,29***	509,33***

Примечание. *10% уровень значимости; **5% уровень значимости; ***1% уровень значимости.

Неожиданно выглядят результаты в отношении домашних ИКТ-ресурсов: их уровень не оказывает значимого влияния на математическую грамотность. Учеба в школе, расположенной в мегаполисе, значимо положительно влияет на математическую грамотность, уровень кадрового обеспечения школы не оказывает на нее значимого воздействия. В некоторой степени на математические достижения влияет пол учеников: девочки несколько уступают мальчикам.

Выводы, сделанные в отношении математики, зачастую справедливы и в отношении читательской грамотности с той разницей, что низкий уровень образования родителей и учеба в сельской школе значимо отрицательно влияют на нее. Кроме того, девочки демонстрируют значимо лучшие результаты в этой области. В то же время фактор пола не оказывает значимого влияния на естественнонаучную грамотность.

В 2003–2018 гг. самое большое неравенство возможностей наблюдалось в отношении читательской грамотности (по сравнению с математической и естественнонаучной). В 2003–2012 гг. оно имело тенденцию к росту, в 2015 г. существенно снизилось в отношении всех трех направлений, но в 2018 г. снова возросло (рис. 3).

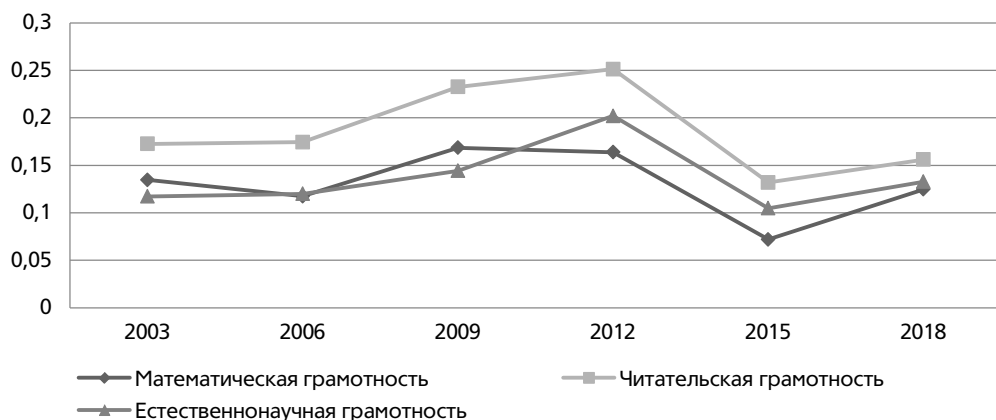


Рис. 3. Динамика неравенства возможностей

Вклад семейного бэкграунда в неравенство возможностей в отношении математической грамотности очень велик, при этом практически одинаково важны как экономический, так и образовательно-культурный компоненты. Также велика роль пространственного фактора, причем его значимость имеет тенденцию к росту. Роль кадрового обеспечения школы невелика, но тяготеет к нарастанию с 2012 г. (рис. 4).

Для читательской грамотности семейный фундамент очень важен, но заметно меньше, чем для математических достижений. Специфической особенностью является ощутимый вклад фактора пола (от 10 до 25% в разные годы). Роль кадрового обеспечения школы несущественна, но увеличивается в последние годы (рис. 5). В отношении естественнонаучной грамотности картина очень похожа на ситуацию в сфере математики.

Обсуждение. Зафиксированные тенденции роста среднего уровня математической и читательской грамотности и сокращения общего уровня неравенства этих образовательных достижений говорят о том, что подъем происходит за счет «подтягивания отстающих» при отсутствии значительного прогресса у лучших. К такому же выводу с использованием другой методики пришли наши предшественники [Капуза и др., 2017], которые в своей работе дополнительно проводили опрос экспертов в области образования, на основании которого предложено объяснение этого феномена: в сложившейся образовательной системе учителя в большей мере ориентируются на слабых учеников, потому что, во-первых, «наказание» за плохие образовательные результаты серьезнее, чем «поощрение» за

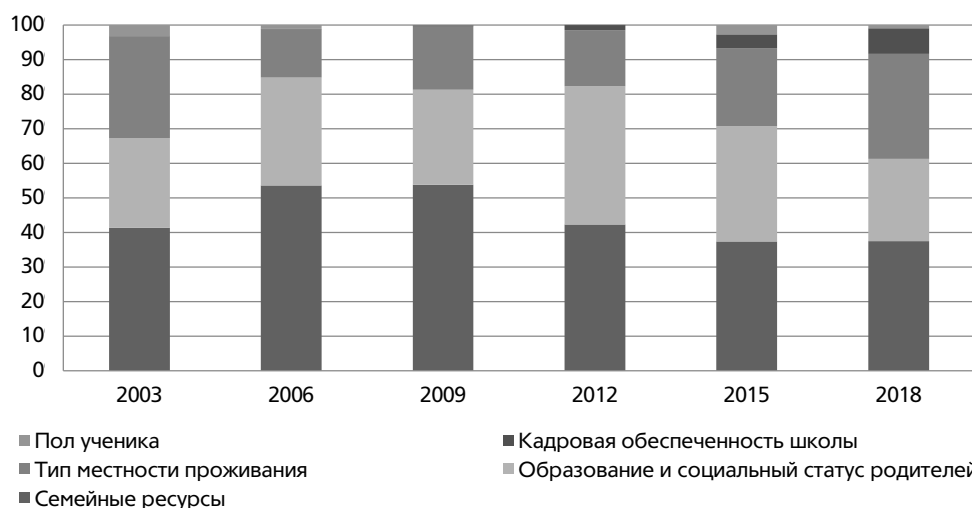


Рис. 4. Вклад факторов-обстоятельств в неравенство возможностей в отношении математической грамотности



Рис. 5. Вклад факторов обстоятельств в неравенство возможностей в отношении читательской грамотности

высокие, во-вторых, преподаватели попросту перегружены, у них нет времени дополнительно заниматься с хорошо успевающими учениками.

Согласно нашим расчетам, домашние ИКТ-ресурсы не оказывают позитивного влияния на уровень грамотности. Это интересно в связи с тем, что прогресс в баллах PISA нередко связывают с развитием Интернета и социальных сетей [Капуза и др., 2017]. Наши расчеты не подтверждают эту гипотезу.

В работе [Кузьмина, Тюменева, 2011] был получен довольно неожиданный результат о значимом обратном влиянии уровня материального благосостояния семьи на образовательные достижения ребенка. Настоящее исследование не подтверждает этот вывод – в наших расчетах фактор домашних материальных ресурсов практически всегда незначим.

Нами выявлено, что неравенство возможностей в отношении читательской грамотности выше по сравнению с математической и естественнонаучной. Такой же вывод приводится в другой работе, где на базе такой же методики выполняется оценка неравенства

образовательных возможностей в разных странах [Luongo, 2015]. По-видимому, эта закономерность носит универсальный характер и не является российской особенностью. Рискнем предположить, что математическая и естественнонаучная грамотность во многом обусловлены врожденными способностями и усилиями ученика, в то время как читательская в большей мере прививается и воспитывается внутри семьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Демидова М.Ю., Ковалева Г.С. Естественно-научная подготовка школьников: по результатам международного исследования PISA // Народное образование. 2011. № 5. С. 157–165.
- Капуза А.В., Керша Ю.Д., Захаров А.Б., Хавенсон Т.Е. Образовательные результаты и социальное неравенство в России // Вопросы образования. 2017. № 4. С. 10–35. DOI: 10.17323/1814-9545-2017-4-10-35.
- Ковалева Г.С. Результаты международного исследования PISA: качество образования // Народное образование. 2011. № 4. С. 193–200.
- Кузьмина Ю.В., Тюменева Ю.А. Читательская грамотность 15-летних школьников: значимость семейных, индивидуальных и школьных характеристик (по данным российской выборки PISA-2009) // Вопросы образования. 2011. № 3. С. 164–191. DOI: 10.17323/1814-9545-2011-3-164-191.
- Пентин А.Ю., Ковалева Г.С., Давыдова Е.И., Смирнова Е.С. Особенности школьного естественнонаучного образования в России в ракурсе международных исследований TIMSS и PISA // Вопросы образования. 2018. № 1. С. 79–109. DOI: 10.17323/1814-9545-2018-1-79-109.
- Попов Д.С., Тюменева Ю.А., Кузьмина Ю.В. Современные образовательные траектории школьников и студентов // Социологические исследования. 2012. № 2. С. 135–143.
- Хавенсон Т.Е., Чиркина Т.А. Образовательный выбор учащихся после 9-го и 11-го классов: сравнение первичных и вторичных эффектов социально-экономического положения семьи // Журнал исследований социальной политики. 2019. Т. 17. № 4. С. 539–554. DOI: 10.17323/727-0634-2019-17-4-539-554.
- Хавенсон Т.Е., Чиркина Т.А. Эффективно поддерживаемое неравенство. Выбор образовательной траектории после 11-го класса школы в России // Экономическая социология. 2018. Т. 19. № 5. С. 66–89. DOI: 10.17323/1726-3247-2018-5-66-89.
- Barone C., Ruggera L. Educational Equalization Stalled? Trends in Inequality of Educational Opportunity between 1930 and 1980 across 26 European Nations // European Societies. 2018. Vol. 20. No. 1. P. 1–25. DOI: 10.1080/14616696.2017.1290265.
- Ersado L., Gignoux J. Egypt: Inequality of Opportunity in Education // Middle East Development Journal. 2017. Vol. 9. No. 1. P. 22–54. DOI: 10.1080/17938120.2017.1294826.
- Ferreira F., Gignoux J. The Measurement of Educational Inequality: Achievement and Opportunity // World Bank Economic Review. 2014. Vol. 28. No. 2. P. 210–246. DOI: 10.1093/wber/lht004.
- Luongo P. Inequality of Opportunity in Educational Achievements: Cross-country and Intertemporal Comparisons. WIDER Working Paper 2015/043. Helsinki: UNU-WIDER, 2015. DOI: 10.35188/UNU-WIDER/2015/928-2.
- Shorrocks A.F. Decomposition Procedures for Distributional Analysis: a Unified Framework Based on the Shapley Value // The Journal of Economic Inequality. 2012. Vol. 11. No. 1. P. 99–126. DOI: 10.1007/s10888-011-9214-z.

Статья поступила: 21.01.21. Финальная версия: 01.03.21. Принята к публикации: 30.07.21.

DYNAMIC ANALYSIS OF ACHIEVEMENT AND OPPORTUNITY INEQUALITY IN RUSSIAN SCHOOL EDUCATION

IBRAGIMOVA Z.F.*, FRANTS M.V.**

*Bashkir State University, Russia; **Ufa State Aviation Technical University, Russia

Zulfiya F. IBRAGIMOVA, Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof., Bashkir State University (badertdinova@mail.ru); Marina V. FRANTS, Cand. Sci. (Techn.), Assoc. Prof., Senior Researcher, Institute of Social and Economic Research of the Ufa Scientific Centre of RAS (tan-marina@mail.ru). Both – Ufa, Russia.

Acknowledgements. The reported study was funded by RFBR, research project No. 19-010-00453.

Abstract. The work deals with studying dynamics of opportunities inequalities in the educational achievements of Russian students. The research is based on the data from the Program for the International Student Assessment (PISA), waves 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018. The methodology is based on a parametric approach and ex-ante definition of equality of opportunity. In the period under review, dynamics of inequality in educational achievements is rather unstable, with a downward trend in all three areas of literacy under consideration. The greatest level of inequality of opportunity is observed in reading. In the period 2003–2012, the opportunity inequality tended to rise. In 2015, the level of opportunity inequality fell significantly in all three literacy areas, but grew again in 2018. Contribution of the family background to the inequality of opportunities in educational achievements of Russian students is very high – approximately 60-80%, that is, economic and cultural aspects are almost equally important. Spatial factor also plays a significant role tending to increase in recent years. A specific feature is significant contribution of gender to the inequality of opportunities for reading literacy.

Keywords: inequality of educational opportunities, individual achievements, circumstances, efforts, PISA.

REFERENCES

- Barone C., Ruggera L. (2018) Educational Equalization Stalled? Trends in Inequality of Educational Opportunity between 1930 and 1980 across 26 European Nations. *European Societies*. Vol. 20. No. 1: 1–25. DOI: 10.1080/14616696.2017.1290265.
- Demidova M.Yu., Kovaleva G.S. (2011) Natural Science Training of Schoolchildren: Based on the Results of the PISA International Study. *Narodnoe obrazovanie* [National Education]. No. 5: 157–165. (In Russ.)
- Ersado L., Gignoux J. (2017) Egypt: Inequality of Opportunity in Education. *Middle East Development Journal*. Vol. 9. No. 1: 22–54. DOI: 10.1080/17938120.2017.1294826.
- Ferreira F., Gignoux J. (2014) The Measurement of Educational Inequality: Achievement and Opportunity. *World Bank Economic Review*. Vol. 28. No. 2: 210–246. DOI: 10.1093/wber/lht004.
- Kapuzha A.V., Kersha Yu.D., Zakharov A.B., Khavenson T.E. (2017) Educational Attainment and Social Inequality in Russia: Dynamics and Correlations with Education Policies. *Voprosy obrazovaniya* [Educational Studies Moscow]. No. 4: 10–35. DOI: 10.17323/1814-9545-2017-4-10-35. (In Russ.)
- Khavenson T., Chirkina T. (2018) Effectively Maintained Inequality: The Choice of Postsecondary Educational Trajectory in Russia. *Ekonomicheskaya sotsiologiya* [Journal of Economic Sociology]. Vol. 19. No. 5: 66–89. DOI: 10.17323/1726-3247-2018-5-66-89. (In Russ.)
- Khavenson T., Chirkina T. (2019) Student Educational Choice after the 9th and 11th Grades: Comparing the Primary and Secondary Effects of Family Socioeconomic Status. *Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki* [The Journal of Social Policy Studies]. Vol. 17. No. 4: 539–554. DOI: 10.17323/727-0634-2019-17-4-539-554. (In Russ.)
- Kovaleva G.S. (2011) Results of the PISA International Study: Quality of Education. *Narodnoe obrazovanie* [National Education]. No. 4: 193–200. (In Russ.)
- Kuzmina Yu.V., Tyumeneva Yu.A. (2011) Reader's Literacy of 15-year-olds: The Importance of Family, Individual and School Characteristics (According to the Russian Sample PISA 2009). *Voprosy obrazovaniya* [Educational Studies Moscow]. No. 3: 164–191. DOI: 10.17323/1814-9545-2011-3-164-191. (In Russ.)
- Luongo P. (2015) Inequality of Opportunity in Educational Achievements: Cross-country and Intertemporal Comparisons. *WIDER Working Paper 2015/043*. Helsinki: UNU-WIDER DOI: 10.35188/UNU-WIDER/2015/928-2.
- Pentin A.Yu., Kovaleva G.S., Davydova E.I., Smirnova E.S. (2018) Science Education in Russia According to the Results of the TIMSS and PISA International Studies. *Voprosy obrazovaniya* [Educational Studies Moscow]. No. 1: 79–109. DOI: 10.17323/1814-9545-2018-1-79-109. (In Russ.)
- Popov D.S., Tyumeneva Yu.A., Kuzmina Yu.V. (2012) Modern Educational Trajectories of High School and University Students. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 2: 135–143. (In Russ.)
- Shorrocks A.F. (2012) Decomposition Procedures for Distributional Analysis: A Unified Framework Based on the Shapley Value. *The Journal of Economic Inequality*. Vol. 11. No. 1: 99–126. DOI: 10.1007/s10888-011-9214-z.

Received: 21.01.21. Final version: 01.03.21. Accepted: 30.07.21.

Ю.В. ЗИНЬКИНА, С.Г. ШУЛЬГИН, К.Е. НОВИКОВ, А.В. КОРОТАЕВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ В КРОССРЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

ЗИНЬКИНА Юлия Викторовна – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Международной лаборатории демографии и человеческого капитала (juliazin@list.ru); ШУЛЬГИН Сергей Георгиевич – кандидат экономических наук, зам. заведующего той же лаборатории (sergey@shulgin.ru); НОВИКОВ Кирилл Евгеньевич – кандидат философских наук, научный сотрудник Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара (kenovikov@yandex.ru); КОРОТАЕВ Андрей Витальевич – доктор исторических наук, профессор, заведующий Лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации, Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики»; ведущий научный сотрудник (akorotayev@gmail.com). Все – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Москва, Россия.

Аннотация. Авторы исследуют влияние формального образования на ценностные установки и выделяют универсалии среди эффектов воздействия, наблюдаемые во всех регионах мира с использованием многофакторной модели на данных семи волн Всемирного обследования ценностей. Рассмотрены шесть подвыборок стран – ОЭСР, Восточная Европа, Латинская Америка, Ближний Восток и Северная Африка, Африка южнее Сахары, Восточная и Юго-Восточная Азия. Выявлены универсальные эффекты: по мере роста образования респондентов растет их интерес к политике, вовлеченность в социальные организации и готовность участвовать в политике. Повышается толерантность к проживанию по соседству с людьми иных расы, религии и к проявлениям свободы выбора. Возрастает приверженность ценностям гендерного равенства и эмансипации детей. У более образованных респондентов снижается религиозность. Такое количество универсалий позволяет утверждать, что на ценности влияет не только специфический социальный контекст, в котором приобретает образование, но и уровень образования как таковой, что поддерживает когнитивно-психологическую теорию образования.

Ключевые слова: ценностные установки • уровень образования • влияние образования на ценности • постматериалистические ценности • социальная активность • участие в политике • эмансипация детей • гендерное равенство • религиозность

DOI: 10.31857/S013216250014147-4

Введение. Существует несколько парадигм, к которым можно обратиться при изучении того, как образование влияет на ценностные установки. Неомарксистский подход рассматривает систему образования как обслуживающую интересы господствующих классов, ценности которых транслирует интеллигенция [Грамши, 1991; Альтюссер, 2011; Бурдье, Пассрон, 2007]. Странники когнитивно-психологической теории полагают, что образование развивает интеллект и способности к критическому мышлению, что позволяет усвоить сложные идеи, связанные с идеалами Просвещения [Stember, 1961; Selznick, Steinberg, 1969; Nunn et al., 1978; Lipset, Raab, 1978]. Другие подчеркивали, что образование развивает коммуникативные способности, позволяя усваивать новые идеи и наделяя человека эмпатией и т.п. [Altmeyer, 1988].

Согласно теории, предложенной Г. Китшелтом, ценности вырабатываются под воздействием не только образования, но и жизненного опыта, связанного с профессиональной деятельностью [Kitschelt, 1994; Kitschelt, Rehm, 2014]. Хорошо образованный человек автоматически не становится либералом, но находит высокооплачиваемую работу в компании, ориентированной на рынок. Здесь он вступает в ряды адептов свободного рынка и противников всякого рода предрассудков и дискриминаций. Однако перечисленные теории не объясняют, что случится, если в процессе обучения или последующей профессиональной деятельности образованные люди не столкнутся с либеральной идеологией или обстоятельства не побудят их следовать ее установкам.

Согласно теории социализации, восходящей к идеям Вебера, Сорокина и Дьюи, люди, получающие образование в нелиберальной среде, вынуждены приспосабливаться к господствующим ценностям, чтобы преуспеть. Ценности, усваиваемые в образовательных учреждениях, зависят от политической системы в стране.

Дж. Селзник и С. Стейнберг в свое время отмечали, что идеалы Просвещения, включая толерантность, равенство и рационализм, транслируются сферой образования лишь в тех странах, где они стали частью официальной идеологии [Selznick, Steinberg, 1969]. Соответственно в государствах с иной идеологией транслируются совсем иные ценности. Значит говорить, что с повышением уровня образования человек становится бóльшим либералом, как минимум опрометчиво. Много позднее М. Коендерс и П. Шиперс также пришли к выводу, что образование отражает идеалы правящего режима. При этом они заметили, что переход к демократии не дает мгновенного эффекта. Толерантность к национальным меньшинствам и запрос на демократические ценности растут в обществах, где демократия существует в течение продолжительного времени [Coenders, Scheepers, 2003].

Современные исследования также позволяют предполагать, что основную роль в принятии тех или иных ценностей играет не уровень образования как таковой, а идеалы группы, в которой социализируется получающий образование. Т. Райчаудхури показала, что американцы азиатского происхождения склонны голосовать за демократов, поскольку в учебных заведениях попадают в среду, поддерживающую эту партию [Rauchaudhuri, 2018]. Б. Горман, И. Накви и К. Курзман пришли к выводу, что образованные люди в богатых странах действительно обычно поддерживают демократические и либеральные ценности, а в бедных – необязательно [Gorman et al., 2019].

Заметное разнообразие наблюдается и в результатах исследований влияния образования на отдельные ценностные установки. Например, уровень доверия оказывается практически всегда универсально выше у более образованных индивидов [Knack, Keefer, 1997; Glaeser et al., 2000; Alesina, Ferrara, 2000], хотя масштаб влияния образования на уровень доверия различается от одной страны к другой [Wang, Gordon, 2011]. При этом уровень доверия политическим институтам у них может оказываться ниже по сравнению с менее образованными индивидами [Döring, 1992; Wang, Gordon, 2011]. А. Хаквердян и К. Мэйн, в частности, утверждают, что в коррумпированных обществах люди с более высоким уровнем образования меньше доверяют институтам, чем менее образованные индивиды, а в обществах с низким уровнем коррупции – наоборот [Hakhverdian, Maune, 2012].

В настоящей статье мы ставим цель систематически исследовать отличия в ценностных установках более образованных индивидов и выделить набор универсальных эффектов образования на ценностные установки, наблюдаемых во всех регионах мира.

Данные и методы. Рассматривается многофакторная модель, где переменные, описывающие ценности, зависят от переменной образования (численное значение от 1 до 8) и контролируются переменные возраста и когорты, пол респондентов, семейное положение (категориальная переменная), положение на рынке труда/занятость (категориальная переменная), уровень дохода (численная переменная), также вводится контроль на все страны-волны с помощью соответствующих фиктивных переменных.

Переменная образования описывается восемью уровнями: 1) неполное начальное образование; 2) завершённое (обязательное) начальное образование; 3) неполная средняя

школа: техническое/профессиональное образование/(обязательное) начальное образование и базовая профессиональная квалификация; 4) полная средняя школа: технический/профессиональный тип/среднее, среднее профессиональное образование; 5) неполное среднее: университетский подготовительный тип/среднее, промежуточная общая квалификация; 6) полное среднее: подготовительный тип/полное среднее, сертификат уровня зрелости; 7) некоторое высшее образование без диплома/высшее образование – третичный сертификат нижнего уровня; 8) университет с дипломом/высшее образование – высший уровень третичного сертификата.

В качестве базовой используется логистическая модель объяснения связи между независимыми переменными (могут быть как непрерывными, так и категориальными) и зависимой бинарной переменной (т.е. когда имеется два варианта ответов). Рассчитывается коэффициент соотношения шансов, который показывает, насколько увеличивается вероятность выбора одного из двух ответов с ростом уровня образования респондента.

Для объяснения связи между несколькими независимыми переменными и зависимой ординальной переменной используется порядковая логистическая модель. Для всех анализируемых переменных рассчитываются также МНК оценки модели по влиянию образования, полученные с помощью модели множественной линейной регрессии.

Для МНК модели спецификация уравнения приведена ниже:

$$Value = \beta_0 + \beta_1 education + \beta_2 age + \beta_3 cohort + \beta_4 sex + \beta_5 income + \sum_{m=2}^8 \gamma_m D_m + \sum_{l=2}^8 \delta_l D_l + \sum_{cw=2}^{45} \mu_{cw} D_{cw} + e, \quad (1)$$

где *Value* в МНК оценках – это ответ респондента относительно его представления о ценностях. В логистической и порядковой логистической модели *Value* – это вероятность выбора соответствующего ответа респондентом; *education, age, cohort, sex, income* – переменные, описывающие образование, возраст, когорту, пол и доход для каждого респондента; *D_m, D_l, D_{cw}* – фиктивные (дамми) переменные для соответствующих уровней семейного положения, положения на рынке труда и принадлежности к одной из страно-волн; $\beta, \gamma, \delta, \mu$ – коэффициенты уравнения регрессии, численные оценки которых получаются в результате оценки данной модели на данных.

Мы оцениваем модели (1), (2) и (3) для шести региональных подвыборок из экономически развитых стран-членов ОЭСР с высоким уровнем дохода (подгруппа развитых стран); Восточной Европы (включая Россию); Латинской Америки; Ближнего Востока и Северной Африки; Африки южнее Сахары; Восточной и Юго-Восточной Азии. Списки стран, входящих в каждый из регионов, и годы проведенных в них опросов WVS представлены в таблице.

Результаты и обсуждение. Анализ позволил выделить целый ряд универсально наблюдаемых эффектов влияния образования на ценности. В частности, более образованные респонденты демонстрируют более высокий уровень участия в разных общественных организациях, в том числе политических. Политика начинает играть большую роль в их жизни, возрастает готовность к политическим действиям, при этом универсально возрастает одобрение демократии и ухудшается мнение о правлении военных или сильного лидера.

Так, в странах ОЭСР рост образования коррелирует с социальной и политической активностью, проявляющейся в участии в различных организациях: профессиональных (A104), организациях сферы искусства (A100), благотворительных (A105), экологических (A103), спортивных (A099) и иного типа (A106) структурах. А в странах Восточной Европы, равно как и Ближнего Востока и Северной Африки, Африки южнее Сахары, Восточной и Юго-Восточной Азии, – и в деятельности политических партий (A102). В Латинской Америке картина практически та же, образованные респонденты из этого региона, кроме прочего, проявляют большую активность в профсоюзах (A101) и иных (A106) организациях. В ОЭСР, как и в Восточной Европе, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки, значительно повышается интерес к политике (E023), готовность участвовать в мирных демонстрациях (E027) и бойкотах (E026), подписывать петиции (E025); более образованные респонденты чаще оказываются активными участниками политических партий (A102).

Таблица

Страны и страно-волны в каждой из шести региональных подвыборок

Регион	Страны и страно-волны
ОЭСР 16 стран 56 страно-волн 78 102 респондента	Австралия (1981, 1995, 2005, 2012, 2018), Канада (1990, 2000, 2006), Финляндия (1981, 1996, 2005), Франция (2006), Германия (1997, 2006, 2013, 2018), Израиль (2001), Италия (2005), Япония (1981, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2019), Нидерланды (2006, 2012), Новая Зеландия (1998, 2004, 2011, 2020), Норвегия (1996, 2007), Испания (1990, 1995, 2000, 2007, 2011), Швеция (1982, 1996, 1999, 2006, 2011), Швейцария (1989, 1996, 2007), Великобритания (1998, 2005), США (1982, 1990, 1995, 1999, 2006, 2011, 2017)
Восточная Европа 22 страны 52 страно-волны 64 760 респондентов	Албания (1998, 2002), Беларусь (1990, 1996, 2011), Босния и Герцеговина (1998, 2001), Болгария (1997, 2005), Хорватия (1996), Чехия (1991, 1998), Эстония (1996, 2011), Греция (2017), Венгрия (1982, 1998, 2009), Латвия (1996), Литва (1997), Македония (1998, 2001), Молдова (1996, 2002, 2006), Черногория (1996, 2001), Польша (1989, 1997, 2005, 2012), Румыния (1998, 2005, 2012, 2018), Россия (1990, 1995, 2006, 2011, 2017), Сербия (1996, 2001, 2017), Словакия (1990, 1998), Словения (1995, 2005, 2011), Украина (1996, 2006, 2011), Югославия, Сербия и Черногория (2005)
Латинская Америка 17 стран 53 страно-волны 74 341 респондент	Аргентина (1984, 1991, 1995, 1999, 2006, 2013, 2017), Боливия (2017), Бразилия (1991, 1997, 2006, 2014, 2018), Чили (1990, 1996, 2000, 2006, 2012, 2018), Колумбия (1997, 2005, 2012, 2018), Доминиканская Республика (1996), Эквадор (2013, 2018), Сальвадор (1999), Гватемала (2004, 2020), Гаити (2016), Мексика (1981, 1990, 1996, 2000, 2005, 2012, 2018), Никарагуа (2020), Перу (1996, 2001, 2006, 2012, 2018), Пуэрто-Рико (1995, 2001, 2018), Тринидад и Тобаго (2006, 2010), Уругвай (1996, 2006, 2011), Венесуэла (1996, 2000)
Ближний Восток и Северная Африка 16 стран 40 страно-волн 64 298 респондентов	Алжир (2002, 2014), Египет (2001, 2008, 2013, 2018), Иран (2000, 2007, 2020), Ирак (2004, 2006, 2013, 2018), Иордания (2001, 2007, 2014, 2018), Кувейт (2014), Ливан (2013, 2018), Ливия (2014), Марокко (2001, 2007, 2011), Пакистан (1997, 2001, 2012, 2018), Палестина (2013), Катар (2010), Саудовская Аравия (2003), Тунис (2013, 2019), Турция (1990, 1996, 2001, 2007, 2011, 2018), Йемен (2014)
Африка южнее Сахары 11 стран 25 страно-волн 44 109 респондентов	Буркина-Фасо (2007), Эфиопия (2007, 2020), Гана (2007, 2012), Мали (2007), Нигерия (1990, 1995, 2000, 2011, 2018), Руанда (2007, 2012), Южная Африка (1982, 1990, 1996, 2001, 2006, 2013), Танзания (2001), Уганда (2001), Замбия (2007), Зимбабве (2001, 2012, 2020)
Восточная и Юго-Восточная Азия 18 стран 55 страно-волн 82 467 респондентов	Бангладеш (1996, 2002, 2018), Китай (1990, 1995, 2001, 2007, 2018), Гонконг (2005, 2013, 2018), Индия (1990, 1995, 2001, 2006, 2014), Индонезия (2001, 2006, 2018), Казахстан (2011, 2018), Кыргызстан (2003, 2011, 2020), Макао (2020), Малайзия (2006, 2012, 2018), Мьянма (2020), Филиппины (1996, 2001, 2012, 2019), Сингапур (2002, 2012), Южная Корея (1982, 1990, 1996, 2001, 2005, 2010, 2018), Тайвань (1994, 2006, 2012, 2019), Таджикистан (2020), Таиланд (2007, 2018), Узбекистан (2011), Вьетнам (2020)

Восточноевропейцы, латиноамериканцы, жители Африки южнее Сахары и Восточной и Юго-Восточной Азии кроме перечисленного склонны участвовать и в неофициальных забастовках (E028).

Более образованные респонденты из стран ОЭСР, Восточной Европы и Латинской Америки, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки южнее Сахары, а также Восточной и Юго-Восточной Азии хуже относятся к управлению страной военными (E116) и к наличию сильного лидера в стране (E114), при этом лучше относятся к наличию

демократической политической системы (E117), чаще отмечают, что политика очень важна в их жизни (A004).

Еще одна универсалия – рост толерантности к проживанию рядом с представителями иных рас и религий, к проявлениям свободы выбора, таким как разводы, аборт, что является проявлением постматериалистических ценностей.

В странах ОЭСР и Восточной Европы (A165, A168A), Восточной и Юго-Восточной Азии (A165) более образованные респонденты чаще склонны считать, что большинству людей можно доверять. В странах ОЭСР и Восточной Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, Африки южнее Сахары более образованные респонденты чаще склонны проявлять толерантность в вопросах проживания по соседству с представителями другой расы (A124_02) и другой религии (A124_12, A124_05), национальности (A124_10) (в Восточной Европе), иммигрантами (A124_06), склонны оправдывать самоубийства (F123) (кроме Африки южнее Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки), аборт (F120), разводы (F121), гомосексуализм (F118) (кроме Африки южнее Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки).

В странах ОЭСР наблюдается противоположный остальным регионам тренд в плане роста доверия институтам по мере роста уровня образования – в частности, растет доверие парламенту (E069_07), Евросоюзу (E069_18), государственному аппарату (E069_08), правительству (E069_11), политическим партиям (E069_12), ООН (E069_20), движению женщин (E069_15), прессе (E069_04), но при этом снижается доверие телевидению (E069_10), вооруженным силам (E069_02), крупным компаниям (E069_13). В остальных регионах доверие большинству институтов падает по мере роста образования.

Постматериалистические ценности проявляются и в отношении гендерного равенства – с ростом уровня образования респонденты чаще выражают полное несогласие с тем, что университет важнее для парня, чем для девушки; что мужчины должны иметь больше прав на работу и что они становятся лучшими политическими лидерами (D059, D060, C001_1/3, C001_2/3). Это проявляется во всех исследованных регионах.

Еще одна универсалия просматривается в том, что более образованные респонденты подчеркивают важность права голоса людей в общественных делах, защиты свободы слова (E003_3/4, E003_1/4) и прогресса общества в сторону гуманизма (E005_2/4).

Проявляются и различия в ценностях эмансипации детей – во всех рассмотренных регионах с ростом уровня образования респонденты реже отмечают необходимость воспитания в детях бережливости, послушания, трудолюбия (кроме Восточной Европы), но чаще отмечают важность таких качеств, как чувство ответственности, воображение (кроме Ближнего Востока и Северной Африки), толерантность (кроме Африки южнее Сахары), независимость, настойчивость.

Наблюдается также сдвиг в сторону секулярных ценностей у более образованных респондентов. При этом происходит движение по шкале Инглхарта от традиционно-религиозных к секулярным ценностям – более образованные респонденты из стран ОЭСР, Восточной Европы чаще склонны быть атеистами (F034_2/3, F034_1/3), не в пример представителям Ближнего Востока и Северной Африки реже верят в ад (F053) (кроме Латинской Америки), в бога (F050), меньше доверяют церкви (E069_01). Сдвиг в сторону секулярных ценностей у более образованных респондентов в Африке южнее Сахары выражен несколько слабее, чем в других регионах. Тем не менее и здесь у более образованных респондентов падает доверие к церкви (E069_01), они чаще утверждают, что религия совсем не важна в их жизни (A006).

Выводы. Из выделенных нами категорий ценностей расхождения в направлении влияния образования в различных регионах наблюдаются лишь для доверия различным государственным и общественным институтам, которое возрастает в странах ОЭСР и снижается на остальных территориях по мере роста образования респондентов. Этот результат в значительной степени подтверждает гипотезу, которую высказали А. Хаквердян и К. Мэйн: в коррумпированных обществах индивиды с высоким уровнем образования меньше доверяют институтам, чем индивиды с более низким уровнем образования, а в обществах с

низким уровнем коррупции – наоборот [Hakhverdian, Mayne, 2012]. Впрочем, и здесь есть важное исключение – статистически значимая отрицательная корреляция между уровнем образованности респондентов и доверием вооруженным силам наблюдается во всех подвыборках стран без исключения, а отрицательная корреляция с доверием телевидению не прослеживается только в Африке южнее Сахары.

Такое количество универсалий позволяет утверждать, что влияние образования на ценности существенно выходит за рамки представлений о том, что основную роль в принятии тех или иных ценностей играет не уровень образования как таковой, а ценности группы, в которой социализируется получающий образование. Сам по себе уровень образования также оказывается весьма значимым предиктором принятия целого ряда ценностных установок. Этот результат можно интерпретировать в поддержку когнитивно-психологической теории образования. Универсальный характер влияния формального образования на ценностные ориентации, на наш взгляд, в высокой степени связан с тем, что система формального образования во всех странах мира в настоящее время имеет большое число сходных фундаментальных характеристик [Zinkina et al., 2019].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

- Альтюссер Л. Идеология и идеологические аппараты государства // Неприкосновенный запас. 2011. № 3(77). С. 14–58. [Althusser L. (2011) Ideology and Ideological State Apparatuses. *Neprikosnovennyi zapas* [Emergency Reserve]. No. 3(77): 14–58. (In Russ.)]
- Бурдые П., Пассрон Ж.-К. Воспроизводство: элементы теории системы образования. М.: Просвещение, 2007. [Bourdieu P., Passeron J.-C. (2007) *Reproduction: Elements of Theory of Education System*. Moscow: Prosveshchenie. (In Russ.)]
- Грамши А.Г. Тюремные тетради. М.: Политиздат, 1991. [Gramsci A.G. (1991) *Prison Notebooks*. Moscow: Politizdat. (In Russ.)]
- Alesina A., Ferrara E.L. (2000) The Determinants of Trust. *National Bureau of Economic Research. Working Paper w7621*. DOI: 10.3386/w7621.
- Altmeyer B. (1988) *Enemies of Freedom: Understanding Right-wing Authoritarianism*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Coenders M., Scheepers P. (2003) The Effect of Education on Nationalism and Ethnic Exclusionism: An International Comparison. *Political Psychology*. Vol. 24. No. 2: 313–343. DOI: 10.1111/0162-895X.00330.
- Döring H. (1992) Higher Education and Confidence in Institutions: A Secondary Analysis of the 'European Values Survey', 1981–83. *West European Politics*. Vol. 15. No. 2: 126–146. DOI: 10.1080/01402389208424910.
- Glaeser E.L. et al. (2000) Measuring Trust. *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. 115. No. 3: 811–846. DOI: 10.1162/003355300554926.
- Gorman B., Naqvi I., Kurzman C. (2019) Who Doesn't Want Democracy? A Multilevel Analysis of Elite and Mass Attitudes. *Sociological Perspectives*. Vol. 62. No. 3: 261–281. DOI: 10.1177/0731121418785626.
- Hakhverdian A., Mayne Q. (2012) Institutional Trust, Education, and Corruption: A Micro-macro Interactive Approach. *The Journal of Politics*. Vol. 74. No. 3: 739–750. DOI: 10.1017/S0022381612000412.
- Kitschelt H. (1994) *The Transformation of European Social Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- Kitschelt H., Rehm P. (2014) Occupations as a Site of Political Preference Formation. *Comparative Political Studies*. Vol. 47. No. 12: 1670–1706. DOI: 10.1177/0010414013516066.
- Knack S., Keefer P. (1997) Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-country Investigation. *The Quarterly Journal of Economics*. Vol. 112. No. 4: 1251–1288.
- Lipset S.M., Raab E. (1978) *The Politics of Unreason*. 2nd ed. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Nunn C.Z., Crockett H., Williams J.A. (1978) *Tolerance for Nonconformity*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Raychaudhuri T. (2018) The Social Roots of Asian American Partisan Attitudes. *Politics, Groups, and Identities*. Vol. 6. No. 3: 389–410. DOI: 10.1080/21565503.2018.1494009.
- Selznick G.J., Steinberg S. (1969) *The Tenacity of Prejudice: Anti-Semitism in Contemporary America*. Oxford, UK: Harper & Row.
- Stember C.H. (1961) *Education and Attitude Change*. New York: Institute of Human Relations Press.
- Wang L., Gordon P. (2011) Trust and Institutions: A Multilevel Analysis. *The Journal of Socio-Economics*. Vol. 40. No. 5: 583–593. DOI: 10.1016/j.socrec.2011.04.015.
- Zinkina J. et al. (2019) *A Big History of Globalization*. Cham: Springer.

UNIVERSAL IMPACT OF FORMAL EDUCATION ON VALUE ATTITUDES IN CROSS-REGIONAL PERSPECTIVE

ZINKINA Yu.V.*, SHULGIN S.G.*, NOVIKOV K.E.* **, KOROTAYEV A.V.* ***

*Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Russia; **Gaidar Institute of Economic Policy, Russia; ***National Research University Higher School of Economics, Russia

Julia V. ZINKINA, *Cand. Sci. (Hist.)*, Senior Research Fellow (juliazin@list.ru); Sergey G. SHULGIN, *Cand. Sci. (Econ.)*, Vice-head (sergey@shulgin.ru). Both – International Laboratory of Demography and Human Capital; Kirill E. NOVIKOV, *Cand. Sci. (Philos.)*, Assoc. Prof., Researcher, Gaidar Institute of Economic Policy (kenovikov@yandex.ru); Andrey V. KOROTAYEV, *Dr. Sci. (Hist.)*, Prof., Head of the Laboratory of Monitoring of Risks of Sociopolitical Destabilization, National Research University Higher School of Economics; Leading Researcher, International Laboratory of Demography and Human Capital (akorotayev@gmail.com). All – Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moscow, Russia.

Acknowledgements. The article was prepared as part of the research work under the state assignment of the RANEPА.

Abstract. Cognitive-psychological theory of education expects it to display some universal effects on human rationality and attitudes. However, recent evidence suggests that the impact of education on values depends on the particularities of values in the milieu where education is received. This paper aims to systematically investigate effects of formal education on value attitudes highlighting universals among these effects observed in all regions of the world. For this purpose, we use a multivariate model based on data from seven waves of the World Values Survey. Six subsamples of countries were analyzed including OECD, Eastern Europe, Latin America, the Middle East and North Africa, Sub-Saharan Africa, East and Southeast Asia. Following universal effects were found out: as the education levels of the respondents raises, so does the level of their participation in various social organizations, as well as their interest for politics and willingness to participate in various political actions. Tolerance to living in the neighborhood with people of different race, religion increases, as does tolerance to manifestations of freedom of choice. Commitment to gender equality and child emancipation values grows with education. The more educated respondents also feature decreasing religiosity. Such a row of universally observed effects of education makes it possible to assert that values are influenced not only by specific social contexts in which education is acquired, but also by the level of education itself, – a fact supporting cognitive-psychological theory.

Keywords: values, education level, education effects on values, post-materialistic values, social activity, participation in politics, emancipation of children, gender equality, religiosity.

Received: 11.03.21. Final version: 21.07.21. Accepted: 27.07.21.

А.М. ОСИПОВ, В.В. МАТВЕЕВ, Н.А. МАТВЕЕВА, Т.И. ВОРОНЦОВА

ШКОЛЬНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ: АГЕНТЫ И ЖЕРТВЫ БУМАЖНОГО ПРЕССИНГА

ОСИПОВ Александр Михайлович – доктор социологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия; главный научный сотрудник (osipov.al58@gmail.com); МАТВЕЕВ Вячеслав Викторович – кандидат социологических наук, доцент, заведующий лабораторией социологии (vyacheslav.matveev@novsu.ru). Оба – Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Россия; МАТВЕЕВА Наталья Александровна – доктор социологических наук, профессор Алтайского государственного педагогического университета, Барнаул, Россия (matveeva_n_a@mail.ru); ВОРОНЦОВА Татьяна Ивановна – доктор филологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия (vti2005@yandex.ru).

Аннотация. В статье приведены данные межрегионального комплексного исследования административно-управленческого персонала общеобразовательных школ. Анализируются результаты выборочных опросов, связанных с удовлетворенностью работой в сфере образования и ее отдельными сторонами, данные об объемах «бумажной» работы администраторов школ, в том числе в срезе должностной иерархии. Показано, что избыток и несвойственный миссии образования характер этой деятельности негативно влияют на функционирование общеобразовательных школ.

Ключевые слова: образование • администраторы школ • социально-профессиональная группа • профессиональное самочувствие

DOI: 10.31857/S013216250014215-9

Постановка проблемы. В российской науке растет критика авторитарного бюрократического управления образованием, связанная с концептуальной несостоятельностью стратегии его развития, давно очевидной для ученых [Образование..., 2002; Ильинский, 2002], с кулуарной выработкой долгосрочных решений государственной образовательной политики [Школа..., 2020: 14, 75, 92–93, 104], неудовлетворительными результатами сменяющих друг друга волн «модернизации», «оптимизации» образования [Зборовский, 2011; Осипов, 2019]. Сложившая система управления образованием в России по комплексу признаков приобрела характер бюрократии (власть группы менеджеров, достигших автономии от управляемой отрасли) [Полутин, Мананникова, 2020].

Пока концептуальный арсенал и понятийный аппарат исследований бюрократии, как правило, служит лишь ее общей социально-философской критике. Без четкой расстановки акцентов и исследовательских приоритетов невозможно детально оценить виды, масштабы, издержки бюрократии и социально-портретные характеристики, поведенческие стратегии слоев и групп менеджеров в сфере образования, внутреннюю неоднородность и распределение власти между управленческими уровнями. Так, распространено ложное суждение, что некий «среднестатистический бюрократ» становится коллективным «бенефициаром» сложившегося диктата в образовании. Отсюда – мнение, что ответственность в равной мере делят все менеджеры в системе образования. Верно ли это утверждение?

Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания на выполнение фундаментальной НИР по теме «Анализ инновационных процессов развития системы общего образования, научная и методологическая поддержка» (дополнительное соглашение Минпросвещения России и ФГБОУ ВО «АлтГПУ» № 073-03-2021-043/2).

С опорой на результаты специальных исследований ученые приближаются (во многом благодаря социально-философскому анализу) к пониманию *превращенного и имитационного* характера содержания и организации образовательного процесса в масштабе национальной системы образования, их отчуждения от общественной миссии образования [Тхагапсоев, Сапунов, 2016; Донских, 2013; 2015]. То же относится к сфере науки [Багдасарьян, Сони́на, 2020].

При более внимательном эмпирическом изучении удастся понять социальные технологии этого отчуждения: *бумажный прессинг* (создание перманентного вала обязательной документальной отчетности на индивидуальном и организационном уровнях) и *поддержание профессионально-трудовых перегрузок персонала* (типично полторы-две ставки). Обе технологии вызывают неприятие рядовых работников, не оставляют им сил и времени для творческой самореализации и участия в предусмотренном *Законом об образовании* (ст. 89) государственно-общественном управлении отраслью. Дополнительными инструментами отчуждения стали навязываемые сверху мнимые *вариативность* и *формализованный до абсурда компетентностный подход* [Донских, 2013; 2015; Школа..., 2020: 94–110].

Становятся более понятными *сквозные* черты бюрократического менеджмента в образовании, проявляющиеся одновременно: деперсонализация управления, когда соблюдение документально-процедурных норм оказывается важнее показателей реальной деятельности; закрытость, авторитарность и директивность на основе всевластия (концентрации полномочий) и минимизация возможностей «обратной связи», критики со стороны управляемых уровней и специалистов; отказ от научного управления и диалога с научно-экспертными сообществами; подмена стратегического управления непрерывно обновляемым бюрократическим набором «проектов»; установка на формализацию показателей деятельности отрасли, лишенная обоснования и противоречащая здравому смыслу; уход менеджеров от индивидуальной и коллективной (организационной) ответственности за неэффективное управление, провалы в достижении поставленных целей в отрасли [Осипов, 2020]. Благодаря формальной легитимации и *опривычиванию* этих практик они укореняются в отрасли и в более масштабной системе государственного управления [Школа..., 2020: 59–78, 293–301], кажутся большинству персонала «неустранимыми».

Для полноты картины предстоит реконструировать черты отдельных групп: педагогический персонал; специалисты, не занятые обучением, но ведущие работу, требующую среднего или высшего образования (психологи, социальные педагоги, логопеды, сотрудники канцелярии и бухгалтерии и пр.); работники, сочетающие деятельность педагога (специалиста) и администратора (завучи, заместители директора школы); директора школ, несущие персонально административную и юридическую ответственность за деятельность организации.

Ниже мы подробнее остановимся на чертах двух последних групп в данном перечне¹. Каково место администратора школы в модели управления образованием на локальном и государственном уровне? Испытывает ли он на себе *бумажный прессинг*, стремится ли выйти из-под него? Переживает ли он состояние *бумажного геноцида*, как и большинство учителей? Видит ли перспективы выхода из кризиса образовательной политики?

Предположительно, администраторы школ испытывают меньше неудобств и прессинга со стороны вышестоящей бюрократии, чем учителя. Они – часть этого аппарата и пользуются некоторыми его привилегиями. Но так ли это в действительности? На чьей они стороне?

Профессиональное и социальное самочувствие администраторов. Эмпирические данные, положенные в основу статьи, получены в межрегиональном комплексном исследовании 2018–2020 гг. с применением выборочных анкетных опросов, хронометража нагрузок, экспертных и глубинных интервью, статистического анализа, контент-анализа ведомственных документов [Школа..., 2020]. База данных опроса включает интервью с

¹ Далее в тексте административно-управленческий персонал школ – администраторы.

186 администраторами школ со средним стажем в 17 лет и возрастом 47 лет (156 директоров и 30 заместителей) в трех регионах: Санкт-Петербурге (30%), Новгородской области (51%), Алтайском крае (19%). Выборка соответствует совокупности занятых на административных должностях в общеобразовательных школах по полу, возрасту, стажу в должности.

В вопросе об общей удовлетворенности работой в основных должностных группах персонала применена зеркальная шкала вариантов ответов (табл. 1), она говорит о преобладании положительных оценок, но в этом общем преобладании невелика доля абсолютной удовлетворенности.

Таблица 1

Удовлетворенность школьного персонала своей работой в системе образования (в %)

Должностные категории школьного персонала	Ответы на вопрос: «Удовлетворены ли вы в целом своей работой в системе образования?»				
	да	скорее да	скорее нет	нет	затрудняюсь ответить
Весь массив	21,9	48,2	16,2	1,6	12,0
Администраторы	30,0	53,0	13,6	1,1	2,3
Учителя	20,2	49,6	16,7	1,8	11,6
Специалисты	38,7	35,5	12,9	0	12,9

Общая удовлетворенность работой свойственна каждому третьему администратору. Совокупная неудовлетворенность охватывает седьмую их часть. Среди должностных групп в школе администраторы больше всех удовлетворены работой, более всего: материальным стимулированием – 52% (соответственно у учителей и специалистов – 40 и 36%) и возможностями служебного роста – 88% (у учителей и специалистов по 65%). Именно этими сторонами обеспечивается их профессиональная стабильность, корпоративный дух, приверженность дисциплине в управленческой иерархии. По удовлетворенности другими составляющими трудовой деятельности (отношениями в коллективе, моральным стимулированием, режимом работы, оснащенностью техникой и литературой) администраторы уступают учителям и специалистам.

На распутье: оценка образовательной политики государства. Половина администраторов оценивает развитие российского образования критически: четверть полагает, что образование находится в кризисе; столько же признает, что отрасль движется в неверном направлении. Другая половина, возможно, разделяя ответственность за неудовлетворительные результаты управления, занимает более лояльную позицию и говорит, что в этом развитии есть плюсы и минусы (32,7%), нерешенные проблемы (20%). Успешным в целом развитие отрасли называет каждый сотый администратор.

Восприятие образовательной политики также критично: неверной ее считает половина администраторов (51%), проявляют лояльность, признавая, что этой политике «не удастся решить многие проблемы», 35%, и в целом правильной – 3%. Многие уклоняются от ее оценки даже в анонимном опросе (12%).

Итак, администраторы занимают более приверженную, в сравнении с учителями, позицию в школах и чаще лояльны к недостаткам сложившейся модели управления образованием. Однако на деле такая приверженность неустойчива, что видно по оценке недостатков макроуправления образованием.

Обсуждая острые проблемы школьного образования, администраторы, как и рядовые учителя и специалисты, выдвигают на первое место избыточную бумажную работу (в этих группах соответственно 76, 75 и 78%). Столь же остро воспринимается недофинансирование государством (соответственно 75, 77 и 77%). В таких условиях становится крайне острой проблема трудовых перегрузок (соответственно 73, 60 и 63%).

Таблица 2

Недельная длительность бумажной работы администраторов (в %)

Категории администраторов	Длительность (час.)					
	1–5	6–10	11–15	16–20	21–30	свыше 30
Весь массив	13,0	15,3	11,7	20,0	23,5	16,5
Городские школы	11,5	13,4	9,6	29,0	19,2	17,3
Сельские школы	15,2	18,2	15,2	6,0	30,0	15,2

Большинство администраторов ведут бумажную работу ежедневно (91%), но тратят на нее разный объем времени (табл. 2). При средней длительности бумажной работы в неделю, равной 17,3 часа, выделяются три группы: до десяти часов (28%), 10–20 часов (32%), свыше 20 часов (40%). Столь заметные различия в продолжительности бумажной работы связаны с неодинаковой технической оснащенностью школ и разными уровнями ИКТ-навыков персонала. Но эти различия, как показали экспертные интервью, определяются также инициативностью и успешностью передовых руководителей как в деле оптимизации внутреннего документооборота, так и в сопротивлении вышестоящим органам, навязывающим несвоевременную отчетность. Однако такое «повстанчество» некоторых администраторов вынуждает их впоследствии отстаивать свой статус.

Школы, обслуживающие сельскую местность. В штате таких образовательных заведений, как правило, нет сотрудников канцелярии, способных взять на себя часть бумажной работы (хранение, архивирование, получение, отправка, распечатка, подготовка типовых документов – справок, характеристик, ответов на письма и т.п.). У директоров сельских школ обычно меньше заместителей, чем у городских, они испытывают больший бумажный прессинг, выливающийся в среднем в 18 часов бумажной работы в неделю. Среди них больше доля тех, кто занят ею по 20 и более часов (соответственно 46 и 37%).

Бумажная работа администраторов сельских школ специфична: большую ее долю составляет документальное оформление доставки детей из окрестных деревень в школу и обратно, подгонка расписания уроков и внеурочных занятий, питания под логистические и технические возможности, в которые нередко вмешиваются погода, ресурс техники, здоровье водителей школьных автобусов.

Сельско-городская специфика бумажных нагрузок администраторов подтверждается в межрегиональном аспекте: в Новгородской области, регионе с наименьшей численностью и плотностью населения, средние показатели бумажных нагрузок выше, чем в мегаполисе (Санкт-Петербург). Объяснять это обстоятельство можно неодинаковыми уровнями финансирования школ: чем более урбанизирована территория, тем больше финансовых ресурсов (бюджетных и внебюджетных ассигнований, спонсорской поддержки и др.). Соответственно, штатная структура позволяет лучше обеспечить кадрами и техникой бумажную работу, реально снижая ее объемы и тяготы для администраторов. При этом связанные с уровнями урбанизации различия в оценках бумажного прессинга не устраняют общих перекосов в информационных потоках в школьной системе страны.

Администраторы как агенты бумажного прессинга. Лишь каждый восьмой администратор считает, что ругать и наказывать учителей и сотрудников за случайные, ненамеренные ошибки в бумажной работе не надо, ведь речь идет о «бесполезных бумагах». Две трети школьных администраторов предпочитают ограничиться устным замечанием, предупреждением, если речь идет о действительно важных документах. И лишь четверть администраторов склоняется к необходимости наказывать всех допустивших неточности в документах.

В корпусе администраторов в целом сложилась лояльность к «нарушителям» как признание ненужности и избыточности большей части бумажной работы. В личностном плане большинство школьных администраторов, за исключением тех, кто ориентирован на служебный рост и работу в органах управления, несомненно ближе к массе учителей своих школ, чем к отъявленным бюрократам.

В типичной муниципальной школе нет определенной шкалы наказаний за нарушение «бумажной дисциплины». Администраторы стремятся воздействовать на таких нарушителей устно, тет-а-тет. Финансовые наказания практически отсутствуют в распоряжении школьных администраторов, однако сами они могут попадать под штрафы, налагаемые вышестоящим органом управления или контролирующим ведомством².

Увеличение объемов отчетности, казалось бы, должно вести к улучшению управления школьным образованием. Однако большинство школьных администраторов считает, что этого не происходит ни на уровне учреждения, ни муниципальной, региональной и всероссийской школьной системы.

Вероятно, личные впечатления школьных администраторов и их информированность о характере и результатах образовательной политики не позволяют им верить в улучшение управления, особенно принимая во внимание слабость или отсутствие обратной связи топ-менеджмента с нижестоящими уровнями отрасли и уже отмеченную ранее идущую сверху информационную закрытость в ведомстве. В этом плане критичность администраторов городских школ выше, чем среди коллег из сельских школ, и достигает пика в мегаполисе.

«Тяжела ты, шапка бюрократа». Администраторы школ, будучи частью отраслевой бюрократии, несут те же тяготы бумажной работы, что и остальные группы персонала [Школа..., 2020: 320–337]. Они как низовые агенты бумажного прессинга сами испытывают перекося в распределении бумажной работы. Лишь каждому десятому из них удастся равномерно распределять ее по времени, каждый четвертый признает невозможность справиться с бумажным прессингом, две трети периодически сталкиваются с «завалами». Такая ситуация характерна для сельских и городских школ всех регионов. Три четверти администраторов школ считают, что объемы отчетности от школы за 2–3 года, предшествующие опросу (2016–2018), возросли, что усилило противоречия бумажной работы [там же: 262–272], осложнило функции школьного менеджмента и повысило трудовые нагрузки на администраторов школ и муниципальные и региональные органы управления образованием.

Как справляются администраторы российских школ с возросшей бумажной работой, с обеспечением ее планомерности? Возраст таких специалистов заметно дифференцирует мнения о ее планомерности и равномерности: среди молодых администраторов (25–30 лет) доля тех, кто считает равномерным ее распределение, в четыре раза больше в сравнении с более старшими коллегами (соответственно 33 и 8%).

«Бумажная нагрузка» влияет на другие обязанности администраторов: более трех четвертей (76%) признали, что исполнение всех требований наносит ущерб делу в целом. В преобладающей возрастной группе администраторов (30–40 лет) подобные заявления достигают критического уровня (92%), усиливается нехватка времени на внутришкольные дела, раздражение из-за бумажной работы и латентное сопротивление ей.

При общих небольших различиях, связанных с демографическими, региональными и профессиональными признаками администраторов, в их массе есть заметные отклонения в оценках того, чем именно *бумажная работа* мешает их деятельности. Подавляющее большинство считает, что она не оставляет достаточного времени для работы с детьми (94%), усиливает зависимость школы от вышестоящих органов и сокращает возможности творчества (62–79%), делает работников слишком зависимыми от начальства и нарушает отношения между ними (31–33%).

Последнее мнение не доминирует, но все же свойственно трети школьных администраторов, что настораживает, подтверждая сходное мнение подавляющего большинства

² Директор школы решением руководителя муниципального органа управления образованием может быть лишен ежеквартальной премии, размер которой не превышает трети месячной оплаты его труда.

Таблица 3

Чем мешает бумажная работа в школе (в %)

Суждение	Согласие/несогласие с суждением		
	да	нет	затрудняюсь ответить
Она оставляет мало времени на работу с детьми, обучающимися	94,3	3,4	2,3
Она сокращает возможности творчества в системе образования	78,8	11,7	9,5
Она делает школу слишком зависимой от вышестоящих органов	62,0	20,2	17,8
Она делает работников слишком зависимыми от начальства	32,5	44,1	23,4
Она нарушает нормальные отношения между работниками	31,3	53,7	15,0

учителей: перекосы бумажной работы разрушают позитивные отношения в педагогических коллективах. Остановимся на этом подробнее.

Признание разрушительного влияния *бумажного прессинга* на отношения коллег характерно для молодых (начинающих) администраторов, но еще более характерно для городских школ (доминируя в мнениях администраторов школ мегаполиса), имеющих сложную иерархическую организацию и формализованный стиль работы. Сельские школы с небольшими учительскими коллективами, как правило, многие годы живут и работают как одна сплоченная трудовая семья, нередко соседствуют и ведут приусадебное хозяйство в одном селе без строгой должностной иерархии, с личностной открытостью и взаимовыручкой, менее подвержены влиянию бюрократически формализованной бумажной работы.

Негативный тренд бюрократического управления состоит в неуклонном росте объемов бумажной работы, о чем говорят три четверти администраторов. Однако лишь каждому шестому из них удается хорошо спланировать работу с документами, а 80% признают недостатки в этом планировании. Растет и прессинг в нерабочее время через мессенджеры.

Техническое оснащение многих школ не отвечает нуждам администраторов. Далеко не в каждой из них есть рабочие места администраторов с офисной техникой. Все встают в очередь к компьютеру с интернет-подключением, чтобы в срок выполнить задания «сверху».

Методология бумажной работы тоже вызывает упреки: более половины ее не нужна никому и дублируется; формы часто меняются при отсутствии четких инструкций, образцов и обучения по заполнению; она не подвергается анализу и не применяется в управленческих решениях. От администраторов требуется быть юристами, методистами, переговорщиками, маркетологами, кадровиками, рекламщиками, специалистами по логистике, безопасности и статистике, продвинутыми пользователями компьютеров и любой офисной техники, что далеко от их должностных обязанностей.

Есть ли выход? Пятая часть администраторов считает, что выход возможен, каждый второй – откровенный пессимист. Треть затрудняется с ответом. Сильнее пессимизм и затруднения среди молодых администраторов, в городских школах и Санкт-Петербурге (табл. 4).

Пессимизм администраторов коррелирует с признаками их выгорания, сомнением в правильности выбора профессии и полезности своего труда, с неудовлетворенностью работой, готовностью уйти из школы. Среди причин, склоняющих их к последнему решению, на первом месте – возраст, ухудшение здоровья (37%), на втором – нервная система не выдерживает (35%), на третьем – *бумажный вал* стал невыносим (25%). Надо подчеркнуть, что ссылки администраторов на ухудшение своего здоровья и нервное перенапряжение в решающей степени связаны именно с неизбывным *бумажным прессингом*. И лишь вслед за этими мотивами идут экономические (невозможность жить на предлагаемую зарплату – 22%, наличие более выгодного предложения – 8%) и семейные

Таблица 4

**Мнение администраторов о возможности выхода системы образования
из-под бумажного вала (в %)**

Группы респондентов	Выход из-под бумажного вала...		
	да, возможен	вряд ли возможен	затрудняюсь ответить
26–30 лет	–	66,6	33,4
31–40 лет	8,3	50,0	41,7
41–50 лет	19,5	51,2	29,3
51–60 лет	22,2	48,1	29,7
61 год и старше	50,0	33,3	16,7
Городская местность	13,8	51,7	34,5
Сельская местность	30,3	45,4	24,3
Санкт-Петербург	7,1	60,7	32,1
Новгородская область	31,2	43,8	25,0
Алтайский край	23,4	44,7	31,9

обстоятельства (18%). Только 3% отмечают неважные отношения на работе как причину возможного ухода³.

Очередной «жест» отраслевого топ-менеджмента в виде рекомендательного письма о сокращении учительской отчетности от нынешних 95 до 5 видов документов⁴ воспринимается администраторами только с грустной иронией. Их каждодневная включенность в жизнь школ, их опыт, осведомленность о каналах и механизмах власти, правилах и перекосах информационных потоков заслуживают того, чтобы отнестись к их мнению по обсуждаемой проблеме с доверием и тревогой.

Заключение. Администраторы школ являются низовым эшелоном образовательной бюрократии, который практически применяет бумажный прессинг к рядовому персоналу. Тем не менее в этом эшелоне господствует скепсис в отношении нынешней образовательной политики, неверие в целесообразность действий вышестоящего менеджмента.

Будучи дисциплинированными и надежными, подчиняясь бюрократическим правилам бумажного прессинга, администраторы школ выступают за сохранение и развитие российской школьной системы, за спасение учительства от *бумажного геноцида*. Они понимают, что бюрократическое управление российским образованием наносит ущерб миссии образования в обществе, качеству работы с детьми, возможностям творчества в этой интеллектуальной по своей природе сфере, профессиональным отношениям ее работников.

Слабость школьных администраторов состоит в отсутствии у них концептуального понимания нынешней ситуации, перспективы и стратегии преодоления бюрократии в отечественном образовании. Администраторы – исполнители чужой политической воли, их масса не «вооружена идейно», в том числе и из-за дефицита социологического понимания образования, его институциональных функций.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Багдасарьян Н.Г., Сониная Л.А. Мнимые единицы публикационной активности в обществе потребления // Высшее образование в России. 2020. Т. 29. № 12. С. 86–94. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-12-86-94.

Донских О.А. Дело о компетентностном подходе // Высшее образование в России. 2013. № 5. С. 36–45.

³ Респонденты могли назвать до трех причин вероятного ухода из профессии [Школа..., 2020: 306].

⁴ Совместное письмо министра просвещения РФ С.С. Кравцова и руководителя Рособнадзора А.А. Музаева «О снижении документационной нагрузки учителей» (исх. СК-578/08, исх. 01-350/13-01 от 18.12.2020 г.). URL: <https://www.novsu.ru/file/1698179> (дата обращения: 20.07.2021).

- Донских О.А. Дело о стандартах // Высшее образование в России. 2015. № 6. С. 36–43.
- Зборовский Г.Е. Уроки неудавшейся модернизации образования // Социальная стратегия российской системы образования: материалы международной научной конференции – Третьих Санкт-Петербургских социологических чтений, 14–15 апреля 2011 г. / Отв. ред. А.В. Воронцов. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2011. С. 39–46.
- Ильинский И.М. Образовательная революция. М.: МГСА, 2002.
- Образование, которое мы можем потерять: сб. научных статей / Под ред. В.А. Садовниченко. М.: МГУ, 2002.
- Осипов А.М. Бюропатология и бумажный прессинг в российском образовании // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология. 2020. Т. 20. № 4. С. 953–966. DOI: 10.22363/2313-2272-2020-20-4-953-966.
- Осипов А.М. Рыночные механизмы – социальный тупик российского образования // Высшее образование в России. 2019. Т. 28. № 5. С. 62–73. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-5-63-72.
- Полутин С.В., Мананникова Ю.В. Процессы бюрократизации и дебюрократизации учительского труда и их влияние на качество профессиональной деятельности педагогов // Интеграция образования. 2020. Т. 24. № 1. С. 75–97. DOI 10.15507/1991-9468.098.024.202001.075-097.
- Тхагапсоев Х.Г., Сапунов М.Б. Российская образовательная реальность и ее превращенные формы // Высшее образование в России. 2016. № 6. С. 87–97.
- Школа в бумажной пучине: кризис информационных потоков в образовании: коллективная моногр. / Под ред. А.М. Осипова; РНФ. Великий Новгород: Типография Виконт, 2020.

Статья поступила: 11.03.21. Финальная версия: 08.06.21. Подписана: 27.07.21.

SCHOOL ADMINISTRATORS: AGENTS AND VICTIMS OF PAPER PRESSING

OSIPOV A.M.* **, MATVEEV V.V.***, MATVEEVA N.A.***, VORONTSOVA T.I.*

*A.I. Hertenzen Russian State Pedagogical University (RSPU), Russia; **Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Russia; ***Altai State Pedagogical University, Russia

Alexander M. OSIPOV, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Department of Sociology, A.I. Hertenzen Russian State Pedagogical University, St.-Petersburg, Russia; Chief Researcher (osipov.al58@gmail.com); Vyacheslav V. MATVEEV, Cand. Sci. (Sociol.), Assoc. Prof., Head of the Sociology Laboratory (vyacheslav.matveev@novsu.ru). Both – Yaroslav-the-Wise Novgorod State University, Veliky Novgorod, Russia; Natalia A. MATVEEVA, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia (matveeva_n_a@mail.ru); Tatiana I. VORONTSOVA, Dr. Sci. (Philol.), Prof., A.I. Hertenzen Russian State Pedagogical University, St.-Petersburg, Russia (vti2005@yandex.ru).

Acknowledgements. Ministry of Education of the Russian Federation (Altai State Pedagogical University, additional agreement No. 073-03-2021-043/2).

Abstract. The article presents results of an interregional study of the administrative personnel in secondary schools analyzing sample surveys data related to job satisfaction in the education system in its specific aspects and attitudes towards existing education system and its shortcomings, data on the amount of paperwork of school administrators comparing groups of school workers. It shows that the excess volume and the nature of their work is alien to the mission of education, it negatively affects activities of general education school personnel. Growing amount of reporting complicates management of school education at the level of the institution, of municipal school system regionally and nationally. School administrators, although a link in bureaucratic management and an agent of paper pressing as the leading technology of the current model of state educational policy, become victims of this pressing avalanche and participate in latent resistance to it.

Keywords: education, public school administrators as social-professional group, bureaupathologies in education, professional wellbeing of educators.

REFERENCES

- Bagdasaryan N.G., Sonina L.A. (2020) Imaginary Units of Publication Activity in Consumer Society. *Vysshee Obrazovanie v Rossii* [Higher Education in Russia]. Vol. 29. No. 12: 86–94. DOI: 10.31992/0869-3617-2020-29-12-86-94. (In Russ.)
- Donskikh O.A. (2015) Case on Educational Standards. *Vysshee Obrazovanie v Rossii* [Higher Education in Russia]. No. 6: 36–43. (In Russ.)
- Donskikh O.A. (2013) Case of Competency-based Approach. *Vysshee Obrazovanie v Rossii* [Higher Education in Russia]. No. 5: 36–45. (In Russ.)
- Sadovnichy V.A. (ed.) (2002) *Education that We Can Lose: Collection of Scholarly Articles*. Moscow: MGU. (In Russ.)
- Ilyinsky I.M. (2002) *Educational Revolution*. Moscow: MGSA. (In Russ.)
- Osipov A.M. (2020) Bureaupathology and Paper Pressing in the Russian Education. *Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Sotsiologiya* [RUDN Journal of Sociology]. Vol. 20. No. 4: 953–966. (In Russ.) DOI: 10.22363/2313-2272-2020-20-4-953-966.
- Osipov A.M. (2019) Market Mechanisms as a Social Deadlock for Russian Education. *Vysshee Obrazovanie v Rossii* [Higher Education in Russia]. Vol. 28. No. 5: 62–73. DOI: 10.31992/0869-3617-2019-28-5-63-72. (In Russ.)
- Osipov A.M. (ed.) (2020) *School in Paper Abyss: Crisis of Information Flows in Education*. Veliky Novgorod: Vikont. (In Russ.)
- Polutin S.V., Manannikova Yu.V. (2020) The Processes of Bureaucratization and Debureaucratization of Teachers' Work and Their Influence on the Quality of Teachers' Professional Activity: Sociological Project Results. *Integratsiya obrazovaniya* [Integration of Education]. Vol. 24. No. 1: 75–97. DOI: 10.15507/1991-9468.098.024.202001.075-097. (In Russ.)
- Tkhagapsoev Kh.G., Sapunov M.B. (2016) Russian Educational Reality and its Converted Forms. *Vysshee Obrazovanie v Rossii* [Higher Education in Russia]. No. 6: 87–97. (In Russ.)
- Zborovskiy G.E. (2011) Lessons from the Failed Modernization of Education. In: Vorontsov A.V. (ed.) *Social Strategy of Russian Education System: Proceedings of the International Scientific Conference – The Third St. Petersburg Sociological Readings*, April 14–15, 2011. St. Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena: 39–46. (In Russ.)

Received: 11.03.21. Final version: 08.06.21. Accepted: 27.07.21.

© 2021 г.

С. МАЛЕШЕВИЧ

КОНЕЦ ВОЙНЕ? СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ИЗУЧЕНИЮ ВОЙНЫ

МАЛЕШЕВИЧ Синиша – профессор, заведующий кафедрой социологии Университетского колледжа в Дублине, Ирландия (sinisa.malesevic@ucd.ie).

Аннотация. В последнее время исследования по вопросам социологии войны сильно поляризованы вокруг вопроса, растет или сокращается организованное насилие. Автор критически рассматривает два доминирующих подхода, предлагающих противоположные ответы на этот вопрос, – концепцию «новой войны» и подход, провозглашающий сокращение насилия. В статье ставятся под сомнение обе эти концепции и предлагается альтернативный социологический подход долгосрочной перспективы в историческом дискурсе, который основывается на макроорганизационном социальном контексте и исследует динамику взаимосвязи войны, государства и общества на протяжении последних столетий. Автор утверждает, что война не устаревает и что «новые войны» вряд ли полностью заменят «старые» межгосударственные войны. Напротив, анализ показывает, что в современной войне существует больше организационной преемственности с традиционными войнами, чем ее готова признать любая из двух доминирующих концепций.

Ключевые слова: военная социология • социология войны • историческая социология • организованное насилие • война

DOI: 10.31857/S013216250016091-3

Введение. За последние два десятилетия война стала предметом исследования многих социологов [Mann, 1993; 2012; Shaw, 2005; Wimmer, 2013; King, 2013; Malešević, 2010; 2017]. Их исследования содержат теоретический и эмпирический анализ взаимосвязи между войной и обществом. Однако в социологическом понимании долгосрочных исторических процессов, формирующих отношения между войной и обществом, по-прежнему существует серьезный пробел. Не совсем ясно, что происходит с современными войнами и каковы долгосрочные последствия этой социальной динамики. Возрастает ли организованное насилие в мире или сокращается?

Данная статья нацелена на поиск ответа на этот вопрос. В первой части критически оцениваются две доминирующие и противоположные концепции трансформации войны, которые настаивают на радикальном изменении характера отношений между войной и обществом. Во второй части приводится альтернативный подход, базирующийся на связи между войной, государством и обществом на протяжении длительного периода времени. Основной тезис этого подхода основан на ключевой роли организационной власти в этих исторически обусловленных, но по большей части совокупных и принудительных процессах. Автор утверждает, что до тех пор, пока организационный потенциал государств будет продолжать расти, вероятность того, что войны изживут себя, остается минимальной.

Понимание современной войны: рост или сокращение? Несмотря на общепризнанность того, что институт войны претерпевает существенные изменения, остается не ясным, каковы причины и долгосрочные последствия этих изменений.

Для одной группы ученых фактическое исчезновение межгосударственных войн и их вытеснение гражданскими войнами является показателем более широкой общественной неудовлетворенности, приводящей к постепенному ослаблению государственной власти. Так, З. Бауман [Bauman, 2002; 2006], Г. Мюнклер [Munkler, 2004] и М. Калдор [Kaldor, 2007; 2013] утверждают, что современные вооруженные конфликты значительно отличаются от тех, что происходили в XIX – начале XX в.: они децентрализованы, менее сдерживаемы, более хаотичны и жестоки, менее сосредоточены на территории и больше на контроле над населением, часто характеризуются преднамеренными нападениями на гражданских лиц. Кроме того, считается, что такие конфликты порождаются безудержным распространением неолиберальной глобализации, которая в своем постоянном поиске ресурсов, дешевой рабочей силы и рынков способствует подрыву суверенитета и потенциала многих государств. В некоторых случаях это в конечном счете способствует утрате государством монополии на легитимное применение насилия, что приводит к приватизации насилия и появлению неустойчивых вооруженных формирований, которые ведут войны за остатки государственных структур, исчерпаемые природные ресурсы и население. В отличие от обычных войн, эти «новые войны» рассматриваются как сугубо паразитические явления, когда алчные военачальники политизируют этнические и религиозные противоречия и используют отряды боевиков для геноцида гражданского населения.

Сторонники концепции «новой войны» согласны, что вооруженные конфликты между государствами и число погибших в таких столкновениях значительно сократились, но они оспаривают данные о снижении числа погибших среди гражданского населения. Напротив, М. Калдор [Kaldor, 2013: 8–10] и М. Шоу [Shaw, 2003; 2005] утверждают, что чрезвычайно трудно оценить и предоставить надежные данные о жертвах среди гражданского населения, в частности, потому что существуют различные методы расчета этих показателей, и многие случаи смерти остаются незарегистрированными и неподтвержденными (особенно те, что косвенно вызваны военными операциями, – из-за болезней или голода). Например, число жертв среди гражданского населения в ходе войны в Ираке колеблется от 100 тыс. до 1 млн в зависимости от источника и используемой методологии подсчета. Более того, поскольку концепция «новой войны» основана на идее, что новые формы ведения войны стирают различия между государственным и частным, законным и незаконным, прежде всего, гражданским и военным, то не существует надежного способа отличить боевиков от гражданских лиц. Особенно важно их утверждение, что число погибших в боях – не единственный показатель жестокости новых войн. Напротив, они считают, что другие показатели – такие как принудительное перемещение людей или распространение идеологии насилия – столь же надежны для учета меняющегося характера войны. Например, по данным УВКБ¹, в 2010 г. насчитывалось 43,7 млн вынужденных переселенцев, что стало самым высоким показателем за последние 15 лет [Kaldor, 2013: 9]. Принимая во внимание все перечисленное, общий вывод заключается в том, что до тех пор, пока беспрепятственная неолиберальная глобализация будет распространяться, будут расти и новые формы войны.

В отличие от концепции «новой войны», другие ученые констатируют, что все формы насилия, включая войну, непрерывно сокращаются. Так, Д. Гольдштейн [Goldstein, 2011], С. Пинкер [Pinker, 2011] и Д. Мюллер [Mueller, 2009] утверждают, что можно наблюдать устойчивую тенденцию к постепенному ослаблению всех форм войны, революций, геноцидов, беспорядков, терроризма и других видов организованных насильственных действий. Мюллер [Mueller, 1989] был одним из первых, кто сформулировал утверждение: полномасштабные войны между крупными государствами ушли в прошлое. По его мнению, «война – это лишь образ мышления», сравнимый с дуэлями или рабством, которые были

¹ UNHCR (The United Nations High Commissioner for Refugees) – Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), организация системы ООН, занимающаяся оказанием помощи беженцам. – Прим. перевод.

«привиты к человеческому существованию» и постепенно стали излишними в качестве механизма решения коллективных споров [Mueller, 1989: 321]. Совсем недавно он еще больше радикализировал данную идею, утверждая, что война как институт «почти перестала существовать» [Mueller, 2009: 297]. Этот аргумент был дополнительно уточнен и эмпирически подтвержден Гольдштейном [Goldstein, 2011], который считает, что за последние три десятилетия можно было наблюдать меньше восстаний и больше окончаний военных действий, и что текущие войны, как правило, более локализованы и менее продолжительны, чем те, которые велись в предыдущие десятилетия.

Самой влиятельной работой, написанной в этой связи, стала книга С. Пинкера «Добрые ангелы человеческой природы» [Pinker, 2011]. Опираясь в значительной степени на теорию цивилизационного процесса Н. Элиаса [Elias, 2000], Пинкер утверждает, что не только война, но и почти все формы насилия пережили драматический спад с доисторических времен до наших дней. Он сравнивает данные об убийствах, пытках, человеческих жертвоприношениях, кровной мести, смертной казни, рабстве, изнасилованиях, детоубийствах, жестоком обращении с детьми, межгосударственных, колониальных, постколониальных и гражданских войнах, революциях, погромах и других формах организованного насилия и приходит к выводу, что все виды насилия демонстрируют сходную нисходящую траекторию. Более того, в отличие от большинства других ученых, разделяющих данную концепцию, Пинкер не считает XX век самым жестоким периодом в истории человечества, а, напротив, настаивает на том, что для оценки уровня разрушающего действия для конкретного исторического периода следует использовать относительные, а не абсолютные цифры. Так, он оценивает мятеж Ань Лу-шаня (в VIII в. в Китае) и работорговлю на Ближнем Востоке (VII–XIX вв.) как события с большим количеством человеческих жертв, чем обе мировые войны, «большой скачок» Мао Цзэдуна и сталинские чистки вместе взятые [Pinker, 2011: 194–196]. Для обоснования этой тенденции он использует объяснительный аппарат эволюционной психологии и интеллектуальной истории. Он утверждает, что постепенное сокращение числа войн и других форм насилия коренится во внутренней работе нашего мозга, который имеет природную склонность к насилию. По правде говоря, «большинство из нас, включая вас, дорогой читатель, созданы для насилия» [Pinker, 2011: 483]. Эта врожденная склонность, по мнению Пинкера, была постепенно укрощена идеологическими и институциональными преобразованиями: ростом государственной власти, повышением уровня грамотности, развитием космополитического и гуманитарного мировоззрения, расширением торговли и более широкими цивилизационными процессами, которые, как утверждается, способствовали контролю над нашими насильственными порывами и повысили эмпатию среди современных людей. Следовательно, для Пинкера, как и для других представителей данной концепции, все формы войны переживают значительный и потенциально необратимый спад.

Две описанные концепции дают противоречивые прогнозы социальной реальности, поэтому не до конца ясно, что же в действительности происходит с институтом войны. Среди ученых нет единого мнения по таким вопросам, как: «Устарела ли война как таковая? Заменят ли навсегда новые войны межгосударственные вооруженные конфликты? Является ли снижение организованного насилия временным или постоянным явлением?»

Несмотря на некоторые очевидные достоинства, ни тезис о «новых войнах», ни концепция снижения насилия не могут дать убедительных ответов на эти вопросы. Как я уже отмечал ранее [Malešević, 2010], концепция новой войны страдает от экономического редукционизма, который приписывает слишком большую власть силам неолиберальной глобализации и игнорирует геополитику, организационную динамику и идеологические преобразования. Эта точка зрения также имеет короткую историческую память: ни глобализация, ни приватизация насилия не являются новыми историческими процессами. В некоторых важных экономических и политических аспектах конец XIX – начало XX в. были столь же глобализованы, как и сегодняшний мир [Hall, 2000; Conrad, 2006; Hirst et al., 2009]. Однако, в то время как наши предшественники вели многочисленные колониальные и

межгосударственные войны, кульминацией которых стала Первая мировая война, масштабы современной войны существенно сокращены. Следовательно, если и раньше происходили одинаковые или сходные процессы, то почему их результаты так различны?

Концепция сокращения насилия демонстрирует другой вид редукционизма: она глубоко основана на идеалистической эпистемологии, которая порождает функционалистские аргументы. Точка зрения, что сокращение человеческих жертв в войне или уменьшение всех видов насилия можно объяснить «гуманитарной революцией», постепенным расширением дискурсов о правах человека и цивилизующих норм, по большей части несоциологична. Хотя идеи и убеждения играют значительную роль в социальных отношениях, они не определяют долгосрочных исторических изменений. Данная логика рассуждений не может объяснить, почему дискурсы прав человека, морального равенства и цивилизационного прогресса стали настолько влиятельными именно в современном мире, хотя они были сформулированы на заре современности и в той или иной форме институционально использовались в течение последних двухсот лет. Что еще более важно, эти нормоориентированные объяснения склонны к функционалистской аргументации, которая обычно приходит к тавтологическим выводам. При объяснении сокращения числа войн сторонники подхода путают потребности с причинами и констатируют то, что уже присутствует в предпосылках этой концепции. Большая часть этих рассуждений не поддается проверке, и ни один ученый, разделяющий данную концепцию, не смог установить прямую причинно-следственную связь между доминирующими ценностями после Второй мировой войны и снижением организованного насилия [Porper, 2005; Malešević, 2013b].

Ключевым выводом в этой статье является то, что, несмотря на некоторые ценные идеи, высказанные авторами двух доминирующих концепций, они не предоставляют полный анализ современной войны. Поэтому их прогнозы относительно будущего войны не кажутся правдоподобными. Наиболее существенным недостатком этих двух концепций является тот факт, что они анализируют крупномасштабные социальные преобразования, не уделяя должного внимания комплексу связанным с ними макросоциологическими процессами. В частности, чтобы полностью понять характер войны, крайне важно использовать социологический подход долгосрочной перспективы в историческом дискурсе, который контекстуализирует трансформацию войны в более широкие долгосрочные социальные процессы и, особенно, макроорганизационную динамику, лежащую в основе взаимосвязи между войной, государством и обществом. Когда современные войны анализируются с этой долгосрочной перспективы, то становится ясно, что в институте войны больше преимуществ, а не дискретности, чем это признается в каждой из двух доминирующих концепций.

Историческая социология войны. В отличие от широко распространенных представлений, разделяемых социобиологами, такими как Пинкер [Pinker, 2011], война с исторической точки зрения является относительно новым явлением. Согласно большинству имеющихся археологических и антропологических свидетельств, простые охотники-собиратели и другие кочевые группы, занимающиеся добычей пищи, как правило, избегали продолжительного межгруппового насилия и не имели организационных, технологических, идеологических и климатических средств и возможностей для ведения войн [Fry, 2007; Fry, Söderberg, 2013; Malešević, 2017]. По данным недавнего обширного исследования глобального Этнографического атласа, проведенного Фраем и Седербергом [Fry, Söderberg, 2013], большинство простых охотников-собирателей не участвовали в организованном насилии. Случаи смерти в результате насилия были довольно редки, а когда они происходили, то это были скорее убийства, чем военные действия или другие формы организованного насилия. Например, в 20 из 21 случая, проанализированных Фраем и Седербергом, 85% всех совершенных актов насилия включали межсемейную вражду, казни преступников и межличностные ссоры, в то время как случаи межгруппового насилия были крайне редки. Поскольку группы собирателей были малочисленными, кочевыми, эгалитарными и неустойчивыми, то организационные предпосылки для ведения войн у них отсутствовали.

Таким образом, война появляется на исторической арене вместе с социальным развитием – с ростом стратифицированных групповых структур, с оседлым образом жизни, сельским хозяйством, социальными иерархиями и разделением труда. Наиболее тесно распространение войн связано с появлением первых стабильных, территориально ориентированных форм политического устройства – вождеств, городов-государств и, наконец, древних империй [Mann, 1993; Malešević, 2010: 92–101], которые прочно укоренились за последние 12 тысяч лет.

Кроме того, с момента своего возникновения война, государство и общество развивались и изменялись вместе. Если рассматривать войну как инструмент социальной и политической власти, то по мере изменения социальных порядков меняется и природа войны. Не случайно вождества и ранние империи широко использовали насильственные завоевания для поддержания (и распространения) существующего социального порядка. Знаменитые древние вождества под управлением Арминия² и Чингисхана были деспотическими и иерархичными, при этом крайне нестабильными формами политического устройства, само существование которых основывалось на непрерывной территориальной экспансии и военных завоеваниях. Так же и ранние империи – от Римской, Великой китайской, Арабского халифата, Шривиджайи³ до Османской – сильно зависели от природных ресурсов, территорий, рабов и крестьян для поддержания своей внутренней социальной целостности и благополучия [Burbank, Cooper, 2010]. В то же время большинство городов-государств были более стабильными, менее иерархичными и, за некоторыми исключениями, такими как Спарта или Венеция, менее склонными к завоеваниям.

Во всех вышеперечисленных примерах форма политического устройства, внутренняя социальная динамика и военные действия оказали сильное и продолжительное влияние друг на друга. Характер войны часто оказывал значительное влияние на внутреннюю социальную стратификацию, и наоборот. Затяжные, равные по силам и масштабные войны стимулировали развитие гражданских прав и демократических институтов, в то время как войны с неравными силами противников, а также ориентированные на завоевания с использованием высокоподготовленной армии и дорогого оружия, с большей вероятностью способствовали развитию иерархических и сильно стратифицированных социальных структур [Mann, 1993; Malešević, 2010]. Так, Древняя Греция и средневековая Швейцария являются первыми примерами гражданского участия и передовых демократических институтов, включая их представительные народные собрания, такие как греческая *ekklesia* и швейцарская *landsgemeinde* [Kobach, 1993]. Однако часто не упоминается, что такая уникальная степень социальной свободы и принятия решений населением была основана на крупномасштабном участии в войнах. Эти общества состояли из общин вооруженных фермеров-солдат, которые могли и желали использовать свое оружие и военные навыки для защиты своих прав.

Война также сыграла решающую роль на заре эпохи современности. Как убедительно продемонстрировали Манн [Mann, 1993], Гидденс [Giddens, 1986] и Херст [Hirst, 2001], интенсивная подготовка к войне и эскалация европейских войн с конца XVI в. обеспечили беспрецедентный стимул для развития государства и социальных изменений. Постоянно растущая геополитическая конкуренция способствовала финансовой реорганизации, расширению административных структур, росту банковского сектора, инвестициям в развитие науки, техники и вооруженных сил. Прямым следствием этих преобразований стало расширение парламентаризма, гражданских прав и повышение благосостояния, поскольку правительства были вынуждены предоставлять политические и социальные права в обмен на более широкую поддержку населения, рост государственных налогов и готовность

² Арминий – вождь германских племен, нанесший поражение римлянам в 9 г. н.э. в знаменитой битве в Тевтобургском лесу. – Прим. перевод.

³ Шривиджайя – средневековое (V–XIII вв.) государство на территории современных Малайзии и Индонезии. – Прим. перевод.

граждан участвовать в военных действиях. Начало индустриализации было в значительной степени связано с технологиями, появившимися в военной сфере, и с середины XIX в. социальное развитие в гражданском секторе регулярно происходило параллельно с военной индустриализацией [McNeill, 1981; Giddens, 1986]. Две мировые войны XX в. стали кульминацией этой постоянно укрепляющейся связи между государством, войной и обществом: массовое производство, массовая политика и массовые коммуникации были мобилизованы для массового уничтожения. То, что начиналось как традиционное военное противостояние, постепенно перешло в жесточайший конфликт, приведший к геноциду целых народов. Несмотря на это, долгосрочными последствиями этих двух крайне разрушительных конфликтов стали дальнейшее расширение прав граждан, гендерного равенства, делегитимизация расизма и создание социально ориентированных государств [Mann, 2012]. Таким образом, в течение нескольких последних столетий наблюдался постоянный рост разрушительной силы войны, которая часто предшествовала или сопровождалась существенными социальными изменениями.

Тем не менее непрерывный рост синергии между войной, государством и обществом не может полностью дать объяснение тому, что произошло с войной за последние 60 лет. Означает ли тот факт, что если число межгосударственных войн и человеческих жертв в них существенно сократилось, то мы переживаем радикально иные отношения между государством, обществом и войной, как это предполагают две доминирующие сейчас концепции? Нет.

Что можно наблюдать, рассматривая исторически взаимосвязи в системе «война–государство–общество», так это то, что их динамика в значительной степени формировалась аналогичными процессами в течение длительного периода времени, и сегодня она существенно не изменилась. Ведь на протяжении 99% времени своего существования на этой планете люди были кочевыми собирателями с неустойчивыми и слабыми социальными связями, и потребовались миллионы лет, прежде чем появились первые социальные организации. Но как только первые элементы социального порядка и государственности появлялись, они, как правило, возникали в тандеме с войной. Поэтому отличие от последних 12 тысяч лет состоит в том, как быстро и сильно взаимосвязь «война–государство–общество» изменила лицо нашей планеты.

Одним из ключевых процессов, вызванных взаимодействием в этой цепочке, стало постоянное расширение организационной власти. Начиная с ранних работ Вебера [Weber, 1968], исследователи пришли к выводу, что любое эффективное социальное действие влечет за собой присутствие организаций. При этом, возникнув, социальные организации склонны расти, расширяться, контролировать своих участников и вступать в конфронтацию с конкурирующими социальными организациями. Следовательно, все влиятельные общественные организации имеют принудительную основу [Malešević, 2010; 2013a]. Распространение военных действий на протяжении последних столетий способствовало расширению и усилению принудительного потенциала государств. Данный процесс заметен уже при рождении самых первых империй, когда расширяющаяся государственная власть зависела от распространения «социальной клетки», в которой люди были вынуждены обменивать личную свободу на обеспечиваемую государством безопасность [Mann, 1993]. На протяжении многих лет социальная изоляция сочеталась с «политическим рэккетом», поскольку население должно было платить налоги и финансировать дорогостоящие войны в обмен на некоторые гражданские права и защиту от внутренних и внешних угроз. Такая всеобщая бюрократизация принуждения значительно распространилась только за последние 200 лет.

Трансформация империй, королевств и городов-государств в суверенные национальные государства сопровождалась технологическими, научными и производственными изменениями, которые оказали огромное влияние на связь между войной, государством и обществом. По мере того, как войны расширялись и становились все более разрушительными и затратными, организационная мощь государств и их способность контролировать

свое население росли в геометрической прогрессии. Современные государства не только расширили свой инфраструктурный охват и потенциал, но и впервые в истории смогли законно монополизировать использование насилия, налогообложения, законодательства и образования [Weber, 1968; Gellner, 1983; Elias, 2000]. Кульминацией этого процесса стали две мировые войны.

Для ведения таких продолжительных и дорогостоящих войн государства были вынуждены еще больше наращивать свой организационный потенциал, включая их способность мобилизовать миллионы людей на борьбу или труд для военных целей. Интенсивная мобилизация населения имела долгосрочные последствия, которые стимулировали интенсивные социальные изменения. Например, нехватка военных сил на полях сражений способствовала введению всеобщей воинской повинности, которая, среди прочего, расширила права и обязанности граждан, в том числе городской бедноты и крестьянства, которые не могли быть легко аннулированы после войны. Аналогичным образом массовое участие мужчин на фронтах и расширение военной промышленности привели к нехватке рабочей силы в промышленности. Это, в конечном счете, вынудило правительство разрешить женщинам работать на фабриках и в других промышленных отраслях. Такая политика существенно подорвала традиционные патриархальные устои. Как только женщины обрели экономическую независимость, было чрезвычайно трудно восстановить гендерный статус-кво. Более того, большое число жертв в войне, а также идеалы национальной солидарности военного времени способствовали постепенной делегитимизации резких классовых различий и вынудили государственные власти расширить политику социального обеспечения и охраны здоровья во многих европейских и в меньшей степени североамериканских странах.

Все эти существенные социальные преобразования оказали глубокое влияние на послевоенные государства и общества. Несмотря на огромные человеческие жертвы и материальные разрушения, послевоенные общественные организации стали сильнее, чем когда-либо. Дальнейшее развитие науки, техники и промышленности в сочетании с непрерывным ростом административного сектора послужило стимулом для умножения организационной мощи в различных областях. Так, во второй половине XX в. резко возросли способности государств собирать информацию о своем населении, собирать налоги, полностью контролировать свои границы, государственное образование, сектор здравоохранения, занятость и иммиграционную политику, вмешиваться в семейную и сексуальную жизнь и успешно внедрять программы массового наблюдения (биометрические паспорта, удостоверения личности, свидетельства о рождении, данные переписи населения, камеры видеонаблюдения) [Lyon, 2001; Mann, 2012]. Именно война стала главным катализатором этих изменений.

Тот факт, что большая часть Европы, Северной Америки и другие развитые страны за последние 70 лет совсем или почти не участвовали ни в каких военных конфликтах, мог бы свидетельствовать, что связь между войной, государством и обществом была нарушена или заменена на менее насильственные структурные механизмы развития. Однако это не так.

Сразу после Второй мировой войны вместо перемирия наступила затяжная и чрезвычайно интенсивная «холодная война», время от времени усиливаемая жестокими и разрушительными войнами через посредников (Корея, Вьетнам, Афганистан, Ангола, Никарагуа), непосредственно поддерживаемыми двумя сверхдержавами. Этот период (1946–1991) характеризовался непрерывной подготовкой к войне наряду с политической мобилизацией граждан, что способствовало дальнейшему расширению организационной мощи государств. Не только США и Советский Союз, но и все члены двух военных союзов использовали военные достижения и постоянную угрозу войны для увеличения своей организационной мощи. Именно политическая и военная конкуренция между двумя блоками власти дала толчок технологическому, научному, промышленному и государственному развитию. Как и в предыдущие исторические периоды, наиболее значительные научно-технические изобретения были впервые сделаны в военном секторе, а затем

постепенно нашли свое применение в гражданском секторе [Giddens, 1986]. Несмотря на отсутствие человеческих жертв в Европе и Северной Америке, войны через посредников и постоянная угроза ядерного Армагеддона стали ключевыми организационными механизмами для существенных социальных изменений во всем мире. «Холодная война», безусловно, была золотым веком экономического процветания, политической стабильности, обеспечения благосостояния и социальной мобильности для больших слоев населения обоих политических лагерей [Mann, 2012]. Как и в предыдущие три столетия, социальное развитие, укрепление государства и военная экспансия развивались вместе. Взаимосвязь между войной, государством и обществом существенно не ослабла, она просто адаптировалась к различным историческим факторам.

Хотя в конце XX – начале XXI в. в отношениях между войной, государством и обществом произошли значительные изменения, это совсем нельзя считать радикальными преобразованиями. На самом деле эти изменения свидетельствуют о постоянном укреплении связи между войной, государством и обществом, а также о дальнейшем нарастании бюрократизации принудительной власти [Malešević, 2010; 2013b]. Распространенная точка зрения о глобализации как подрыве силы национальных государств и значительном изменении социальных отношений между ними является преувеличением, не имеющим эмпирического подтверждения [Hall, 2000; Hirst et al., 2009; Mann, 2012]. Аргумент, что глобализация неизбежно ослабляет государственную власть, часто основывается на утверждении, что до нынешней волны глобализации национальные государства были сильными и суверенными. Однако детальный исторический анализ показывает, что на протяжении большей части XIX в. и в начале XX в. полный суверенитет и политическая независимость были в значительной степени недостижимыми идеалами, к чему большинство глав государств стремились, но так и не смогли достичь. Только великие державы смогли достичь и позволить себе полный государственный суверенитет и контроль над своими территориями, в то время как большинство других государств не обладали достаточным государственным потенциалом и возможностями для достижения полного суверенитета [Smith, 2010]. Поэтому тот факт, что некоторые государства сегодня обладают большей политической мощью и независимостью, чем другие, не является новым. На самом деле только за последние несколько десятилетий большинство государств приобрели такую организационную мощь, которую даже не могли себе представить их самые сильные предшественники в XIX в. Аналогично и экономическая либерализация до 2008 г. не сильно отличалась от аналогичной ситуации конца XIX – начала XX в., и в обоих этих случаях открытие мировых рынков шло параллельно с увеличением организационной и военной мощи государств [Mann, 1993; 2012; Conrad, 2006; Lachman, 2010]. Вместо того чтобы быть взаимосоключающими силами, неолиберальный капитализм и бюрократизация, напротив, часто поддерживают друг друга [Hall, 2000; Lachman, 2010]. Даже появление новых технологий существенно не изменило этот баланс. Наоборот, новые технологические достижения и изобретения – от спутников, Интернета, мобильных телефонов, робототехники, систем лазерного оружия до нанотехнологий и т.п. – помогли укрепить организационную мощь государств, которые теперь гораздо более способны и готовы контролировать свои границы, население, поступление налогов, нарушения закона, иммиграцию, образование, сексуальность и многие другие аспекты повседневной жизни.

Продолжающееся расширение государственной власти также сопровождается ростом ее военного потенциала и возможностей как внутри страны (защита собственного населения), так и вовне (использование военной мощи для формирования внешней политики). Такой рост организационной мощи позволяет наиболее могущественным государствам проводить периодические, но вполне регулярные военные интервенции по всему миру. После окончания «холодной войны» США, Великобритания, Франция, Россия и Израиль были участниками ряда войн и военных интервенций, включая Ирак, Афганистан, Мали, Грузию, Ливан, Палестину, Ливию, Сьерра-Леоне, Чад, Центральную Африканскую Республику, Украину и Сирию. Эти военные действия действительно привели к меньшему

числу жертв, чем аналогичные вмешательства до и во время «холодной войны». Тем не менее ключевым является то, что внимание исследователей должно сместиться с грубого подсчета военных или гражданских жертв в сторону того, какое социальное и политическое воздействие оказывают такие войны. С точки зрения социологии важен не масштаб разрушений и человеческих жертв в результате войны, а то, какие социальные и политические изменения она порождает.

Если смотреть на проблему под этим углом, то можно отметить, что большая часть современных войн не вызвала значительных социальных трансформаций. Ни так называемая высокотехнологичная война, которую ведут самые могущественные государства, ни грабительские гражданские войны, которые ведут ополченцы и остатки государственных армий, не создали исторически новых социальных условий. Вспышки гражданской войны, как правило, возникают в регионах, где существующие государственные структуры уже достаточно слабы и подвержены конкуренции со стороны общественных организаций. К ним часто относятся не только соседние государства, но и внутренние конкуренты, тоже недовольные и способные бросить вызов ослабленному государству, а также мировые державы, преследующие свои собственные геополитические амбиции.

Очевидно, что это – отнюдь не исторически беспрецедентная ситуация. Формирование европейского государства прошло через очень похожий процесс – оно началось с примерно 1000 государств в XIV в., которые к XVI в. сократились до 500, а к началу XX в. затяжная война способствовала сокращению их числа до 25 [Malešević, 2010; 2017]. По мере того как управление современными общественными организациями становится все более дорогостоящим, государственные структуры, которые не могут удовлетворить спрос нарастающей бюрократизации сил принуждения, часто теряют свою монополию на законное применение насилия. Доминирование гражданских войн сегодня не является новым явлением; они просто стали более заметны ввиду отсутствия войн между могущественными государствами. Но в отличие от их европейских предшественников XV, XVI или XVIII вв., большинство современных гражданских войн не могут быть «доведены» до своего логического завершения, результатом которого было бы меньшее количество более могущественных государств.

Основная причина, по которой такие конфликты называются «гражданскими войнами» и ограничиваются существующими государственными границами, заключается в принудительном доминировании международных норм, которые прямо запрещают любое насильственное изменение межгосударственных границ. В предыдущие исторические периоды многие войны, которые начинались как внутригосударственные конфликты, позже, если и когда повстанцы побеждали, превращались в межгосударственные войны. Однако современный геополитический контекст не позволяет осуществить такой переход – от гражданской войны к межгосударственной. В отличие от Мюллера и других сторонников концепции сокращения насилия, рассматривающих существующие нормы о неприкосновенности межгосударственных границ как простое отражение повсеместно разделяемых принципов Просвещения, гораздо более корректно будет рассматривать эти правила как нечто инициированное, навязанное и охраняемое победителями Второй мировой войны. Эти правила являются идеологическим выражением современных геополитических факторов, поскольку они сильно укрепляют геополитический статус-кво.

Хотя за последние 20 лет могущественные державы вели многочисленные высокотехнологичные войны и совершали военные интервенции, большинство из этих жестоких конфликтов не привели к серьезным социальным изменениям. Опора на современные технологии, науку и промышленность уменьшила потребность в использовании массовых армий и привела к отмене призыва на военную службу в Европе и Северной Америке. Хотя введение массовой воинской повинности дало начало социально ориентированному государству, нет достоверных доказательств того, что постоянно растущая профессионализация военных сил непосредственно вызывает сокращение мер социального обеспечения [Lachman, 2010]. Новые технологические достижения в военной области и

медицине также сыграли важную роль в сокращении числа человеческих жертв среди военнослужащих могущественных держав. Тем не менее эти изменения имели мало общего с гуманитарной этикой и цивилизационными процессами, но гораздо больше – с организационной способностью держав применять новые технологии для минимизации политических и военных рисков. Согласно Шоу [Shaw, 2005], по большей части такая война основана на минимизации рисков для жизни военнослужащих стран Запада путем передачи этих рисков более слабому противнику. Начиная с Фолклендской войны 1982 г. и заканчивая войной в Персидском заливе 1991 г., Косово 1999 г. и самыми последними войнами в Афганистане, Ираке, Ливии и Мали, опора на технологически сложное оружие помогла создать систематическую передачу рисков от выборных политиков к военнослужащим и от западных военных к вражеским боевикам и их гражданским лицам.

Тем не менее использование новых технологий и научных достижений не изменило социального и политического контекста войны. То, что в Корейской, Вьетнамской и Афганской войнах осуществлялось с опорой на миллионы новобранцев и массовую мобилизацию целых обществ, теперь достигается за счет использования высотных бомбардировок, запусков ракет на большие расстояния, дистанционно управляемых боевых беспилотных летательных аппаратов, использования подрывных машин и других роботизированных устройств.

Будущее войны. Если связь между войной, государством и обществом не была значительно ослаблена, то почему войны стали более редкими и менее смертоносными? И почему межгосударственные войны были вытеснены гражданскими войнами? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо снова обратиться к исторической социологии войны и ее роли в послевоенном мире.

Когда война концептуализируется не как простой политический инструмент воздействия правительств, а как результат сложных и неопределенных исторических процессов, связанных с конкуренцией между социальными организациями, то ее распространение в значительной степени зависит от силы и влияния конкретных социальных организаций. Исторические свидетельства доказывают, что рост числа военных действий, как правило, связан с увеличением потенциала социальных организаций.

Так, исследователи выделяют несколько периодов революционного роста военных действий, начиная с южной Месопотамии в конце IV – начале III тыс., восточного Средиземноморья и Китая в конце I тыс. до н. э., а также роста числа войн в Европе между 1500-ми и 1945 гг. [Levy, Thompson, 2011]. Во всех трех периодах можно наблюдать значительную взаимосвязь между войной, развитием государства и социальными трансформациями. Связь между войной, государством и обществом породила беспрецедентные социальные изменения в военной (численность армии, производство оружия), общественной (урбанизация, технологические изобретения, переход к массовому производству в сельском хозяйстве и далее в промышленности) и политической (большая политическая централизация, расширение влияния инфраструктуры) сферах. Прямым результатом этих изменений стала эскалация войн, поскольку постоянно расширяющиеся государства пытались установить региональные гегемонии и/или предотвратить превращение других таких государств в новых политических гегемонов [Levy, Thompson, 2011]. В этом контексте послевоенный период не является концом истории войн. Это всего лишь конец долгосрочного процесса, начатого с военной революции в начале XV в.

Тем не менее относительно мирная ситуация, установившаяся в Европе и Северной Америке в течение последних нескольких десятилетий, по-прежнему основывается на аналогичных исторических процессах, которые формировали общественную и политическую жизнь в предыдущие века, – организационной мощи и способности крупных социальных организаций, таких как современные национальные государства, устанавливать свое политическое, экономическое, идеологическое и военное господство.

В эпоху «холодной войны» биполярная стабильность, взаимно признанная региональная гегемония и угроза ядерного уничтожения предотвратили эскалацию насилия в Северном полушарии. Дальнейшее сокращение межгосударственных войн после окончания «холодной войны» тесно связано с беспрецедентным военным превосходством США в сочетании с неспособностью и нежеланием других мощных общественных организационных структур (например, ЕС, России, Китая, Индии) бросить вызов военной и политической гегемонии США. На протяжении большей части последних 60 лет американская военная мощь была настолько подавляющей, что ни одно другое государство, даже Советский Союз на пике своей военной мощи, добровольно не спровоцировало бы войну с США. Военное всемогущество этого государства исторически беспрецедентно: это – единственное государство, которое имеет значительное военное присутствие, включая крупномасштабные армейские базы, в более чем 150 странах по всему миру; военный бюджет США больше, чем совокупные военные расходы его следующих десяти конкурентов – КНР, России, Великобритании, Франции, Японии, Индии, Саудовской Аравии, Бразилии, Германии и Италии. Американская авиация настолько мощна, что ни одно другое государство даже близко не приблизилось к их технологическому превосходству, а военные технологии США в области ракет с лазерным наведением, кораблей-авианосцев, заправочных установок, военной робототехники и многих других областях значительно опережают любые другие военные силы в мире [Mann, 2003]. Эта уникальная военная гегемония остается краеугольным камнем современной геополитической стабильности в мире. Военное превосходство США предотвращает любые попытки участия в межгосударственной войне в Северном полушарии и решительно препятствует потенциальным вспышкам межгосударственных войн в чрезвычайно широкой зоне интересов США. Тот факт, что американский военный щит (через НАТО или другие механизмы) включает в себя большую часть Европы и Японии, означает, что *Pax Americana* действует как тормоз для эскалации любых потенциальных конфликтов. В этом смысле, как отмечают Бербанк и Купер [Burbank, Cooper, 2011], Мюнклер [Munkler, 2004] и Манн [Mann, 2003], военная гегемония США во многих отношениях напоминает своих имперских предшественников – военное превосходство Римской, Монгольской и Британской империй сыграло решающую роль в создании длительных периодов мира, не столь отличающихся от периода, который мы переживаем в настоящее время. Следовательно, именно геополитическая конфигурация, а не гуманитарная революция или цивилизационный прогресс, породила *Pax Romana*, *Pax Mongolica*, *Pax Britannica*, так же как и *Pax Americana*.

Несмотря на это, современный мир отличается от своих предшественников значительным увеличением организационного потенциала большинства современных государств и других социальных организационных структур. В то время как Римская, Монгольская и другие империи обычно вели войны против государств со слабой организационной мощью, большинство современных государств обладают высоким инфраструктурным потенциалом, что делает любую потенциальную межгосударственную войну чрезвычайно дорогостоящей и трудной для ведения. В отличие от своих предшественников, которые в большинстве важных аспектов были слабыми политическими организмами, большинство современных государств построены на бюрократических принципах, которые способствуют постоянному расширению их военных возможностей и охвата [Malešević, 2010; 2017]. Например, в то время как Римская империя могла относительно быстро и дешево подчинить себе вожества и королевства сабинян, этрусков, готов, иллирийцев или галлов, межгосударственные войны конца XX–XXI в., воплотившиеся в Ирано-иракской войне (1980–1988), чрезвычайно разрушительны, дорогостоящи и сложны для одержания победы. Тем не менее важно подчеркнуть, что постоянно растущая организационная мощь характерна не только для государств, но и для других публичных и тайных социальных организаций принуждения (включая террористические сети, частные корпорации, общественные движения). Наиболее ярко это иллюстрирует тот факт, что, несмотря на широкое военное присутствие США, Великобритании и вооруженных сил 47 других государств в

одной из беднейших и инфраструктурно наименее развитых стран мира, повстанческое движение Талибан⁴ вполне успешно ведет в Афганистане партизанскую войну на протяжении более 20 лет. На первый взгляд, это выглядит так, будто самое могущественное государство не может легко побороть одно из самых слабых государств в мире. Однако дело в том, что США и их союзники не борются с афганским государством, которое является чрезвычайно слабым в инфраструктурном и организационном отношении, а ведут ожесточенную борьбу с высокоорганизованной, эффективной, иерархической и жестокой повстанческой сетью – Талибаном. В этом смысле Талибан похож на другие повстанческие движения (такие как Хамас, Хезболла или FARC⁵): все они существенно увеличили свои военные организационные силы за счет национального государства, в котором они живут [Malešević, 2013a; 2017].

Поэтому, как ни парадоксально, хотя непрерывное расширение организационной мощи было решающим фактором для эскалации тотальных войн XX в., именно этот процесс играет важную роль и в сдерживании межгосударственных войн сегодня. Проще говоря, межгосударственные войны стали редкими и менее смертоносными именно потому, что организационная мощь многих современных государств, и прежде всего США, настолько существенно возросла, что инициирование межгосударственной войны чрезвычайно сложно, дорого и, за исключением пары мощных держав, может привести к огромным разрушениям, если не к полному самоуничтожению.

Все это не означает, что всеобщая бюрократизация принуждения в конечном итоге приведет к окончанию войн. Напротив, по мере изменения геополитических и географических конфигураций вполне вероятно, что в долгосрочном будущем возникнут более ожесточенные конфликты между социальными организациями и неустойчивыми властными структурами. Как только *Pax Americana* ослабеет, а другие государства и негосударственные ассоциации и сети приобретут еще больший организационный потенциал, вероятно, произойдет огромная геополитическая трансформация во всем мире. Более того, по мере усиления климатических и природных изменений, включая глобальное потепление, непрерывный рост численности населения и чрезмерное потребление невозобновляемых ресурсов, характер взаимосвязи между войной, государством и обществом, вероятно, станет еще более заметным. Согласно существующим прогнозам, климатические изменения неизбежно приведут к дальнейшему увеличению выбросов CO₂, что в конечном итоге приведет к неблагоприятным условиям для жизни на планете – острой нехватке питьевой воды для больших частей мира, резкому росту приливов океанов и морей с периодическими цунами, постепенному исчезновению ископаемого топлива, дефициту полезных ископаемых и нехватке пахотных земель [Манн, 2012]. Эти серьезные изменения, вероятно, не только сделают глобальную экосистему неустойчивой, но и могут привести к организационному коллапсу и потенциальной дезинтеграции государственных структур в некоторых регионах мира. Как только такие государства окажутся неспособными прокормить и защитить своих граждан, это, вероятно, вызовет крупномасштабную миграцию людей, перемещающихся из непригодных в пригодные для жизни регионы. Такое беспрецедентное перемещение населения может спровоцировать насильственную обратную связь.

Таким образом, будущие геополитические и климатические трансформации могут привести к совершенно иной действительности, когда некоторые государства будут продолжать наращивать свою организационную мощь и направлять ее на создание крупных военных и вооруженных сил, в то время как другие будут бороться за выживание в останках несостоявшихся государств. Таким образом, в будущем, скорее всего, нас ждет гораздо более антиутопичный мир. С одной стороны, расширенная всеобщая бюрократизация сил принуждения, вероятно, будет использоваться для участия в новых

⁴ Движение Талибан признано террористическим и запрещено на территории РФ.

⁵ FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) – леворадикальная повстанческая группировка Колумбии, которая вела партизанскую борьбу в 1960–2010-х гг. – Прим. перевод.

захватнических войнах за скудные ресурсы с одновременным созданием и охраной границ, чтобы исключить потенциальных беженцев. С другой стороны, можно ожидать появления организационных пустошей, населенных группами без гражданства и организациями, борющимися за выживание.

Хотя этот почти апокалиптический образ может показаться нереалистичным и надуманным, его мелкомасштабное воплощение уже подтверждается социальной реальностью нескольких современных гражданских войн. От Сомали и Демократической Республики Конго до Сирии, Чада, Судана и Йемена можно наблюдать обширные районы разрушенных и экологически пустынных районов, где люди борются за выживание или спасение от бесконечной войны, вызванной нехваткой воды и энергии, периодическим голодом, неизлечимыми инфекционными заболеваниями, постоянной беспризорностью и безработицей [Hironaka, 2005].

В отличие от этих зон бедности постоянно растущий организационный потенциал наиболее могущественных держав создает условия для реальной и существенной трансформации войны в будущем – постепенного вытеснения военнослужащих и рабочей силы их роботизированными аналогами. Широкое применение беспилотных летательных аппаратов в Афганистане и Йемене, управляемых «государственными служащими» в Неваде, является вполне убедительным доказательством того, как будут вестись некоторые войны в будущем. Вполне возможно, что на смену сражениям людей придут вооруженные конфликты между роботизированными воинами [Coker, 2013]. В тех случаях, когда человек не находится непосредственно на полях сражений, но опустошения и разрушения продолжают усиливаться, быстро станет очевидным, насколько бесполезно полагаться на количество человеческих жертв как на барометр степени разрушительности войны.

Заключение. Итак, современные исследования войн разделились в ответе на вопрос, идут ли войны на подъем или на спад. В то время как некоторые ученые утверждают, что все формы организованного насилия постепенно, но верно исчезают с нашего горизонта, другие настаивают на том, что вызванные глобализацией «новые войны», наоборот, приводят к еще большему унижению и разрушениям. В противовес этим двум концепциям я утверждаю, что вместо того чтобы указывать на радикальную трансформацию, нынешнее состояние войны коренится в той же организационной логике, которая сформировала наш мир на протяжении последних 12 тысячелетий. Вместо того чтобы рассуждать о глубоком и необратимом сдвиге в историческом развитии и значительном изменении отношения людей к войне, я считаю, что современное сокращение организованного насилия является продуктом конкретных геополитических и организационных факторов. Поскольку эти группы факторов порождаются теми же долгосрочными процессами, которые исторически формировали и продолжают формировать связь между войной, государством и обществом, представляется маловероятным, что институт войны исчезнет в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

- Bauman Z. (2002) *Society under Siege*. Cambridge: Polity Press.
 Bauman Z. (2006) *Liquid Fear*. Cambridge: Polity Press.
 Burbank J., Cooper F. (2011) *Empires in World History*. Princeton: Princeton Univ. Press.
 Coker C. (2013) *Warrior Geeks*. London: Hurst.
 Conrad S. (2006) *Globalisation and Nation in Imperial Germany*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
 Elias N. (2000) *The Civilizing Process*. London: Blackwell.
 Fry D.S. (2007) *Beyond War*. Oxford: Oxford Univ. Press.
 Fry D., Söderberg P. (2013) Lethal Aggression in Mobile Forager Bands and Implications for the Origins of War. *Science*. Vol. 341. No. 6143: 270–273. DOI: 10.1126/science.1235675.
 Gellner E. (1983) *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell.
 Giddens A. (1986) *The Nation-State and Violence*. Cambridge: Polity.
 Goldstein J.S. (2011) *Winning the War on War*. New York: Dutton.
 Hall J.A. (2000) Globalisation and Nationalism. *Thesis Eleven*. Vol. 63. No. 1: 63–79. DOI: 10.1177/0725513600063000006.

- Hironaka A. (2005) *Never-Ending Wars*. Cambridge: Harvard Univ. Press.
- Hirst P. (2001) *War and Power in the 21st Century*. Cambridge: Polity.
- Hirst P. et al. (2009) *Globalisation in Question*. Cambridge: Polity Press.
- Kaldor M. (2007) *New and Old Wars*. Cambridge: Polity Press.
- Kaldor M. (2013) In Defence of New Wars. *Stability: International Journal of Security and Development*. Vol. 2. No. 1. Article no. 4. DOI: 10.5334/sta.at.
- King A. (2013) *The Combat Soldier*. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Kobach K. (1993) *The Referendum*. Aldershot: Dartmouth Publishing.
- Lachman R. (2010) *States and Power*. Cambridge: Polity.
- Levy J., Thompson W. (2011) *The Arc of War*. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- Lyon D. (2001) *Surveillance Society*. London: OUP.
- Malešević S. (2010) *The Sociology of War and Violence*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Malešević S. (2013b) Forms of Brutality: Towards a Historical Sociology of Violence. *European Journal of Social Theory*. Vol. 16. No. 3: 273–291. DOI: 10.1177/1368431013476524.
- Malešević S. (2013a) *Nation-States and Nationalisms*. Cambridge: Polity.
- Malešević S. (2017) *The Rise of Organised Brutality: A Historical Sociology of Violence*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Mann M. (1993) *The Sources of Social Power II*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Mann M. (2003) *Incoherent Empire*. London: Verso.
- Mann M. (2012) *The Sources of Social Power III*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Mueller J. (1989) *Retreat from Doomsday: The Obsolescence of Major War*. New York: Basic Books.
- Mueller J. (2009) War has Almost Ceased to Exist: An Assessment. *Political Science Quarterly*. Vol. 124. No. 2: 297–321. DOI: 10.1002/j.1538-165X.2009.tb00650.x.
- Munkler H. (2004) *The New Wars*. Cambridge: Polity.
- Pinker S. (2011) *The Better Angels of Our Nature*. New York: Allan Lane.
- Popper K. (2005) *The Logic of Scientific Discovery*. London: Routledge.
- Shaw M. (2003) *War and Genocide*. Cambridge: Polity.
- Shaw M. (2005) *The New Western Way of War*. Cambridge: Polity.
- Smith A. (2010) *Nationalism*. Cambridge: Polity.
- Weber M. (1968) *Economy and Society*. New York: Bedminster Press.
- Wimmer A. (2013) *Waves of War*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Пер. с англ. Ю.А. СМIRНОВА

СМIRНОВА Юлия Александровна – преподаватель кафедры социологии Московского государственного лингвистического университета, Москва, Россия (novyuliaalex@yandex.ru).

THE END OF WARFARE? A SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF RECENT APPROACHES TO WAR STUDIES

MALEŠEVIĆ S.

University College, Ireland

MALEŠEVIĆ Siniša, Full Prof., Chair of Sociology, University College, Dublin, Ireland (sinisa.malesevic@ucd.ie).

Abstract. The recent scholarship on warfare has been highly polarised around the question: Is organised violence on the rise or in decline? In this paper I critically examine the two dominant approaches – the new war thesis, and the decline of violence perspective – which offer contrasting answers to this question. The paper challenges both of these perspectives and develops an alternative, *longue durée* sociological approach, that focuses on the macro-organisational social context and explores the dynamics of the war-state-society nexus over the past centuries. I argue that warfare is not becoming obsolete and that ‘new wars’ are unlikely to completely replace inter-state warfare. Instead, my analysis indicates that there is more organisational continuity in the contemporary warfare that either of the two dominant perspectives is willing to acknowledge.

Keywords: military sociology, sociology of war, historical sociology, organised violence, war.

Transl. by Yulya A. SMIRNOVA, Lecturer, Sociology Department, Moscow State Linguistic University, Moscow, Russia (novyuliaalex@yandex.ru).

© 2021 г.

И.А. ШМЕРЛИНА

А.С. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ МЫСЛИ

ШМЕРЛИНА Ирина Анатольевна – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия (shmerlina@yandex.ru).

Аннотация. В статье в ракурсе проблематики социальной ментальности рассматриваются некоторые аспекты творчества А.С. Лаппо-Данилевского, воплощенные в двух его главных сочинениях – «Методология истории» и «История политических идей в России в XVIII веке в связи с общим ходом ее культуры и политики». Выявляется корреспонденция между идеями Лаппо-Данилевского и понятием «менталитет». Показаны противоречия исследовательских установок Лаппо-Данилевского: положение о целостном (коллективном) субъекте как «главном объекте исторической науки» и фокусировка на конкретных исторических персоналиях и их идеях; понимание важности изучения особенностей отечественной ментальности и преимущественное внимание к заимствованным «интеллектуальным продуктам»¹. В этих противоречиях следует видеть отражение специфического состояния духовной сферы российского общества, отличающейся слабой состыкованностью ментально-психологических пластов, что требует изучения как в содержательном, конкретно-историческом, так и в методологическом плане, включая выработку соответствующего концептуального аппарата.

Ключевые слова: А.С. Лаппо-Данилевский • интеллектуальная история • менталитет • интеллектуальное заимствование

DOI: 10.31857/S013216250015532-8

Постановка проблемы. Нерешенность многих содержательных и методологических проблем изучения отечественной социологической мысли делает А.С. Лаппо-Данилевского востребованным автором. Значительная часть этих проблем связана с духовно-ментальным контекстом ее возникновения, формирования и развития. В методологическом плане подобная постановка вопроса требует дифференциации феноменов, фиксируемых в привычных, однако не до конца определенных понятиях, таких как «социальная мысль», «общественная мысль», «социальное знание», «социологическое знание», «менталитет», а также в некоторых не прижившихся концептуальных конструкциях советского обществоведения («народно-общественное мышление», «стихийно-массовое сознание» [Пушкарев, 1992]) и новых понятиях, отражающих растущий интерес к миру «низового» повседневного знания [Дарнтон, 2002], «почти не существующего или игнорируемого в качестве самостоятельного предмета ...теоретизирования» в социологии [Девятко, 2015: 15], – «массовидные духовные образования» [Горшков, 2021], «наивное» социальное знание; «народная социальная наука» [Девятко, 2015].

¹Выражение О.М. Медушевской, убежденной последовательницы методологической концепции А.С. Лаппо-Данилевского.

Речь идет о размытом пространстве порождения, оформления, отбора, циркулирования, модифицирования идей, концептов, учений, смысловых комплексов, ценностей, массовых представлений, мировоззренческих установок, навыков мышления, архетипов и т.д. и т.п. Это поле имеет как логико-семиотическую (связанную с внутренней динамикой идеальных образований), так и социально-коммуникативную составляющую. В пространстве этой тематики актуализируются проблемы соотношения идеальных и материальных факторов исторического процесса, внутренних детерминант («аутопойезиса») духовной сферы и запросов со стороны социального контекста, творческого вклада личности и культурно-исторической обусловленности интеллектуального творчества, «достижений человеческого интеллекта» [Репина, 2011: 350] и «интеллектуальной истории неинтеллектуалов» [Дарнтон, 2002: 348]; «здорового смысла социальных акторов и знания, продуцируемого социальными науками» [Девятко, 2015: 9].

Представляется, что отечественную социальную ментальность можно изучать в ракурсе трех совместимых друг с другом подходов. Первый ориентирован на произведения конкретных авторов, созданные в конкретном историческом контексте. Результатом такого подхода является «аутентичное» историко-научное исследование, не замутненное излишними метафизическими предположениями и имеющее тот или иной баланс описательности / аналитичности. Историко-социологические изыскания строятся преимущественно по этой схеме.

Вторым подходом к изучению ментальных комплексов является исследование внутренней логики и динамики заключенных в них идей – подход, заявленный и реализованный Лавджой в его знаменитой книге «Великая цепь бытия», в которой прослеживается историческое развитие идущей от Платона веры в определенный порядок вещей, согласно которой мир есть полное осуществление всего, «что мыслится как возможное» [Лавджой, 2001: 55]. Данный подход подвергался критике за чрезмерную абстрактность (см.: [Репина, 2011: 330–331]), однако эта критика справедлива лишь в случае рассмотрения подобного подхода как единственного и самодостаточного ракурса изучения духовной истории общества, исключающего ее социальный контекст и персонифицированных творцов.

Третий комплекс задач и вопросов встает, если в изучении социальных ментальностей сместить фокус внимания с систематически изложенных, имеющих авторскую корреспонденцию идей на более глубокие пласты общественного сознания, концептуально не оформленные, плохо артикулированные и не имеющие однозначной субъектной привязки. Школа «Анналов» маркировала эти пласты словом “менталитет”, не сумев, однако, придать этому слову должную степень понятийной определенности².

²Подробнее см.: [Шмерлина, 2020]. В этой работе представлена также авторская трактовка менталитета, согласно которой под данным концептом «следует... понимать базовые и генерализованные представления об устройстве мира (в его актуальном и нормативном модусе), в сочетании с лежащими под этими представлениями архетипическими структурами сознания, выявляемыми исключительно аналитически». Менталитет, в представлении автора, выглядит как сложная «вертикальная конструкция, состоящая из следующих слоев: 1 – базовые (то есть не определяемые текущей ситуацией) представления, с той или иной степенью отчетливости эксплицированные в общественном сознании и наполняющие картину мира <...> 2 – генерализованные представления, лежащие в основе эксплицированных представлений (в нашем случае – в основе социальной картины мира). Это может быть общая когнитивная пресуппозиция восприятия мироздания как простой в своих основаниях конструкции, допускающей столь же простые решения (“*esprits simplistes* (дух упрощения)”), либо, напротив, чрезвычайно сложной и постижимой скорее мистическим образом (см.: [Лавджой, 2001: 13–15]); как порядка, предустановленного свыше, либо, напротив, целиком и полностью творимого руками человека. В этот же регистр менталитета следует, по-видимому, поместить эмоции, понимаемые как некая превалирующая окраска позитивного/негативного спектра мировосприятия... Этот пласт менталитета, как и нижеследующий, выявляется аналитически, путем фокусированного вопрошания исторического источника. 3 – архетипические структуры, не столько выявляемые, сколько реконструируемые исследователем на основе вышележащих слоев. ...Рассмотренный в эпистемологической плоскости, менталитет есть, безусловно, исследовательский конструкт – однако конструкт не в социально-конструктивистском, а в латуровском смысле, в котором акцентируется

Элементы всех названных подходов, в своей совокупности объединяемых сегодня зонтичным понятием «интеллектуальная история» [Репина, 2011], присутствуют в творчестве А.С. Лаппо-Данилевского, и некоторые исследователи видят в его работах начало становления данного направления в российской социогуманитарной мысли [Корзун, 2013; Булыгина, 2014].

У истоков интеллектуальной истории. Действительно, сочинения Лаппо-Данилевского содержат разные регистры рассмотрения социальной ментальности – как предельно конкретные, связанные с представлением идей в их персонифицированном изложении, так и очень абстрактные, поднимающиеся на уровень историософских конструкций. По своей научно-мировоззренческой позиции Лаппо-Данилевский был «менталистом» и видел в истории не столько череду событий, сколько развитие духовной сферы общества. Во всяком случае, именно на эту сферу было сфокусировано его исследовательское внимание как в конкретно-историческом, так и методологическом плане. Исходя из того, что «...история имеет дело, главным образом, с явлениями психического порядка...» [Лаппо-Данилевский, 2010а: 182], он выдвинул, в качестве установочной теоретико-методологической идеи, принцип «чужой одушевленности» [Лаппо-Данилевский, 2010а: 336–350; 2010b: 70], в соответствии с которым определялся как объект и в значительной степени предмет изысканий историка, так и способ постижения исторического материала. На основе данного принципа формулируется понятие «исторического источника», альфа и омега исторической науки, как «реализованного продукта человеческой психики» [Лаппо-Данилевский, 2010b: 36, 38]. Этот принцип направлял все творчество Лаппо-Данилевского, воплощаясь как в работах, наполненных исторической конкретикой, так и отвлеченно-методологических, в том числе в важнейших трудах его наследия – «Истории политических идей...» и «Методологии истории».

Продуктивные противоречия творчества А.С. Лаппо-Данилевского. В ракурсе, охватывающем многоплановое творчество Лаппо-Данилевского во всей его целостности, можно различить базовое противоречие, продуктивное как в содержательном, так и в методологическом плане. Это противоречие можно сформулировать как дилемму атомизма – холизма, или рефлексию над тем, что, в своей сущности, есть *духовная (интеллектуальная) история* – история персонализированных идей или история ментальностей.

Если исходить из «Истории политических идей...», которую исследователи называют «главной книгой» его жизни [Сорокина, 2005: XXI], то ближайшим ответом будет выбор первой позиции. В названном труде Лаппо-Данилевский подробно прослеживает развитие русской общественной мысли в XVII–XVIII вв., в период перехода от средневековья к новому времени, происходившее под влиянием двух важнейших течений западноевропейской культуры – католического (латинско-польского) и протестантского. Историк полагал, что при изучении этого процесса следует «принять во внимание не одну только историю проникновения данных теорий в среду русского общества, но и историю их распространения в том же обществе»³, в связи с чем он рассматривал роль Киево-Могилянской и Славяно-греко-латинской академий, Академии наук, Московского университета, церковных и светских школ, конкретных персон. Корзун обращает внимание на «интересную и ценную новацию Лаппо-Данилевского. В своем труде он разрабатывает интеллектуальные биографии представителей российской образованности (С. Полоцкий, С. Медведев,

укорененность разработанной конструкции в ресурсном контексте реального, предстоящего конструированию бытия (см.: [Латур, 2014: 126, 129]). ...Центр тяжести понятия “менталитет” смещен ...к 3-му пункту. Его аналитическая сила связана с выявлением неявных, утопленных в толще культуры детерминант, установок, пресуппозиций, разметочных полей, матрицы, на основе которых складывается “духовный универсум” [Гуревич, 2014: 267]. ...не входит в понятие “менталитет” ...все, что находится в зоне светлого... сознания... субъекта, что осознается им либо как реакция на конкретные ситуации и обстоятельства жизни, либо является продуктом целенаправленной мыслительной деятельности» [Шмерлина, 2020: 5881–5882].

³ СПбФ АРАН. Ф. 113 (А.С. Лаппо-Данилевский). Оп. 1. Д. 68. Л. 12 (цит. по: [Сорокина, 2005: XXII]).

Ю. Крижанич, И. Посошков и др.)» [Корзун, 2013: 80–81]; этот выраженный интерес Лаппо-Данилевского к персонифицированной интеллектуальной истории позволяет видеть в его творчестве «выход на историю науки» [Корзун, 2013: 78].

Подобная позиция, тяготеющая к идиографической методологии, естественна для историка. Главным и, по сути, единственным объектом, на базе которого возможно проведение исторических изысканий и построение верифицированных моделей прошлого, выступает для него исторический источник как «тот психический продукт, который реализован» [Лаппо-Данилевский, 2010b: 36]), то есть обстоятельства времени – места – исторического контекста возникновения которого могут быть более или менее надежно установлены.

Если «История политических идей...» демонстрирует блестящий пример реализации идиографического метода, то «Методология истории» утверждает скорее номотетический (в принципиальном плане Лаппо-Данилевский признавал правомочность обоих подходов). Если историк Лаппо-Данилевский направляет «принцип чужой одушевленности» на постижение конкретных дискретных «интеллектуальных продуктов» и понимание заложенных в них авторских идей, то методолог Лаппо-Данилевский сопрягает его с принципом целостности: «Вообще, можно сказать, что историк интересуется целостною “действительностью” или целокупностью исторических фактов, связанных между собою, а не разрозненными или оторванными друг от друга обломками действительности». В соответствии с принципом целостности формулируется «главный объект исторической науки» – «мировое целое», воплощающееся в деятельности человечества как «великой индивидуальности» [Лаппо-Данилевский, 2010a: 360–363]. Таким образом, как методолог истории Лаппо-Данилевский тяготел к тотальным историческим построениям, учитывающим трудно фиксируемые параметры духовного целого и в этом отношении неизбежно включающим метафизическое измерение. По сути, Лаппо-Данилевский ставит в этом труде вопрос о менталитете. В лексиконе Лаппо-Данилевского нет данного понятия, но его рассуждения хорошо корреспондируют с описанием феномена, получившего впоследствии данное название и в многообразных своих трактовках так или иначе сводимого к «коллективному бессознательному».

Ориентация на целостное постижение духовных феноменов на основе выявления внутренне присущих им закономерностей (на основе номотетического метода) воплощается также в выдвигаемом Лаппо-Данилевским принципе «консензуса». Этот принцип, пишет Лаппо-Данилевский, разрабатывался социологами, которые, однако, давали ему слишком реалистичную трактовку [Лаппо-Данилевский, 2010a: 190–191]. Лаппо-Данилевский видел в «принципе консензуса» направляющую установку в изучении культуры, под которой «следует разуметь некую систему ценностей, реализованную в данном обществе, а не просто совокупность вещей, механически связанных между собою» [Лаппо-Данилевский, 2010b: 524], а также критерий установления социального субъекта, воплощающего в своем сознании эту систему ценностей: «...лишь возводя его [понятие консензуса] к понятию о единстве сознания данной социальной группы, т.е. к ее самосознанию, можно придавать ему значение для построения системы культуры» [Лаппо-Данилевский, 2010a: 191–192]. Это «единство сознания», или ментальность социальной группы, отражающее «реальное, т.е. объективно-данное единство некоего состояния культуры», и выступает предметом изысканий историка [Лаппо-Данилевский, 2010b: 524–525].

Близким к концепту менталитета оказываются введенные Лаппо-Данилевским понятия «“о племенном” (или, в более узком смысле, о национальном) типе и ...о культурном типе», под которыми он понимал «законосообразную комбинацию психических факторов». На основании постоянства такой комбинации «преимущественно во времени» «строится» понятие «племенной тип», «преимущественно в пространстве» — «культурный тип» [Лаппо-Данилевский, 2010a: 200]. По мысли Лаппо-Данилевского, «можно установить некое психическое отношение между состоянием сознания, а также характером данной группы и однородностью соответствующих продуктов культуры» [там же: 207]. Такого рода исторический анализ Лаппо-Данилевский квалифицирует как «историко-психологический» [там же: 208].

Близость отмеченных методологических построений Лаппо-Данилевского исследовательской программе школы «Анналов» отмечалась многими исследователями [Румянцева, 2010: 12; Тихонова, 2013; Рябова, Рябов, 2014; Тяпин, 2019].

Таким образом, первым из парадоксов творчества Лаппо-Данилевского является то обстоятельство, что поставив на философско-методологическом уровне вопрос о менталитете как целостном сознании коллективного субъекта, на конкретно-историческом уровне он его никогда всерьез не анализировал, а анализировал, напротив, отдельные идеи в их персонифицированном изложении. Одним из объяснений этому парадоксу может быть то, что названные случаи относятся к разным исследовательским регистрам. Как методолог Лаппо-Данилевский мог позволить себе метафизическое построение, но как историк, изучающий конкретные фрагменты исторического прошлого, он связан историческим источником и не вправе выйти за верифицированные им границы. Менталитет нельзя свести к историческим источникам. В логике идиографического исследования постановка вопроса о менталитете неуместна. Это противоречие, складывающееся вследствие диссонанса между исследовательскими установками историка и методолога, сам Лаппо-Данилевский, научная позиция которого отличалась тяготением к масштабным построениям и одновременно высоким уровнем научной ответственности (см.: [Сорокина, 2010: XXIII–XXIV]), воспринимал весьма драматично. Известно его эмоциональное высказывание: «Я не принадлежу к тем, кто за деревьями не видит леса. Я вижу лес, но не вижу его границ, и это меня ужасает»⁴. В предисловии к одной из своих ранних работ Лаппо-Данилевский пишет о «стремлении к истине, в силу которого душа болезненно рвется на простор, хотя и прикована тяжелыми цепями к миру конкретных представлений» [Лаппо-Данилевский, 1890].

Однако указанное противоречие лишь отчасти объяснимо «техническими» сложностями – отсутствием подходящих теоретико-методологических инструментов изучения менталитета. Большой вес имеет теоретико-мировоззренческая позиция, а именно: установка на Личность как субъект, проводник и фактор исторического процесса. Об этой установке свидетельствуют как общая заинтересованность Лаппо-Данилевского вопросами развития личностного начала в истории, так и его некоторые высказывания, звучащие в модусе программных положений. В частности, он замечает, что «открытие новых идей происходит благодаря умственной деятельности данной личности, а она сама оказывается не только продуктом таких условий, но и одним из них»⁵, что все условия и факторы развития науки «синтезируются в акте индивидуального творчества, привносящего от себя нечто новое и олицетворяющее их совокупность»⁶. Хотя эти высказывания непосредственно касаются роли личности ученого «в развитии русской научной мысли», они не только имеют отношение к науке, но и отражают общую теоретико-мировоззренческую позицию Лаппо-Данилевского. В частности, установка на личность органично соотносится с еще одним фундаментально-конструктивным элементом его историософской системы – идеей «телеологической мотивации» исторического процесса.

Телеологии в исторической эволюции Лаппо-Данилевский приписывал «конститутивный ...характер: индивидуальный или коллективный субъект эволюции рассматривается в качестве целеполагающего, и с точки зрения его объективно данной цели (идеи) строится и ряд его действий, получающий вид эволюционной серии» [Лаппо-Данилевский, 2010а: 195]. Лаппо-Данилевский рассуждает здесь прежде всего о «коллективном субъекте эволюции» (о «социальной группе, народе, государстве и т.п.»), однако вряд ли было оговоркой допущение «индивидуального» субъекта «в качестве целеполагающего». От идеи «великой индивидуальности», формирующейся «из индивидуальностей, способных сообща сознавать абсолютные ценности», нетрудно перейти к идее выдающейся личности,

⁴ СПбФ АРАН. Ф. 113. Оп. 3. Д. 4. Л. 14 (цит. по: [Корзун, 2013: 82]).

⁵ СПбФ АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Д. 180. Л. 79 (цит. по: [там же: 81]).

⁶ СПбФ АРАН. Ф. 113. Оп. 2. Д. 180. Л. 72 (цит. по: [Корзун, 2015: 127]).

выступающей от имени «исторического целого» [там же: 362–363], и Лаппо-Данилевский фактически делает этот переход – открыто в отношении научного развития, более осторожно, без столь явных акцентов – в отношении исторического процесса как такового. Примечательно, что в конце первого тома «Методологии истории» Лаппо-Данилевский, рассуждая о соотношении исторического целого и частей, пишет о «реальном отношении части к целому» как о воздействии первого на второе, подразумевая при этом и воздействие со стороны «данной исторической личности» [там же: 363].

Этой установкой на активную роль личности в истории можно, по-видимому, объяснить особый интерес Лаппо-Данилевского к русской субъективной социологической школе (рассмотрением которой внимание Лаппо-Данилевского к русской социологии фактически и ограничивается). В числе объяснений этому любопытному обстоятельству, некоторые из которых содержатся в [Малинов, 2016], можно предложить и мировоззренческую близость принципиальных положений русской субъективной школы взглядам самого Лаппо-Данилевского.

Наиболее сложная проблема, к постановке которой побуждает рассмотрение творчества Лаппо-Данилевского, может быть сформулирована как проблема разорванности, несостыкованности отдельных пластов отечественной социальной ментальности. Постановка этой проблемы провоцируется специфическим фокусом исследовательского интереса Лаппо-Данилевского к процессу интеллектуальных заимствований, разворачивавшемуся в отечественной истории на протяжении XVII–XVIII вв. Мысль об интеллектуальном заимствовании как генеральной линии развития отечественной социальной ментальности проходит красной нитью на протяжении всей «Истории политических идей...». Этот процесс Лаппо-Данилевский характеризует как «неконсистентный», фрагментарный, лишенный «единства самостоятельного индивидуального развития» и зависящий от «многих, часто довольно случайных посторонних влияний» (так, «вместо главных произведений к нам часто попадали произведения второстепенные, иногда малоизвестные в современной социальной литературе»). Подобный характер интеллектуального развития страны требует решающей роли личности в осуществлении тех или иных ментально-мировоззренческих интервенций; личности, восполняющей своей творческой волей дефицит рацеморфного процесса «оригинального и непрерывного творчества собственно русской мысли» [Лаппо-Данилевский, 2002: 8–9].

Остается загадкой, почему, подчеркивая вторичный, заимствованный характер политических идей, усваиваемых Россией, Лаппо-Данилевский не поставил вопрос о ее оригинальной, собственной идейной истории; почему, придавая принципиальное теоретическое значение ментальной истории коллективного субъекта, Лаппо-Данилевский исследовал идейные конструкции, искусственно насаждаемые на «нативную» почву отечественной ментальности (подобным вопросом в отношении творчества Лаппо-Данилевского задается также [Сукина, 2014]).

Эта историческая загадка требует социологического осмысления – как в историко-научном, так и в теоретико-методологическом плане. Может ли социальная мысль носить *тотально* заимствующий характер? В общетеоретическом плане ответ может быть, по-видимому, только отрицательным, и установление заимствованного характера того или иного комплекса идей и представлений не равносильно признанию того, что до заимствования общество вообще не располагало никакими идеями и представлениями. Любой социум обладает той или иной системой духовно-мировоззренческих координат, позволяющих ему ориентироваться в пространстве социального бытия. Осознавая это обстоятельство, Лаппо-Данилевский пишет: «...если бы даже удалось установить источники заимствований и степень их, с исторической точки зрения предстояло еще объяснить, почему в Россию проникли те, а не иные течения. С такой точки зрения нужно было изучить реальные условия русской общественной жизни, благоприятствовавшие процессу подобного рода, что и потребовало довольно сложных разысканий, главным образом в области социальных и политических отношений того времени [Лаппо-Данилевский, 2005: 9–10]. Любопытно,

однако, что Лаппо-Данилевский пишет о «социальных и политических отношениях», а не о духовной почве усвоения заимствуемых идей.

Теоретико-методологические экспликации продуктивных противоречий творчества А.С. Лаппо-Данилевского. В теоретико-методологическом плане проблему заимствования следует специфицировать, поставив вопрос о том, в каких пластах или регистрах социальной ментальности заимствования закрепляются, а в каких – отторгаются, и как соотносятся между собой эти пласты/регистры. Отдельного обсуждения требует проблема, как в подобной теоретической ситуации следует ставить вопрос о менталитете, который, по Ле Гоффу, есть «то, что имеют между собой общего Цезарь и последний солдат из его легионов, Св. Людовик и крестьянин из его владений, Христофор Колумб и матрос с его каравелл» (цит. по: [Кром, 2003: 181]). Может ли быть разорванным менталитет или существовать два менталитета в пределах одного социума? Или ситуация разорванной социальной ментальности требует выявления более фундаментальных архетипических оснований, служащих общей почвой несопоставимых по своей идейной конфигурации, плохо примыкающих друг к другу ментальных комплексов?

Все эти вопросы, предполагающие глубокое содержательное изучение, требуют выработки соответствующего концептуального аппарата. Методологическая установка «интеллектуальной истории», у истоков которой можно различить работы Лаппо-Данилевского, на синкретичное рассмотрение духовно-ментальных феноменов не исключает необходимости их дифференцированной проработки на концептуальном уровне и выработки однозначного терминологического аппарата. В литературе данная проблематика ставилась как проблема соотношения «народной и ученой культуры» [Репина, 2011: 339], «интеллектуальной истории» и «культурной истории» (Ж.-Ф. Сириелли – см.: [Канинская, 2010: 279]); «истории достижений человеческого интеллекта» [Репина, 2011: 350] и «интеллектуальной истории неинтеллектуалов» [Дарнтон, 2002: 348], «общественной мысли» и «социальной мысли», «взглядов интеллектуальной элиты ... и народных низов» [Каменский, 2011]; в социолингвистическом плане – как соотношение «основных исторических понятий» и «терминов базового уровня» [Копосов, 1998]; в ракурсе, подключающем специализированную социологическую рефлексию, – как соотношение общественной (социальной) мысли, социальной теории и социологической теории [Босков, 1961], социальной мысли и теоретической социологии [Давыдов, 2002], «социальной мысли и социологии» [Гофман, 2003; Логиновский, 2014], «социологического и социального знания» [Зборовский, 2012], «обыденного и научного социального знания» [Девятко, 2015: 9].

Указанные категории принято разводить на основании эпистемологических [Давыдов, 2002; Гофман, 2003; Зборовский, 2012]; нормативно-ценностных [Босков, 1961; Логиновский, 2014], социальных [Каменский, 2011], когнитивных [Копосов, 1998] критериев. Заметим, что если ориентироваться на нормативно-ценностный критерий, по которому Босков разделял общественную (социальную) мысль и социальную/социологическую теорию, то русскую субъективную школу в социологии следует рассматривать скорее как переходное явление от социальной мысли к собственно социологической теории. Подобная оценка хорошо соотносится с критическими замечаниями Лаппо-Данилевского, который видел в теоретических построениях П.Л. Лаврова и Н.К. Михайловского (анализом которых он ограничивал рассмотрение данной школы) ошибку «смешения познавательного принципа с этическим отношением»⁷.

Работы Лаппо-Данилевского носят по отношению к обозначенной проблематике провокативный характер, побуждая как к более объемному исследованию отечественной социальной ментальности, так и к концептуальному рассмотрению ее специфической конфигурации, особенностей присутствия в ней и субординации отдельных пластов, относящихся к «низовой» ментальности и отрефлексированной мысли интеллектуалов, научной и социально-этической составляющей, имплицитных навыков мышления и

⁷ СПбФ АРАН. Ф. 113: 311–314 (цит. по: [Малинов, 2016: 23]).

эксплицированных идейных конструкций, декларируемых общественных идеалов, ценностно-мировоззренческих установок и базовых сюжетов, связанных с постижением социального мира.

Заключение. Проблематика отечественной социальной ментальности является одним из наиболее перспективных ракурсов прочтения работ Лаппо-Данилевского. Она содержит такие острые и не проясненные до конца вопросы, как дифференциация ментально-духовной сферы и соотношение ее пластов, степень органичности присутствующих в пространстве отечественной общественной мысли заимствованных идейных конструкций ее историко-культурным доминантам, модели, по которым осуществляется «социальная циркуляция» идей [Репина, 2014: 8], и механизмы формирования менталитета. Работы Лаппо-Данилевского не дают четких ответов на эти вопросы и даже в должной мере не эксплицируют их. Однако фокусированное внимание Лаппо-Данилевского на ментально-психических феноменах, которые, в его представлении, составляют саму суть исторического процесса, скрупулезная работа с конкретным историческим материалом и глубокая метатеоретическая и методологическая рефлексия над ним делают сочинения названного автора востребованными в исследовательском поле истории отечественной социологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Босков А. От общественной мысли к социологической теории // Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении. М.: Изд-во иностранной литературы, 1961. С. 15–47.
- Булыгина Т.А. А.С. Лаппо-Данилевский об истории идей и интеллектуальной истории // Диалог со временем. 2014. № 46. С. 54–62.
- Горшков М.К. К вопросу о социологии массовидных духовных образований (теоретико-методологический аспект) // Социологические исследования. 2021. № 2. С. 3–14. DOI: 10.31857/S013216250012674-4.
- Гофман А.Б. История социологии и история социальной мысли: общее и особенное // Гофман А.Б. Классическое и современное: Этюды по истории и теории социологии. М.: Наука, 2003.
- Гуревич А.Я. Исторический синтез и Школа «Анналов». М.; СПб.: ЦГИ; Универ. книга, 2014.
- Давыдов Ю.Н. Исторический горизонт теоретической социологии // История теоретической социологии. В 4-х т. Т. 1. М.: «Канон +» ОИ «Реабилитация», 2002. С. 7–27.
- Дарттон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М.: НЛО, 2002.
- Деятко И.Ф. Социальное знание и социальная теория // Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации. М.: Прогресс-Традиция, 2015. С. 13–40.
- Зборовский Г.Е. Социологическое и социальное знание: сравнительный анализ. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/50827/1/978-5-8019-0294-4_2012_005.pdf (дата обращения: 13.06.2021).
- Каменский А.Б. К вопросу о проблемах и парадоксах изучения истории русской общественной мысли // Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления. Мат. междунар. науч. конф. Москва, 28–29 октября 2010 г. М.: РОССПЭН, 2011. С. 129–139.
- Канинская Г.Н. Историк об историческом знании и о себе. Интервью с директором Центра истории Института политических наук Парижа профессором Ж.-Ф. Сиринелли // Диалог со временем. 2010. № 30. С. 291–304.
- Копосов Н.Е. Основные теоретические понятия и термины базового уровня // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1. № 4. С. 31–39.
- Корзун В.П. А.С. Лаппо-Данилевский: первые опыты интеллектуальной истории в российской гуманитаристике // Клио. 2013. № 12. С. 77–82.
- Корзун В.П. Концепция истории науки в работе А.С. Лаппо-Данилевского «Development of Russian science and learning» // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 6. История. Вып. 63. С. 124–131.
- Кром М. Отечественная история в антропологической перспективе // Исторические исследования в России-II: Семь лет спустя. М.: АИРО-XX, 2003. С. 179–202.
- Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи. М.: ДИК, 2001.
- Лаппо-Данилевский А.С. История политических идей в России в XVIII веке в связи с общим ходом ее культуры и политики. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag Gmb&Cie, 2005.
- Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: в 2-х т. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2010а.
- Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: в 2-х т. Т. 2. М.: РОССПЭН, 2010б.

- Лаппо-Данилевский А.С. Организация прямого обложения в Московском государстве со времен Смуты до эпохи преобразований. СПб.: Тип. И.Н. Скороходова, 1890.
- Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: ВШЭ, 2014.
- Логиновский С.С. Социальная мысль и социология: противоречивость или субординация? // Вестник Челябинского государственного университета. 2014. № 11. С. 135–140.
- Малинов А.В. Очерки по философии истории в России: в 2 т. Т. 2. СПб.: Интерсоцис, 2013.
- Малинов А.В. Русская социологическая школа в оценке А.С. Лаппо-Данилевского // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. XIX. № 3. С. 16–24.
- Пушкарев Л.Н. Содержание и границы понятия «Общественная мысль» // Отечественная история. 1992. № 3. С. 73–81.
- Репина Л.П. Интеллектуальная культура как предмет исследования // Идеи и люди: интеллектуальная культура Европы в новое время. М.: Аквилон, 2014. С. 7–19.
- Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Кругъ, 2011.
- Румянцева М.Ф. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский // Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: в 2-х т. Т. 1. М.: РОССПЭН, 2010. С. 5–22.
- Рябова Л.К., Рябов А.А. Методология истории А.С. Лаппо-Данилевского и современная западная теория истории // Новейшая история России. 2014. № 1(09). С. 8–16.
- Сорокина М.Ю. Об историке и его книге: предисловие от составителя // Лаппо-Данилевский А.С. История политических идей в России в XVIII веке в связи с общим ходом ее культуры и политики. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag GmbH & Co., 2005. С. VII–XXXII.
- Сукина Л.Б. Концепция истории русской культуры XVII в. А.С. Лаппо-Данилевского и ее место и роль в современных гуманитарных исследованиях // Диалог со временем. 2014. № 46. С. 45–53.
- Тихонова В.Б. Работы А.С. Лаппо-Данилевского в контексте исторической антропологии // Клио. 2013. № 12. С. 31–34.
- Тяпин И.Н. Методология или философия истории? К вопросу о квалификации теории исторического познания А.С. Лаппо-Данилевского // Академик А.С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества. СПб.: Интерсоцис, 2019. С. 272–291.
- Шмерлина И.А. Инструментально-методологические проблемы исследования истории отечественной социальной мысли // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии регионов: Сб. докладов VI Всеросс. социол. конгресса (Тюмень, 14–16 октября 2020 г.) / Отв. ред. В.А. Мансуров; ред. Е.Ю. Иванова. М.: РОС; ФНИСЦ РАН, 2020. С. 5873–5895.

Статья поступила: 17.06.21. Принята к публикации: 19.07.21.

A.S. LAPPO-DANILEVSKY AND METHODOLOGICAL ISSUES OF STUDYING HISTORY OF RUSSIAN SOCIAL THOUGHT

SHMERLINA I.A.

Institute of Sociology of FCTAS RAS, Russia

Irina A. SHMERLINA, Cand. Sci. (Philos.), Senior Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia (shmerlina@yandex.ru).

Abstract. The article discusses some aspects of A.C. Lappo-Danilovsky's work, embodied in his two main papers – "History Methodology" and "The history of political ideas in Russia in the 18th century in connection with the general course of its culture and politics" from the social mentalities perspective. The correspondence between the ideas of Lappo-Danilevsky and the concept of "mentality" is revealed. There are shown some contradictions of Lappo-Danilevsky's research attitudes, namely, the thesis about the integral (collective) subject as the "main object of historical science" and the focus on specific historical personalities and their ideas; the understanding of the importance of studying the peculiarities of the national mentality and the predominant attention to borrowed "intellectual products". These contradictions should be seen as a reflection of the specific state of the spiritual sphere of Russian society, which is characterized by a weak coupling of mental-psychological layers and registers, which requires study both in content, concrete-historical, and methodological terms, including the development of an appropriate conceptual framework.

Keywords: A.S. Lappo-Danilevsky, intellectual history, mentality, intellectual borrowing.

REFERENCES

- Boskoff A. (1961) From Social Thought to Sociological Theory. In: Becker H., Boskoff A. (eds) *Modern Sociological Theory in Continuity and Change*. Moscow: Izd-vo inostrannoy literatury: 15–47. (In Russ.)
- Bulygina T.A. (2014) A.S. Lappo-Danilevsky on the History of Ideas and Intellectual History. *Dialog so vremenem* [Dialogue with Time]. No. 46: 54–62. (In Russ.)
- Darnton R. (2002) *The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History*. Moscow: NLO. (In Russ.)
- Davydov Yu.N. (2002) The Historical Horizon of Theoretical Sociology. In: *History of Theoretical Sociology*. In 4 vols. Vol. 1. Moscow: "Canon +" Ol "Rehabilitation": 7–27. (In Russ.)
- Devyatko I.F. (2015) Social Knowledge and Social Theory. In: *Ordinary and Scientific Knowledge about Society: Mutual Influences and Reconfiguration*. Moscow: Progress-Traditsiya: 13–40. (In Russ.)
- Gofman A.B. (2003) The History of Sociology and the History of Social Thought: General and Special. In: Gofman A.B. *Classic and Modern: Studies on the History and Theory of Sociology*. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Grshkov M.K. (2021) To the Issue of Sociology of Collective Spiritual Phenomena (Theoretical and Methodological Aspect). *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 2: 3–14. (In Russ.) DOI: 10.31857/S013216250012674-4.
- Gurevich A.Ya. (2014) *Historical Synthesis and the "Annals" School*. Moscow; St. Petersburg: TsGI; Universitetskaya kniga. (In Russ.)
- Kamensky A.B. (2011) On the Problems and Paradoxes of Studying the History of Russian Social Thought. In: *Public Thought in Russia: Origins, Evolution, Main Directions: Proceedings of the International Scientific Conference*. Moscow, October 28–29, 2010. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Kaninskaya G.N. (2010) Historian about Historical Knowledge and about Himself. Interview with the Director of the History Center of the Institute of Political Sciences in Paris, Prof. J.-F. Sirinelli. *Dialog so vremenem* [Dialogue with Time]. No. 30: 291–304. (In Russ.)
- Koposov N.E. (1998) Geschichtliche Grundbegriffe and Basic Level Terms: Towards a Semantic Theory of Social Categories. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. Vol. 1. No. 4: 31–39. (In Russ.)
- Korzun V.P. (2013) A.S. Lappo-Danilevsky: Early Attempts of Intellectual History in Russian Humanities. *Klio* [Clio]. No. 12: 77–82. (In Russ.)
- Korzun V.P. (2015) Concept of the history of science in A.S. Lappo-Danilevsky's Study "Development of Russian Science and Learning". *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Chelyabinsk State University]. No. 6. History. Iss. 63: 124–131. (In Russ.)
- Krom M. (2003) Russian History in the Anthropological Perspective. In: *Historical Research in Russia-2: Seven Years Later*. M: AIRO-XX: 179–202. (In Russ.)
- Lappo-Danilevsky A.S. (2010a) *Methodology of History*: in 2 vol. Vol. 1. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Lappo-Danilevsky A.S. (2010b) *Methodology of History*: in 2 vol. Vol. 2. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Lappo-Danilevsky A.S. (1890) *Organization of Direct Taxation in the Moscow State from the Time of the Troubles to the Era of Transformations*. St. Petersburg: Tip. I.N. Skorokhodova. (In Russ.)
- Lappo-Danilevsky A.S. (2005) *The History of Political Ideas in Russia in the 18th Century in Connection with the General Course of its Culture and Politics*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag GmbH & Co. (In Russ.)
- Latur B. (2014) *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Moscow: VShE (In Russ.)
- Lovejoy A.O. (2001) *The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea*. Moscow: DIK. (In Russ.)
- Loginovskiy S.S. (2014) Social Thought and Sociology: Contradiction or Subordination? *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta* [Bulletin of Chelyabinsk State University]. No. 11: 135–140. (In Russ.)
- Malinov A.V. (2013) *Essays on the Philosophy of History in Russia*: in 2 vols. Vol. 2. St. Petersburg: Intersotsis. (In Russ.)
- Malinov A.V. (2016) Russian Sociological School in Evaluation of A.S. Lappo-Danilevsky. *Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. Vol. 19. No. 3: 16–24. (In Russ.)
- Pushkarev L.N. (1992) Content and Limits of the "Social Thought" Notion. *Otechestvennaya istoriya* [Russian History]. No. 3: 73–81. (In Russ.)
- Repina L.P. (2011) *Historical Science at the Turn of 20th – 21st Centuries: Social Theories and Historiographic Practice*. Moscow: Krug. (In Russ.)
- Repina L.P. (2014) Intellectual Culture as a Subject of Research. In: *Ideas and People: Intellectual Culture of Europe in Modern Times*. Moscow: Akvilon: 7–19. (In Russ.)
- Rumyantseva M.F. (2010) Alexander Sergeevich Lappo-Danilevsky. In: Lappo-Danilevsky A.S. *Methodology of History*: in 2 vols. Vol. 1. Moscow: ROSSPEN: 5–22. (In Russ.)

- Ryabova L.K., Ryabov A.A. (2014) A.S. Lappo-Danilevskiy's Historical Methodology and Modern Western Historical Theory. *Noveyshaya istoriya Rossii* [Modern History of Russia]. No. 1(09): 8–16. (In Russ.)
- Shmerlina I.A. (2020) Instrumental and Methodological Problems of Studying the History of Russian Social Thought. In: Mansurov V.A., Ivanova E.Yu. (eds) *Sociology and Society: Traditions and Innovations in the Social Development of Regions*: Collection of Reports of the 6th All-Russian Sociological Congress (Tyumen, October 14–16, 2020). Moscow: ROS; FNIS Ts RAN: 5873–5895. (In Russ.)
- Sorokina M.Yu. (2005) About the Historian and his Book: A Foreword from the Compiler. In: Lappo-Danilevsky A.S. *The History of Political Ideas in Russia in the 18th Century in Connection with the General Course of its Culture and Politics*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag Gmb&Cie: VII–XXXII. (In Russ.)
- Sukina L.B. (2014) The Concept of the History of the 17th Century Russian Culture by of A.S. Lappo-Danilevsky and its Place and Role in Contemporary Studies in Humanities. *Dialog so vremenem* [Dialogue with time]. No. 46: 45–53. (In Russ.)
- Tikhonova V.B. (2013) A.S. Lappo-Danilevsky's Works within the Context of Historical Anthropology. *Klio* [Clio]. No. 12: 31–34. (In Russ.)
- Tyapin I.N. (2019) Methodology or Philosophy of History? Revisiting the Qualification of A.S. Lappo-Danilevsky's Theory of Historical Knowledge. In: *Academician A.S. Lappo-Danilevsky in Scientific Community Memory*. Moscow: Intersotsis: 272–291. (In Russ.)
- Zborovskiy G.E. *Sociological and Social Knowledge: A Comparative Analysis*. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/50827/1/978-5-8019-0294-4_2012_005.pdf (accessed 13.06.2021). (In Russ.)

Received: 17.06.21. Accepted: 19.07.21.

И.Ф. КОНОНОВ

ПРОЕКТ МАРКСИСТСКОЙ СОЦИОЛОГИИ НИКОЛАЯ БУХАРИНА

КОНОНОВ Илья Федорович – доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой философии и социологии Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, Старобельск, Украина (kononov_if@ukr.net).

Аннотация. Проанализирована роль Н.И. Бухарина в формировании школы марксистской социологии, которая складывалась в СССР в 1920-е гг. Для него социология была центром научного общественнознания. Его социологические взгляды складывались в ходе исследований и развивались от экономической социологии к общесоциологической теории, которой он считал исторический материализм. Такая интерпретация наполняла исторический материализм научным содержанием и обнажала противоречия в теоретической системе основоположников. В первую очередь это касалось концепций базиса и надстройки, производительных сил и производственных отношений. Бухарин попытался модернизировать эти конструкты, предложив идеи «погружения» надстройки в базис и живой человеческой машины. Его представления о диалектическом единстве индивида и общества и о стилевом единстве общественной жизни сохраняют эвристическое значение и в наши дни.

Ключевые слова: Н. Бухарин • социология • исторический материализм • марксизм • общество • базис • надстройка • производительные силы • производственные отношения • классы

DOI: 10.31857/S013216250014594-6

Бухарин и советская школа марксистской социологии 1920-х гг. На рубеже XIX–XX вв. сформировалось направление русского марксизма, в котором начали складываться элементы социологической школы. Сама эта школа стала обретать контуры в 1920-е гг. в СССР. Ключевой фигурой здесь был Н. Бухарин; его книга «Теория исторического материализма», вышедшая 100 лет назад, приобрела значение основополагающего текста.

Целью статьи является реконструкция проекта марксистской социологии Н. Бухарина. Его теория не была законченной системой, а, как он выражался, находилась *im Werden*¹. Методологические ориентиры исследования задаются исторической социологией как временным вектором теоретической социологии, формирующим «историзацию» современной теории общества [Романовский, 2018: 82].

«Теория исторического материализма», признанная в 1920-е гг. в СССР официальным учебником, влияла на идейную атмосферу в стране, поддерживая интерес к социологии в фокусе общественного внимания. В СССР с 1921 г. (предисловие к первому изданию датируется сентябрем этого года) по 1929 г. вышло 10 стереотипных изданий. Кроме того, книга переиздавалась на местах [Шевченко, 1990: 3] и приобрела мировую известность. Как говорилось в отзыве (1928) Ленинградского горного института при избрании Н. Бухарина академиком АН СССР, «“Теория исторического материализма” – книга, выдержавшая ряд изданий и переведенная на все европейские и все азиатские языки, обосновала исторический материализм как метод марксизма, как марксистскую социологию» [Бухарин, 1988а: 418]. В Китае она стала одним из источников формирования марксистской социологической традиции. Среди первых ее пропагандистов был один из основателей Компартии Китая Цюй Цюбо, читавший по ней лекционный курс в Шанхайском университете

¹В становлении (нем.).

[Кремнев, 2020]. Работы Н. Бухарина после публикации на родине переводились в странах Запада, издаются и сейчас [Buharin, Preobrazhensky, 1922; Bucharin, 1922; 1925a; 2005]. Н. Бухарин признан одним из важных теоретиков марксизма XX в. [Гоулднер, 2003: 146].

Н. Бухарин в зеркалах времени. В современных исследованиях Н. Бухарин выглядит противоречиво. Со времени перестройки с ним связывают идею гуманного социализма. Г. Водолазов писал: «Зрелый Бухарин действительно был “одержим” идеей гуманизма, что в те годы не было популярным настроением среди большевиков» [Водолазов, 2014: 111]. М. Кун обращал внимание на противоречия в деятельности Н. Бухарина: участие в высылке немарксистской интеллигенции из России, недемократические методы борьбы с оппозицией, участие в создании культа Ленина [Кун, 1992: 65, 117, 173]. Одновременно отмечают его интеллектуальную самостоятельность [Кун, 1992: 65]. С. Павлюченков утверждал, что по личным качествам Н. Бухарин неспособен был на лидерство в антисталинской оппозиции: «Самураи сказали бы о таком: у него женский пульс» [Павлюченков, 2008: 456]. Разнобой мнений отражает реальные противоречия Н. Бухарина. Так или иначе, они отразились в социологических взглядах его, единственного из вождей большевиков, кто считал себя социологом.

Истоки социологических идей. Н. Бухарин начал изучать западную социологию в Вене в 1912–1914 гг., там познакомился с работами М. Вебера [Кун, 1992: 30], с идеями которых пытался полемизировать, а их автора считал «одним из самых выдающихся ученых, которого смогла выдвинуть за – не скажем “последнее”, а лишь “предпоследнее” – время буржуазия» [Узник Лубянки, 2008: 626]. Его работы пестрят ссылками на западных и российских социологов. Но для Н. Бухарина всегда пролегал четкая грань между социологами, не принадлежащими к марксизму, и между марксистами. Среди последних он особо выделял работы К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Лабриолы, считая его «незаслуженно забытым» [Бухарин, 1988а: 30], Г. Плеханова и В. Ленина. В марксизме пролегало деление между своими и чужими. Известность приобрело бухаринское сравнение Плеханова и Ленина: «Невольно сравнивал его, Старика, с Плехановым: гордая поза, по-наполеоновски сложенные руки, театральные повороты головы, нарочитые жесты, блестящие остроты и “пафос расстояния”: ты, сударь, не моги подходить ближе чем на километр! Демократ, якобинец, коммунист. Либеральный барин, хотя и блестящий “основоположник русского марксизма”, “надменное чело”» [Бухарин, 1988б: 117]. Однако наиболее плодотворные идеи Н. Бухарин сформулировал под влиянием А.А. Богданова. На гражданской панихиде последнего Н. Бухарин говорил: «Да, он не был ортодоксален. Да, он, с нашей точки зрения, был еретиком. Но он не был ремесленником мысли. Он был ее крупнейшим художником. <...> В лице А.А. ушел в могилу человек, который по энциклопедичности своих знаний занимал исключительное место не только на территории нашего Союза, но и среди крупнейших умов всех стран» [Протьюко, Грицанов, 2009: 90–91]. Однако для интеллектуальной биографии Н. Бухарина характерна тенденция: исправление себя по ленинским лекалам. В «Автобиографии» он оценивал свое противостояние с Лениным по вопросу Брестского мира, как «крупнейшую политическую ошибку», а остальную жизнь видел как «период возрастающего влияния на меня со стороны Ленина, которому я обязан, как никому другому, в смысле своего марксистского воспитания и с которым имел счастье не только быть в тех же рядах, но и стоять близко к нему вообще, как товарищу и человеку» [Бухарин, 1988а: 10]. Из-за этого он отказывался от любимых идей и обвинял А. Богданова в идеализме, хотя не мог не понимать натянутости обвинений и их моральный тон [Узник Лубянки, 2008: 473].

От экономической теории к экономической социологии. Студентом Н. Бухарин изучал экономическую теорию, считая себя в первую очередь экономистом. Но его исследования до 1917 г. и после Октябрьской революции полагали сознательную социологическую ориентировку. Он писал, что в основе политической экономии «лежит то или иное представление об обществе и о законах его развития вообще. Другими словами, в основе всякой экономической теории имеются известные предпосылки социологического

характера, с точки зрения которых и рассматривается экономическая сторона общественной жизни. Эти предпосылки могут быть ясными или смутными, выработанной системой или “неопределенными взглядами”, но они должны все же быть в наличности» [Бухарин, 1925б: 30]. Он считал марксистским социологическим обоснованием политической экономики исторический материализм: «Для марксизма характерны следующие социологические основы экономической науки: признание примата общества над личностью, признание исторически преходящего характера всякой экономической структуры, наконец, признание доминирующей роли производства» [там же].

Социальная форма на начальном этапе творчества им изображалась как экономоцентрическая. В работе «Экономика переходного периода» (1920) он выражался определенно: «Существование общества обусловлено его производством, которое носит “общественно определенный характер”. Само общество рассматривается прежде всего, как “производственный организм”, а хозяйство как “производственный процесс”. Динамика производства определяет собой динамику потребностей. Производство как основное условие существования общества является элементом данным» [Бухарин, 1990: 181]. Такую позицию можно определить как экономическую социологию, понимая под последней не социологическое исследование экономической подсистемы общества, а объяснение общества, в котором первенство отдается экономическим факторам.

Н. Бухарин понимал, что социологический анализ капитализма – это взгляд на него как на мировую систему, что напоминает современные описания глобализации. Экспорт капитала из стран центра создал мировой финансовый капитализм [Бухарин, 1989: 44]. Формировалась зависимость ведущих капиталистических стран от мирового рынка. Англия в начале XX в. ввозила 50% потребляемого зерна (пшеницы 80%), мяса – около 50%, масла – 70%, сыра – 50%. За 1903–1911 гг. мировая торговля выросла на 50%. Мир пронизали потоки мигрантов [Бухарин, 1989: 26–34].

Русский марксист в начале XX в. усматривал в развитии мировой капиталистической системы противоречивое сочетание экономической интернационализации и политической национализации. Обе тенденции он связывал с интересами финансового капитала, обусловившими, что «...наряду с интернационализацией хозяйства и интернационализацией капитала происходит чреватый крупнейшими последствиями процесс “национального” связывания капитала, процесс его “национализации”» [Бухарин, 1989: 57]. Возникает призрак «ультраимпериализма». По его мнению, государства превращаются в «государственно-капиталистические тресты», конкурирующие между собой на мировых рынках. Империалистическая политика и есть способ их конкурентного поведения, одним из последствий которого стала Первая мировая война.

Абсолютизация отдельных тенденций общественного развития вела Н. Бухарина к поспешным выводам. После Октябрьской революции он писал: «За последнее время в каждой капиталистической стране мелкий капитал почти исчез: его заели крупные акулы. <...> Можно поэтому сказать, что теперешние капиталистические государства, или, как их называют, “отечества”, превратились в огромные фабрики, которыми владеет хозяйственный союз, как раньше отдельный капиталист владел своей отдельной фабрикой» [Бухарин, 1990: 42]. Эти выводы легли в фундамент левого коммунизма.

Автор «Экономики переходного периода» в качестве объяснительной модели использует структуру способа производства материальных благ, представляющего из себя исторический тип единства производительных сил и производственных отношений. Н. Бухарин дает определение составных частей способа производства, – несколько упрощенные. Они свидетельствуют о постепенном освоении им теоретического наследия К. Маркса и Ф. Энгельса. «Под производительными силами мы будем разуметь совокупность средств производства и рабочих сил» [там же: 107]. В производственные отношения включены отношения собственности и технологические отношения: «Совокупность производственных отношений обнимает собою не только отношения между людьми,

организованными по *предприятиям*; существует и другой разряд этих производственных отношений, поскольку мы говорим об отношениях между классами» [там же: 105].

Русский марксист уделяет выделенным группам производственных отношений специальное внимание. О первом узле их он писал: «Фабрика есть не только техническая, но и экономическая категория, ибо это есть комплекс социально-трудовых, производственных отношений» [там же: 112]. Такой подход перспективен социологически, и Н. Бухарин к нему вернется. Его понимание классов на этом этапе не выходит за пределы понимания К. Маркса², уступая ленинской формуле³: «Классы представляют из себя прежде всего группы лиц, объединенных общими условиями и общей ролью в производственном процессе со всеми вытекающими отсюда последствиями для процесса распределения» [там же: 112].

У Н. Бухарина появляются положения большей общности. Он утверждал, что в общественной системе элементы и связи находятся в диалектических отношениях: «Пространственное размещение людей в техническом трудовом процессе и их функциональная роль аккумулируются, *застывают* в людских элементах. Таким образом, общественные связи превращаются и находят свое выражение и во “внутренней структуре” самих элементов, тип общественной связи живет в головах людей. <...> Итак, данная общественная структура, данный способ производства есть, с одной стороны, определенный тип связи, с другой – этот тип формирует и сами эти элементы» [там же: 112–113].

Стержнем его социологических взглядов было учение о классах. С классами Н. Бухарин связывал раскол капиталистического общества. О последнем он пишет: «Структура капитализма есть монистический антагонизм или антагонистический монизм» [там же: 113]. Институциональным средством, обеспечивающим на время неустойчивое равновесие в расколотом обществе, является государство. Отталкиваясь от идей А. Богданова о том, что главными элементами общества являются люди, вещи и идеи, Бухарин писал: «Необходима организация, управляющая не только вещами, а главным образом – людьми. Такой организацией и является *государство*» [там же: 93]. Его он понимал как организацию экономически господствующего класса. Для него и «“общепользные” функции здесь – не что иное, как *необходимые условия процесса эксплуатации*» [там же: 94].

На этой стадии у Н. Бухарина важнейшей становится тема соотношения экономики и политики. Классические социологические представления марксизма предполагают, что совокупность экономических отношений общества является его базисом, а политика – одна из подсистем надстройки. Среди марксистов были теоретики, которые пытались взглянуть на этот вопрос под иным углом зрения. А. Лабриола писал: «Государство, с тех пор как существует достоверная история, всегда являлось не только вершиной, но и основанием общества. Первым шагом, который наивная мысль сделала на пути рассуждений этой категории, была следующая формула: то, что управляет, есть также то, что *творит*» [Лабриола, 2010: 109]. Но итальянским марксистом эта мысль не додумана до конца, Н. Бухарин пошел дальше.

Анализируя формирование империалистических государств, русский марксист пришел к выводу, что в них экономика организационно сливается с политикой: «Общим организационным принципом этой формы капитализма было соподчинение всех

² «Собственники одной только рабочей силы, собственники капитала и земельные собственники, соответственными источниками доходов которых является заработная плата, прибыль и земельная рента, следовательно, наемные рабочие, капиталисты и земельные собственники образуют три больших класса современного общества, покоящегося на капиталистическом способе производства» [Маркс, 1962: 457].

³ «Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства» [Ленин, 1970а: 15].

экономических организаций (и не только экономических) буржуазии ее государству. <...> Государственная организация буржуазии концентрирует всю мощь этого класса» [Бухарин, 1990: 102].

При диктатуре пролетариата политика фактически становится частью общественного базиса. Н. Бухарин утверждал, что в этот период «высшая государственно-экономическая власть представляет из себя концентрированную социальную мощь пролетариата». К этой фразе он дает примечание: «Мы говорим “государственно-экономическая”, потому что на этой стадии развития “экономика” сливается с “политикой”, а государство теряет свой исключительно политический характер, становясь и органом экономического администрирования» [там же: 133].

Как видим, набор социологических идей у Н. Бухарина формировался в период, когда он стоял на позициях левого коммунизма и считал себя экономистом. От левых крайностей Н. Бухарин вскоре откажется, а размышления об обществе превратятся в социологическую теорию.

Исторический материализм – социология марксизма. У книги «Теория исторического материализма» подзаголовок «Популярный учебник марксистской социологии». В предисловии отмечено, что книга родилась из дискуссий на семинаре, который он вел вместе с Ю. Денике⁴ для лекторской группы Свердловского университета, которые стали его научными сотрудниками.

Книга продумана, что отмечали критики полярных идеологических сторон [Сорокин, 1994: 395; Лукач, 1990: 36]. Единая логика связывает 60 параграфов, разбитых на 8 глав. Введение и первые три главы служат философским основанием социологической теории. В них обоснованы принципы и нормы дальнейшего исследования. «Теория исторического материализма» соответствует современным представлениям об основаниях научной деятельности. В. Стёпин выделил три их главных компонента: идеалы и нормы исследования, научная картина мира и философские основания науки [Стёпин, 2006: 191]. Все они присутствуют в работе Н. Бухарина.

Русский марксист говорит, что «спор между материализмом и идеализмом не может, как каждый легко поймет, не отразиться и на общественных науках» [Бухарин, 1928: 58]. Естественно, в качестве основы социологии он предлагает материализм.

Материализм у Н. Бухарина связан с утверждением жесткого, прямо-таки лапласовского детерминизма. Он отрицает случайность, хотя основа этого отрицания – отождествление с беспричинностью: «Строго говоря, никаких случайных, т.е. беспричинных явлений нет. Явления же могут представляться нам “случайными”, поскольку мы недостаточно знаем их причины» [Бухарин, 1928: 42]. Он усиливает это утверждение: «Следует изгнать понятие “случайности” из общественных наук. Общество в своем развитии так же подчинено закономерности, как и все на свете» [там же: 44].

Принципиальным для Н. Бухарина было отрицание телеологии; она связана с идеализмом и ведет к религии. Он критикует телеологически понимаемый прогресс, используя для этого эволюционное объяснение явлений, которые мы воспринимаем как целесообразные. Так понятый прогресс «просто-напросто выражает тот факт, что, скажем, на 10000 неблагоприятных для развития комбинаций (различных сочетаний в условиях) приходится 1 или 2 комбинации благоприятных» [там же: 21]. Общество может развиваться, стагнировать, деградировать, но «вопрос о том, суждено ли обществу развиваться или погибнуть, не может быть решен абстрактно в ту или другую сторону. Он может быть решен только на основе конкретного анализа» [там же: 370].

Для исследования общества Н. Бухарин на этом этапе использовал понятие равновесия. Этим понятием он отражал существование системы в определенной среде, тот период ее, когда отношения со средой обеспечивают ей воспроизводство. По аналогии с

⁴Юрий Петрович Денике (1887–1964) – социолог, публицист, большевик, затем меньшевик, профессор Московского университета, с 1922 г. в эмиграции.

организмами можно говорить о приспособлении. Отношения системы и среды относительны: «Для человека средой является, прежде всего, человеческое общество, среди которого (отсюда и слово “среда”) он живет; для человеческого общества средой является природа и так далее. Между средой и системой существует постоянная связь; “среда” действует на “систему”, “система”, в свою очередь, действует на “среду» [там же: 77]. Социолог-марксист насчитал три возможных варианта равновесия: 1) устойчивое равновесие; 2) подвижное равновесие с положительным знаком; 3) подвижное с отрицательным знаком. Их характеристики обусловлены величиной энергии, которую общество получает из среды. В первом случае оно получает столько, сколько тратит, во втором случае становится возможным развитие, так как у общества появляется избыточная энергия, в третьем случае общество тратит больше энергии, чем получает, в итоге деградируя [там же: 77–79]. Энергетический аспект общественного метаболизма – важный фактор внутреннего равновесия в обществе, ведь внутренняя структура приспособляется к внешнему равновесию. «Отношение между системой и средой есть решающая величина. Ибо все положение системы, основные формы ее движения (упадок, развитие, застой) определяются именно этим отношением» [там же: 80].

Для Н. Бухарина несомненно, что общество – это деятельность реальность, он яростно спорит с Р. Штаммлером, иронизировавшим над марксистами как над «партией лунного затмения». Он возражает: «Общественные явления без людей, без общества – это все равно, что круглый квадрат или жареный лед» [там же: 49].

Важнейшими нормами научного познания для Н. Бухарина были классовость и партийность: «У рабочего класса есть своя, пролетарская социология, известная под именем исторического материализма» [там же: 12]. Для сомневавшихся в научной атрибуции исторического материализма он подчеркивает: «Это есть общее учение об обществе и законах его развития, т.е. социология» [там же: 13].

В современной теоретической социологии остро стоит проблема социальности, предполагающая нахождение базовых процессов общественной жизни. Популярностью пользуется подход Н. Лумана: коммуникация – единственная подлинно социальная операция [Луман, 2004: 86]. Н. Бухарин сказал бы, что это слишком общий и абстрактный подход. Для него общество в основе – трудовой коллектив, взаимодействующий с природой. Он четко ставил вопрос: «Где основной тип общественной связи, без которого были бы немислимы все остальные?» [Бухарин, 1928: 91]. И ответил: «На этот вопрос мы отвечаем: это есть трудовая связь людей, которая, прежде всего, выражается в общественном труде, т.е. в сознательной или бессознательной работе людей друг на друга» [там же: 92].

На этом следует остановиться, ибо это принципиальная позиция русской школы марксистской социологии. Она неоднократно излагалась А. Богдановым, считавшим трудовой коллектив и генетически исходной формой социальности, и глубинной основой сохраняющегося единства общества: «Борьба между людьми, их конкуренция, соревнование – все это только производные стимулы развития, и за ними скрываются иные, глубже их лежащие, – стимулы первичные. Эти последние возникают там, где человек встречается лицом к лицу с природой, где в непосредственной борьбе с нею он сам выступает как производительная, как творческая сила» [Богданов, 1918: 86]. Эта позиция и ретроспективна, и аналитична, и перспективна, позволяя понять суть общества, почему его сущность скрывается и возникают фетишистские формы сознания, почему перспективным идеалом человечества является идея всемирного человеческого братства.

По происхождению эта позиция является марксистской, но имеет и отечественные корни. Укажу на любимого Н. Бухариным Д. Писарева. Широко известны слова последнего: «Все богатство общества без исключения заключается в его труде» [Писарев, 1956: 146].

В марксизме настороженно относились к использованию понятия «общества вообще». Бухарин повторял, что «на самом деле общество существует всегда в какой-нибудь определенной исторической оболочке», т.е. как определенный исторический тип [Бухарин, 1928: 262]. На этом подходе базировалось и настороженное отношение к социологии.

В. Максимовский во время дискуссии о марксистском понимании социологии говорил, что позитивистская социология претендует на открытие законов, действующих на всех стадиях общественного развития, что расходится с марксистским требованием анализа конкретных общественных формаций [Дискуссия..., 1929: 189–190]. Бухарин относился к марксистам, которые широко пользовались понятием «общество». Через него он отражал инвариантное всех социальных систем.

В «Теории исторического материализма» оптика видения общества двоятся. С одной стороны, Н. Бухарин определяет его через понятие «реальная совокупность»: «Вообще говоря, поскольку у нас есть круг постоянных взаимодействий, постольку у нас есть особая система, особая реальная совокупность. Наиболее широкая система взаимодействий, обнимающая все длительные взаимодействия между людьми, и есть общество» [Бухарин, 1928: 90]. На основании этого было бы опрометчиво принять Н. Бухарина за социологического номиналиста. Далее он писал: «Не подлежит никакому сомнению, что общество состоит из отдельных людей. Не было бы отдельных людей, не было бы и общества – это понятно и без дальнейших разговоров. Но нужно твердо запомнить, что общество вовсе не есть простая куча людей, их сумма: подсчитал отдельных Иванов и Матрен – и получилось общество» [там же: 97]. Тип общества характеризуется единством стиля всех его сфер.

Н. Бухарин выступает против «робинзонад» и повторяет идею Маркса⁵: «Сама отдельная личность – это точно сгусток сжатых общественных влияний, завязанных в маленький узелок» [там же: 103]. Для него принципиально положение: «Если мы проследим, как шло развитие общества, то увидим, что оно образовалось из стада, а вовсе не из отдельных человекообразных существ, живших в совсем разных местах, которые вдруг, в один прекрасный день, будто бы поняли, что им выгоднее (какие умные дикари!) жить вместе и, удачно убеждая друг друга на митингах, стали соединяться в общество» [там же: 100]. Он даже пишет, что «первоначальные формы человеческого труда были тоже животнo-образными, инстинктивными формами труда» [там же: 118]. Эта тема в дальнейшем десятилетиями волновала советских ученых [Поршнеv, 2007].

Общество приспосабливается к природной среде активно, орудийно, целесообразно. Бухарин подходит к анализу взаимодействия общества и природы через концепцию способа производства материальных благ. Правда, он истолковывал категорию производительных сил общества, ориентируясь на А. Богданова. Говоря о производительных силах, он упор делает на технику. Бухарин не мог не знать о позиции В. Ленина в 1919 г. в речи на Всероссийском съезде по внешкольному образованию: «Первая производительная сила всего человечества есть рабочий, трудящийся» [Ленин, 1969: 359]. Бухаринский взгляд: «Точным материальным показателем соотношения между обществом и природой является система общественных орудий труда, т.е. техника данного общества. В этой технике находят свое выражение материальные производительные силы общества и производительность общественного труда» [Бухарин, 1928: 123]. Что касается людей, участвующих в процессе общественного производства, они составляют своеобразную «материальную трудовую организацию». Он считал это одним из подтверждений материалистического взгляда на человеческое общество. Здесь следует привести довольно длинную цитату: «Конечно, все эти физические, материальные отношения сопровождаются своей “духовной” стороной: люди думают, обмениваются мыслями, разговаривают и т.д. Но это определяется тем, как они расставлены в фабричном здании, у каких машин они стоят и проч. Другими словами, они расставлены в фабрике, как определенные физические тела; они находятся поэтому в определенных физических, материальных отношениях во времени и пространстве. Это и есть материальная трудовая организация работников фабрики, которую Маркс называет “собираательным” или “коллективным рабочим”; перед

⁵ 6-й тезис о Фейербахе: «Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [Маркс, Энгельс, 1955: 3].

нами материальная людская трудовая система. Когда эта трудовая система на ходу, происходит процесс материального труда: люди затрачивают энергию, вырабатывают материальный продукт. Это тоже материальный процесс, который также имеет свою “духовную” сторону» [там же: 94].

Как видим, различие между позициями Бухарина и Ленина не в том, что первый игнорирует человеческий компонент производительных сил, а второй указывает на его приоритет. Н. Бухарин утверждает, что в процессе производства возникает материальная живая человеческая машина, не сводимая к совокупности людей с их индивидуальными умениями и навыками. Он распространяет этот образ далеко за стены фабрик. Эта живая человеческая машина основа того или иного общества, ибо «для социологического единства нужно, чтобы эти животные-люди вместе работали в той или другой форме. Не параллельно, не просто одновременно, а совместно» [там же: 107].

Попытка соединить идеи К. Маркса и А. Богданова привели к методологическим проблемам в марксистской социологии. У А. Богданова над техникой возвышались идеологические надстройки. У К. Маркса способ производства был конкретным единством производительных сил и производственных отношений. Если Н. Бухарину удалось выстроить логически непротиворечивую концепцию производительных сил, то с производственными отношениями все сложнее. Именно их концепция должна была объяснить равновесие и его нарушение внутри общественных систем.

С одной стороны, Н. Бухарин под производственными отношениями понимал структуру живой рабочей машины: «Мы, рассматривая производственные отношения, сводим их к размещению людей в пространстве. <...> Именно эта определенность положения в пространстве, и “на трудовом поле”, и делает из этого “размещения”, “распределения” общественно-трудовые отношения» [там же: 160]. Эта идея автору представлялась принципиально важной. Он ее еще раз сформулировал в статье «К постановке проблем теории исторического материализма. (Беглые заметки)», написанной как ответ критикам: «Под производственными отношениями я разумею трудовую координацию людей (рассматриваемых, как “живые машины”) в пространстве и времени. Система этих отношений настолько же “психична”, как система планет вместе со своим солнцем. Определенность места в каждую хронологическую точку – вот что делает систему системой» [там же: 365].

Думаю, перспективно введение в социологический анализ пространственно-временных координат, хотя у Н. Бухарина они присутствуют на уровне идеи. Что касается трудовой координации людей, то она неоднородна, включая технологические отношения и отношения управленческие. Сложности увеличиваются: «Разделение общественного труда есть одно из основных производственных отношений» [там же: 151]. Конечно, можно сказать, что разделение труда предполагает трудовую координацию в масштабах общества. Но автор «Теории исторического материализма» приводит пример, показывающий, что не все так просто: «Столяр стоит в определенных производственных отношениях к токаря, работающему на той же фабрике, или к торговке, у которой он покупает селедку на рынке, или к мастеру, который смотрит за ним» [там же: 277]. Здесь уже слиты технологические, управленческие отношения и отношения обмена.

Вертикальные отношения господства-подчинения порождают классы и существуют через классовые отношения, опосредованные вещами и отношениями собственности. Н. Бухарин писал: «Важнейшие стороны производства – “распределение людей”, “распределение вещей” – и составляют основу классовых отношений» [там же: 316]. Что касается горизонтального деления, с известными оговорками оно находит выражение в профессиях: «Деление по профессиям, будучи отношением между людьми, вытекающим из их технического отношения к орудиям, методам и объекту труда, отнюдь не совпадает ни с делением труда на командующий и подчиненный, ни с соответствующим “распределением средств производства”, т.е. отношениями собственности на эти средства производства» [там же: 320–321].

Все эти сложности Н. Бухарин не сделал предметом анализа, тем самым не превратил обнаруженные противоречия в средство развития марксистской социологии. Н. Бухарин

пытался излагать новые идеи в рамках старых марксистских категорий. О части из них (способ производства материальных благ, производительные силы, производственные отношения) мы сказали. Другая часть категориального набора связана с делением общества на базис и надстройку – метафорический взгляд, рассматривающий социальную систему как дом, у которого есть фундамент и возведенные на нем этажи. Философская подоплека этого деления – субстанция с атрибутами и акциденциями. Однако Н. Бухарин и другие теоретики-марксисты того периода фактически реифицировали эти аналитические инструменты.

Базисом в классическом марксизме считался не весь способ производства материальных благ, а его часть – производственные отношения. Главным производственным отношением является отношение между ведущими классами общества [там же: 321]. Классы как «реальные совокупности» входят в базис? А их психология и идеология, классовые организации? Н. Бухарин говорит, что антагонистические классы разрывают общество, поэтому «должно быть нечто, что играет роль обруча, стягивающего классы, не дающего обществу распасться, развалиться, окончательно расколоться. Таким обручем является государство» [там же: 163].

Как государство играет роль общественной «скрепы», в книге до конца не прояснено: для автора важнейшей задачей был показ классовой природы государства. Он выразил ортодоксальную позицию: «Господствующий класс, чтобы быть в состоянии эксплуатировать массы, расширять поле этой эксплуатации, способствовать “нормальному” ее ходу, разумеется, должен прибегать к разного рода “общепольным” предприятиям» [там же: 346]. Подобную позицию выражал А. Лабриола, за что был подвергнут критике Г. Плехановым. Основоположник школы русского марксизма писал, что, конечно, государство – классовое образование, но его понимание должно быть нюансированным: «В таких государствах, как Китай или древний Египет, где цивилизованная жизнь была бы невозможна без очень сложных и обширных работ по регулированию течения и разлива больших рек и по организации орошения, возникновение государства может быть в весьма значительной степени объяснено непосредственным влиянием нужд общественно-производительного процесса» [Плеханов, 1941: 17]. Н. Бухарин на плехановскую работу ссылался, но на процитированное замечание не реагировал.

Вслед за А. Богдановым автор «Теории исторического материализма» к надстроечным идеологическим явлениям отнес язык и мышление вообще [Бухарин, 1928: 225]. У А. Богданова такой подход был теоретически обоснован; у Н. Бухарина создавал внутренние противоречия в теории; и это не оговорка. Свою позицию он повторяет в рамках определения надстройки: «Под “надстройкой” мы будем подразумевать любую форму общественных явлений, которая лежит над экономическим базисом: сюда, например, относится и общественная психология, и социально-политический строй со всеми его материальными частями (например, пушки), и людской организацией (иерархия чиновников), и такие явления, как язык или мышление» [там же: 231]. Как существует немыслящий и безъязыкий базис, видимо, спрашивать излишне. Подобные противоречия объясняются не только механическим объединением идей А. Богданова и классических метафор основоположников марксизма. Перед Н. Бухариным все время стояла задача найти абсолютно материальные основания общественной жизни. В перспективе этот методологический ориентир породил схоластику вокруг категории «общественное бытие».

Для Н. Бухарина вполне логично завершить свою работу главой о классах и классовой борьбе. Оригинально утверждение, что угнетенные классы не всегда ведут классовую борьбу в отличие от господствующих классов: «Это предполагает полную осознанность основных интересов этого класса, который ведет борьбу с противоположными по интересам классами (и против их прямой угрозы, и против их возможной угрозы) всеми средствами государственной машины» [там же: 344].

«Теория исторического материализма» предсказуемо завершается параграфами о диктатуре пролетариата, партии, вождя и бесклассовом обществе будущего. Если во

всем тексте книги мы можем наблюдать проявление сторон личности Н. Бухарина – ученого и пропагандиста, в последних параграфах пропагандист берет верх: партия нужна из-за неоднородности класса, неоднородность партии порождает потребность в вождях, которые только и могут в чистоте выражать классовые интересы.

Выводы. А. Гоулднер писал, что после А. Сен-Симона в становлении социологии возникла развилка, приведшая к развитию важнейших теоретических традиций – академической социологии, началом которой послужила позитивистская социология О. Конта, и марксистской социологии. Впоследствии они получили разное пространственное доминирование – академическая социология стала господствовать в университетах Западной Европы и США, марксизм стал государственной доктриной социалистических стран Восточной Европы. О марксизме в СССР он высказался пессимистично: «После советской революции там предпринимались определенные попытки продолжить интеллектуальное развитие марксизма, однако из-за тесной связи с ожесточенной политической борьбой в обществе они вскоре были пресечены. После утверждения сталинизма интеллектуальное развитие марксизма в Советском Союзе прекратилось» [Гоулднер, 2003: 47]. К сожалению, такой подход стал общим местом теоретизирования на Западе и у нас. Но самое интересное может скрываться в этих попытках. Не замечены при таком подходе ростки оригинальной школы марксистской социологии.

Академическая социология переживает кризис, что проявляется в неспособности прогнозирования будущего общества и участия в создании жизнеспособных моделей общественного развития. Это заставляет обращаться к альтернативе позитивистской социологии, предполагавшей при рассмотрении общества связать в неразрывное единство прошлое и будущее: «Понять какое-либо явление исторически, это, однако, значит видеть и его корни в прошлом, и вскрывать тенденции, ведущие к будущему» [Узник Лубянки..., 2008: 181]. Бухаринский проект марксистской социологии ценен тем, что способен принять участие в современном теоретическом поиске, будучи готовым к саморазвитию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Богданов А.А. Новый мир. Изд. 2-е. М.: Коммунист, 1918.
- Бухарин Н.И. Избранные произведения. М.: Политиздат, 1988б.
- Бухарин Н.И. Избранные произведения / Предисл., комментарии С.Л. Леонова. М.: Экономика, 1990.
- Бухарин Н.И. Избранные труды: История и организация науки и техники / Ред. Е.П. Велихов. Л.: Наука, Ленинградск. отд., 1988а.
- Бухарин Н.И. Политическая экономия рантье. Теория ценности и прибыли австрийской школы. 4-е изд. (стереотипное). М.–Л.: Госиздат, 1925.
- Бухарин Н.И. Проблемы теории и практики социализма. М.: Политиздат, 1989.
- Бухарин Н.И. Теория исторического материализма. Популярный учебник марксистской социологии. Изд. 5-е (стереотип.). М.–Л.: Госиздат, 1928.
- Водолазов Г.Г. Альтернативы истории и история альтернатив (Н. Бухарин против «казарменного коммунизма»). Статья 1 // Социологические исследования. 2014. № 8. С. 105–113.
- Гоулднер А. Наступающий кризис западной социологии / Пер. с англ. А.С. Фомин, В.В. Кузнецов, М.Г. Ермакова. СПб.: Наука, 2003.
- Дискуссия о марксистском понимании социологии // Историк-марксист. 1929. Т. 12. С. 189–213.
- Кремнев Е.В. Властно-управленческие концепции китайской марксистской социологии начала XX в.: традиции и революция // Социологические исследования. 2020. № 5. С. 102–112. DOI: 10.31857/S013216250009479-9.
- Кун М. Бухарин: его друзья и враги. М.: Республика, 1992.
- Лабриола А. Исторический материализм: Очерки материалистического понимания истории / Пер. с ит. и фр. М.: ЛКИ, 2010.
- Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 38. М.: Политиздат, 1969.
- Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 39. М.: Политиздат, 1970а.
- Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 45. М.: Политиздат, 1970б.
- Лукач Г. Рец.: Н. Бухарин. Теория исторического материализма. Общедоступный учебник марксистской социологии. Гамбург, 1922 / Пер. И.С. Нарского // Шевченко В.Н. Н. Бухарин как теоретик исторического материализма. М.: Знание, 1990. С. 36–48.

- Луман Н. Общество как социальная система / Пер. с нем. А. Антоновский. М.: Логос, 2004.
- Маркс К. Капитал. Т. 3. Ч. 2 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 25. Ч. II. М.: Госполитиздат, 1962.
- Маркс К. Тезисы о Фейербахе // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 3. М.: Госполитиздат, 1955. С. 1–4.
- Павлюченков С.А. «Орден меченосцев»: Партия и власть после революции. 1917–1929 гг. М.: Собрание, 2008.
- Писарев Д.И. Реалисты. М.: Гослитиздат, 1956.
- Плеханов Г.В. О материалистическом понимании истории. М.: Политиздат при ЦК ВКП(б), 1941.
- Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). СПб.: Алетей, 2007.
- Протьюко Т.С., Грицанов А.А. Александр Богданов. Минск: Книжный дом, 2009.
- Романовский Н.В. Историческая социология в России: плоды и тревоги // Социологические исследования. 2018. № 6. С. 79–90. DOI: 10.7868/S0132162518060077.
- Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М.: Наука, 1994.
- Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук. М.: Гардарики, 2006.
- Узник Лубянки: Тюремные рукописи Николая Бухарина. Изд. 2-е. М.: АИРО – XXI, 2008.
- Шевченко В.Н. Н. Бухарин как теоретик исторического материализма. М.: Знание, 1990.
- Bukharin N. Historical Materialism: A System of Sociology. New York: International Publishers, 1925.
- Bukharin N. Philosophical Arabesques / Transl. by R. Clarke. New York.: Monthly Review Press, 2005.
- Bucharin N. Theorie des Historischen Materialismus. Hamburg: Verlag der Kommunistischen Internationale, 1922.
- Buharin N., Preobrazhensky E. The ABC of Communism: The Popular Explanation of the Program of the Communist Party of Russia / Transl. from Russ. by Eden and Cedar Paul. London: The Communist Party of Great Britain, 1922.

Статья поступила: 05.04.21. Принята к публикации: 19.07.21.

NIKOLAY BUKHARIN'S MARXIST SOCIOLOGY PROJECT

KONONOV I.F.

The Luhansk Taras Shevchenko National University, Ukraine

Illia F. KONONOV, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Head of the Department of Philosophy and Sociology of the Luhansk Taras Shevchenko National University, Starobilsk, Ukraine (kononov_if@ukr.net).

Abstract. The article analyzes Nikolai Bukharin's input in formation of the Marxist sociology school in the USSR in the 1920s. The ideological prerequisites for this school materialized at the turn of the 19th – 20th centuries. Back then, demonstrating intensive development, Russian Marxism mainstream was formed as a result of internal struggle. G. Plekhanov, A. Bogdanov and V. Lenin were key figures of the intellectual struggle. It is paradoxical, but the Soviet school of Marxist sociology fused ideas of principal opponents – alleged theoreticians of Marxism. N. Bukharin played a key part in this synthesis. For the Russian Marxist sociology became a center of scientific social studies. Sociology is a prerequisite for scientific research in economic theory, and scientific socialism is a predictive and practical conclusion from historical materialism. N. Bukharin's sociological views were formed in the course of economic research on imperialism and developed from economic sociology to general sociological theory where he regarded this theory as historical materialism. Sociological interpretation of historical materialism filled it with scientific content and exposed contradictions in the theoretical system of its founders. This primarily concerned fundamental concepts of the system – the base and superstructure, productive power and production relations. Bukharin tried to modernize these theoretical constructs by proposing the idea of “immersing” the superstructure into the base and a living human machine. His ideas on dialectical unity of the individual and society and on stylistic unity of social life retain their heuristic significance nowadays. On the whole, N. Bukharin's sociological theory can serve as a stimulus for developing sociological position that can contribute to the search for a new model of social structure that ensures survival and development of Homo sapiens.

Keywords: N. Bukharin, sociology, historical materialism, Marxism, society, base, superstructure, productive power, production relations, classes.

REFERENCES

- Bogdanov A.A. (1918) *New World*. 2nd ed. Moscow: Kommunist. (In Russ.)
- Bukharin N. (1925) *Historical Materialism: A System of Sociology*. New York: International Publishers.

- Bukharin N. (2005) *Philosophical Arabesques*. Transl. by R. Clarke. New York: Monthly Review Press.
- Bukharin N.I. (1989) *Problems of the Theory and Practice of Socialism*. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Bukharin N.I. (1988b) *Selected Works*. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Bukharin N.I. (1990) *Selected Works*. Preface, comments by S.L. Leonov. Moscow: Ekonomika. (In Russ.)
- Bukharin N.I. (1988a) *Selected Works: History and Organization of Science and Technology*. Ed. by E.P. Velikhov. Leningrad: Nauka, Leningradskoe otdelenie. (In Russ.)
- Bukharin N. (1922) *Theory of Historical Materialism*. Hamburg: Verlag der Kommunistischen Internationale. (In Germ.)
- Bukharin N.I. (1925) *The Political Economy of the Rentier: The Theory of Value and Profit of the Austrian School*. 4th ed. (stereotyped). Moscow-Leningrad: Gosizdat. (In Russ.)
- Bukharin N.I. (1928) *The Theory of Historical Materialism: A Popular Textbook of Marxist Sociology*. 5th ed. (stereotyped.). Moscow-Leningrad: Gosizdat. (In Russ.)
- Bukharin N., Preobrazhensky E. (1922) *The ABC of Communism: The Popular Explanation of the Program of the Communist Party of Russia*. Transl. from Russ. by Eden and Cedar Paul. London: The Communist Party of Great Britain.
- Discussion on the Marxist Conception of Sociology. (1929) *Istorik-marxist* [Marxist Historian]. Vol. 12: 189–213. (In Russ.)
- Gouldner A.W. (2003) *The Coming Crisis of Western Sociology*. Transl. from Eng. A.S. Fomin, V.V. Kuznetsov, M.G. Ermakova. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.)
- Marx K. (1962) *Capital*. Vol. 3. Part 2. In: Marx K., Engels F. *Collected Works*. 2nd ed. Vol. 25. Part 2. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Marx K. (1955) *Theses on Feuerbach*. In: Marx K., Engels F. *Collected Works*. 2nd ed. Vol. 3. Moscow: Politizdat: 1–4. (In Russ.)
- Kremnyov E.V. (2020) Governance Concepts in Chinese Marxist Sociology of the Early 20th Century: Tradition and Revolution. *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 5: 102–112. DOI: 10.31857/S013216250009479-9. (In Russ.)
- Kuhn M. (1992) *Bukharin: His Friends and Enemies*. Moscow: Respublika. (In Russ.)
- Labriola A. (2010) *Historical Materialism: Essays on the Materialistic Conception of History*. Moscow: LKI, 2010. (In Russ.)
- Lenin V.I. (1969) *Complete Works*. 5th ed. Vol. 38. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Lenin V.I. (1970a) *Complete Works*. 5th ed. Vol. 39. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Lenin V.I. (1970b) *Complete Works*. 5th ed. Vol. 45. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Lubyanka Prisoner: Prison Manuscripts of Nikolai Bukharin*. (2008) 2nd ed. Moscow: AIRO – XXI. (In Russ.)
- Luhmann N. (2004) *Society as a Social System*. Transl. from Germ. A. Antonovsky. Moscow: Logos. (In Russ.)
- Lukács G. (1990) Review: Bukharin N. *Theorie des Historischen Materialismus*. Hamburg: Verlag der Kommunistischen Internationale, 1922. In: Shevchenko V.N. *N. Bukharin as a Theorist of Historical Materialism*. Moscow: Znanie. 36–48. (In Russ.)
- Pavlyuchenkov S.A. (2008) *“Order of the Brothers of the Sword”: Party and Power after the Revolution, 1917–1929*. Moscow: Sobranie. (In Russ.)
- Pisarev D.I. (1956) *Realists*. Moscow: Goslitizdat. (In Russ.)
- Plekhanov G.V. (1941) *The Materialist Conception of History*. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Porshnev B.F. (2007) *About the Beginning of Human History (Problems of Paleopsychology)*. St. Petersburg: Aletheia. (In Russ.)
- Protko T.S., Gritsanov A.A. (2009) *Alexander Bogdanov*. Minsk: Knihzny dom. (In Russ.)
- Romanovskiy N.V. (2018) Our Historical Sociology: Fruits and Worries. *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 6: 79–90. DOI: 10.7868/S0132162518060077. (In Russ.)
- Shevchenko V.N. (1990) *N. Bukharin as a Theorist of Historical Materialism*. Moscow: Znanie. (In Russ.)
- Sorokin P.A. (1994) *Public Textbook of Sociology. Articles of Different Years*. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Stepin V.S. (2006) *Philosophy of Science: Common Problems: A Textbook for Graduate Students and Applicants for the Degree of Candidate of Sciences*. Moscow: Gardariki. (In Russ.)
- Vodolazov G.G. (2014) Alternatives in History and History of Alternatives (N. Bukharin against “Barrack Communism”). *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 8: 105–113. (In Russ.)

Received: 05.04.21. Accepted: 19.07.21.

© 2021 г.

Е.В. БАЛАЦКИЙ, Н.А. ЕКИМОВА

РЫНОК УНИВЕРСИТЕТОВ МИРОВОГО КЛАССА: ПЕРЕСМОТР ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ

БАЛАЦКИЙ Евгений Всеволодович – доктор экономических наук, профессор, директор (evbalatsky@inbox.ru); ЕКИМОВА Наталья Александровна – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник (n.ekimova@bk.ru). Оба – Центр макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, Москва, Россия.

Аннотация. В статье рассмотрены результаты третьей волны идентификации университетов мирового класса за 2021 г. на основе авторской методики. Сравнение новых результатов с данными за 2017 и 2019 гг. дало возможность пересмотреть некоторые ментальные стереотипы геополитического и национального характера. В частности, роль системы североамериканского университетского центра снижается, однако вузы США и Канады по-прежнему являются образцами для остальных стран мира. Кажущийся очевидным «закат Европы» в отношении рынка передовых университетов не подтверждается. Более того, есть основания говорить о нарастании активности европейского геополитического центра, вузы которого идут в авангарде подготовки кадров для постиндустриального общества. Вопреки ожиданиям, азиатский рынок университетов пока далек от того, чтобы превратиться в самобытный аутентичный феномен, и остается примером относительно успешной «модели копирования» западных образцов. Неожиданным оказался вывод о превосходстве передовых университетов Латинской Америки над вузами постсоветского пространства. Получены данные, указывающие на несостоятельность внутрироссийского стереотипа образцовой модели развития МГУ им. М.В. Ломоносова.

Ключевые слова: университеты мирового класса • глобальные рейтинги университетов • конкурентоспособность • геополитическая инверсия

DOI: 10.31857/S013216250014952-0

Введение. В настоящее время мир переживает процесс, определяемый как *глобальная геополитическая инверсия* (ГПИ) [Balatsky, 2014]. Данное явление связано с так называемыми циклами Дж. Арриги, перетоком мирового капитала в иную географическую юрисдикцию с соответствующей сменой государства-лидера планеты. Такой переходный период имеет множество особенностей, среди которых не последнее место занимает ломка сложившихся устойчивых представлений. При этом порождается огромное

Статья подготовлена в рамках государственного задания Правительства РФ Финансовому университету на 2021 г.: «Политико-экономические закономерности функционирования и эволюции экономической системы России».

количество иллюзий и ошибок. Не является исключением и глобальный рынок ведущих университетов.

В период ГПИ с особой силой проявилось такое социокультурное явление, как фейк [Лебедева, 2013]. Это позволило говорить о фейковой науке и фейковой экономике [Кирдина-Чэндлер, 2017], а в ряде случаев – о фейк-индустрии [Степанова, Манохина, 2019]. Можно говорить о возникновении устойчивого эволюционного тренда, состоящего в преднамеренном и непреднамеренном формировании фейковых ментальных стереотипов путем искажения информации о социальной реальности¹.

В отличие от распространенного мнения о том, что передовые вузы страны выступают локомотивами ее экономического развития [Valero et al., 2019], мы придерживаемся противоположного и не менее популярного взгляда, согласно которому вузы – это «вторичное» явление, возникающее как результат многолетнего успешного развития общества [Талев, 2014; Hamdan et al., 2020]. Исходя из этого, рынок университетов выступает в качестве запаздывающего, но очень информативного индикатора тех процессов, которые происходят в недрах различных государств. Обработка новых статистических данных о высшем образовании в виде международных рейтингов университетов позволяет оперативно получать портреты национальных образовательных систем и делать выводы о ходе глобальной конкуренции разных геополитических сегментов мира.

Цель статьи – рассмотреть общественные ментальные стереотипы о доминантах глобального рынка передовых университетов (РПУ), оценить их актуальность и дальнейшую жизнеспособность в условиях меняющегося миропорядка.

Методология и статистическая база исследования. Данная статья является продолжением начатой в 2017 г. работы по идентификации университетов мирового класса (УМК), которая выразилась в составлении двух специализированных международных топ-листов – Рейтинга УМК и Рейтинга национальных университетских систем²; в настоящее время имеются данные за 2017, 2019 и 2021 гг.

В дальнейшем мы будем пользоваться введенной ранее классификацией и кодификацией национальных университетов: У-1, У-2 и У-3 [Balatsky, Ekimova, 2019]. Группу У-1 образуют УМК³, которые: а) входят в список топ-100 хотя бы по одному из имеющегося набора глобальных рейтингов университетов (ГРУ) и б) входят в список топ-50 не менее чем по 5 предметным рейтингам по данным рейтинговой компании QS. В группу У-2 входят вузы, претендующие на статус УМК: для них выполняется условие а, но не выполняется условие б. Группу У-3 составляют узкопрофильные УМК, для которых не выполняется условие а и не в полной мере выполняется условие б. Каждый передовой вуз получает количественную оценку своих достижений на глобальном рынке, суммирование которых дает интегральную оценку национальных университетских систем; алгоритм расчетов и ранжирования раскрыт в: [Балацкий, Екимова, 2018]. Данная классификация позволяет определить круг ключевых игроков РПУ и дать количественную меру их качества.

¹ Под ментальным стереотипом будем понимать устойчивое представление множества людей по поводу складывающейся ситуации в определенной области; данное представление является массовым, а иногда и доминирующим, и в различных формах фигурирует в общественном дискурсе. Зачастую такие стереотипы либо изначально ошибочны, либо становятся таковыми из-за устаревания и изменения реальной ситуации. Сами ментальные стереотипы формируются в условиях нехватки объективной информации, что и порождает их несоответствие реальному положению дел.

² О методологии рейтингов см.: URL: <http://nonerg-econ.ru/cat/16/201/> и URL: <http://nonerg-econ.ru/cat/16/203/> (дата обращения: 01.06.2021).

³ Подчеркнем, что размер вуза напрямую не связан с его успехами, следовательно, и со статусом УМК. В исследовании [Балацкий, 2017: 36] показано, что граница эффективной численности студентов УМК находится от 8 до 22 тыс. чел. Хотя масштаб вуза способствует увеличению многих его показателей, этого совершенно недостаточно для его превращения в УМК. Так, многие российские университеты превысили верхнюю границу (РАНХиГС – более 180 тыс. студентов, Финуниверситет – около 45 тыс., Уральский федеральный университет – 57 тыс. и т.п.), однако от вхождения в УМК они по-прежнему далеки.

В прикладных расчетах использовались данные наиболее авторитетных ГРУ – *Quacquarelli Symonds (QS)*, *Times Higher Education (THE)*, *Academic Ranking of World Universities (ARWU)*, *Center for World University Rankings (CWUR)* и *National Taiwan University Ranking (NTU)*⁴. Главными индикаторами проведенных расчетов выступают число вузов каждой группы, а также индексы «силы» конкретных университетов (*H*) и целых стран (*W*)⁵.

Смысл исследования состоит в проверке правомерности нескольких ментальных стереотипов относительно мировой университетской системы. Ниже будет показано, что некоторые «самоочевидные» представления нуждаются, по крайней мере, в серьезном уточнении. В более конкретной постановке задачей исследования является получение неожиданных выводов, которые опровергают сложившиеся стереотипы общественно-го дискурса в отношении существующих мировой и российской университетских систем.

Интрига исследования состоит в двойственности периода ГПИ, и в частности 2017–2021 гг. С одной стороны, в указанный период возникает турбулентность развития без явно выраженных трендов (они только зарождаются), с другой – обозначившиеся тенденции могут развиваться с невероятной скоростью (например, изначально несущественное расхождение в значении двух показателей за 2–3 года может стать принципиальным). Это означает, что рассматриваемый четырехлетний период несет в себе большой потенциал социальных и экономических неожиданностей, которые и предстоит идентифицировать.

Старые и новые геополитические центры рынка передовых университетов. Сегодня на фоне активного обсуждения ослабления гегемонии США [Lundestad, 2012] в общественном сознании формируются три взаимосвязанных ментальных стереотипа: практически весь человеческий интеллектуальный потенциал сосредоточен в США⁶; происходит постепенное перетекание этого потенциала в Азию⁷; закат интеллектуальных достижений Европы либо уже состоялся, либо окончательно предрешен⁸.

Идентификация элементов РГУ для укрупненных регионов мира позволяет более предметно рассмотреть сформулированные выше тезисы (табл. 1). В частности, для распределения УМК по миру характерна крайняя неравномерность. Например, Африка и Ближний Восток представляют собой своеобразную научно-образовательную пустыню, которая в обозримом будущем не сможет превратиться в оазис. Еще два центра – Австралия

⁴ Вопрос о геополитических симпатиях и антипатиях различных ГРУ рассмотрен в [Balatsky, Ekimova, 2020]. В данном исследовании использованы ГРУ, являющиеся политически относительно нейтральными. Кроме того, использование нескольких рейтингов нивелирует возможные субъективные девиации ранкеров.

⁵ Подробнее методику идентификации УМК и параметр *H* см.: URL: <http://nonerg-econ.ru/methodology/81/> (дата обращения: 02.06.2021), а методику оценки потенциала национальных университетских систем и параметра *W*: URL: <http://nonerg-econ.ru/methodology/82/> (дата обращения: 02.06.2021). Подробное обоснование и обсуждение методик приведено в [Балацкий, Екимова, 2018].

⁶ Об интеллектуальном лидерстве США см.: К вопросу об интеллектуальном лидерстве США // EXRUS.eu. 2014. 4 декабря. URL: <https://ru.exrus.eu/K-voprosu-ob-intellektualnom-liderstve-SShA-SShA-privleki-umy-so-vsego-id5480bfc8ae20151f0f130747> (дата обращения: 02.06.2021); 25 стран мира с самым мощным интеллектуальным потенциалом // Mixstuff.ru. 2013. 28 октября. URL: <http://mixstuff.ru/archives/38918> (дата обращения: 02.06.2021).

⁷ О перетекании интеллектуального потенциала см.: Вода К.Р. Азиатские «мозговые центры»: положение в мире и влияние на внешнюю политику // Сравнительная политика. 2018. № 3. С. 5–13. DOI: 10.18611/2221-3279-2018-9-3-5-13; Дунаевский И. Пекин догоняет: Китай отбирает у США лидерство в науке // Российская газета – Федеральный выпуск. 2018. 17 сентября. № 207(7670). URL: <https://rg.ru/2018/09/17/kitaj-otberet-u-sshA-liderstvo-v-nauchnyh-issledovaniiah.html> (дата обращения: 02.06.2021); Is China taking global leadership away from the United States? // Medium. 2017. June 21. URL: <https://medium.com/fairbank-center/is-china-taking-global-leadership-away-from-the-united-states-3b2c77d2d960> (дата обращения: 02.06.2021).

⁸ Об интеллектуальной деградации Европы см.: Впали в беспамятство: Европа утрачивает национально-культурную целостность // Бизнес Online. 2018. 28 августа. URL: <https://www.business-gazeta.ru/article/393152> (дата обращения: 02.06.2021); Эрик Земмур: «Вирус продемонстрировал силу Азии и подчеркнул деградацию Европы» (Le Figaro, Франция) // ИноСМИ.RU. 2020. 28 марта. URL: <https://inosmi.ru/politic/20200328/247149396.html> (дата обращения: 02.06.2021).

и Новая Зеландия, Латинская Америка – не будут играть определяющей роли в силу того, что первый из них является образцовым, но неперспективным из-за удаленности от основных экономических контактов мира, а второй, будучи довольно перспективным, слишком молод, слаб и нединамичен, чтобы реализовать свой потенциал хотя бы в среднесрочной перспективе. На примере этих двух центров можно видеть высокую «чувствительность» рынка УМК: изначально невыгодное географическое положение и исторически поздний старт в развитии ставят крест на интеллектуальном доминировании тех или иных регионов мира. В связи с этим наибольший интерес представляют три геополитических центра – Северная Америка, Объединенная Европа и Азия.

Таблица 1

Геополитические центры РПУ

Страна	2017				2019				2021			
	У-1	У-2	У-3	W	У-1	У-2	У-3	W	У-1	У-2	У-3	W
США и Канада	42	18	44	403,0	41	15	56	379,1	41	15	65	370,5
Европа и Россия	37	22	118	205,6	42	18	143	230,6	41	14	159	230,0
Азия	19	4	39	75,9	17	8	35	77,3	19	8	48	84,0
Австралия и Новая Зеландия	8	0	25	33,0	8	0	18	31,7	8	0	21	31,6
Латинская Америка	1	1	10	6,1	1	1	9	5,3	2	1	9	6,8
Ближний Восток	0	2	1	1,6	0	1	2	1,1	0	1	5	1,5
Африка	0	0	4	0,6	0	0	3	0,4	0	0	5	0,6

Таким образом, сложившиеся центры УМК весьма консервативны и не склонны быстро менять свое местоположение. Стремительное экономическое развитие азиатского региона отнюдь не предполагает быстрой смены интеллектуального центра. И хотя потенциал североамериканского рынка УМК действительно уменьшается (за 4 года на 32,5 баллов по показателю W), главным бенефициаром этого процесса является европейский университетский рынок (24,4 балла или 75% перераспределяемых бонусов), а отнюдь не азиатский (8,1 балла или 25% перераспределяемого эффекта).

Можно видеть очередную попытку Европы перехватить интеллектуальную инициативу у США. Так, если в 2017 г. Европа имела на 5 УМК меньше, чем североамериканский центр, то в 2019 г. она уже обладала преимуществом в 1 университет, а в 2021 г. потенциал двух лидеров стал равным. Разрыв в качественном потенциале университетских систем (W) двух центров сократился с 2,0 до 1,6 раза. Если же рассматривать только США (без Канады) и Европу (без России), то соотношение УМК в 2021 г. оказывается в пользу последней – 36 против 40. Число УМК Азии за 4 года осталось неизменным.

В табл. 2 приведены топ-результаты разных стран в двух направлениях – место в Рейтинге УМК и уровень научной диверсификации⁹. Последний момент особенно важен в связи с самим феноменом УМК: он предполагает создание учебно-исследовательского центра, в котором ведутся разработки на мировом уровне по многим научным направлениям. Оказывается, можно говорить о границе научной диверсификации в 40 позиций, превышение которой говорит о колоссальной концентрации интеллектуальных ресурсов: вхождение вузов в топ-50 по 41–46 предметным рейтингам означает успешную исследовательскую деятельность по 80–90% всего имеющегося на сегодняшний день научного спектра дисциплин (в QS в 2021 г. фигурировал 51 предметный рейтинг). Указанную границу преодолели только североамериканские и европейские университеты; азиатские

⁹ Здесь и далее мы будем использовать англоязычные названия всех университетов, в том числе российских, для того чтобы не отклоняться от стандарта, задаваемого ГРУ, и во избежание их неоднозначной идентификации; английские названия российских университетов, на наш взгляд, не вызывают проблем в понимании.

вузы подошли к ней, но пока не могут превзойти ее. Этот факт лишний раз доказывает догоняющую модель азиатского геополитического центра УМК.

Таблица 2

Высшие достижения национальных научных систем ведущих стран мира в 2021 г.

Страна	Параметры высших достижений на РПУ	
	макс число предметных рейтингов QS, в топ-50 которых входит УМК	место лучшего вуза в Рейтинге УМК
США	43 (University of California, Los Angeles)	2 (Harvard University)
Канада	46 (University of Toronto)	21 (University of Toronto)
Япония	36 (University of Tokyo)	22 (University of Tokyo)
Китай	34 (Peking University)	25 (Tsinghua University)
Сингапур	37 (National University of Singapore)	19 (National University of Singapore)
Великобритания	41 (University of Cambridge)	1 (University of Oxford)
Швейцария	23 (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich)	12 (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich)
Германия	16 (Ludwig Maximilians University of Munich)	53 (Ludwig Maximilians University of Munich)

Что касается авангардных позиций в Рейтинге УМК, то в топ-20 списка входили только североамериканские и европейские университеты. В 2021 г. данную границу «пробил» *National University of Singapore*, за последние два года переместившийся на 19-е место, однако этот вуз, как и само государство Сингапур, является британским наследием и воплощает именно западные, а не восточные университетские традиции.

Возвращаясь к исходным ментальным стереотипам, можно констатировать их несоответствие реальности: значительная часть человеческого интеллектуального потенциала по-прежнему сосредоточена в Европе и имеет тенденцию к возрастанию, а число УМК в европейских странах больше, чем в США; активного перетекания этого потенциала в Азию пока не наблюдается. Соответственно, в общественном дискурсе присутствуют искаженные представления и ожидания относительно истинного расклада интеллектуальных ресурсов ведущих геополитических центров мира.

Драматичные рокировки на азиатском рынке университетов. Вряд ли будет большим преувеличением утверждение, что в отношении Азиатского региона характерны следующие представления: интеллектуальным авангардом Азии традиционно является Япония; «китайский дракон» проснулся и его интеллектуальная мощь набирает обороты; совокупные интеллектуальные успехи Азии в недалеком будущем превзойдут таковые в Америке и Европе.

Данные табл. 3 демонстрируют важные линии развития азиатского сегмента РПУ. Во-первых, он усиливает свои позиции, однако отнюдь не так динамично, как может представляться. За 6 лет число УМК в Азии не изменилось – имеющиеся перестановки вузов происходят преимущественно внутри Азиатского региона. Доля Азиатского региона на немного выросшем рынке УМК с 2017 по 2021 г. несущественно снизилась с 17,8 до 17,1%. Таким образом, интеллектуальные ресурсы пока еще не начали активной миграции на азиатский континент. Обратим внимание на то, что Дж. Арриги совершенно справедливо предсказывал перемещение центра мирового капитала в Азию [Arrighi, 1994],

а С. Кирдина-Чэндлер показала на эмпирических данных «смену полюсов роста», т.е. цикла экономической активности западных стран в пользу незападных [Kirdina-Chandler, 2019]. Однако вопреки этим глобальным сдвигам увеличение концентрации интеллектуального капитала мировой университетской сферы в Азии пока не наблюдается.

Таблица 3

Сопоставление университетских систем стран Азии

Страна	2017				2019				2021			
	У-1	У-2	У-3	W	У-1	У-2	У-3	W	У-1	У-2	У-3	W
Китай	9	1	16	31,6	8	3	15	31,9	10	2	20	39,0
Сингапур	2	0	0	13,4	2	0	1	14,5	2	0	1	14,7
Япония	5	2	2	18,7	3	2	6	16,4	3	2	4	14,5
Южная Корея	3	1	6	10,8	3	2	6	10,5	3	3	3	10,8
Тайвань	1	0	3	3,5	1	0	2	2,5	1	0	2	1,6
Малайзия	0	0	4	1,2	0	1	1	0,9	0	1	5	1,7
Индия	0	0	4	0,4	0	0	3	0,3	0	0	4	0,4
Всего	19	4	39	75,9	17	8	35	77,3	19	8	48	84,0

Во-вторых, Азиатский регион усиливает свои позиции на РПУ не глобально, а локально. Это означает, что все достижения на указанном рынке затрагивают крайне ограниченный круг стран. Если рассматривать Тайвань как часть Китая, то успехи университетской системы Азии сосредоточены в четырех государствах – Китае, Сингапуре, Японии и Южной Корее (22,6% территории континента). Остальные страны Азии пока никак не проявляют себя на данном поприще. Следовательно, масштабная диффузия знаний и человеческого капитала в Азии пока отсутствует, а сектор УМК на 77,4% территории азиатского континента пока «спит» с неопределенными перспективами подъема. В этой связи примечательно, что Дж. Арриги, говоря об азиатском центре капитала, старался избегать конкретизации [Arrighi, 2007], однако сегодня уже можно констатировать, что речь следует вести о Китае, а не об Азии вообще.

В-третьих, конкуренция стран на РПУ внутри Азиатского региона принимает весьма драматичные формы. Например, Япония в 2017 г. уверенно занимала 1-е место в регионе. Однако через 4 года ситуация кардинально изменилась: Китай нарастил число УМК до 6 и осуществил окончательную интеграцию Гонконга, давшую ему еще 4 УМК, что позволило занять первую позицию и заметно оторваться от своих конкурентов. За эти годы по университетскому потенциалу W Япония пропущила вперед еще и Сингапур, с трудом сохранив небольшое преимущество перед Южной Кореей. Одновременно с этим видно «превращение» японских УМК в узкопрофильные вузы типа У-3. Тем самым традиционное мнение об абсолютном превосходстве японской университетской системы в Азии постепенно теряет свою истинность.

Япония сегодня переживает глубокий социокультурный кризис, который еще яснее проявляется при рассмотрении динамики ее места в Рейтинге национальных университетских систем¹⁰. Так, в 2017 г. она занимала 5-ю позицию, а в 2021 г. – опустилась на 10-ю, за это же время Китай переместился с 8-й на 3-ю (табл. 2). Логично предположить, что подобные рокировки для Японии драматичны.

Что касается перспектив интеллектуального лидерства Китая, то уместно вспомнить концепцию А. Зиновьева, согласно ей любая социальная система имеет нижнюю и верхнюю эволюционные границы, внутри которых данная система сохраняет свое качественное своеобразие [Зиновьев, 2004]. Китайское общество в полной мере подчиняется

¹⁰ Рейтинг национальных университетских систем // Неэргодическая экономика. 2017. 21 мая. URL: <http://nonerg-econ.ru/cat/16/203/> (дата обращения: 24.08.2021).

данному правилу и у него есть своя верхняя эволюционная граница. Интрига состоит в ответе на вопрос: его граница выше, чем у Европы и Северной Америки, или ниже.

При этом уместно вспомнить, что коммунистический строй Поднебесной формировался при непосредственном участии и под влиянием СССР. А головокружительный технологический рывок Китая осуществил после создания Соединенными Штатами для него особого торгового режима, накачивания его экономики капиталом и современными производствами, а также после частичного копирования американских экономических институтов и заимствования иностранных технологий в результате промышленного шпионажа и масштабного нарушения патентного права. Если к сказанному добавить тот факт, что 40% нынешних китайских УМК являются наследством Гонконга, который в свою очередь представляет собой скорее англо-американское творение, то вторичность нынешней интеллектуальной традиции КНР становится очевиднее.

Возвращаясь к исходным тезисам раздела, подведем итоги: безоговорочное интеллектуальное и технологическое лидерство Японии в Азиатском регионе практически закончилось и сегодня является скорее историческим воспоминанием, чем реальностью; Китай продемонстрировал впечатляющие интеллектуальные достижения, однако отсутствие аутентичных прорывных технологий не позволяет пока делать однозначные прогнозы о его дальнейшем развитии; интеллектуальные достижения высшего уровня в форме УМК характерны только для 23% территории азиатского континента, что исключает его интеллектуальную экспансию в обозримом будущем.

Разнообразие и непредсказуемость Европы. В отношении Европы чрезвычайно стойким стереотипом является убежденность в абсолютном технологическом и интеллектуальном лидерстве Германии. На первый взгляд, такой взгляд на мир представляется вполне естественным и оправданным. Для его проверки рассмотрим данные табл. 4.

Таблица 4

Параметры университетских систем стран Европы

Страна	2017				2019				2021			
	У-1	У-2	У-3	W	У-1	У-2	У-3	W	У-1	У-2	У-3	W
Англия	17	1	39	126,5	18	0	41	138,4	15	3	42	134,2
Швейцария	2	3	9	16,9	3	2	16	17,9	3	2	17	21,0
Германия	6	2	8	13,5	6	4	14	17,7	5	2	12	16,0
Нидерланды	5	4	5	14,6	4	6	5	15,5	6	3	8	15,1
Франция	0	2	10	5,0	2	1	14	8,2	2	1	15	10,5
Швеция	2	3	6	7,1	3	1	8	6,9	4	1	8	7,7
Дания	2	0	5	6,0	2	0	4	6,4	2	0	5	6,2
Бельгия	1	1	2	3,8	1	1	2	4,6	1	1	1	4,3
Италия	0	3	5	3,4	0	2	10	4,7	0	0	13	3,2
Испания	0	1	8	2,2	0	1	9	2,7	0	1	9	2,8
Норвегия	0	1	3	1,4	1	0	3	1,8	1	0	4	2,3
Финляндия	1	0	4	1,8	1	0	2	1,8	1	0	5	2,1
Австрия	0	0	3	0,3	0	0	6	0,8	0	0	6	1,1
Ирландия	0	1	1	0,8	0	0	2	1,2	0	0	3	0,9
Португалия	0	0	2	0,2	–	–	–	–	0	0	2	0,2
Венгрия	0	0	1	0,1	0	0	1	0,3	0	0	1	0,2
Греция	0	0	1	0,1	0	0	3	0,3	0	0	1	0,1
Польша	0	0	2	0,2	0	0	1	0,1	–	–	–	–
Россия	1	0	4	1,7	1	0	2	1,3	1	0	7	2,1
Всего	37	22	118	205,6	42	18	143	230,6	41	14	159	230,0

Как оказалось, положение Германии весьма неоднозначно. Например, среди стран континентальной Европы по числу УМК она была явным лидером в 2017 г. и еще больше укрепила свое положение в 2019 г. Однако в 2021 г. Германия «теряет» один УМК, а Голландия, наоборот, прибавляет 2 УМК и становится континентальным чемпионом. Обратим внимание, что по совокупному университетскому потенциалу *W* Германия с 4-го места в 2017 г. довольно уверенно переходит на 3-е место в 2019 г., почти сравнявшись со Швейцарией, а в 2021 г. резко отстает от нее. За период 2017–2021 гг. по показателю *W* Великобритания прибавила 7,7 балла, Швейцария – 4,1, Франция – 5,5, а Германия – только 2,5.

Таким образом, Германия с большой степенью условности может считаться лидером европейского сегмента РПУ. Более того, невольно напрашивается аналогия: Германия в Европе – это подобие Японии в Азии. Послевоенные ограничения в отношении этих двух стран и нынешняя глобальная геополитическая турбулентность обнажают проблемы их развития.

В целом Европа представляет собой бурлящий котел – разные государства демонстрируют различные тенденции развития и неожиданные сюрпризы. Например, Швеция за 4 года увеличила число УМК с 2 до 4. С лучшей стороны проявили себя Норвегия, Австрия, Финляндия. Вместе с тем такие страны, как Испания, Италия, Португалия и Ирландия, имеющие богатые университетские традиции, явно находятся в депрессии и никак не проявляют себя на РПУ. Такое положение дел позволяет говорить, что рынок УМК Европы находится в состоянии бифуркации, – в ближайшие годы регион может с одинаковой вероятностью как резко усилиться, так и столь же резко ослабнуть.

В пользу положительного развития событий то, что в Европе имеется достаточно большое разнообразие источников роста УМК, а пассивные страны обладают культурным потенциалом, позволяющим им быстро «проснуться». Так, в Азии на сегодняшний день имеется четыре страны (Тайвань условно считаем частью Китая), поставляющие УМК на мировой рынок, тогда как в Европе таких стран 11 (включая Россию).

Таким образом, более пристальный анализ данных о рынке европейских университетов показывает, что его страновыми драйверами выступают Великобритания и Швейцария, тогда как Германия пока не способна задавать вектор развития. В целом же Европу пока рано списывать со счета из-за уникальности опыта сочетания механизмов конкуренции и сотрудничества, которые позволяют, с одной стороны, университетам всех стран региона выступать в качестве единого целого, а с другой – не превращаться в однородную массу и не терять индивидуальную активность [Balatsky, Ekimova, 2019]. Также из табл. 2 видно существенное превосходство Европы по числу университетов группы У-3. Из них 25% – это узкопрофильные университеты, специализирующиеся в области искусства, дизайна, архитектуры и туризма. Аналогичный показатель по университетам США и Канады не превышает 17%.

В эпоху формирования роботоники – экономики, основанной на массовой автоматизации и роботизации, – и сопровождающего ее роста технологической безработицы акценты в области занятости смещаются в сферу созидания и творчества. В связи с этим уже сегодня необходимо формировать новую когорту специалистов, а университетам осуществлять перенастройку и переупрофилирование в указанном направлении, поскольку в ближайшее десятилетие многие специальности могут оказаться невостребованными. Европейские университеты являются пионерами и драйверами данного процесса.

Латинская Америка и постсоветское пространство: за кем будущее? Помимо рассмотренных трех определяющих геополитических центров УМК на карте мира есть Африка и Ближний Восток, где таких структур вообще не существует, и Латинская Америка и постсоветское пространство, где имеются единичные ростки подобного явления. В данном разделе рассмотрим эти периферийные зоны РПУ, которые имеют потенциал и могут проявить себя с совершенно неожиданной стороны.

Низкий и поздний старт стран Латинской Америки и, наоборот, относительно недавнее научно-технологическое могущество экс-СССР предопределяют то, что на второй

территории сосредоточен более впечатляющий интеллектуальный потенциал, чем на первой. Для проверки этого ментального стереотипа обратимся к табл. 5.

Уже в 2017 г. РПУ на территории Латинской Америки был более развитым по сравнению с территорией постсоветского пространства, на котором только одна Россия обозначала свое присутствие. В результате после распада СССР почти 24% его территории оказались принципиально исключенными из рынка УМК. Этот факт не вызывает удивления, так как держателями УМК являются либо территориально крупные страны, либо небольшие государства с уникальными историческими и геополитическими преимуществами. У республик бывшего СССР (кроме России) таких начальных условий не было, в связи с чем они и превратились в научно-образовательную пустыню.

Таблица 5

Параметры университетских систем стран Латинской Америки

Страна	2017				2019				2021			
	У-1	У-2	У-3	W	У-1	У-2	У-3	W	У-1	У-2	У-3	W
Бразилия	1	0	4	2,4	1	0	2	2,1	1	0	2	2,7
Мексика	0	0	2	1,4	0	0	1	1,3	1	0	1	1,8
Аргентина	0	1	1	1,1	0	1	1	1,1	0	1	0	1,2
Чили	0	0	3	1,2	0	0	3	0,7	0	0	3	0,7
Колумбия	–	–	–	–	0	0	2	0,2	0	0	3	0,4
Итого	1	1	10	6,1	1	1	9	5,3	2	1	9	6,8
Россия	1	0	4	1,7	1	0	2	1,3	1	0	7	2,1

О преимуществе Латинской Америки над постсоветским пространством позволяют говорить следующие факты. Во-первых, по многим признакам перспективы рынка УМК в Латинской Америки лучше, чем на постсоветском пространстве. Например, свое присутствие в международных рейтингах университетов обозначило пять стран из первого региона и лишь одна страна из второго. При этом Колумбия, которая довольно агрессивно проявляет себя на РПУ, по численности населения больше любой страны бывшего СССР; аналогичная ситуация характерна для Аргентины. Есть основания предполагать, что в ближайшие 7–10 лет эти два латиноамериканских государства смогут создать свои УМК, чего не скажешь ни об одном постсоветском государстве (кроме России).

Во-вторых, если и есть хоть какие-то перспективы построения рынка УМК на постсоветском пространстве, то только у России. У нее для этого имеются объективные – территориальные, демографические и историко-культурные – факторы, в отличие от других стран бывшего СССР, у которых нет ни необходимого человеческого капитала, ни исторических и географических предпосылок.

Рассмотрение дел изнутри позволяет понять, почему социальный штамп в отношении двух регионов устарел и требует корректировки. Для этого обратимся к данным табл. 6, в которой сравниваются ключевые характеристики УМК Бразилии, Мексики и России и используются следующие обозначения: R – число предметных рейтингов системы QS, в которой вуз фигурирует в списке топ-50 (коэффициент научной диверсификации); N – порядковый номер вуза в Рейтинге УМК¹¹.

Из приведенной табл. 6 наглядно видно следующее. Во-первых, научная диверсификация мексиканского и бразильского УМК в два раза выше, чем российского. На территории указанных стран задача по концентрации в одном месте разнообразных научных направлений и исследователей высокого класса решается неизмеримо успешнее, чем в России. Этот вывод является не просто неприятным, но и весьма «опасным» для нашей

¹¹ Рейтинг университетов мирового класса // Неэргодическая экономика. 2017. 19 мая. URL: <http://nonerg-econ.ru/cat/16/201/> (дата обращения: 24.08.2021).

страны. Так, «границей отсечения» в алгоритме идентификации УМК была принята отметка $R = 5$. Исходя из этого, *LMSU* имеет очень слабые позиции в рассматриваемом турнирном списке и в любой момент рискует утратить свой высокий статус. Бразильский *USP* и мексиканский *UNAM*, наоборот, преодолевают границу диверсификации с большим запасом, что делает их позиции в рейтинге достаточно надежными.

Таблица 6

Параметры УМК Латинской Америки и России

Университет	2017		2019		2021	
	R	N	R	N	R	N
University of Sao Paulo (USP)	9	74	9	79	13	67
National Autonomous University of Mexico (UNAM)	12	–	13	–	12	84
Lomonosov Moscow State University (LMSU)	6	99	5	107	6	101

Во-вторых, динамичность продвижения в Рейтинге УМК латиноамериканских *USP* и *UNAM* неизмеримо выше, чем *LMSU*. Например, бразильский *USP* сегодня находится на 67-м месте, что включает важную симптоматику. Сравнение Рейтингов УМК за 2017, 2019 и 2021 гг. позволило весь топ-лист разделить некоей эмпирической «границей надежности» – первые 70 вузов и остальные. Первая группа университетов характеризуется относительно низкой волатильностью смены рейтинговых мест и практически гарантированно остается в Рейтинге УМК; остальные демонстрируют высокую неустойчивость своих достижений и выступают в качестве претендентов на вытеснение из списка и замещение другими вузами. На этом фоне колебания *LMSU* в границах 99–107 являются признаком отсутствия у него внутренних резервов для значимого продвижения в рейтинге.

В-третьих, международные ранкеры иногда дают сильно искаженные оценки, исправление которых требует значительного времени. В этой связи характерна история мексиканского *UNAM*, который, как видно из табл. 7, уже в 2017 г. имел уровень диверсификации больший, чем некоторые вузы первой полусотни ГРУ, и, тем не менее, систематически игнорировался основными игроками рынка ранкеров. Только в 2021 г. ГРУ QS определил его на замыкающее 100-е место и тем самым дал возможность войти в разряд УМК. Сказанное показывает, что более оперативную оценку дают предметные рейтинги глобальных ранкеров, тогда как ГРУ – более консервативные маркеры. Сам случай мексиканского *UNAM* значим: с одной стороны, он показывает двухступенчатую стратегию вхождения вузов в число лидеров (через предметные рейтинги в ГРУ), с другой – задает прецедент и меняет отношение международного экспертного сообщества к Латиноамериканскому региону. Можно рассчитывать, что при наличии заметных успехов у ведущих университетов Аргентины и Колумбии они будут признаны быстрее, чем это произошло со столичным вузом Мексики.

Акцентируем внимание, что представления об отсталости Латинской Америки и существенном превосходстве стран постсоветского пространства уже не столь неопровержимы и однозначны.

Внутрироссийские предрассудки и заблуждения. Последний штрих, который остается внести в общую картину об РПУ, касается российской университетской системы и ее потенциала. Здесь также имеется устоявшийся стереотип, предполагающий наличие в стране скрытых возможностей, которые могут проявить себя при определенном стимулировании со стороны властей. Это представление поддерживается и инициативами российского правительства, которое запускает программы поддержки отечественных университетов (Проект 5-100, Приоритет 2030).

Для проверки указанных общественных ожиданий рассмотрим данные табл. 7. Современные УМК представляют собой объекты, в которых сконцентрирована исследовательская деятельность на самом высоком, мировом уровне по многим научным направлениям.

Это свойство УМК важное и сложно выполнимое. Узкопрофильные институты, работающие на высоком уровне, имеются во многих странах, тогда как произвести интеграцию множества разнородных научных направлений в одном заведении редко удается. Стабильность позиций вуза в международных рейтингах говорит о естественности и неслучайности его успеха; в противном случае возникают вопросы о причинах сбоев в динамике. Неудивительно, что попытки создания УМК «с нуля» редко приводят к успеху, так как довольно трудно чем-либо компенсировать длительный процесс организации работ творческих коллективов.

Можно констатировать, что единственный УМК России – *LMSU* – не обладает перечисленными качествами. Стабильно вуз входит в топ-50 предметных рейтингов только по четырем направлениям – современным языкам, лингвистике, математике и физике. Остальные направления являются неустойчивыми. Например, в 2017 г. *LMSU* имел хорошие позиции в сфере индустрии досуга, но потом упустил их, компенсировав утрату достойным местом по философии. Аналогичным образом университет удерживал в 2017–2019 гг. неплохие позиции по информатике, но в 2021 г. вылетел по данному направлению из списка топ-50, компенсировав это попаданием в число лидеров по инженерному делу в нефтяной промышленности. Подобная смена успехов и провалов на фоне крайне узкого круга дисциплин, в которых *LMSU* устойчиво доминирует, делает его положение очень ненадежным. В любой момент единственный УМК страны может лишиться своего статуса, а восстановить его будет чрезвычайно трудно, учитывая настойчивость конкурентов.

Отметим и сам масштаб научной диверсификации российского УМК: в 2021 г. проигрыв в 7,7 раза канадскому *University of Toronto* (6 предметных рейтингов против 46) и в 2 раза мексиканскому *UNAM* (6 против 12).

Помимо *LMSU*, в России имеется еще восемь вузов, которые обозначили свое присутствие в топ-50 предметных рейтингов, однако ни один из них пока не может претендовать на роль УМК в обозримой перспективе. Из всех этих учреждений только *HSE University* стабильно улучшал свои позиции, попав в топ-50 по двум предметам – политологии и социологии. Однако даже этот успех пока не прошел тест на устойчивость, не говоря уже о том, что число таких предметов надо увеличить хотя бы в 3 раза.

Определенную стабильность в своих областях демонстрируют *Moscow P.I. Tchaikovsky Conservatory*, *St.Petersburg Mining University* и *National University of Science and Technology MISIS*, однако они изначально создавались как узкопрофильные заведения, и ожидать от них последующей диверсификации нельзя. Успех других четырех вузов не подлежит оценке на устойчивость в силу нехватки данных.

Примечательно, что до 2020 г. *LSMU*, *HSE University* и присоединившийся к ним в 2018 г. *MGIMO University* занимали по направлению политология места гомогенной группы 51-100. Публикация в рейтинге *QS* университетов, занимающих указанные места, в алфавитном порядке порождала иллюзию доминирования *LSMU* над своими конкурентами. Однако детальный анализ параметров рейтингования и расчет итогового балла согласно методике *QS* показал, что начиная с 2018 г. *HSE University* не только уверенно лидировал среди трех рассматриваемых университетов, но и постоянно наращивал отрыв от своих ближайших конкурентов, что в конечном счете позволило данному вузу в 2020 г. преодолеть барьер в топ-50 и оказаться в числе мировых лидеров. В 2021 г. произошла еще одна знаковая рокировка: в число лидеров топ-50 вошел *MGIMO University*, заняв 41-е место и опередив закрепившийся на 45-м месте *HSE University*.

Таким образом, проверка российской университетской системы в рамках государственной инициативы Проект 5-100 по критериям ГРУ показала ее чрезвычайно низкую международную конкурентоспособность. Это заставляет нас переосмыслить тезис о наличии у России серьезных научных и интеллектуальных резервов.

Таблица 7

Динамика рейтинговых параметров ведущих вузов России

Университеты России (годы)	Научные направления											
	Современные языки	Лингвистика	Исполнительские виды искусства	Философия	Инженерное дело в горной промышленности	Инженерное дело в нефтяной промышленности	Математика	Физика и астрономия	Политика и международные отношения	Социология	Информатика и информационные технологии	Управление в гостиничном бизнесе и индустрии досуга
Lomonosov Moscow State University (LMSU)												
2017	44	13		51-100		-	33	21			48	43
2019	33	23		51-100		-	34	26			48	-
2021	36	24		41		32	34	29			58	51-100
Moscow P.I. Tchaikovsky Conservatory												
2017			41									
2019			-									
2021			34									
Tomsk Polytechnic University												
2017						-						
2019						-						
2021						23						
Novosibirsk State University												
2017								50				
2019								51-100				
2021								90				
Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT)												
2017								42				
2019								51-100				
2021								50				
National University of Science and Technology MISIS												
2017					31							
2019					19							
2021					42							
St.Petersburg Mining University												
2017					15							
2019					42							
2021					12							
HSE University												
2017									51-100	51-100		
2019									51-100	51-100		
2021									45	50		
MGIMO University												
2017									51-100			
2019									51-100			
2021									41			

Заключение: к отказу от ложных стереотипов. Рассмотренные факты относительно развития РГУ показали, что нужно пересматривать устаревшие представления о меняющемся мире. Так, североамериканские университеты США и Канады остаются эталонами научной диверсификации и продуктивности; ни одной стране мира пока не удалось превзойти лучшие вузы Северной Америки, хотя прежнее доминирование этого региона ослабевает. Пресловутый «закат Европы», который многим представляется самоочевидным, откладывается на неопределенный срок; более того, именно европейские университеты идут в авангарде подготовки кадров для постиндустриального общества. Рынок УМК Азии пока далек от того, чтобы превратиться в самобытный аутентичный феномен, будучи лишь результатом успешно реализованной «модели копирования» западных образцов, хотя отдельные достижения региона не могут не впечатлять.

Неожиданным и неприятным является вывод о превосходстве РГУ Латинской Америки над странами постсоветского пространства. Бывший СССР дал только одного игрока рынка УМК – Россию. Однако последняя находится отнюдь не на пике своих возможностей, имея лишь один признанный УМК (*LMSU*), не отличающийся устойчивостью своих научных достижений. Еще восемь вузов страны пока только обозначили свое присутствие в предметных рейтингах. Опыт Мексики, чей столичный университет долго не признавался международным экспертным сообществом, несмотря на его более чем впечатляющие успехи в предметных рейтингах, показывает, что даже при самых благоприятных обстоятельствах эта же участь ожидает и российские вузы, что еще больше задержит их выход в лидеры.

Несмотря на указанные обстоятельства, было бы неверным считать, что Россия потерпела полное и окончательное фиаско в борьбе за место на рынке глобальных университетов. Во-первых, нужно учитывать тот факт, что Россия позднее подключилась к мировому тренду по построению УМК, начавшемуся еще в конце прошлого века: государственное финансирование специальных программ в Канаде началось в 1989 г., в Дании – в 1991 г., Финляндии – в 1995, Китае – в 1996, Японии – в 2002, Австралии и Норвегии – в 2003, Германии – в 2006. Россия присоединилась к данной инициативе только в 2008 г. [Салми, Фруммин, 2013]. Во-вторых, несмотря на то, что цели Проекта 5-100 достигнуты не были, он позволил провести глобальную инвентаризацию российской университетской системы, пересмотреть подходы к развитию отечественных вузов, заявить о себе на международной арене. Тем самым лучшие вузы России впервые за четверть века существования страны перестали быть «невидимыми» для международного информационного пространства. В-третьих, в деле формирования УМК Россия, осознавая это или нет, следует *ступенчатой стратегии*, когда сначала решается задача попадания в менее претенциозный пул передовых вузов (топ-50 предметных рейтингов), а потом за счет постепенной научной диверсификации вузы перемещаются к нижней границе топ-100 РГУ с окончательным ее прохождением и попаданием в разряд по-настоящему передовых университетов мира. Тем самым Россия пока реализует только первую часть означенного пути, подготавливая основу для дальнейших достижений. Реальность таковых демонстрирует Китай, который относительно быстро прошел все этапы «пути к УМК» и сегодня занимает вполне достойное место на РГУ.

Нельзя не упомянуть еще один важный аспект конкурентной гонки университетов. Мир разделился на две группы стран – те, которые включились в гонку, и те, которые по разным причинам ее игнорируют. Россия попадает в первую группу, причем традиции командной экономики приводят к тому, что все благие начинания быстро бюрократизируются и переходят в имитационный режим. В этих условиях превалирующее значение приобретают позитивные рапорты вузов и чиновников вышестоящим властям о своих выдающихся достижениях, что затрудняет диагностику истинного положения вещей, идентификацию организационных ошибок и их своевременную корректировку. При этом остается не до конца понятным реальный потенциал российских вузов – то ли он действительно крайне низок (даже по сравнению со странами Латинской Америки), то ли он не так мал, но его неумелая организация нынешней бюрократией не позволяет ему реализоваться в полной мере. На наш взгляд, у России по-прежнему остаются шансы на научный рывок, однако время работает не на нее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Балацкий Е.В. Предпосылки глобальной геополитической инверсии // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2014. № 2(32). С. 28–42. DOI: 10.15838/esc/2014.2.32.4.
- Балацкий Е.В. Университетские эндаументы и конкурентоспособность российских вузов. М.: Буки Веди, 2017.
- Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Геополитические меридианы университетов мирового класса // Вестник Российской академии наук. 2019. Т. 89. № 10. С. 1012–1023. DOI: 10.31857/S0869-587389101012-1023.
- Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Опыт идентификации университетов мирового класса // Мировая экономика и международные отношения. 2018. Т. 62. №1. С. 104–113. DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-1-104-113.
- Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу. СПб.: Нева, 2004.
- Кирдина-Чэндлер С.Г. Радикальный институционализм и фейковая экономика в XXI веке // Journal of Institutional Studies. 2017. Т. 9. № 4. С. 6–15. DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.4.006-015.
- Лебедева И.В. Фейк как социокультурное явление современного общества // Гуманитарные исследования. 2013. № 2(46). С. 157–164.
- Салми Д., Фруммин И.Д. Как государства добиваются международной конкурентоспособности университетов: уроки для России // Вопросы образования. 2013. № 1. С. 25–68.
- Степанова Т.Е., Манохина Н.В. Фейковая экономика: истина где-то рядом // Креативная экономика. 2019. Т. 13. № 3. С. 433–448. DOI: 10.18334/ce.13.3.40101.
- Талеб Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса. М.: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2014.
- Arrighi G. Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century. London; New York: Verso, 2007.
- Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times. London; New York: Verso, 1994.
- Balatsky E.V., Ekimova N.A. Global Competition of Universities in the Mirror of International Rankings // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2020. Vol. 90. No. 4. P. 417–427. DOI: 10.1134/S1019331620040073.
- Hamdan A., Sarea A., Khamis R., Anasweh M. A Causality Analysis of the Link between Higher Education and Economic Development: Empirical Evidence // Heliyon. 2020. Vol. 6. No. 6. Article 04046. DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e04046.
- Kirdina-Chandler S.G. Western and non-Western Economic Institutional Models in Time and Geographical Space // Terra Economicus. 2019. Vol. 17. No. 1. P. 8–23. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-1-8-23.
- Lundestad G. The Rise and Decline of American "Empire": Power and its Limits in Comparative Perspective. New York: Oxford Univ. Press, 2012.
- Valero A., Reenen J.V. The Economic Impact of Universities: Evidence from Across the Globe // Economic of Education Review. 2019. Vol. 68. Iss. C. P. 53–67. DOI: 10.1016/j.econedurev.2018.09.001.

Статья поступила: 26.04.21. Финальная версия: 23.05.21. Принята к публикации: 03.06.21.

WORLD-CLASS UNIVERSITY MARKET: RETHINKING GEOPOLITICAL AND NATIONAL STEREOTYPES

BALATSKY E.V.*, EKIMOVA N.A.*

*Financial University under the Government of the Russian Federation, Russia

Evgeny V. BALATSKY, Dr. Sci. (Econ.), Director (evbalatsky@inbox.ru); Natalya A. EKIMOVA, Leading Researcher (n.ekimova@bk.ru). Both – the Center for Macroeconomic Research of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

Acknowledgements. The article is based on the state assignment of the Government of the Russian Federation to the Financial University for 2021 "Political and economic patterns in the functioning and evolution of the economic system of Russia".

Abstract. The article considers the results of the third wave of identification of world-class universities in 2021, obtained on the basis of the authors' methodology. The comparison of the new results with the data for the 2017 and 2019 allowed us to examine in more detail some well-established mental stereotypes of a geopolitical and national character. In particular, the role of the North American university center is declining, but the universities of the United States and Canada are still models for the

rest of the world, both in terms of the breadth of scientific diversification and in terms of the research results obtained. The seemingly self-evident “decline of Europe” concerning the market of advanced universities is not confirmed. Moreover, there is reason to talk about the growing activity of the European geopolitical center, whose universities not only hold their positions but also rapidly increase the number of highly specialized institutions and are at the forefront of training personnel for post-industrial society. Contrary to many expectations, the Asian university market is still far from becoming a distinctive authentic phenomenon and is still only an example of a relatively successful “copying model” of Western models. Quite unexpected was the alarming conclusion about the superiority of advanced universities in Latin America over universities in the post-soviet space in general and in Russia in particular. It is shown that the recognition of “new” world-class universities by international rating agencies, such as the National Autonomous University of Mexico, is very late. The internal Russian mental archetype concerning the model of development of the Lomonosov Moscow State University is recognized as untenable, whose tenure as a member of world-class universities is extremely unstable. Additional proof of this is the fact that this university has already lost the competition in the direction of “political science” to two other Russian universities – the HSE University and the MGIMO University.

Keywords: world-class university, global university rankings, competitiveness, geopolitical inversion.

REFERENCES

- Arrighi G. (1994) *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of our Times*. London; New York: Verso.
- Arrighi G. (2007) *Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century*. London; New York: Verso.
- Balatsky E.V. (2014) Prerequisites for Global Geopolitical Inversion. *Ekonomicheskie i sotsialnye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz* [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast]. No. 2(32): 28–42. DOI: 10.15838/esc/2014.2.32.4. (In Russ.)
- Balatsky E.V. (2017) *University Endowments and Competitiveness of Russian Universities*. Moscow: Buki Vedi. (In Russ.)
- Balatsky E.V., Ekimova N.A. (2019) Geopolitical Meridians of World-Class Universities. *Vestnik Rossiyskoy akademii nauk* [Herald of the Russian Academy of Sciences]. Vol. 89. No. 10: 1012–1023. DOI: 10.31857/S0869-587389101012-1023. (In Russ.)
- Balatsky E.V., Ekimova N.A. (2020) Global Competition of Universities in the Mirror of International Rankings. *Herald of the Russian Academy of Sciences*. Vol. 90. No. 4: 417–427. DOI: 10.1134/S1019331620040073.
- Balatsky E.V., Ekimova N.A. (2018) World Class Universities: Experience of Identification. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya* [World Economy and International Relations]. Vol. 62. No. 1: 104–113. DOI: 10.20542/0131-2227-2018-62-1-104-113. (In Russ.)
- Hamdan A., Sarea A., Khamis R., Anasweh M. (2020) A Causality Analysis of the Link between Higher Education and Economic Development: Empirical Evidence. *Heliyon*. Vol. 6. No. 6. Article 04046. DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e04046.
- Kirdina-Chandler S.G. (2017) Radical Institutional Economics and Fakery for the 21st Century. *Journal of Institutional Studies*. Vol. 9. No. 4: 6–15. DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.4.006-015. (In Russ.)
- Kirdina-Chandler S.G. (2019) Western and non-Western Economic Institutional Models in Time and Geographical Space. *Terra Economicus*. Vol. 17. No. 1: 8–23. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-1-8-23.
- Lebedeva I.V. (2013). Fake as a Sociocultural Phenomenon of a Modern Society. *Gumanitarnye issledovaniya* [Humanitarian Researches]. No. 2(46): 157–164. (In Russ.)
- Lundestad G. (2012). *The Rise and Decline of American “Empire”: Power and its Limits in Comparative Perspective*. New York: Oxford Univ. Press.
- Salmi D., Frumin I.D. (2013). Excellence Initiatives to Establish World-Class Universities: Evaluation of Recent Experiences. *Voprosy obrazovaniya* [Educational Studies Moscow]. No. 1: 25–68. (In Russ.)
- Stepanova T.E., Manokhina N.V. (2019) The Fake Economy: The Truth is out There. *Kreativnaya ekonomika* [Journal of Creative Economy]. Vol. 13. No. 3: 433–448. DOI: 10.18334/ce.13.3.40101. (In Russ.)
- Taleb N. (2014) *Antifragile: Things that Gain from Disorder*. Moscow: KoLibri. (In Russ.)
- Valero A., Reenen J.V. (2019) The Economic Impact of Universities: Evidence from Across the Globe. *Economic of Education Review*. Vol. 68. Iss. C: 53–67. DOI: 10.1016/j.econedurev.2018.09.001.
- Zinoviev A.A. (2004) *On the Way to Super-Society*. St. Petersburg: Neva. (In Russ.)

Received: 26.04.21. Final version: 23.05.21. Accepted: 03.06.21.

© 2021 г.

Р.Г. СМИРНОВ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ

СМИРНОВ Роман Георгиевич – PhD in Sociology, социолог, АНО «Диалог Регионы», Москва, Россия (smirnovroman2010@mail.ru).

Аннотация. Рассматриваются показатели, позволяющие проанализировать потенциал аспирантуры и в целом сферы науки и инноваций в контексте социальной (образовательной и профессиональной) мобильности аспирантов. В качестве ключевых показателей, характеризующих потенциал образовательной мобильности, представлены статистические данные о динамике численности и возрастной структуры аспирантов, а также о динамике количества защит кандидатских диссертаций. Так как сфера науки и инноваций выступает для аспирантов и рынком труда, и, соответственно, полем профессиональной мобильности, интерес представляют доля сферы «наука и инновации» в ВВП страны; структура финансирования научной сферы; количество научно-исследовательских организаций; динамика и структура персонала научно-исследовательских организаций. Сделаны выводы об амбивалентном характере функционирования аспирантуры как фактора образовательной мобильности, с одной стороны, а также о несоответствии трендов и внутренних динамик между аспирантурой как образовательной институцией и наукой как сферой профессиональной мобильности ученых – с другой. Это позволяет говорить об ограниченном в настоящее время потенциале социальной (образовательной и профессиональной) мобильности и социального роста аспирантов.

Ключевые слова: социальная мобильность • аспиранты • институты • образование • рынок труда

DOI: 10.31857/S013216250014683-4

Социальная мобильность молодых ученых как особой социально-профессиональной группы, в том числе аспирантов, – область, требующая рефлексии динамики развития аспирантуры в России и ее трансформаций. Если в 2010 г. количество обучающихся в аспирантуре составляло 157 тыс. чел., то к 2019 г. снизилось до 84 тыс. чел. При этом доля аспирантов, закончивших обучение с защитой диссертации, сократилась почти втрое (с 28% в 2010 г. до 11% в 2019)¹. Остановимся на ключевых показателях, характеризующих динамику возрастного состава и количества защит кандидатских диссертаций. Статистические данные свидетельствуют о глубоких изменениях состава и возрастной структуры обучающихся (табл. 1). Количественное изменение сопровождается значимым качественным сдвигом: группа аспирантов в возрасте до 26 лет, сократившись в доле в отношении на 22%, в количественном сократилась почти в три раза – с 114 тыс. до 42 тыс. человек.

¹Выпуск аспирантов по отраслям наук и по направлениям подготовки // Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ZodHcA3D/asp-2.xls> (дата обращения: 20.10.2020).

Таблица 1

Возрастной состав аспирантов (тыс. чел.; в % по столбцу)

Возрастные группы	Возрастной состав аспирантов в России		
	2010	2015	2020
До 26 лет	114,194	66,674	43,603
	72,5	60,6	49,6
27–29 лет	19,332	19,367	18,713
	12,3	17,6	21,4
30–34 года	10,752	11,457	11,549
	6,8	10,4	13,2
35–39 лет	6,131	6,001	6,492
	3,9	5,5	7,4
Старше 40 лет	7,038	6,437	7,394
	4,5	5,9	8,4
Всего (тыс. чел.)	157,437	109,936	87,751

Источник: Основные показатели деятельности аспирантуры и докторантуры // Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ccbzjNbz/asp-1.xls> (дата обращения: 20.05.2021).

Изменение количества обучающихся в аспирантуре в возрасте старше 26 лет остается статистически незначимым. Можно сделать предварительный вывод о том, что падение количества студентов аспирантуры в России носит системно и функционально обусловленный характер.

Вторым показателем, характеризующим эффективность образования как институциональной детерминанты социальной мобильности аспирантов, является динамика количества защит кандидатских диссертаций (табл. 2). Этот условно общий индикатор предлагается сегментировать на три взаимосвязанные категории: 1) прием в аспирантуру, 2) общий выпуск из аспирантуры и 3) выпуск из аспирантуры с защитой диссертации.

Таблица 2

Прием и выпуск из аспирантуры, 2010–2020 гг.

Показатели	Прием и выпуск из аспирантуры								
	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Прием (тыс. чел.)	54,558	38,971	32,981	31,647	26,421	26,081	27,008	24,912	27,710
Общий выпуск* (тыс. чел.)	33,769	34,733	28,273	35,826	25,992	18,069	17,723	15,453	13,957
Процент от приема 3-летней давности		64	56	57	67	55	56	58	54
Выпуск с защитой диссертации (тыс. чел.; %)	9,611	8,979	5,189	4,651	3,730	2,320	2,198	1,629	1,245
	28	26	18	18	14	13	12	11	9

Примечание. *В процентном отношении уровень общего выпуска может быть приблизительно рассчитан, исходя из законодательно фиксированной тремя годами длительности обучения в аспирантуре: например, уровень общего выпуска за 2020 г. может быть представлен как отношение количества выпускников аспирантуры в 2020 г. к количеству поступивших в аспирантуру в 2017 г.

Источник: Выпуск аспирантов по отраслям наук и по направлениям подготовки // Федеральная служба государственной статистики. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ZodHcA3D/asp-2.xls> (дата обращения: 20.05.2021).

В период с 2010 по 2019 г. количество поступающих в аспирантуру неуклонно сокращалось. Резкое падение на уровень ниже 30 тыс. поступающих в 2015–2016 гг. задало тренд, который к концу 2010-х только усилился, и в 2019 г. в аспирантуру в России поступило менее 25 тыс. человек. Вместе с тем *уровень общего выпуска* из аспирантуры (доля выпускников от количества поступивших) остается стабильным и при этом достаточно высоким – в среднем 59% (2013–2019). Это говорит о том, что отчисления студентов не стали более частыми, чем раньше, и снижение количества аспирантов происходит именно за счет сокращения численности поступающих в аспирантуру.

Наибольший интерес представляет амбивалентность соотношения уровня общего выпуска из аспирантуры и выпуска из аспирантуры с защитой диссертации. Если уровень общего выпуска остается стабильно высоким, то уровень выпуска из аспирантуры с защитой диссертации снижается. В 2010 г. защитили диссертацию 9,611 тыс. выпускников аспирантуры (28%), к 2015 г. этот показатель сократился вдвое, составив 4,651 тыс. защит (18%), а к 2019 г. снизился еще более чем в два раза, до 1,629 тыс. защит (11%). Кроме того, на 2019 г. имеет место выраженный «тематический дисбаланс» как защит диссертаций, так и их потенциальных возможностей. С одной стороны, если в 2010 г. 49% диссертаций были защищены по гуманитарным, юридическим и социально-экономическим наукам, то в 2019 г. данный показатель снизился до 24%². С другой – из 1669 функционирующих диссертационных советов лишь 530 относятся к гуманитарным, юридическим и социально-экономическим наукам³.

Выявленное противоречие между сокращением количества защит и стабильно высоким, ни от чего не зависящим уровнем общего выпуска говорит о функциональной *невозможности* (если не *противопоставленности*) аспирантуры как образовательной институции и аспирантуры как фактора социального роста.

Аспирантура в ее институциональном смысле, т.е. рассмотренная вне контекстов образовательной мобильности и социального роста, сохраняет свою номинальную эффективность, что подтверждается общим уровнем выпуска. Однако снижение количества студентов и сокращение количества защит кандидатских диссертаций могут указывать на ее характер симулякра: оставаясь функциональной и эффективной «в себе», т.е. в течение трех лет для каждого отдельного аспиранта, она в недостаточной степени выполняет свою функцию детерминанты социального роста в перспективе.

Обратимся к показателям потенциального *рынка труда* выпускников аспирантуры, в качестве которого выступает сфера науки и инноваций, среди которых: 1) доля сферы «наука и инновации» в ВВП страны; 2) структура финансирования научной сферы; 3) количество научно-исследовательских организаций; 4) динамика и структура персонала научно-исследовательских организаций. Данные показатели отражают эффективность и динамику развития сферы в целом, а также опосредованно характеризуют внутренние процессы в науке, позволяя оценить науку как поле занятости и ее потенциал как детерминанты социальной мобильности аспирантов.

Государственная поддержка традиционно занимает центральное место в структуре финансирования данной сферы, составляя 66% в 2019 г. Оставшаяся треть финансирования приходится на частное предпринимательство (30%) и иностранные инвестиции (2,5%) [Индикаторы науки..., 2019]. Однако несмотря на столь выраженную поддержку государства, доля сферы «наука и инновации» в ВВП страны составляет лишь около 1%.

Организационный ландшафт и его изменения репрезентированы динамикой количества научно-исследовательских организаций и структурой их персонала. На современном этапе имеет место тренд роста количества организаций, задействованных в сфере науки и

²При этом доля выпусков с защитой диссертации по этим наукам составляет в среднем менее 8% от их общего выпуска из аспирантур.

³Действующие советы // Всероссийская аттестационная комиссия. URL: https://vak.minobrnauki.gov.ru/dc#tab=_tab:dc~ (дата обращения: 01.02.2021).

инноваций⁴: общее количество организаций, работающих в данной области, увеличилось на 16% (с 3492 в 2010 г. до 4051 в 2019 г.). Основной прирост показали вузы (с 15 до 23%) и организации промышленности, имеющие научно-исследовательские подразделения (с 7 до 11%). В то же время существенно сократилось количество научно-исследовательских организаций (с 53 до 40%) и конструкторских организаций (с 10 до 6%).

Интерес представляет стабильность структуры персонала организаций, занятых в области науки и инноваций. Несмотря на снижение численности персонала с 736 540 в 2010 г. до 682 464 в 2019 г. (7%), в долевого отношении его состав остался неизменным: 50% исследователей, 8–9% техников, 24–25% вспомогательного персонала и 17% прочего персонала⁵.

Приведенные данные характеризуют сферу науки и инноваций как в определенной степени стагнирующий рынок труда, переживающий период внутренних структурных трансформаций. С одной стороны, сокращение количества одних категорий предприятий компенсируется ростом количества других, и незначительное изменение численности персонала указывает на то, что рынок труда не находится ни в состоянии роста, ни в состоянии выраженного падения. С другой стороны, высокий уровень включенности государства в финансирование и некоторое увеличение общего количества предприятий, занятых в области науки и инноваций, говорят о сформированном механизме сохранения и обеспечения стабильности нынешней ситуации. Вместе с тем эффективность рынка труда как институциональной детерминанты социальной мобильности непосредственно зависит от его гибкости и темпов развития. Вследствие этого потенциал науки как рынка труда и поля профессионального роста молодых ученых в современных условиях представляется ограниченным. Подчеркнем и существенные различия между сферой науки и инноваций как рынка труда (поля профессиональной мобильности) и аспирантурой как образовательной институции: если при анализе показателей аспирантуры фиксируется ряд негативных трендов, то как рынок труда (несмотря на выявленные признаки стагнации) сфера науки сохраняет стабильность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

Индикаторы науки: 2019: статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.Л. Дьяченко и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2019. [Gokhberg L., Ditkovskiy K., Diachenko E. et al. (eds) (2019) *Science and Technology Indicators in the Russian Federation: 2019: Data Book*. National Research University Higher School of Economics. Moscow: HSE. (In Russ.)]

Статья поступила: 14.04.21. Принята к публикации: 19.07.21.

⁴Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, по типам организаций в Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/T1EveW0p/nauka_1.xls (дата обращения: 20.10.2020).

⁵Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (по категориям; по субъектам Российской Федерации, движение персонала) // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/TyLqM749/nauka_2.xls (дата обращения: 20.10.2020).

INSTITUTIONAL FACTORS OF SOCIAL MOBILITY OF GRADUATE STUDENTS**SMIRNOV R.G.***NPO Dialog, Russia*

Roman G. SMIRNOV, PhD in Sociology, Sociologist, NPO Dialog Regions, Moscow, Russia (smirnovroman2010@mail.ru).

Abstract. The article presents statistical indicators for analyzing the potential of postgraduate studies and, in general, the field of science and innovation in the context of social (educational and professional) mobility of postgraduate students. Key indicators characterizing the potential of educational mobility are arguably dynamics of the number and age structure of postgraduate students, as well as the dynamics of the number of defended dissertations. Since the sphere of science and innovation is for postgraduate students the labor market (a field of professional mobility as well), the article considers following indicators: share of the "science and innovation" sphere in the country's GDP; research funding structure; number of research organizations; dynamics and structure of research organizations personnel. Conclusions are made regarding, on the one hand, ambivalent nature of the postgraduate studies as a factor of educational mobility, and on the other hand, the discrepancy between trends and internal dynamics between postgraduate studies as an educational institution and sciences as a sphere of professional mobility. On the basis of the analyzed indicators, a conclusion is also made about a certain limited potential of social (educational and professional) mobility and social maturing of postgraduate students.

Keywords: social mobility, postgraduate students, institutions, education, labor market.

Received: 14.04.21. Accepted: 19.07.21.

Е.К. АЛИЯРОВ, Д.Ж. ЖАНГУЖЕКОВА, М.М. НУРОВ

ОККУЛЬТИЗМ В СОЗНАНИИ ГОРОЖАН КАЗАХСТАНА

АЛИЯРОВ Есенжол Каниевич – доктор политических наук, профессор, президент Ассоциации политических исследований Казахстана (gpcenter2007@gmail.com); ЖАНГУЖЕКОВА Динара Жексенгалиевна – докторант Казахского национального университета им. аль-Фараби; научный сотрудник (dinara.zhanguzhekova@gmail.com); НУРОВ Мархаббат Мешитбекович – докторант Казахского национального педагогического университета им. Абая; научный сотрудник (markhabat-nur@mail.ru). Все – Ассоциация политических исследований Казахстана, Алматы, Казахстан.

Аннотация. Анализируется активизация иррациональных культурных тенденций (интереса к нумерологии, астрологии и т.д.) в постсоветском Казахстане. Отмечается парадокс, когда национальная модернизация спонтанно порождает ретроградные иррациональные реакции – сильный интерес к оккультизму у высокообразованных горожан. Проведенный в 2021 г. опрос в городах Казахстана (N = 475) показал, что больше половины горожан в той или иной форме верят в оккультизм, хотя среди имеющих более высокое образование это наблюдается реже. Ставится вопрос, является ли выявленный высокий уровень оккультизма в первую очередь побочным проявлением модернизации, которое можно объяснить теорией компенсации, или недоверием к определенным государственным институтам (в частности, к системе здравоохранения).

Ключевые слова: модернизация • иррациональные реакции • оккультизм • религиозность • теория компенсации

DOI: 10.31857/S013216250013752-0

Жители казахских земель массово включились в модернизацию лишь в 1920–1930-е гг. Коллективизация, индустриализация, строительство транспортной инфраструктуры, построение атеистического общества, ликвидация безграмотности и возможность получения образования в высших учебных заведениях – все это на протяжении жизни одного поколения резко изменило традиционный образ жизни казахов. Многовековой кочевой мир сменился разрастанием городов и массовой миграцией сельского населения в города. Хотя эти преобразования происходили менее столетия назад, современный Казахстан стал урбанизированной страной, более 60% населения которого проживает в городе. Однако такое гиперстремительное догоняющее развитие неизбежно порождает определенные издержки. Как показывает опыт модернизации многих стран догоняющего развития, включая Казахстан, одновременно с усилением рационализма и секуляризации происходит активизация и иррациональных культурных стремлений. Это проявляется в том, что в социальных группах, составляющих наиболее урбанизованную часть общества, начинают верить не только в науку, но и в «чудодейственные силы» ранее в Казахстане совершенно неизвестного оккультизма¹, либо даже воспринимают его как самостоятельную науку.

Что же именно побуждает человека обращаться к мистическим учениям? В конце XX – начале XXI в. всплеск оккультизма в странах полупериферии и периферии объясняют глубоко укорененными проблемами формирования новой реальности, связанными с реализацией проекта «догоняющей» модернизации (см., напр.: [Comaroffs, 1993; Moore, Sanders, 2001;

Исследование выполнено при финансовой поддержке РОО «Ассоциация политических исследований Казахстана».

¹ В работе термины «оккультизм», «эзотерика», «мистицизм», «магия», «нетрадиционная медицина», «гадания» и др. рассматриваются в качестве общих иррациональных практик и в некоторых случаях используются как взаимозаменяемые.

During, 2002; Smith, 2008]). Вера в магию рассматривается как симптом аномального развития общества «на грани нарциссизма и шизоидального поведения» [Щелкин, 2017] из-за накопления в нем острой напряженности. При этом оккультизм причисляется к девиантным знаниям как своего рода «мусорная корзина», хотя в условиях современной массовой культуры определенный (уже не слишком серьезный) интерес к нему проявляется и через «обыгрывание» историй о ведовстве и демонах в литературе и кино.

В настоящем исследовании на материалах Казахстана исследованы масштабы и причины обращения людей стран догоняющего развития к мистике. Согласно первой гипотезе, основная причина активизации усматривается в «незрелости» населения Казахстана с точки зрения рациональности, ее слабом распространении и искаженном понимании. Вторая гипотеза предполагает, что интерес образованного городского социума к иррациональным знаниям является следствием компенсаторных реакций на сложность и динамичность изменений.

Для объяснения высокой популярности мистики в современном казахстанском обществе участники исследования провели глубинные интервью с теми, кто оказывает «оккультные услуги», а также массовый анкетный опрос горожан Казахстана. На начальной стадии исследования, с декабря 2018 г. по март 2019 г., в Алматы (крупнейшем городе Казахстана с почти двухмиллионным населением) были проведены 8 глубинных интервью с практикующими нумерологами, астрологами, гадалками и целителями, которые считались наиболее популярными². В этот же период проведено 10 глубинных интервью со взрослыми городскими жителями с высшим образованием, которые имели опыт обращения к оккультным услугам.

Интересно отметить, что к нумерологу, астрологу и двум гадалкам необходимо было осуществить заблаговременную запись, поскольку «записывается много людей и все проходит строго в порядке очереди». На вопрос, как часто проводятся подобные встречи, нумеролог и гадалки ответили, что практически каждый день по 2–3 человека; астролог – в неделю по 2–3 человека; целители – каждый день по 6–7 человек, а то и больше. Чаще всего обращающиеся имели довольно сложные проблемы, связанные с потерей жизненных ориентиров и чувством безысходности. Если «производители оккультных услуг» были искренни, то можно условно подсчитать количество людей, обратившихся к оккультистам с серьезными личными проблемами. Если, например, к нумерологу в месяц обращалось как минимум 25 человек, из них 10 человек «ради любопытства», а 15 – для решения проблем, то в год его услугами воспользовались не менее 150 человек.

Проведение глубинного интервью с гражданами (все – с высшим образованием, проживающие в городе на протяжении длительного времени, неверующие), которые обращались к эзотерикам, показало следующую картину. На вопрос, какие причины натолкнули обратиться за оккультными услугами, чаще всего отвечали «болезни» (8 чел.) либо «семейные и личные проблемы» (7 чел.), реже (4 чел.) – «финансовые вопросы». На вопрос «Верите ли вы им?» 6 человек ответили – «частично, да», другие 4 человека доверяли полностью. Наиболее благожелательно оценивали опыт общения с целителями, 7 интервьюеров дали им положительную оценку: по их словам, они обращались к ним по причине болезни близких людей и лечение проходило успешно. Если в одних случаях люди напрямую (в обход традиционной медицины) обращались к врачам, то в других – вследствие того, что «врачи не могут определить точный диагноз», «выписывают много лекарств», «нет результатов от их лечения», так что люди от безысходности искали иные способы.

Итак, глубинное интервью с гражданами, имевшими опыт обращения к целителям/гадалкам/эзотерикам, выявило, что оккультные услуги служат для удовлетворения как практических нужд (любовная магия, заговоры для привлечения денег, в лечебных целях,

² Все практикующие были в возрасте от 35 до 65 лет, почти все женщины, кроме одного мужчины-целителя. По продолжительности занятия оккультной деятельностью нумерологи и астрологи имели опыт от 3 до 5 лет (всплеск интереса к западной эзотерике в Казахстане наблюдается лишь с начала 2010-х гг.), гадалки и целители – от 10 до 30 лет.

Таблица 1

Распространенность веры горожан Казахстана в оккультизм (в % по строкам)

Группа респондентов	Ответы на вопрос «Верите ли вы в гороскопы, магию, нумерологию, астрологию?»			
	да	скорее да, чем нет	скорее нет, чем да	нет
Все респонденты	11,0	26,0	19,8	43,2
Респонденты с законченным высшим образованием	9,2	25,4	21,9	43,5
Респонденты со средним образованием	17,3	28,6	12,3	42,3

снятие порчи и венцов безбрачия), так и духовно-психологических потребностей в защите, уверенности в будущем.

В дальнейшем на основе результатов глубинного интервью в феврале–марте 2021 г. Ассоциацией политических исследований Казахстана был проведен анкетный опрос для выявления уровня иррациональности в современном городе. Респондентами ($N = 475$) выступили взрослые от 16 до 62 лет, получившие высшее образование, мало религиозные городские жители (проживающие в городе более 15 лет) из всех регионов страны (18 крупных городов)³.

Согласно результатам анкетного опроса, среди городских жителей однозначно верят в оккультизм 11,0%, а с учетом тех, кто скорее верит, чем нет, эта доля растет до 37,0% (табл. 1). Как и следовало ожидать, чем выше образование, тем ниже вера в оккультизм: если среди горожан со средним образованием доля так или иначе верящих в гороскопы и т.д. достигает 45,9%, то среди горожан с высшим образованием их 34,6%. Впрочем, и это очень высокий показатель: более трети жителей городов Казахстана с высшим образованием не пожилого возраста полностью или в большей мере верят в оккультные знания.

Аналогичные закономерности отмечены и в ответах на вопрос о частоте и причинах обращения за «оккультными услугами» (табл. 2).

Таблица 2

Частота обращения горожан Казахстана за «оккультными услугами» (в % по строкам)

Группа респондентов	Ответы респондентов на вопрос «Обращаетесь ли вы к целителям/гадалкам/астрологам/нумерологам и др.?»				
	часто обращаюсь – их советы (лечение) помогают	обращаюсь, только когда возникают проблемы и трудно принять решение	обращался(-ась) в детстве с родными, сейчас уже не обращаюсь	обращался(-ась) из любопытства, ради интереса	никогда не обращался
Все респонденты	2,9	20,0	28,6	1,0	47,4
Респонденты с законченным высшим образованием	2,4	19,7	32,4	0	44,6
Респонденты со средним образованием	5,0	20,9	15,5	5,0	57,3

³ По возрастным параметрам структура респондентов такова: 16–29 лет – 52,0%, 30–48 лет – 38,5%, 49–62 года – 9,5%. Среди респондентов было 48,8% мужчин и 51,2% женщин; 78,0% респондентов имели законченное высшее образование, 22,0% – среднее. Опрос проведен через [survio.com](https://www.surveymonkey.com).

Доля тех, кто обращается за «окультными услугами» часто, на порядок ниже доли тех, кто никогда не обращался за ними, и это наблюдается даже среди горожан со средним образованием. Однако с учетом тех, кто обращается за такими «услугами» пусть нечасто, но по существенным проблемам, доля «клиентов» оккультистов расширяется до 22,9% по всей выборке; среди горожан с высшим образованием эта доля почти такая же (22,1%), почти каждый четвертый. Надо учитывать, что образованные горожане чаще всего понимают «сомнительность» своей веры в оккультизм, поэтому могут скрывать свою приверженность ему. Поэтому при опросе задавался вопрос о том, обращаются ли к целителю/гадалке/эзотерикам люди из окружения респондентов (т.е. из референтной группы). Согласно полученным ответам, такими людьми очень часто являются родственники (50,7%), друзья (33,3%), коллеги (14,7%). Лишь четверть (24,8%) респондентов уверена, что в их окружении никто к оккультным услугам никогда не обращался.

Для понимания популярности оккультизма также были проанализированы новостные статьи с 2018 г. по начало 2020 г. на популярных интернет-порталах Nur.kz, 365info.kz и в интернет-газете «Караван». Выбор этих СМИ обусловлен тем, что статьи, связанные с мистицизмом, публикуются здесь чаще, чем в остальных изданиях. Новостные статьи кроме фактического изложения событий включают и комментарии к ним, которые также были использованы для понимания контекстов веры в оккультизм.

Самыми распространенными темами стали прогнозы экстрасенсов, наведение порчи и приворотов, целители и экзорцизм. Широкий резонанс получили случаи гибели двух граждан в 2018 г. вследствие лечения у людей, практиковавших нетрадиционную медицину. Обсуждалась также деятельность целителя Сары-аулие (Марата кажы Есенбаева), который был недавно официально признан общественным деятелем и даже награжден медалью «Единства народа Казахстана».

В условиях усиливающейся коммерциализации, как показало исследование, создаются совершенно иные, не похожие на действующие столетиями, заговоры, которые отвечают запросам и потребностям современного городского жителя. Так, в новостных статьях отмечалось существование оберегов от штрафов, работников ГАИ, землетрясений (в г. Алматы), заговоров на поступление в вуз и т.п.

Анализ комментариев граждан к новостным статьям выявил, что у них наблюдается определенный уровень недоверия к традиционной медицине страны: *«Если нет доверия к медикам, начинают обращаться к шарлатанам. Это камень в огород министра здравоохранения»; «Просто вы не сталкивались с порчей, с болезнями близких, перед которыми бессильна медицина, поэтому смеетесь»; «Конечно, медицины [нет] никакой, не лечат, а калечат, вот и приходится верить во всякую чушь».* Среди комментариев есть и те (их примерно 14%), кто связывает оккультные знания с наукой: *«Я сама связана с наукой и тот еще скептик, но пришлось поверить, когда воочию увидела и одержимого, и его излечение»; «Есть общепризнанная академическая наука и неакадемическая – ЭЗОТЕРИКА. Это признают многие ученые, в т.ч. атеисты, [поскольку есть] много вещей и событий, не объяснимых ни с математической, ни с физической, ни с каких-либо других позиций точных наук и гипотез».*

Итак, показатели обращения к иррациональным практикам горожан, имеющих высшее образование и мало религиозных, оказались очень высокими. Это соответствует второй гипотезе нашего исследования.

Для объяснения очень широкого распространения оккультизма среди горожан Казахстана следует обратить внимание на компенсаторную теорию, которая разработана во второй половине XX в. группой немецких ученых [Ritter, 1963; Marquard, 1986; Lübbe, 2003]. Эта философско-историческая концепция является серьезным дополнением к классической теории модернизации. Согласно теории компенсации, реакции общества на сложности и высокую динамичность изменений модерна могут быть самыми разными: это не только спрос на гуманитарные знания, но и консервация и реактуализация истории, реконструкция традиций и др. Прошлое становится объектом тщательных исследований,

романтизации и заботы. В то же время компенсаторная теория описывает и *иррациональные рецидивы в мышлении и поведении* человека, которые активно проявляются как в развитых, так и в догоняющих странах. Они набирают силу, когда в обществе существует нехватка гуманитарного культурно-исторического знания («наук о духе»), из-за чего современный человек не может рационально объяснить жизненные процессы, в которых он существует. Такие иррациональные рецидивы могут сформировать «контрмодерный» импульс. Они порождены слишком динамичным развитием модерна в ситуации, когда ценности и поведенческие стандарты, искусственно прививаемые государством обществу, не вызывают удовлетворения, поскольку они по-настоящему не отвечают его духовно-культурному состоянию. Данное наблюдение подтверждается опытом не только стран подражательной модернизации (типа посткоммунистических). Обозначенные тенденции неизбежно возникали в процессах реформирования практически всех современных обществ, включая и наиболее развитые страны Европы, где тоже наблюдается «взрыв» популярности разных форм оккультизма.

Обращение к мистике в Казахстане также является показателем отсутствия необходимых (в частности, медицинских) условий жизни для человека, которые должны быть гарантированы государством. Очевидно, что люди часто обращаются к «народным целителям» из-за недоверия либо сомнений в уровне компетентности медицинских работников.

Таким образом, для Казахстана, как и для других стран, насущным является вопрос, какие условия модернизации должны быть созданы, чтобы современное общество чувствовало безопасность и не предавалось таким альтернативным способам «приручения мира», как оккультные учения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

- Щелкин А.Г. Постмодернизм в социологии. О ненавязчивых последствиях одной социологической моды // Социологические исследования. 2017. № 2. С. 120–130. [Shchelkin A.G. (2017) Postmodernism in Sociology: On Unobtrusive Consequences of a Recent Sociological Fashion. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 2: 120–130. (In Russ.)]
- Comaroffs J.L. (1993) *Modernity and its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa*. Chicago; London: Univ. of Chicago Press.
- During S. (2002) *Modern Enchantments: The Cultural Power of Secular Magic*. Cambridge, MA; London: Harvard Univ. Press.
- Lübbe H. (2003) *Exkurse II. Der Streit um die Kompensationsfunktion der Geisteswissenschaften. Verkürzter Aufenthalt in der Gegenwart* [Excursus 2. The Polemic on the Compensation Function of the Humanities: Shortened Stay in the Present]. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag: 281–304. (In Germ.)
- Marquard O. (1986) Über die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften [On the Inevitability of the Humanities]. In: *Apologie des Zufälligen* [Apology of the Accidental]. Stuttgart: Reclam: 98–116. (In Germ.)
- Moore H.L., Sanders T. (2001) *Magical Interpretation, Material Realities: Modernity, Witchcraft and the Occult in Post-colonial Africa*. New York: Routledge.
- Ritter J. (2003) Die Aufgabe der Geisteswissenschaften in der modernen Gesellschaft [The Mission of the Humanities in Contemporary Society]. In: *Metaphysik und Politik* [Metaphysics and Politics]. Frankfurt am Main: Suhrkamp: 377–406. (In Germ.)
- Smith J.K.A. (2008) *After Modernity? Secularity, Globalisation and the Reenchantment of the World*. Waco, TX: Baylor Univ. Press.

Статья поступила: 06.04.21. Финальная версия: 08.07.21. Принята к публикации: 12.07.21.

OCCULTISM IN CONSCIOUSNESS OF THE KAZAKHSTAN CITY DWELLERS**ALIYAROV E.K.*, ZHANGUZHEKOVA D.Zh.*, NUROV M.M.*****Association for Political Studies of Kazakhstan, Kazakhstan*

Essenzhol K. ALIYAROV, Dr. Sci. (Pol.), Prof., President (gpcenter2007@gmail.com); Dinara Zh. ZHANGUZHEKOVA, PhD student, Al-Farabi Kazakh National University; Researcher (dinara.zhanguzhekova@gmail.com); Marhabbat M. NUROV, PhD student, Abai Kazakh National Pedagogical University; Researcher (markhabat-nur@mail.ru). All – Association for Political Studies of Kazakhstan, Almaty, Kazakhstan.

Acknowledgements. The paper was prepared with the financial support of the Association for Political Studies of Kazakhstan.

Abstract. Since the end of the twentieth-century majority of humankind is allegedly living under conditions of modernity. This all-embracing shift has resulted in different effects and different phenomena. In some cases, the government-led modernization of traditional societies led to the destabilization of some institutions. However, it would be a mistake to assert that modernization became a denominator for the unfavorable processes. The result of the large-scale transformations brought about an emergence of compensatory reactions. Specifically, irrational aspirations became active in society. In recent years, once tabooed occultism has become popular, which entailed intense yet expected attention from academia. Despite transition to modern forms of social structure, such as the strengthening of rationalism, technologization, the advancement of science, a certain layer in society is inclined to believe in the “miraculous powers of occultism” or takes it quite seriously as a science. Observed interest in society for the irrational is analyzed in the context of the chosen path of the country’s development. It is also assessed as concurrently transpiring multicomponent and contradictory trends in the global arena. The study examines the question of the significance of the statement “collective neurosis” in modern society. It argues that whether revitalization, if any, of occultism reflects societal tensions related to dissatisfaction with reality and distrust towards certain state institutions.

Keywords: modernization, irrational reactions, occultism, religiosity, compensation.

Received: 06.04.21. Final version: 08.07.21. Accepted: 12.07.21.

© 2021 г.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: ПРОБЛЕМЫ СБЕРЕЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

XIII Международная научная конференция из цикла «Байкальская встреча» состоялась в Улан-Удэ 23–25 июня 2021 г. В нынешнем году она была посвящена теме народонаселения Сибири и Дальнего Востока. В мероприятии приняли участие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Тюмени, Новосибирска, Саратова, Владивостока, Челябинска, Харбина (Китай), Читы, Улан-Батора (Монголия) и других городов. Также в рамках конференции состоялась презентация монографии И.И. Осинского, Т.Н. Бояк, М.И. Добрыниной «Народонаселение Бурятии на рубеже XX–XXI вв.» (Улан-Удэ: БГУ, 2019).

С приветственными словами и пожеланиями плодотворной работы выступили: зав. кафедрой философии, проф. **М.В. Золхоева** и ректор, проф. **Н.И. Мошкин** (оба – БГУ им. Д. Банзарова, Улан-Удэ).

Открыл пленарное заседание проф. **И.И. Осинский** (БГУ им. Д. Банзарова, Улан-Удэ) с докладом «Некоторые проблемы народонаселения Сибири и Дальнего Востока в современных условиях». Он отметил, что народонаселение Сибири и Дальнего Востока занимает важное место в территориально-поселенческой структуре России. Это население наиболее крупных регионов страны, характеризующихся многонациональным составом, особенностями социально-демографического развития, семейно-брачных отношений. Однако в последние десятилетия наблюдается снижение его жизненного уровня, обострение проблем в сфере здоровья и здоровьесбережения, уменьшение показателей рождаемости и продолжительности жизни, усиление потоков миграции из Сибири и Дальнего Востока в европейскую часть страны. В результате возросла малолюдность этих регионов. Так, по данным докладчика, в 2017 г. плотность населения европейской части России составляла 29 чел. на км², а азиатской – 2,5 чел. на км² (в 12 раз меньше). А некоторые регионы, как, например, Чукотский АО, имеют минимальную плотность населения – 0,07 чел. на км². 70% уезжающих из Сибири и Дальнего Востока – люди трудоспособного возраста, в большинстве своем имеющие высшее и среднее образование. Подводя итоги, автор отметил, что принимаемых государством мер явно недостаточно для существенного изменения сложившейся ситуации. Необходим пересмотр уже имеющихся или разработка новых программ по поддержке и удержанию населения в данных регионах.

Проф. **В.А. Мансуров** и **Е.А. Шатрова** (ИС ФНИСЦ РАН, РОС, Москва) выступили на тему «Проблемы взаимодействия и динамики демографической и профессиональной структур современного российского общества». Авторы раскрыли сущность, условия, пути и механизмы взаимодействия, динамику демографической и профессиональной структур России в современных условиях. Подчеркнули актуальность данной проблемы и использования их результатов в практических целях.

В продолжение темы выступила проф. **О.Б. Истомина** (ИГУ, Иркутск) с докладом «Динамика демографической структуры Восточной Сибири (на материалах Иркутской области)», где была проанализирована естественная и миграционная убыль населения. Эти процессы, отметила докладчик, соотносятся с деструктивными изменениями качества жизни населения области, снижением индекса развития человеческого потенциала, падением реальных доходов населения. Автор обосновала необходимость глубоких

долгосрочных мер по развитию северных территорий сохранности и умножения численности населения для обеспечения целостности границ государства и устранения социально-экономической разобщенности российских регионов. Доклады **А.Н. Кириллова** (Министерство соцзащиты РБ) и **А.О. Занданова** (БГУ им. Д. Банзарова, оба – Улан-Удэ) были посвящены проблемам демографии. В них были раскрыты вопросы реализации национального проекта «Демография» в Республике Бурятия, а также демографической ситуации в регионе. Обращалось внимание на падение рождаемости и рост смертности, предлагались меры по улучшению.

Работа конференции продолжилась в рамках секций и круглого стола «Интеллигенция и проблемы развития Сибири и Дальнего Востока». Секцию «Проблемы здоровья, здравоохранения, продолжительности жизни и социальной экологии в современных условиях» (модератор – проф. О.Б. Истомина) открыл проф. **В.Н. Конышев** (СПбГУ, СПб.) с докладом «Обеспечение экологической безопасности человека: от прошлого к настоящему». Он подчеркнул, что в настоящее время безопасности человека уделяется особое внимание, а экологическая безопасность является одним из важнейших ее аспектов. Он отметил ее специфику в условиях Сибири и Крайнего Севера, включая недостаточную развитость инфраструктуры и жизнеобеспечения; традиционный уклад жизни коренных и малочисленных народов; суровые погодные условия; последствия изменения климата. Сделан вывод, что, во-первых, проблемы сохранения окружающей среды не являются принципиально новой проблемой человечества. Во-вторых, обеспечение экологической безопасности человека возможно не с помощью отдельных мер, а в рамках особого социально-экономического уклада, адаптированного к региональным условиям.

С.Н. Иванова (БИП СО РАН, Улан-Удэ) остановилась на развитии здравоохранения в регионах Северной Азии. Докладчик представила результаты авторского исследования многокритериальной оценки уровня развития и здравоохранения в регионах России на основе интегральных индикаторов результативности и ресурсной обеспеченности сферы здравоохранения. **И.В. Журавлева** (ИС ФНИСЦ РАН, Москва) выступила с анализом тенденций и факторов изменения отношения к здоровью. Значимыми оказываются такие параметры, как пол, возраст, уровень образования, материальное положение. Роль социальной политики в сфере здравоохранения, проблемы здоровья, социальной экологии нашли отражение в докладах **Ж.А. Аяковой** (БГСХА, Улан-Удэ), **И.С. Мерзляковой**, **Е.М. Лиги** (обе – ЗабГУ, Чита).

На секции «Международные отношения и миграция в регионах» (модератор – проф. И.М. Добрынина) проф. **М.В. Золхоева** (БГУ им. Д. Банзарова, Улан-Удэ) обратилась к раскрытию трактовки понятий «нация» и «национальные отношения» в концепции П. Сорокина. Проф. **Д.Ш. Цырендоржиева** (БГУ им. Д. Банзарова, Улан-Удэ) сосредоточила свое внимание на проблеме национальной безопасности и ее структуре. Проф. **И.Г. Хайруллина** (ТИУ, Тюмень) поделилась результатами исследований международной дистанции в оценке молодежи. Результаты показали, что у тюменской молодежи присутствует неприязнь к представителям некоторых национальностей.

Доклады **В.Г. Жалсановой** (ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ) и **Ж.Т. Тумурова** (ЗабГУ, Чита) были посвящены анализу состояния и перспектив развития международных отношений в Бурятии и в целом в Байкальском регионе. Авторы отметили, что в анализируемом регионе сохраняются традиционно спокойные, доброжелательные международные отношения, а напряженность может возникнуть в случае ухудшения социально-экономического положения населения.

Актуальные проблемы государственной политики в отношении коренных малочисленных народов Севера были проанализированы проф. **А.А. Сергуниным** (СПбГУ, СПб.). По его мнению, несмотря на наличие у промышленных и ресурсодобывающих компаний позитивного опыта в области социального партнерства с КМНС, отношения между бизнесом и коренными народами пока еще не вышли на оптимальный уровень, удовлетворяющий обе стороны.

Проф. **М.И. Добрынина** (БГУ им. Д. Банзарова, Улан-Удэ) коснулась проблем межрегиональной миграции населения Бурятии. Отток населения из Бурятии в центральные и южные регионы России превратился в острую проблему последних лет. Определяющими факторами в миграционном поведении населения республики выступают социально-экономические параметры: низкий уровень доходов, высокий уровень безработицы и социального неравенства, слаборазвитая социальная и культурная инфраструктура и др.

Внутренней «интеллектуальной миграции» на примере Южного Урала посвятил свое выступление проф. **И.В. Сибиряков** (Ю-УГУ, Челябинск). Анализируя особенности интеллектуальной миграции в регионе в начале, в середине, в конце XX в., автор пришел к выводу, что главным фактором, определяющим динамику и направления интеллектуальной миграции в XX в., являлась политика государства.

Поднимались вопросы китайской миграции в России (**Я.В. Лексютина** (СПбГУ, СПб.)); миграционные процессы и проблемы урбанизации в Монголии (**Д.Д. Бадараев** (ИМБТ СО РАН, Улан-Удэ)); а также актуальные образовательные, правовые и демографические аспекты миграции (**Г.Н. Очирова**, **Ю.С. Бюраева**, **М.С. Алексеева**, **И.З. Чимитова**, **А.С. Бреславский**).

Работу секции «Проблемы общего и профессионального образования и занятости молодежи» (модератор – проф. М.К. Гайдай) открыл совместный доклад проф. **М.К. Гайдай** и **Г.А. Кузьминой** (обе – ВСИ МВД России, Иркутск), в котором были выявлены особенности воспитательного процесса в современных условиях и проанализированы новые роли и функции института кураторства. **О.Ю. Ангелова** и **Т.О. Подольская** (ННГУ, Н. Новгород) рассказали о методике оценки эффективности работы региональной образовательной системы с одаренными школьниками в регионах Сибири и Дальнего Востока. **К.А. Багаева** (БГУ им. Д. Банзарова, Улан-Удэ) посвятила свой доклад вопросам взаимодействия религии и образования. В рамках этого взаимодействия были рассмотрены особенности религиозного образования и специфика светского образования. Несмотря на их принципиальную разницу, они могли бы дополнять друг друга, но не заменять. Проф. **Т.А. Бояк** (ВСГИК, Улан-Удэ) рассмотрела проблему ценностных ориентаций молодежи в современных условиях. На основе изучения таких приоритетных ценностей, как семья, брак, здоровье, работа, образование, досуг, автор пришла к выводу, что в обществе отсутствуют необходимые условия для их реализации.

В дискуссии круглого стола «Роль интеллигенции в развитии Сибири и Дальнего Востока» (модератор – Т.Б. Бадмацыренов) выступил **Р.И. Анисимов** (РГГУ, Москва). Докладчиком было высказано предположение о том, что в современном обществе нематериальные мотивы трудовой деятельности являются инструментом усиления эксплуатации со стороны работодателя и поэтому для улучшения материального положения и улучшения условий и состояния трудовых отношений их необходимо нивелировать. Размышления о проблеме прекаризации были продолжены **А.В. Кученковой** (РГГУ, Москва), которая пришла к выводу, что прекаризация занятости влечет за собой различные негативные последствия на общественном, организационном и индивидуальном уровнях. В том числе снижение материального благополучия и социальной защищенности, ограничения возможностей профессионального развития, неопределенность личного и семейного будущего. **Е.А. Колосова** (РГГУ, Москва) затронула проблемы интеллигенции на рынке труда, особенностей ее занятости (на примере педагогов дошкольного и общего образования). Исследователь пришла к выводу, что данная социальная группа не обладает гарантирующим достойный уровень жизни положением на рынке труда.

Выступление **Е.А. Колесник** (ТИУ, Тюмень) о тенденциях развития занятости в условиях цифровизации экономики вызвал дискуссию. Автор пришла к выводу, что цифровизация является источником не только появления нестандартных форм занятости, но и создает условия ее дестандартизации. О сложностях взаимодействия интеллигенции и власти рассказали проф. **М.Б. Лига**, проф. **Е.Ю. Захарова** и **И.А. Щеткина** (все – ЗабГУ, Чита). Опираясь на материалы исследования (2020), докладчики пришли к выводу, что в оценке

уровня доверия в последнее время наблюдается незначительное повышение уровня доверия к органам власти и отдельным руководителям. В Забайкальском крае уровень доверия к президенту РФ В.В. Путину составляет 53,3%, губернатору – 67,8%, это совпадает с высокой оценкой его работы.

Кадровой ситуации в сфере образования г. Читы был посвящен доклад **Г.И. Зимирева** (Комитет образования Читы). Автор рассмотрел тенденции воспроизводства учительских кадров для общеобразовательных учреждений и пришел к выводу, что действующие в настоящее время федеральные проекты «Учитель будущего» и «Национальная система профессионального роста педагогических работников» не обладают признаками долгосрочного системного подхода к решению проблемы, следовательно, риск дальнейшей деградации кадрового потенциала сферы образования сохраняется.

Также в работе круглого стола приняли участие проф. **В.А. Мансуров**, проф. **И.И. Осинский**, проф. **М.И. Добрынина**, проф. **О.Б. Истомина**, **М.С. Алексеева**, **Э.Д. Чагдурова** и др.

Подводя итоги конференции, следует отметить, что, несмотря на переживаемые трудности в стране, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, участники конференции старались объективно оценить процессы, характеризующие народонаселение Сибири и Дальнего Востока, возможности его сбережения и развития. Обсуждение существующих проблем свидетельствует о необходимости принятия новых решений, программ, проектов по динамичному развитию огромного российского региона и повышению жизненного уровня проживающих в нем людей.

И.И. ОСИНСКИЙ

ОСИНСКИЙ Иван Иосифович, д. филос. наук, проф., Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова, Улан-Удэ, Россия (intellige2007@rambler.ru).

DOI: 10.31857/S013216250016493-5

POPULATION OF SIBERIA AND THE FAR EAST: PROBLEMS OF SAVING AND DEVELOPMENT

Ivan I. OSINSKY, Dr. Sci. (Philos.), Prof., Dorji Banzarov Buryat State University, Ulan-Ude, Russia (intellige2007@rambler.ru).

О XVIII РОССИЙСКО-КИТАЙСКОМ ЭКСПЕРТНОМ ФОРУМЕ

В Российской академии наук 15–16 июня 2021 г. состоялся очередной российско-китайский экспертный форум «Ресурсная и технологическая основа устойчивого развития» в рамках Перекрестного года России и Китая по инновациям и технологиям (2020–2021), организованный ИСПИ ФНИСЦ РАН, ИДИ ФНИСЦ РАН при поддержке Президиума РАН, Минобрнауки России, Института стратегического сотрудничества Китая и России (ИССКР) при Университете Цинхуа и Китайско-российского центра по сотрудничеству в гуманитарных науках и технологиях (КРЦСГНТ, Нинбо).

С приветственными словами выступили: первый вице-президент РАН акад. РАН **Ю.Ю. Балега**, президент ассоциации «Глобальная энергия» **С.Б. Брилёв**, врио директора Департамента международного сотрудничества Минобрнауки России **Ю.В. Распертов**, вице-президент ИССКР **Чжоу Маолин**.

На пленарной секции чл.-корр. РАН **М.Ф. Черныш** (ФНИСЦ РАН) выделил обострившиеся в период эпидемии проблемы, без решения которых невозможно устойчивое развитие. Усугубившееся неравенство необходимо преодолеть, усилив социальную сплоченность, как китайское общество, которое смогло опереться на механизмы консолидации и победить эпидемию. **Ван Цзянь Пин** (КРЦСГНТ, Нинбо) представила презентацию об успешной практике Нинбо в области устойчивого развития китайских городов. **В.К. Левашов** (ИСПИ ФНИСЦ РАН) отметил, что концепция устойчивого развития является попыткой дать научно обоснованный ответ на главный вызов времени – возрастающее по своей опасности воздействие антропогенной производственной, бытовой, военно-технической и другой деятельности на биосферу Земли. Чл.-корр. РАН **С.В. Рязанцев** (ИДИ ФНИСЦ РАН) сфокусировался на сотрудничестве с китайскими партнерами по исследованию демографических и миграционных проблем.

Завершил пленарную секцию доклад **Ван Ци** (ИССКР, КНР) и **Л.С. Рубан** (ИСПИ ФНИСЦ РАН), где были представлены результаты сотрудничества ИССКР в рамках международного научного проекта «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» и основные результаты исследований, проведенных в 16-ти странах АТР за 15 лет.

Секцию «Энергетика и инноватика – ключевые факторы устойчивого развития» открыл **В.И. Высоцкий** («ВНИИ Зарубежгеология»), продемонстрировав электронный глобус мировых нефтегазовых ресурсов. **Л.Ф. Деловарова** (КазНУ им. аль-Фараби) заострила внимание на инновационной политике Казахстана, центральным вопросом которой в контексте устойчивого экономического развития является повышение конкурентоспособности через диверсификацию экономики РК.

На секции «Технологический прорыв – обязательное условие НТР» **Ван Цзянь Пин** и **Бао Сяо Мин** (КРЦСГНТ, Нинбо) рассказали о практике Нинбо в области устойчивого развития городов и своих достижениях. Тему продолжил **О.Н. Забузов** (ИСПИ ФНИСЦ РАН), отметив, что большинство населения мира проживает в городах, поэтому развитие существующих городов и проектирование новых должно базироваться на принципах «смарт» (умного) города.

Проф. **Л.С. Рубан** (ИСПИ ФНИСЦ РАН) обобщила опыт сотрудничества РФ и КНР, указав, что, по мнению китайских экспертов, у России есть передовые технологии и крупные научные открытия, но их внедрение в производство запаздывает, а у КНР накоплен большой опыт коммерциализации результатов исследовательских проектов и нам нужно использовать наработки друг друга. **М.А. Ананьин** (МИД РФ, ИСПИ ФНИСЦ РАН) показал, как цифровизация влияет на мировое экономическое и социальное развитие, приводя к снижению издержек и повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.

Секцию «Человеческий капитал и трудовой потенциал производственного сектора России и КНР в контексте устойчивого развития» открыл доклад чл.-корр. РАН **С.В. Рязанцева** и **З.К. Вазирова** (оба – ИДИ ФНИСЦ РАН). Были представлены новые

формы влияния КНР на страны Центральной Азии в экономическом, социокультурном и геополитическом аспектах, показаны объемы, динамика, отраслевые и региональные особенности китайских инвестиций в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане.

В.Ф. Печерица (ДВФУ) отметил, что сохранение равноправного диалога Москвы с Пекином является гарантией общей безопасности и возможностью выстраивать эффективные политические и экономические отношения. Продолжила тему **А.В. Бояркина** (ДВФУ), проанализировав комплекс внешнеполитических концепций, выдвигаемых Си Цзиньпином: «новый тип международных отношений», «новый тип отношений великих держав», инициативу «Один пояс, один путь», «Сообщество единой судьбы человечества» и др., что позволяет говорить о его дипломатии, призванной содействовать созданию международных отношений нового типа. Эта тема развивалась и в докладе **Пан Чанвэя** (КНУ).

В докладе **А.С. Лукьянца**, **Р.В. Маньшина** и **Е.М. Моисеевой** (все – ИДИ ФНИСЦ РАН) были проанализированы современные тенденции миграционных потоков в странах СВА, а также выявлены демографические и социально-экономические факторы притяжения и выталкивания мигрантов, подтвердившие прогнозы, что в будущем предложение трудовых ресурсов будет формироваться за счет стран ЮВА.

С.Н. Мищук (ИДИ ФНИСЦ РАН) отметила сохранение дисбаланса в развитии рынка труда Дальнего Востока и отрицательных значений безвозвратной нетто-миграции при положительных темпах увеличения числа прибывающих внутрироссийских трудовых мигрантов, отметив, что это является благоприятным фактором для Дальнего Востока.

С.Б. Макеева (ИДИ ФНИСЦ РАН) сделала сравнительный анализ ключевых характеристик трудовых ресурсов в России и Китае, указав, что первоочередными задачами управления трудовыми ресурсами в Китае являются участие рабочей силы в техническом прогрессе, модернизации промышленности и экономическом росте регионов, а в РФ – эффективная занятость населения и решение проблемы централизации ресурсных потоков.

Завершил работу секции доклад **В.А. Медведь** (ИДИ ФНИСЦ РАН, МГИМО МИД РФ) и **Анге** (ИДИ ФНИСЦ РАН), показавший влияние COVID-19 на миграционные процессы в Китае, туризм, образовательную и трудовую миграцию, изменения в миграционной политике, ужесточение правил въезда иностранных граждан и корректировка международных перевозок пассажиров, а также положение русскоязычного населения до и во время пандемии.

Плодотворные дискуссии и обмен опытом позволили участникам наметить план дальнейшего сотрудничества, в том числе совместные исследования устойчивого развития в производственной и социальной сферах России и Китая с учетом инновационной составляющей данного процесса, его научного осмысления и внедрения в практику обеих стран.

ВАН ЦИ, Л.С. РУБАН

ВАН Ци, д. социол. н., исп. дир. Института стратегического сотрудничества Китая и России при Университете Цинхуа, Пекин, КНР (wq@thinghua.ed.ch); РУБАН Лариса Семеновна, д. социол. н., проф., рук. отдела исследования проблем международного сотрудничества Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Россия (Lruban@yandex.ru).

DOI: 10.31857/S013216250016098-0

THE 18th RUSSIAN-CHINESE EXPERT FORUM

WANG Qi, Dr. Sci. (Sociol.), Executive Director, Institute for China-Russia Strategic Cooperation, Tsinghua University (ICRSC), Beijing, CPR (wq@thinghua.ed.ch); Larissa S. RUBAN, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Head of Department, Institute of Socio-Political Research of FCTAS RAS, Moscow, Russia (Lruban@yandex.ru).

СОЦИОЛОГИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ vs СОЦИОЛОГИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Повышение эффективности управления регионами и муниципальными образованиями требует научного обеспечения деятельности всех органов власти во взаимодействии с бизнес-структурами и гражданскими объединениями. Помимо экономики и права, современное управление должно опираться и на социологию, которая позволяет более точно и объемно определять факторы, влияющие на жизнедеятельность людей. Эта тема стала предметом дискуссии на круглом столе «Социологическое обеспечение стратегического управления развитием регионов и муниципальных образований», прошедшего 3 июня 2021 г. в Институте социологии ФНИСЦ РАН. Организаторами выступили ФНИСЦ РАН и Экспертный совет по вопросам развития региональной и муниципальной науки при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, участники – члены Экспертного совета, научные сотрудники института и приглашенные специалисты.

Во вступительном слове **С.А. Боженов** отметил, что ФНИСЦ РАН сегодня по праву принадлежит ведущая роль в развитии отечественной социологии. Вместе с тем социологическая наука недостаточно встроена в процесс обеспечения управления регионами и муниципальными образованиями. В целях повышения эффективности взаимодействия социологии с органами власти следует рассматривать территории как социальные системы и на этой основе осуществлять их социально-экономическое и пространственное развитие.

Акад. РАН **В.Л. Макаров** считает необходимым акцентировать внимание на проблемах сельских территорий. В селе сегодня существенно меняются социальная структура местного сообщества, характер занятости населения, распределение бюджетов времени, что требует социологического осмысления. Чл.-корр. РАН **В.В. Иванов** отметил важность повышения роли РАН в выполнении экспертных функций, в частности по экспертизе управленческих решений, считая, что решение задачи повышения качества жизни населения следует начинать с научной оценки потенциала данной территории. По мнению акад. РАН **М.К. Горшкова**, управленческие решения, касающиеся социальных потребностей людей, должны проходить обязательную социологическую экспертизу. Важной задачей социологической науки является разработка аналитико-диагностических моделей для использования в региональном и муниципальном управлении.

В докладе проф. **В.В. Маркина** (ИС ФНИСЦ РАН) обозначено противоречие между сложившейся практикой проведения социологических исследований в интересах региональных органов власти и необходимостью встраивания их результатов в общий контекст развития социологической науки. Докладчик проанализировал деятельность региональных социологических центров, проводящих прикладные исследования в рамках госзаказа и представил их типологию по различным показателям. Проф. **А.Г. Гладышев** (ФУ при Правительстве РФ) сфокусировался на потенциале социологической науки в обеспечении муниципального управления. Теоретические выкладки иллюстрировались на примере развития Одинцовского района МО в 1990–2000-е гг., когда там регулярно проводились практико-ориентированные семинары для служащих, организационно-деятельностные игры по методологии В.С. Дудченко и стратегические сессии, заметно повлиявшие на темпы и характер развития района. Проф. **В.И. Патрушев** (АНСТМСУ) рассмотрел региональную и муниципальную социологию, удовлетворяющую потребность в научном осмыслении условий жизнедеятельности на определенной территории. Залогом эффективного взаимодействия науки и власти является повышение социологической культуры управленцев. В рамках авторской концепции социальной ресурсологии отмечалась необходимость выявления и использования для развития территории различных ресурсов, включая мотивацию.

Выступление **К.В. Харченко** (ИС ФНИСЦ РАН) было посвящено концептуальному обоснованию социопространственного подхода к развитию территорий. Основываясь на принципах приоритета качества жизни населения над структурными реформами, признавалась равноценность анализа объективных социальных процессов и субъективной значимости территории, а также баланс между развитием городских и сельских, физических и виртуальных пространств, что может снять накопившиеся противоречия между социально-экономическим и пространственным развитием.

Н.В. Ворошилов (ВолНЦ РАН) представил результаты исследования по проблемам местного самоуправления в оценках глав муниципальных образований, обратив внимание на недооценку руководителями своих возможностей в обеспечении устойчивого развития территорий. **Ю.В. Уханова** (ВолНЦ РАН) анализировала ценностные установки и практики гражданского участия в малых городах России. Теоретические наработки автора позволили сделать вывод, с одной стороны, о достаточном уровне готовности населения к интеграции в целях решения локальных проблем, а с другой – о недооценке потенциала своего влияния. Проф. **В.И. Селютин** (ВИЭСУ) затронул проблему необходимости обучения глав муниципальных образований особенностям работы с населением. На примере ВИЭСУ было показано, что этому может способствовать образовательная деятельность муниципальных вузов, которых на сегодняшний день остались лишь единицы. По мнению докладчика, существующие практики работы органов местного управления с населением следует максимально технологизировать и регламентировать в правовых актах.

В выступлении проф. РАН **Е.А. Дергачевой** (БГТУ) сделан акцент на необходимости социологического обеспечения разработки Комплексной стратегии социально-биосферного развития регионов России в условиях нарастающих тенденций деградации биосферы и ее жизни. **Р.В. Петухов** (ИС ФНИСЦ РАН) отметил недостаток социологического обеспечения нормотворческой деятельности и стратегического планирования. Доминирование экономического и правового подходов, по мнению выступающего, ведет к решениям, расходящимся с объективной потребностью в развитии территории, как, например, преобразование муниципальных районов в городские округа.

По итогам участники отметили целесообразность продолжения разработки механизма экспертизы результатов социологических исследований, выполненных в рамках государственного и муниципального заказа. Требуется разработать общие принципы использования социологических показателей для оценки эффективности регионального и муниципального управления, в том числе создать единую методологию оценки удовлетворенности населения различными социальными институтами, органами управления и сферами жизнедеятельности.

В.В. МАРКИН, К.В. ХАРЧЕНКО

МАРКИН Валерий Васильевич, д. социол. н., проф., рук. (markin@isras.ru); ХАРЧЕНКО Константин Владимирович, к. социол. н., доц., вед. науч. сотр. (geszak@mail.ru). Оба – Центр региональной социологии и конфликтологии Института социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия.

DOI: 10.31857/S013216250015530-6

SOCIOLOGY OF REGIONAL GOVERNANCE vs SOCIOLOGY IN REGIONAL GOVERNANCE

Valery V. MARKIN, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Head of the Center (markin@isras.ru); Konstantin V. KHARCHENKO, Cand. Sci. (Sociol.), Assoc. Prof., Leading Researcher (geszak@mail.ru). Both – Center for Regional Sociology and Conflictology, Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia.

Размышления над новой книгой

© 2021 г.

Д.Ю. КАРАСЕВ

РЕЛЯЦИОННО-ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД Й. АРНАСОНА И ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОВЕТСКОГО МОДЕРНА

КАРАСЕВ Дмитрий Юрьевич – кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра экспертизы санкционной политики, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия (dk89@mail.ru).

Аннотация. Сборник работ Й. Арнасона «Цивилизационные паттерны и исторические процессы» раскрывает теоретико-методологические особенности цивилизационного анализа в качестве одной из парадигм исторической социологии, связанной с «культурным поворотом». Приводятся разновидности современного цивилизационного анализа, поясняется их отличие от традиционного. Демонстрируется оригинальный вклад Арнасона в исследования советской формы модерна в терминах альтернативного проекта глобализации и переплетенного с китайским коммунизма.

Ключевые слова: Йохан Арнасон • цивилизационный анализ • историческая социология • модерн • советология

DOI: 10.31857/S013216250016501-4

Введение. В издательстве «НЛО» вышел сборник работ одного из ведущих современных теоретиков исторической социологии Йохана Арнасона [Арнасон, 2021]. Составителем сборника «Цивилизационные паттерны и исторические процессы» выступил М.В. Масловский, ранее рассматривавший значение идей Арнасона для исторической социологии и исследований международных отношений [Maslovskiy, 2019]. Книга удачным образом объединила важнейшие статьи и эссе исландского социолога с космополитической биографией по методологии цивилизационного анализа, а также любопытные кейс-стади и инсайты о советской версии модерна.

Цивилизационный анализ (далее – ЦА) – одна из разновидностей исторической социологии, которая является выражением более общей тенденции в современной социологии, связанной с «культурным поворотом» и принятием относительной автономии культуры. ЦА постулирует сохранение структурирующего воздействия культурного наследия цивилизации, которое рассматривается как не противоречащее модерну. Напротив, воздействие различающихся от цивилизации к цивилизации культурных компонент приводит к появлению различных форм модерна, срывам модернизации, контрмодернам. Структурирующее воздействие культурного наследия не является автоматическим, оно испытывает влияние диффузии идей и культурных кодов из других цивилизаций, не обязательно географически, исторически или геополитически близких. Кроме того, на практике этот культурно-цивилизационный микс проявляется лишь в социально-политической борьбе за власть и ее легитимацию.

Тем не менее культурная сфера сохраняет свою относительную автономию. Столкновение культурных ортодоксий и гетеродоксий не сводимо к борьбе экономических и политических интересов, но и неотделимо от них. При этом потенциал ЦА вполне достаточен для проведения различия между мифами, инструментально конструируемыми лидерами общественных движений и политических партий для мобилизации сторонников, и коллективными представлениями различных групп, независимо формирующимися «снизу» в рамках народной культуры. Парадокс в том, что и первые, и вторые имеют один источник – культурный микс из цивилизационного наследия, привнесенных в ходе межцивилизационного взаимодействия идей и культурных кодов, а также вновь возникающих гетеродоксий.

Несколько упрощая, можно констатировать, что движущей силой социального изменения из перспективы ЦА является опережающая социальную, политическую и экономическую культурная дифференциация. Апеллируя к противопоставлению социальной и системной интеграции Д. Локвуда, следует отметить, что для современных обществ ЦА постулирует низкий уровень обеих, однако к макросоциальному полиморфизму (разным формам модерна, глобализаций, империй) ведут именно культурные гетеродоксии. Этот источник различий традиционных обществ акцентировал М. Вебер, подчеркивая различие хозяйственных этик мировых религий. Вопреки разнообразным теориям конвергенции, ЦА распространяет аргумент о культурном источнике различий на современные общества.

Разновидности цивилизационного анализа. Все сказанное выше относится лишь к современному ЦА, связанному с именами Н. Элиаса, Ш. Эйзенштадта, Б. Нельсона, Б. Виттрока, Й. Арнасона и их последователей. В рамках современного ЦА Дж. Смит выделяет «процессуальное», «интегративное» и «реляционное» направления [Smith, 2017: 28–29]. Р.Г. Браславский предложил более разработанную классификацию, акцентируя соответствие каждого из направлений современного ЦА (процессуальное, конфигуративное, интеракционное и реляционное) подходам в исторической науке: всеобщая история, локальная история, транслокальная и глобальная истории соответственно [Браславский, 2020].

До возникновения современного ЦА цивилизационный подход за пределами археологии и антропологии долгое время ассоциировался с именами Н.Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, Л.Н. Гумилева, П.А. Сорокина и имел свои истоки в «теории локальных цивилизаций». Используя метафору Арнасона, для традиционного ЦА цивилизации были бильярдными шарами, которые сталкивались, двигаясь собственными историческими путями. С такой точки зрения традиционный ЦА соответствует современному, как небесная механика Ньютона теории относительности Эйнштейна. На смену метафоре сталкивающихся бильярдных шаров приходит метафора лабиринта цивилизаций, включенных в модернизационные трансформации, но при этом обладающих особым наследием и ресурсами. В результате воздействия большого количества независимых сил, креативности социального действия, различающихся исторических обстоятельств и исторических случайностей процессы цивилизации и модернизации в качестве его продолжения оказываются не хорошо предсказуемыми и закономерными, а эмерджентными.

Ключевое отличие реляционного ЦА от мультикультурализма, во многом опирающегося на идею коммуникативной рациональности Ю. Хабермаса, научного руководителя Й. Арнасона во Франкфуртском университете, в том, что ЦА не романтизирует межцивилизационное взаимодействие. Это не диалог, не идеальный морально-коммуникативный дискурс цивилизаций. Напротив, альтернативные версии модернов проверяют жизнеспособность друг друга силой, сокращая макросоциальный полиморфизм. Хабермасовскому синтезу идей Дюркгейма, Вебера и других классических социологов, следующему за Парсонсом, Арнасон предпочел альтернативный синтез этих социологических традиций, выстроенный Ш. Эйзенштадтом против Парсонса и производных от него теорий конвергенции и неозолуционизма. Подробнее об основных понятиях и методологии современного ЦА, вкладе в него Ш. Эйзенштадта, а также проблемах его цивилизационного подхода можно прочесть в первых методологических главах сборника: «Понимание цивилизационной динамики: вводные замечания», «Цивилизационные паттерны и процессы

цивилизации», «Понимание межцивилизационного взаимодействия», «Культурный поворот и цивилизационный подход».

В отечественной науке подход Ш. Эйзенштадта (пусть и не в самой последней его версии) известен более широко, чем подход Й. Арнасона. Основной вклад Эйзенштадта в историческую социологию заключался в разработке теоретических основ исследования традиционных цивилизаций, домодерновых империй, а также великих революций как одной из форм модернизации. Обобщенная критика Эйзенштадта сводится к избыточному акцентированию влияния культурных факторов на политическую жизнь в ущерб прочим, преувеличению устойчивости культурного наследия и форм модерна, вплоть до постулирования культурного «эффекта колеи» (path dependence) [Spohn, 2001; Wagner, 2010]. По словам В. Кнебля, подход Арнасона направлен на «возвращение политической власти» и агентности в цивилизационный анализ [Knöbl, 2010]. Данный подход позволяет подчеркнуть не только колею цивилизационного наследия (географическую, социальную и историческую преемственность цивилизации), но и разрывы в ней и ее трансформации в моменты кризисов, например «чередующиеся модерны» и «мультицивилизационные констелляции». Таким образом, из перспективы реляционно-цивилизационного анализа цивилизация как таковая частично «растворяется» во внешнем и внутреннем контекстах: межцивилизационном взаимодействии и внутренней борьбе за реинтерпретацию и использование культурного наследия соответственно.

Советская модель модернизации. Одним из наиболее значимых является вклад Арнасона в исследования советского общества. Цивилизационному анализу происхождения, экспансии, межцивилизационного взаимодействия и упадка советской или коммунистической(их) версии(ий) модерна посвящены три главы сборника: «Коммунизм и модерность», «Советская модель как форма глобализации», «Переплетенные коммунизмы: имперские революции в России и Китае».

Советский модерн был и остается для Арнасона основным кейсом. Этот научный интерес был отчасти сформирован биографически: студентом Арнасон отправился учиться в Карлов университет в Праге из-за своих левых убеждений, но столкновение с реальным социализмом и подавление Пражской весны поставили перед ним вопрос о том, есть ли у советской версии модерна декларируемые преимущества перед западной и модерн ли это? Самое непосредственное отношение к этому вопросу имел нескончаемый спор западных советологов и историков о том, была ли революция 1917 г. прогрессивной социальной революцией, которая привела к всесторонней модернизации России под властью большевиков, или это изначально был всего лишь политический переворот, сменивший правящую верхушку, тогда как на путь модернизации след за западными обществами с некоторым опозданием вступил и царский режим [Дэвид-Фокс, 2016]. Любой кризис советской модели возобновлял этот бесконечный спор, а ее итоговый распад укрепил анти- и псевдомодернистские интерпретации коммунизма в западной социально-исторической науке.

Опираясь на теорию множественных модернов Эйзенштадта, Арнасон, напротив, отстаивал вывод о коммунизме как разновидности модерна. Он продемонстрировал, как большевики продолжили, трансформировали и развили дореволюционные модернизационный и имперский проекты, унаследовав их достижения и проблемы. Из этой перспективы большевистский модернизационный проект представлял синтезом марксистских идей с менее осознанными заимствованиями из российской традиции социальной мысли. Марксизм-ленинизм в этом ключе изучался в качестве разновидности «политической религии», структурно и функциональной эквивалентной традиционным религиозным системам с секулярным (революционным) спасением.

Одной из важнейших компонент культурного кода марксизма-ленинизма была претензия на создание цивилизации, превосходящей капитализм. Уже это, по мнению Арнасона, позволяет говорить о советской модели как форме глобализации. Вера в мировую революцию была следствием не только теоретического преувеличения Марксом зрелости и глобальности капитализма XIX в., но и реального межцивилизационного взаимодействия

конца XIX – начале XX в., описанного Лениным в терминах империализма. Советскую модель объединяло с китайской то, что они возникли из революций, начало которым было положено распадом империй, и завершились восстановлением имперских структур с новыми элитами во главе. Обе революции заимствовали революционную идеологию на Западе и по-своему ее интерпретировали. Обе новые империи – сталинскую и маоистскую – легитимировала идеология построения превосходящего Запад модерна.

Несколько упрощая позицию Арнасона, можно констатировать, что особенность коммунистических режимов заключалась в том, что реальные локальные и общенациональные рабоче-крестьянские движения, волна которых привела их к власти, эти режимы принесли в жертву своему имперскому и глобальному проекту, тогда как миф о *мировом рабочем движении* пришел на смену мифу о мировой революции. Выражением идеи мировой революции был Коминтерн в качестве контролируемого из Москвы инструмента реализации советского глобального проекта. Миф о партии и нации-авангарде международного рабочего движения использовался для внутренней легитимации в глазах рабочего движения, вначале вполне реального. Затем движение было наполовину искоренено, наполовину в форме фабрично-заводских комитетов превращено в агентов партии-государства на местах.

Конец низовой революции, по мнению Арнасона, был положен сталинской «революцией сверху», объединившей большевистский проект с предшествующими проектами имперской модернизации и направленной на воссоздание империи. Несмотря на поражение революционной волны 1917–1923 гг. в Европе и переориентацию от идеи мировой революции к «социализму в отдельно взятой стране», имперское измерение сталинского проекта облегчило маскировку инструментальной и подчиненной роли рабочего движения в СССР (М. Манн называет это «социальным империализмом»), а борьба с внутренними и внешними врагами революции легитимировала репрессии. Арнасон также предложил оригинальное объяснение сталинского режима, производное от веберовской концепции харизмы.

Результаты «революции сверху» были противоречивыми: мобилизация ресурсов, индустриализация, победа в войне, с одной стороны, дисбаланс промышленности и сельского хозяйства, зависимость от внешних поставок, вырождение партии-государства в авторитаризм и клиентелизм – с другой. На практике советская модель глобализации заработала только после установления контроля над странами Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и победы коммунистов в Китае. Сохранить контроль над сателлитами и союзниками оказалось сложнее, чем воссоздать Российскую империю. Результатом стали протесты в ЦВЕ и конфликт с маоистским Китаем. Последний оказался особенно болезненным. По словам Арнасона, в результате отказа Китая от роли младшего партнера единого «социалистического лагеря» началась «вторая холодная война» между СССР и Китаем, за что советская сторона поплатилась перенапряжением сил.

Концепцию «переплетенных коммунизмов» Арнасона важно понять в контексте советского проекта глобализации. Для «старых большевиков» Китай заменил Германию в качестве плацдарма распространения мировой революции. При этом ни у кого из них не было четкой программы действий относительно борьбы Гоминьдана, КПК и Японии в Китае. Арнасон использует концепцию «переплетенных коммунизмов», чтобы обосновать средний путь между позицией, согласно которой маоизм был всего лишь адаптацией советской модели, и противоположной точкой зрения, что он был чем-то фундаментально отличным. Китай действительно адаптировал элементы советской модели, однако сделал это на рельсах собственного цивилизационного наследия, в том числе сформированного под воздействием отличающегося от российского паттерна межцивилизационного взаимодействия с Западом и внутренней борьбы.

Оригинальность объяснения коллапса Советского Союза, предложенного Арнасоном, в том, что помимо прочих факторов она отмечает роль глобальной и цивилизационной компонент советского модерна. Попытка перестройки и особенно гласности была очередной попыткой «революции сверху» из оптимистического убеждения в том, что советскую цивилизационную традицию можно спасти без серьезных институциональных

реформ. «Непоследовательность новой экономической политики Горбачева была обусловлена теми же причинами: пока общие цивилизационные рамки казались прочными, возникло искушение экспериментировать с разными подходами в различных сферах» (с. 209).

В заключительной главе «Теоретические подходы к капитализму» Арнасон рассуждает о новом витке дискуссий о капитализме, который последовал за распадом советской альтернативы. Он анализирует классические подходы к капитализму – не только Маркса и Вебера, но и Зомбарта, Зиммеля и Шумпетера. Арнасон предлагает концепцию множественных капитализмов, которая подчеркивает возможность различных и противоречивых пространственно-временных сочетаний компонентов модерна, одним из которых выступает капитализм. Вслед за М. Манном Арнасон интерпретирует капитализм не как чисто экономический феномен, а как переплетение экономических сетей власти с другими. В отличие от многих теоретиков перехода от феодализма к капитализму, Арнасон не акцентирует внимание на исключении внерыночных способов извлечения излишков в качестве условия выхода из феодализма. Он критикует современные подходы к будущему капитализма, вскрывая противопоставление исторического и системного подходов к капитализму, а также предлагает собственную реконцептуализацию «нового духа капитализма» Л. Болтански, Э. Кьяпелло.

Заключение. Резюмируя, основная ценность сборника «Цивилизационные паттерны и исторические процессы» – в реляционно-цивилизационной перспективе, предложенной Й. Арнасоном. Это оригинальный синтез критической теории и cultural studies в историко-социологических исследованиях, который позволяет выйти за рамки структурных, институциональных и количественных сравнений в социально-исторических исследованиях без потери соответствующей социологической проблематики. Предложенная Арнасоном перспектива особенно важна для современных дискуссий о природе, динамике и различиях обществ советского типа и постсоветских обществах в контексте влияния на них «национального» до-модернового и советского наследия, а также стран Запада. При этом, как демонстрирует список научных работ Й. Арнасона, актуальность и применимость реляционно-цивилизационной перспективы гораздо шире: до-модерновые цивилизация, японская и скандинавские цивилизации модерна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ [REFERENCES]

- Арнасон Й. Цивилизационные паттерны и исторические процессы. М.: Новое литературное обозрение, 2021. [Arnason J. (2021) *Civilizational Patterns and Historical Processes*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie. (In Russ.)]
- Браславский Р.Г. Социологические модели современного цивилизационного анализа // Журнал социологии и социальной антропологии. 2020. Т. 23. № 5. С. 7–40. [Braslavskiy R.G. (2020) *Sociological Models of Contemporary Civilizational Analysis. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. Vol. 23. No. 5: 7–40. (In Russ.)] DOI: 10.31119/jssa.2020.23.5.1.
- Дэвид-Фокс М. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? // Новое литературное обозрение. 2016. № 4(140). С. 19–44. [David-Fox M. (2016) *Russian–Soviet Modernity: None, Shared, Alternative, or Entangled? Novoe literaturnoe obozrenie* [New Literary Review]. No. 4(140): 19–44. (In Russ.)]
- Knöbl W. (2010) Path Dependency and Civilizational Analysis: Methodological Challenges and Theoretical Tasks. *European Journal of Social Theory*. Vol. 13. No. 1: 83–97. DOI: 10.1177/1368431009355862.
- Maslovskiy M. (2019) Russia against Europe: A Clash of Interpretations of Modernity? *European Journal of Social Theory*. Vol. 22. No. 4: 533–547. DOI: 10.1177/1368431018768623.
- Smith J. (2017) *Debating Civilisations: Interrogating Civilisational Analysis in a Global Age*. Manchester: Manchester Univ. Press.
- Spohn W. (2001) Eisenstadt on Civilizations and Multiple Modernity: Review Essay. *European Journal of Social Theory*. Vol. 4. No. 4: 499–508. DOI: 10.1177/1368431012225280.
- Wagner P. (2010) Multiple Trajectories of Modernity: Why Social Theory Needs Historical Sociology. *Thesis Eleven*. Vol. 100. No. 1: 53–60. DOI: 10.1177/0725513609353705.

J. ARNASON'S CIVILIZATIONAL AND RELATIONAL ANALYSIS AND GLOBAL DIMENSION OF SOVIET MODERNITY

KARASEV D.Yu.

MGIMO-University, Russia

Dmitry Yu. KARASEV, Cand. Sci. (Sociol.), Researcher, Center for Sanctions Policy Expertise, MGIMO-University, Moscow, Russia (dk89@mail.ru).

Abstract. The volume *“Civilizational patterns and historical processes”* includes J. Arnason's works on the theory and methodology of civilizational analysis as a paradigm of historical sociology related to the “cultural turn”. It distinguishes some varieties of modern civilizational analysis and explains their differences from the traditional one. The second part of the review considers J. Arnason's contribution into investigations of soviet modernity in the terms of alternative globalization project as well as the communism entangled with the Chinese one.

Keywords: Johan Arnason, civilizational analysis, historical sociology, modernity, sovietology.

© 2021 г.

Jemielniak D. THICK BIG DATA: DOING DIGITAL SOCIAL SCIENCES. Oxford University Press, 2020. 173 p.

Дариуш Емельняк – профессор Козьминского университета и сотрудник Центра Беркмана Кляйна для Интернета и Общества Гарвардского университета, а еще он много лет сотрудничает с проектом «Википедия» в самых разнообразных ипостасях и даже написал об этом книгу. Опыт работы с Википедией сказывается на подаче материала рецензируемой книги «Качественные Большие данные: создавая цифровые социальные науки». С одной стороны, невероятно широкий контекст исследований, на которые он опирается в своих выводах, создает ощущение воплощения коллективного интеллекта в единой работе, реализации на практике открытой модели сотрудничества. С другой – количество ссылок и гиперссылок такое, что трудно сказать, где здесь авторская мысль. Но она безусловно есть, и эта книга заслуживает самого пристального внимания.

В названии присутствует некая игра терминов: Big Data и Thick Data противопоставляются друг другу как Большие данные и качественные данные. Сравнение началось, когда Большие данные громко заявили о потенциале своих возможностей в социальных науках. Это наборы данных, чей размер или тип не позволяет отбирать, управлять ими и обрабатывать с минимальной задержкой с помощью традиционных реляционных баз. Также термин Большие данные относится к использованию прогнозной аналитики, аналитики поведения пользователей или некоторых других передовых методов анализа данных. Thick Data (качественные данные) – понятие, пришедшее из антропологии и этнографии, описывает не только само действие, но его контекст и эмоциональное отображение, интерпретируемое самими акторами¹.

Сам термин, переведенный здесь как качественные Большие данные, не звучит достаточно исчерпывающе, поэтому проясним вместе с автором. Анализ Больших данных позволяет увидеть повторяющиеся паттерны, шаблоны в больших массивах неструктурированных данных. Но он не дает обоснованный ответ на вопрос, почему эти паттерны существуют. Анализ качественных данных принимает несводимую сложность явлений, может раскрыть социальный контекст связей между ними, но теряется в масштабе. Он может ответить на вопрос почему, но не дает возможности идентифицировать сложные паттерны. Емельняк исходит из того, что Большие данные и качественные данные – две стороны одной медали, использовать одну из сторон в изоляции от другой – потерять ее ценность. Поэтому важно понять, как Большие и качественные данные могут усилить друг друга. Это требует интеграции качественной оценки, экспертных суждений с «жесткими» количественными данными.

Общий вопрос: как должны выстраиваться отношения между традиционной социологией и цифровой, автор не затрагивает. Традиционная социология изучает реальный мир, цифровая – виртуальный, раз он не ставит вопрос о взаимодействии двух миров, то и вопрос о взаимодействии двух социологий не поднимается². Автора в большей степени

¹ Geertz C. Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture: The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, 1973. P. 3–30.

² К выпуску готовится монография Василенко Л.А., Мещеряковой Н.Н. «Социология цифрового общества». В ней вопросы интеграции двух миров – реального и виртуального – и проблемы изучения новой реальности рассматриваются максимально подробно.

интересует, как применять исследовательский аппарат, до сих пор используемый в нарративных и антропологических исследованиях, для онлайн-социальных наук: «В моем понимании количественный и качественный анализ онлайн-сообществ может и должен переплетаться с исследованием продуктов цифровой культуры. Примененные вместе, в том, что я называю качественными Большими данными, они предлагают согласованную систему, основанную на различных исследовательских инструментах и перспективах. Их использование, полностью или частично, должно позволить провести полноценный социологический анализ, заложив основы для построения теорий поведения людей в Интернете» (р. 4).

Чем больше приток количественных данных, тем больше потребность в качественном анализе, утверждение, что «данные говорят сами за себя» – опасная исследовательская иллюзия. В то время как доступ к данным перестает быть проблемой, их осмысление, напротив, становится все более проблематичным. Открытие социальных наук для Больших данных привело к «дикому междисциплинарному характеру исследований» (р. 26), в которых социология смешалась с антропологией, теорией организации, информационными науками и другими. Но эта междисциплинарность сулит большие перспективы, и именно социология, по мнению автора, может разработать канон для цифровых социальных исследований, поскольку имеет сильную традицию использования качественных и количественных подходов, а также разработки методологий для исследований человеческого субъекта (р. 26).

Рецензируемая книга интересна в первую очередь систематизацией цифровых социальных наук, которые уже есть, но еще не все готовы принять этот факт. Автор классифицирует их разновидности: сетевая социология, цифровая социология, виртуальная социология и т.д. (р. 73). Главное, что конституирует цифровые социальные науки, – предмет их анализа находится (формируется) в сети. Это цифровые формы человеческой жизнедеятельности, онлайн-сообщества, динамика их развития, поведение отдельных акторов. Нельзя сказать, что это совершенно новый предмет социологии. Это все те же социальные общности и группы, их взаимодействия, только локализованные в сети. Но неверно было бы и утверждать, что ничего не меняется. В киберпространстве в общение могут вступать не люди, боты, например, или, говоря словами Б. Латура, актаны³.

Д. Емельняк систематизирует корпус цифровых социальных наук, особенно внимание уделяет цифровой социологии, обосновывает ее методологические основания, переносит исследования в онлайн. На месте социологов не признавать вовсе существование нового цифрового корпуса исследований, это предпочитать передвигаться на лошади в эпоху автомобилей. В принципе можно, но медленно. Facebook, Tesco, Google или Mastercard знают о своих пользователях больше и узнают об этом раньше, чем когда-либо могли бы сделать классические социологические исследования. Чтобы конкурировать с ними, социальным наукам следует осваивать новые технологические возможности, держа в рукаве козырные карты накопленных интерпретационных методик.

Интернет изменил поведение человека. Способы взаимодействия, проведения свободного времени и времени на работе, знакомства и даже понимание того, что представляет собой близость, серьезно обновились. Возникли новые социальные явления, такие как интернет-сообщества, состоящие из людей, которые никогда не встречались лицом к лицу, но при этом имеют сильную связь. Автор предлагает изучать отношения между людьми, которые осуществляются в Интернете. Переплетение онлайн и реальных взаимодействий, а также включение онлайн-коммуникации в репертуар символических социальных сигналов могут быть восприняты в категориях дополненной реальности. Они имеют физические измерения, но также находятся и под значительным влиянием воспринимаемых цифровых и онлайн-идентичностей, нарративов и самопрезентаций. По этим причинам становится все более важным исследовать формирование тесных социальных связей в Интернете, а также их воздействие на изменение отношений в реальной жизни.

³ Латура Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию. М.: ВШЭ, 2014.

Что изучать в первую очередь? Для Дариуша большой интерес представляют различные формы сотрудничества, чем собственно обмен информацией (р. 20). Например, совместное производство и потребление интернет-мемов, групповые дискуссии, все чаты и веб-форумы, которые можно рассматривать как совместный опыт культуры или общения без конечного продукта. Емельняк называет частью интернет-революции коллективный опыт культуры, а не просто ее совместное производство. По этой причине вместе с Н. Пшегалинской он использует термин «коллаборативное общество» для описания процессов, основанных на радикальном усилении коллаборативных тенденций в результате внедрения новых коммуникационных технологий и инструментов⁴. Интересные разделы книги посвящены кризису экспертного знания и экономике совместного использования, которые автор считает важными предметными полями цифровой социологии. Мы оставим в стороне эти моменты в угоду целостности восприятия основного вопроса – что есть цифровые социальные исследования и качественные Большие данные.

Д. Емельняк подробно знакомит читателей с тем, что уже сделано в социологии для изучения сетевых взаимодействий (Social Network Analysis) (р. 42): от предмета до методов, техник и технологических платформ. Целью анализа социальных сетей, с его точки зрения, является исследование структуры связей и паттернов связей. Вместо классификации индивидов по признакам анализ основывается на отношениях. Фокус, как и при системном подходе, ставится на всю структуру. Решаемые задачи: выявление закономерностей, отношений, позволяющих выделить подсеть; сделать выводы о действиях и организации отдельных единиц (узлов или объектов) сети. Узлами могут быть люди, но также проекты или команды, организации, события и даже идеи.

В анализе социальных сетей основное внимание уделяется взаимности/эквивалентности связей, их транзитивности (является ли друг нашего друга также нашим другом, например), а также плотность, прочность связей или центральность. Выбор этих показателей имеет смысл только после установления того, какой из них является хорошим индикатором того или иного признака. Большую часть необходимых данных можно извлечь из общедоступных профилей сетей. Но можем ли мы ими свободно пользоваться? Вопросам этики онлайн-исследований Емельняк посвящает целую главу своей книги. Ее лейтмотив: «Осознайте, что за данными стоят люди. Данные их представляют, влияют на них и могут нанести им вред» (р. 114).

Емельняк не избегает говорить о недостатках цифровой социологии, в частности онлайн-опросов: невозможность обеспечить репрезентативную выборку и даже идентифицировать участников, обманчивые ответы, неотвеченные вопросы, чрезмерная представленность некоторых социальных групп (смещение выборки) (р. 51). Но недостатки уравновешиваются и несомненными достоинствами: исследование поведения в Интернете неинвазивно, лишено Хоторн-эффекта, хотя нельзя игнорировать искажающее влияние потребности в самопрезентации субъектов исследования по отношению к их референтным группам.

Автор сам называет свою книгу практическим руководством по цифровым социальным наукам и остается верным своему обещанию на всем ее протяжении. Это настоящий справочник для социолога, намеренного зайти на поле цифровой социологии: он включает солидный обзор литературы и знакомит читателя с широким кругом эмпирических исследований, которые проводились в последние десятилетия по отношению к объекту, заключенному в паутину отношений в киберпространстве.

Емельняк подробно рассматривает основные технические вопросы, разрешение которых позволит его читателю приступить к самостоятельному исследованию без какой-то серьезной профессиональной подготовки в области информационных технологий. Он собрал и систематизировал информацию об открытых источниках Больших данных, например, таких как datacommons.org, который объединяет интегрированные, упорядоченные и

⁴ Jemielniak D., Przegalinska A. Collaborative Society. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

очищенные данные из Википедии, американского Бюро переписи населения, ФБР, метеорологических агентств и американских избирательных комиссий. Также ресурс включает в себя инструменты для легкого изучения и анализа данных в различных наборах без очистки или объединения данных (масштабирования). Рекомендует читателям сервисы по проведению опросов и их обработки, в том числе совершенно бесплатные, такие как SurveyHero.

В первую очередь исследователь нуждается в технологии того, что Емельняк называет «соскабливанием» данных (scraping), т.е. аналитических инструментах для работы с неструктурированными базами (твитами, пользовательскими аккаунтами и пр.). Подкованные в программировании специалисты пишут свои собственные коды для таких целей, но в распоряжении социологов есть и несколько простых в использовании готовых и даже бесплатных инструментов, с которыми автор книги нас и знакомит. Например, плагин Chrome, Web Scraper, разработанный командой ScrapeHero. Он позволяет очень легко собирать данные без какого-либо программирования, пошаговое руководство размещено на их сайте. Инструмент позволяет соскабливать твиты в базу данных, с которой можно работать в Excel. Для больших проектов он рекомендует OctoParse – удобный устанавливаемый инструмент, который даже в своей бесплатной версии соскабливает данные из разных источников, позволяя использовать простые шаблоны для популярных веб-сайтов, таких как Twitter, Amazon, Booking, Instagram, YouTube, Google и Yelp. Справочный материал по пользовательским программам, позволяющим проводить сетевой анализ, Дариуш в своей книге предоставляет обширнейший. Это настоящее практическое руководство для исследователей с интерактивными ссылками на соответствующие ресурсы (в электронной версии книги. – Прим. Н.М.) – от сервисов для легкого автоматизированного сбора текстовых и графических данных до сложных облачных инструментов, сочетающих в себе машинное обучение, кодирование человеческими командами и различные инструменты компьютерного анализа текста.

Что по мнению Емельняка уже разработано в цифровых социальных науках, а что еще предстоит сделать? Сложилась база так называемых Больших данных, разработаны инструменты, с помощью которых их можно собирать и анализировать, созданы сервисы для проведения онлайн-опросов, разработаны и опробованы протоколы Social Network Analysis. Добавим от себя, что в России одним из лидеров в разработке стека технологий для анализа пользовательских данных из социальных сетей является Институт системного программирования РАН.

Однако, по мнению автора книги, надо продолжить разрабатывать этические нормы работы с личными данными, доступными в сети, а также соединить лучшие наработки традиционной социологии и цифровой, произвести отбор качественных методов, которые могут быть использованы для интерпретации количественных исследований и служить отправной точкой для качественного анализа.

Монография Д. Емельняка является очень дельным и детальным руководством для социологов и представителей смежных дисциплин по вопросу: как извлечь пользу из огромного массива постоянно увеличивающегося потока социальных данных, оставаясь при этом на платформе строгой научности. Она может быть рекомендована как справочник по самым последним достижениям эмпирической социологии, перебранным в киберпространство. Но автор не претендует на решение более общих вопросов, вставших перед современной социологией: как изменился характер современного общества и следует ли вслед за ним менять каноны науки. Книга сугубо инструментальна.

Н.Н. МЕЩЕРЯКОВА

МЕЩЕРЯКОВА Наталия Николаевна, д. социол. н., проф., Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск, Россия (natalia.tib@mail.ru).

DOI: 10.31857/S013216250014597-9

Jemielniak D. **THICK BIG DATA: DOING DIGITAL SOCIAL SCIENCES.** Oxford University Press, 2020. 173 p. Reviewed by N.N. Meshcheryakova

Nataliya N. MESHCHERYAKOVA, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Tomsk Polytechnic University; Tomsk State University, Tomsk, Russia (natalia.tib@mail.ru).

© 2021 г.

Ваньке А.В., Полухина Е.В., Стрельникова А.В. КАК СОБРАТЬ ДАННЫЕ В ПОЛЕВОМ КАЧЕСТВЕННОМ ИССЛЕДОВАНИИ. М.: ВШЭ, 2020.

Качественные исследования в нашей стране прочно вошли в арсенал социолога. Дискуссия о разнице методологий давно перестала быть острой и непримиримой¹. В исследованиях широко используется сочетание различных методов. Сбор количественных («жесткие» методы, чаще всего опросная методика) и качественных («мягкие» методы, чаще всего глубинные интервью) данных позволяет комплексно подходить к решению поставленных задач исследования, взаимодополняя друг друга (см., например, статью по стратегиям смешивания методов (mixed methods research²)). Все это составляет общую методологию анализа данных, сбор которых осуществляется с помощью разных исследовательских практик³. Однако если учебные пособия по применению количественных стратегий имеются, то по использованию качественных методов наблюдается явный их дефицит. Одно из первых и наиболее популярных, подготовленное В.В. Семеновой, вышло более двадцати лет назад⁴. Учебные пособия по этой тематике других исследователей-«качественников» (И.Е. Штейнберг, В.И. Ильин, А.С. Готлиб и др.) также давно не обновлялись. Поэтому выход в свет рецензируемой монографии ожидаем, тем более ее авторы – практикующие исследователи и преподаватели курсов по методологии и методам в разных вузах (НИУ ВШЭ, ГАУГН, РГГУ) – в своей практике остро чувствуют необходимость в современной учебной литературе по теме.

Подготовлено в рамках выполнения Госзадания, номер темы FMUS-2019–0025.

¹ Начало дискуссии относят к статье: Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Миф о «качественной социологии» // Социологический журнал. 1994. № 2. С. 28–42.

² Савинская О.Б., Истомина А.Г., Ларкина Т.Ю., Круглова К.Д. Концептуальные представления о стратегиях «смешивания методов» (mixed methods research): этапы развития и современные дискуссии // Социологические исследования. 2016. № 8. С. 21–29.

³ Татарова Г.Г. Качественные методы в структуре методологии анализа данных // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2002. № 14. С. 33–52.

⁴ Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Добросвет, 1998.

Учебное пособие задумывалось авторами как практическое руководство в стиле *how to do* (т.е. руководство к действию). На основе реальных исследовательских практик приводятся рекомендации по работе с «малыми» данными в интерпретативной парадигме. Работа основывается на современном опыте сбора данных, поэтому содержит рекомендации по использованию разнообразных новых ресурсов: онлайн-сообществ и сетей, виртуальных хранилищ данных, фотографий и видеоконтента.

В целом структура книги отражает основные этапы полевого проекта: «от задумки до первичной презентации результатов» (с. 10). Однако речь идет скорее о первичном анализе полученных данных – «первичная аналитика, где фиксируются ключевые инсайты и определяются темы для дальнейшей аналитической работы» (с. 10).

Авторы не ограничивают аудиторию социологами, справедливо полагая, что смежные дисциплины активно используют наработки социологии. Поэтому пособие может быть полезно также социальным антропологам, культурологам, урбанистам и др.

Отметим удобную для студентов структуру пособия: два раздела «Подготовка к полю» и «Сбор полевых данных» разделяются на главы (всего 9 глав), каждая содержит основные сведения с хорошим обзором литературы, примеры из исследовательской практики, итоговое обобщение, список ключевых понятий, вопросы для самопроверки, а также практические задания и рекомендуемую литературу. Отдельно подчеркнем графическое оформление пособия: схемы, врезки, таблицы и креативные рисунки позволяют успешнее осваивать материал начинающим исследователям. В Приложении приводятся образцы информационных писем, этических соглашений, информированных согласий, гайды, руководство для наблюдения, памятка транскрибера и т.п., что имеет практическое значение.

Первый раздел работы посвящен проектированию качественного полевого исследования. Формирование его дизайна как аналитической рамки задает общую перспективу изучения объектов, субъектов и феноменов (с. 14). От программы исследования дизайн отличает более гибкое восприятие всего процесса, что предполагает «формулирование и уточнение теоретических моделей, методов и процедур, исходя из ситуации полевой работы» (с. 15). Авторы по пунктно раскрывают основные процедуры этого важного этапа, расширяя предложенную В.А. Ядовым схему, детализацией этических аспектов реализации проекта и архивации данных.

А.В. Ваньке отмечает, что это трудоемкий и творческий процесс, в ходе которого исследователь выстраивает нелинейные связи между основными элементами: темой, задачами, вопросами, подходами, концептами, методами сбора и анализа данных (с. 23). Поднимается вопрос об универсальности дизайна исследования: каким образом можно воспроизводить прежние наработки в «качественных» проектах по сходной проблематике. Ведь специфика таких проектов в том, что, даже если подробно описаны все процедуры, их невозможно повторить в точности: каждый исследователь привносит что-то свое, уникальное, к тому же меняются сами условия входа в поле. Важно учитывать необходимость рефлексивности на каждом этапе, так как разработка дизайна – «не линейный, а спиралевидный процесс». Исследователь должен находить баланс между режимом теоретизирования и эмпирическим режимом (с. 40–41). Практические советы по составлению гайда дает Е.В. Полухина. Опираясь на примеры, она разбирает тактики доступа к полю и их горизонт возможностей (с. 69–79), описывает сложности подбора информантов (с. 68).

Во второй части пособия авторы останавливаются на двух основных методах – наблюдении и интервью. Разделяя индивидуальное и коллективное наблюдение, А.В. Ваньке обращает внимание на специфику ведения полевого дневника и полевых заметок, их задач (с. 99–103). Е.В. Полухина отмечает особенности проведения tandemных интервью, на примерах показывая плюсы и минусы такой практики.

Отдельная глава посвящена мобильным методам, в частности биографической прогулке (А.В. Стрельникова), использованию гаджетов, социальных сетей и интернет-ресурсов, мобильных приложений для сбора качественных данных. Особенностью интервью

такого жанра становится продолжительность встреч, состоящих из нескольких этапов: само биографическое интервью, прогулка по значимым в прошлом для информанта местам, второе интервью с ним с использованием бланка наблюдений и «фиксацией остановок, точек маршрута, наиболее насыщенных монологом, и т.д.» (с. 127–128). Подобная соотнесенность с пространством дает дополнительный импульс для воспоминаний и «проживания» их вновь. Такая активизация памяти особенно хорошо работает в интервью со старшим поколением. Другой вид подобных интервью основывается не столько на маршрутах памяти, сколько на самой идее мобильности, что для исследователей городской среды, урбанистов является важным дополнением. Сами перемещения могут осуществляться и виртуально с использованием современных геолокационных технологий (с. 129). В целом мобильные методы определяются через ряд характеристик: «мобильную» (не статичную) ситуацию сбора данных, «мобильный» (цифровой) характер получаемых данных и «мобильный» (не статичный) способ использования результатов (с. 145). Здесь можно усмотреть определенные параллели с мобильной социологией Дж. Урри и новой парадигмой мобильностей (см., напр., статью М. Шеллер⁵), а также с такой формой интервью, как *go along*. А.В. Стрельникова особо оговаривает, что разработка ее метода началась в 2007 г. самостоятельно, без соотнесения с работами западных социологов (с. 126–127).

Отдельная глава пособия посвящается визуализации данных в полевом исследовании. Описываются разные их типы, порядок работы с ними, а также возможности проективных методик. Особенно полезной и практически ориентированной может стать информация об архивации полевых данных. Помимо характеристики агрегированных исследовательских архивов, которые могут быть полезны в анализе данных, при подготовке к полю, для так называемых кабинетных исследований, обсуждается создание локального архива под конкретное исследование. Каким образом и где будет храниться собранная информация, какова структура архива, кто будет загружать данные и как должен разграничиваться доступ – это не только технические вопросы. Грамотное ведение архива может существенно облегчить работу по анализу собранных данных.

Авторы особое внимание уделяют вопросу выхода из поля, подчеркивая важность этого этапа, сравнимую с получением доступа к полю. Осмысленная стратегия выхода из поля позволяет избежать эмоциональных, моральных и этических проблем (с. 196–197). Как вариант, предлагается «возврат в поле пересобранных данных»: обсуждение результатов с разными аудиториями в публичном пространстве привлечет внимание общественности.

Оценивая работу в целом, отметим некоторую упрощенность подачи материала, что, конечно, связано с ориентацией на студенческую аудиторию и начинающих исследователей. Опытные исследователи, знакомые с качественной методологией, могут рекомендовать книгу студентам и стажерам в качестве пособия. Однако те, кто незнаком с данным видом исследований, имеют возможность в сжатом виде получить базовые сведения и практические рекомендации по сбору качественных данных в поле. Поэтому можно сказать, что авторы со своей задачей справились вполне успешно.

Подводя итоги, подчеркнем инструментальную важность подобной работы. Выразим надежду на появление новой книги, посвященной многообразным стратегиям анализа качественных данных, актуальность которой бесспорна.

С.Ю. ДЕМИДЕНКО

⁵ Шеллер М. Новая парадигма мобильностей в современной социологии // Социологические исследования. 2016. № 7. С. 3–11.

ДЕМИДЕНКО Светлана Юрьевна, науч. сотр. Института социологии ФНИСЦ РАН; отв. секретарь журнала «Социологические исследования»; ст. препод. Государственного академического университета гуманитарных наук, Москва, Россия (demidsu@yandex.ru).

DOI: 10.31857/S013216250015840-7

**Vanke A.V., Polukhina E.V., Strelnikova A.V. HOW TO COLLECT DATA
IN A QUALITATIVE FIELD RESEARCH. Moscow: VShE, 2020.**

Reviewed by S.Yu. Demidenko

Svetlana Yu. DEMIDENKO, Researcher, The Institute of Sociology of FCTAS RAS; Executive Secretary (Editor) of the Journal "Sociological studies"; Senior Lecturer, State Academic University for the Humanities, Moscow, Russia (demidsu@yandex.ru).

АНАТОЛИЮ ИВАНОВИЧУ АНТОНОВУ – 85 ЛЕТ!



Очередной юбилей отметил 29 августа социолог с мировым именем, демограф, доктор философских наук, заслуженный профессор МГУ, заведующий кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Анатолий Иванович Антонов.

Анатолий Иванович родился в предвоенной Москве. После окончания семилетки поступил в Военно-механический техникум, служил в вертолетной части, принимавшей участие в военных действиях 1956 г., занесен в Книгу почета полка. С 1958 по 1967 г. работал конструктором в системе «мирного атома». Писал стихи и выступал как член литературных объединений.

В 1969 г. окончил философский факультет МГУ, работал заводским социологом (1967–1969). В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию по методологии исследования репродуктивного поведения, в 1983 г. – докторскую по социологии рождаемости. С 1975 по 1983 г. работал старшим научным сотрудником и зав. отделом в Центре по изучению народонаселения экономического факультета МГУ, с 1984 по 1991 г. – зав. сектора и зав. отдела в Институте социологии АН СССР, в эти же годы (1984–1990) возглавлял филиал социологии семьи кафедры социологии труда философского факультета МГУ. В 1990-е гг. работал по совместительству главным научным сотрудником в Институте культуры и в НИИ по семейному воспитанию РАО, а также до 2016 г. – в Институте социальной педагогики РАО и во ВГИКЕ.

Вот уже 30 лет (с 1991 г.) Анатолий Иванович бесценно возглавляет кафедру социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Автор свыше 370 научных работ, в том числе свыше двух десятков монографий и 12 учебников по социологии рождаемости, социологии семьи и демографии.

А.И. Антонов – основатель отечественной школы фамилизма, отличающейся особой интерпретацией процессов трансформации семьи. Благодаря научно-исследовательскому энтузиазму профессора Антонова в социологическом сообществе закрепился ряд терминов, среди которых: «потребность в детях», «репродуктивное поведение», «самосохранительное поведение».

Особое место в научной деятельности Анатолия Ивановича отводится социологическим исследованиям по широкому спектру методик и техник, в том числе авторских. Их непрерывность позволяет проследить трансформации, происходящие в общественном сознании, за период одного демографического поколения (примерно 30 лет). В 1969–1972 гг. на основе техники семантического дифференциала им были разработаны методика социологического измерения межличностной совместимости супружеских пар, ряд тестов по исследованию репродуктивных установок и ориентаций на личные сроки жизни.

Профессор Антонов является руководителем творческого, продуктивного, очень сплоченного научно-исследовательского коллектива КССид МГУ, в арсенале которого десятки социолого-демографических исследований по изучению семейно-детного образа жизни, особенностей самосохранительного поведения семьи и личности, домашнего, семейного и дистанционного образования и др.

В 2020 г. был завершен очередной этап масштабного исследовательского проекта по изучению жизненных ориентаций и установок населения. Проект включал в себя проведение всероссийского исследования СеДОЖ-2019 (семейно-детного образа жизни) с

использованием уникальной методологии парного опроса, которая позволила проанализировать индивидуальные ответы участников опроса и сравнить их с мнением семейного «Мы». Результаты исследований представлены в цикле монографий: «Сходство и различие ценностных ориентаций мужей и жен по результатам одновременного опроса супругов» (2021), «Ценности семейно-детного образа жизни (СеДОЖ–2019): Аналитический отчет по результатам межрегионального социолого-демографического исследования» (2020), «Семейно-детный образ жизни: результаты социолого-демографического исследования» (2018) и др.

Анатолий Иванович не просто ученый, он является активным популяризатором науки, с 1970-х гг. регулярно выступает на телевизионных каналах, публикуется в отечественных и зарубежных печатных изданиях, делясь не только результатами исследований, но и экспертным мнением по актуальным вопросам развития и функционирования института семьи, семейно-демографической и социальной политики и др.

Своим непререкаемым авторитетом и руководством, совмещающим свободу творчества и достаточную меру дисциплины, Анатолий Иванович позволяет доводить самые смелые инициативы подчиненных до реализации. Его отличительная черта – искренний, неподдельный интерес и любопытство ко всему человеческому – настоящее стремление ученого познавать мир вокруг себя во всех его проявлениях в любой момент времени – дух и душа Ученого.

Пожелаем же Анатолию Ивановичу неиссякаемой энергии для новых открытий, запаса идей для реализации уникальных проектов, сил для подготовки выпускников и аспирантов, а также широкого числа последователей, столь же высоко ценящих семейно-детный образ жизни, как он сам и его искренние и преданные последователи!

С безмерным восхищением, уважением и благодарностью за счастье и возможность учиться и работать с Анатолием Ивановичем бывшие, настоящие и будущие ученики и коллеги!

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

(2021. Т. 27)

- № 2.** Тюменева Ю.А., Вергелес К.П. Исследование транзитивности самооценок мотивации; Симонова О.А. Эмоциональные императивы позднесовременного общества и их социальные последствия; Тихонова Н.Е. Последствия кризиса 2020–2021 гг. для различных профессиональных групп российского общества; Тартаковская И.Н. Доверие перед лицом пандемии: в поисках точки опоры; Неизвестный С.И. Социальные проблемы принятия решений искусственным интеллектом в цифровом обществе; Мартинович В.А. Антисектантский дискурс печатных СМИ: проблематизация роли антикультового движения; Докторов Б.З., Козлова Л.А. Биографический анализ в историко-социологическом исследовании. Итоги двадцатилетнего опыта; Головин Н.А., Виссонов Р.М. К окончанию концептуального конфликта в ранней теории социальных систем: П.А. Сорокин, Т. Парсонс и Л. фон Визе.

МИР РОССИИ: СОЦИОЛОГИЯ, ЭТНОЛОГИЯ

(2021. Т. 30)

- № 3.** Черныш М.Ф. Институциональные основы неравенства в современном обществе; Яковлев А.А. Куда идет глобальный капитализм?; Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю. Нефинансовое богатство российских домохозяйств: собственность и налоги; Салмина А.А. Высокое ли экономическое неравенство в России? Вопросы измерения, показатели и их оценки; Диденко Д.В. Пространственное неравенство и накопление человеческого капитала в Европейской России при переходе к «современному» типу экономического роста (конец XIX – начало XX в.); Гильтман М.А. Лучшие города – лучшие работники? Теоретические модели и эмпирические подтверждения; Бляхер Л.Е. и др. «Пустые пространства» и их обитатели в городах Дальнего Востока России (на примере города Хабаровска); Денисова-Шмидт Е.В. Российское высшее образование: ответы на вызовы времени в области подготовки молодых ученых и удержания персонала.

ЖУРНАЛ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ

(2021. Т. 24)

- № 2.** Галкин К. Соседская помощь и забота о пожилых людях с хроническими заболеваниями в периферийных поселениях; Глухова М. Роль цифровых технологий в преодолении депрессии: кейс студентов Санкт-Петербурга; Иванов Д. и др. Включенность в интернет-коммуникации и креативность в социальных сетях как показатели социального развития; Вербицкий С. Подходы к исследованию культурного производства в музыкальной сфере: теоретико-методологические аспекты; Лебедева Д. Человек экологический: повседневные практики заботы об окружающей среде как атрибут современного субъекта в представлениях молодых москвичей; Шаханова М., Верещагина А. Динамика религиозности городского населения Дагестана; Гончаров Н. «Сгущения» пространства в процессе собирательства, рыболовства и охоты: на примере села Жиганск, Республика Саха (Якутия); Мохов С., Миленина Д. Death studies: особенности формирования дисциплинарного поля (2010–2020).

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

(2021. Т. 20)

- № 2.** Юдин Г. Россия как плебисцитарная демократия; Карпич Ю. Политический выбор православных верующих в России: возможности и ограничения качественных и количественных исследований; Кампа Р. Тайная жизнь versus двойная жизнь: режимы подпольной деятельности итальянских террористических групп; Рыжова Н., Журавская Т. Время и пространство в современных исследованиях туризма; Карелина А. (Не)аутентичные туристические достопримечательности: как китайские туристы воспринимают российский «фейкlor»; Детярь В. Антрополог и турист: мобильность образа удэгейцев в этнографическом пространстве; Гюнтер О., Ведерников В. С Александром фон Гумбольдтом на Алтае – ментальное путешествие во времени?; Журавская Т., Рыжова Н. Экономика качеств трансграничного рынка:

шоп-туризм как перформативная практика; Адельфинский А. Ординарные, адекватные, недобегавшие: пересматривая метафору «пирамиды» для массовых видов спорта; Сальников Е., Сальникова И. Борьба с дискриминацией или реполитизация спорта? Специфика восприятия движения Black Lives Matter в онлайн-сообществах спортивных болельщиков; Середа Д. Эгалитаризм удачи: два направления критики; Фрайер Х. Социология как наука о действительности: логическое основоположение системы социологии. Введение.

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА

(2021. Т. 9)

№ 2.

Латова Н.В. Социально-экономическое положение акторов запроса на перемены; Рыжова С.В. Обобщенное доверие и чувства к России как компоненты общероссийской идентичности; Жаворонков А.В., Воронина Н.С. Отношение к иммигрантам в массовом сознании европейцев (на примере вторичного анализа данных ESS–2016 г.). Часть 1; Кученкова А.В. Вид занятости как детерминанта субъективного благополучия: проблемы сопоставимости результатов исследований; Ростовская Т.К., Золотарева О.А. Профессиональный стандарт «демограф» как фактор формирования новой модели кадрового потенциала; Пинчук А.Н. Социально-профессиональная адаптация: от концептуализации к измерению; Бурханова Ф.Б. Семейные ценности населения Башкортостана на фоне других регионов; Козырьков В.П. и др. Особенности формирования доверия учащейся молодежи к информации в медиасетях; Актамов И.Г. и др. Система жизнеобеспечения Внутренней Монголии КНР: теоретическая модель и практическая реализация; Намруева Л.В. Трансформация сельской жизни на примере фермерских хозяйств Юга России; Назарова И.Б., Зеленская М.П. Ценностные приоритеты и репродуктивные установки студенческой молодежи; Манышев И.В. Связи с общественностью в современном городе в условиях пандемии COVID-19.

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА СОЦИОЛОГИИ

(2021. Т. 12)

№ 2.

Широкалова Г.С. Историческая память о Великой Отечественной войне: причины плюрализма; Фадеев П.В. Историческая память россиян в социологических опросах: основания, реальность, проблемы; Подлесная М.А. и др. Историческая память: школьники и студенты об истории России; Арутюнова Е.М., Кузнецов И.М. Мигранты и принимающее сообщество: сходства и различия интеграционного потенциала (на примере Республики Саха (Якутия)); Комарова Т.М. и др. Субъективные и объективные оценки личной занятости населения Дальневосточного региона (на примере Еврейской автономной области); Пациорковский В.В. и др. Динамика численности населения приоритетных геостратегических территорий России в 2010–2018 гг.; Ишкинеева Ф.Ф. и др. Образ «умного города» Иннополис: концепты и повседневность; Домбровская А.Ю. и др. Социально-медийная инфраструктура гражданского участия россиян: анализ графов пересечения аудитории сообществ социально-политической направленности в Рунете; Забокрицкая Л.Д., Орешкина Т.А. Анализ статистики поисковых запросов как инструмент мониторинга экологических установок населения региона; Родионов Г.Я. Гражданская идентичность и аккультурационные ожидания москвичей и таллинцев: роль воспринимаемой угрозы.

МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМНЫ

(2021)

№ 3.

Абрамов Р.Н., Быков А.В. Мир профессий в контексте труда и занятости: пандемическое и цифровое вертиго; Козина И.М., Серёжкина Е.В. Оценка психосоциальных рисков и качество трудовой жизни российских профессионалов; Галкин К.А. «Как в тайге или глубоком космосе»: тематический анализ смыслов работы и повседневности молодых сельских врачей в период пандемии COVID-19; Антошук И.А. Продвигаясь по «трубе» STEM: систематический обзор литературы по гендерному неравенству в российской инженерной профессии; Руденко Н.И., Малюшкин Р.В. Мобильность и гендерные различия российских инженеров по материалам социальной сети «ВКонтакте»; Попова К.А. Стандартизация и профессионализм в работе операторов колл-центра; Абрамов Р.Н. и др. Преподаватели российских вузов в условиях пандемийной цифровизации: между автономией и контролем; Чернова Ж.В., Шпаковская Л.Л.

Преподавательский труд в условиях пандемии: академический неолиберализм и эмоционализация; *Ариф Э.М., Кузьмина Т.А.* Личное – это профессиональное: этичность молодых крафтовых предпринимателей в Санкт-Петербурге; *Ожиганова А.А.* Труд доулы, публичный и интимный: профессиональная забота, самоорганизация и активизм; *Кукса Т.Л.* Доульское сопровождение родов: генезис, дискурсы и практики эмоциональной и физической медицинской заботы; *Большаков Н.В. и др.* Ценностные ориентиры и опыт неолиберальных реформ в российских регионах: дилеммы социального менеджмента; *Казун А.П.* Громче скажешь – раньше выйдешь? Этические и тактические основания использования публичности как тактики судебной защиты в России; *Ушкин С.Г., Коваль Е.А.* Обоснования принятия решений будущими российскими юристами в условиях ценностно-нормативной неопределенности: *aequitas sequitur legem?*; *Певная М.В. и др.* Волонтерское участие молодежи в период пандемии: портрет героя сложного времени; *Ерицяна К.Ю. и др.* Пережить локдаун: изменения в занятости и психологическое благополучие населения в эпоху пандемии; *Андреева Ю.В., Лукьянова Е.Л.* Стратегии занятости рабочих в период пандемии COVID-19; *Попкова К.В., Балабанова Е.С.* Мотивация труда творческих работников: нормативные представления и реальность трудовой жизни; *Андреева Е.А., Карачурина Л.Б.* Стратегии миграции врачей в периферийные муниципальные образования (на примере Тверской области); *Тюлюло А.В.* Факторы (не)доверия заказчикам на биржах удаленной работы; *Шевчук А.В. и др.* Труд водителей такси в условиях алгоритмического управления; *Таракановская К.С.* Материнство и университет: стратегии баланса жизни и работы.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

(2021. Т. 22)

- № 3. *Ситкевич Д.А.* Социальный капитал в модернизирующемся обществе: пример Дагестана; *Гасюкова Е.Н., Петрова А.А.* Субъективные оценки нестабильной занятости: так ли уж плохо быть нестабильным?; *Старк Д., Паис И.* Алгоритмическое управление в экономике платформ; *Красильникова Н.О.* Гибкие паттерны перемещения на работу и обратно у современных жителей Челябинска; *Рощина Я.М., Кондратенко В.А.* Можем ли мы объяснить различия в моделях потребления алкоголя: обзор теоретических подходов.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

(2021)

- № 3. *Малинова О.Ю.* Конституционный процесс как символическая политика: дискуссии о поправках к Конституции РФ, 1993–2020; *Никовская Л.И., Якимец В.Н.* О состоятельности институтов и субъектов муниципальной публичной политики (на примере Костромской и Ярославской областей); *Черныш М.Ф., Хэ И.* Дискурсы социальной справедливости в китайском и российском культурных контекстах; *Ахременко А.С. и др.* Логика протестных кампаний: от эмпирических данных к динамическим моделям (и обратно); *Романов Д.М. и др.* Доля молодежи в общей численности взрослого населения как фактор интенсивности ненасильственных протестов: опыт количественного анализа.
- № 4. *Сафранчук И.А., Лукьянов Ф.А.* Современный мировой порядок: адаптация акторов к структурным реалиям; *Пабст А.* Цивилизация и либеральная демократия; *Чебанкова Е.А., Дуткевич П.* Идеология и цивилизационный дискурс; *Лейн Д.* Цивилизация и капиталистическая глобализация; *Лебедева М.М.* Гуманитаризация мировой политики; *Мартьянов В.С.* В поисках другого мейнстрима; *Сардарян Г.Т.* Политическая философия свободы в христианской аксиологии республиканизма; *Мчедлова М.М., Казаринова Д.Б.* Вызов пандемии COVID-19 и религия: онтология vs политика; *Малахов В.С., Летняков Д.Э.* Религиозная политика постсоветских государств: между «эффектом колеи» и «правительностью»; *Помигуев И.А., Алексеев Д.В.* Обнуление законопроектов: дисконтинирует как технология блокирования политических решений.

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

(2021. Т. 19)

- № 2. *Желнина А., Тыканова Е.* Конфликты и согласование интересов в городском развитии; *Семенов А., Минаева Э.* Города расходящихся улиц: развитие городских конфликтов в России 2010-х; *Желнина А., Тыканова Е.* «Игроки» на «аренах»: анализ взаимодействий в городских

локальных конфликтах (случай Санкт-Петербурга и Москвы); *Чернышева Л., Хохлова А.* Создавая ценность и аутентичность: городские конфликты вокруг исторических зданий; *Глухова А. и др.* Стратегии взаимодействия территориальных сообществ в ходе городских конфликтов (на материалах экспертного опроса в крупных региональных центрах РФ); *Паченков О., Воронкова Л.* «Новый городской активизм» и «публичная политика» в России (на примере Санкт-Петербурга); *Запорожец О., Багина Я.* Власть надежд: отстаивание инфраструктуры в новых городских районах; *Бедерсон В., Шевцова И.* Застройщики, партия власти и немного конкуренции в российских миллионниках: типология городских режимов в 2010-е гг.; *Ермолаева П. и др.* Экологическая политика и гражданское участие в российских мегаполисах: достижения и вызовы с позиции городских стейкхолдеров; *Кьярвезио Ф.* Городские активисты через призму борьбы с коррупцией: фрейм-анализ; *Еременко Ю., Филимонов К.* Формирование экспертного сообщества и его роль в вопросах определения городской публичной политики: на примере города Всемирного культурного наследия; *Волкова Н.* Экспертиза зонирования: от дебатов гигиенистов к инструментам городского планирования XX в.

СОЦИОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

(2021. Т. 12)

- № 2.** *Желтова Е.Л.* Воздухоплавание в России и Франции в 1783–1785 гг.: «пересборка социального»; *Скрыдлов А.Ю.* Российская школа государственного управления о предмете и методе статистической науки (конец XVIII – первая половина XIX в.); *Головин Н.А., Ломоносова М.В.* Немецкое издание «Социологии революции» Питирима Сорокина и ее оценка германским социологическим сообществом; *Бабич Н.С.* Рецепция социологической гипотезы на примере теоремы Томаса; *Родный А.Н., Фандо Р.А.* «Национальные рефлексии» ученых как стимул и мотивация для проведения историко-научных исследований; *Гаврилов-Зимин И.А.* Коллективизация науки на примере систематики живых организмов; *Добринская Д.Е.* Что такое цифровое общество?; *Скирко М.О.* Вызовы к системе современного высшего образования в контексте социальных, цифровых, технологических и экоустойчивых трендов; *Рижинашвили А.Л.* Что думают экологи об экологии?; *Богомягкова Е.С., Дупак А.А.* Цифровой селф-трекинг здоровья в дискурсе социальных наук.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(2021)

- № 2.** *Савельев А.Г., Нарышкина О.М.* Продление СНВ-3: конец или начало?; *Мамедьяров З.А.* Влияние последствий пандемии COVID-19 на мировую экономику и инновационное развитие; *Селянин Я.В.* Информационные и биотехнологии в США: катализирующий эффект COVID-19; *Рогинко С.* Климатический поворот США: цели и средства; *Петровская Н.Е.* Молодежный рынок труда в США; *Крайнов Г.Н.* «Догоняющая модернизация» России: прошлое и настоящее; *Шестопап Е.Б.* «Они» и «мы»: восприятие своей и других стран российскими гражданами; *Шилов В.В.* Социология и история: общее, особенное, перспективы; *Жаворонков А.Г.* Кант, Ролз и проблема публичного применения прагматического разума; *Крылов Г.Л.* «Силы народной мобилизации» («Кувват аль-хашд аш-шааби») как фактор изменения военно-политической обстановки в Ираке после 2014 года.
- № 3.** *Пантин В.И.* Ценностные размежевания в России и современном мире: значение для внутренней и международной политики; *Спиридонова В.И.* Внешние «вызовы» для российского пространства и формирование цивилизационного «ответа»; *Недяк И.Л.* Власть и господство в проекции коллективного воображаемого. Факторы (де)формирования политического пространства России; *Перова М.К.* Инвестиционное регулирование в соглашениях США-Мексика-Канада; *Чудинова К.О.* Трансформация глобальных цепочек создания стоимости в условиях пандемии COVID-19: решения и стратегии американских МНП; *Говорова Н.В.* Бедность и неравенство: вызовы пандемии COVID-19; *Кулькова В.Ю.* Цифровая эволюция некоммерческих организаций в условиях COVID-19; *Манукян С.А.* Проблема социальных дистанций по отношению к субэтническим группам армян в Армении; *Дмитриев В.А.* Армения в условиях начального этапа римско-персидского противостояния (227–338 гг.); *Пападопулос М.* Наблюдая за Гитлером и Сталиным: отношение Британии к союзу с СССР (январь–июнь 1941 г.).

ИНТЕРАКЦИЯ. ИНТЕРВЬЮ. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ (INTER)

(2021. Т. 13)

- № 2. *Ваневская П.Н.* Сенсорная этнография как методологический ресурс качественных исследований; *Галкин К.А.* Ограниченное пространство: город в период пандемии в представлениях пожилых людей; *Старовойтенко А.Д.* Месть nostos: о значении места в исследованиях ностальгии; *Писаренко И.А., Заиченко Л.И.* Родители как субъекты влияния на развитие цифровых навыков детей; *Александрова М.Ю.* Методы классификации текстовых данных: можно ли потенциал количественного анализа использовать в качественном исследовании?; *Стрельникова А.В.* ИНТЕР-энциклопедия: биографическая прогулка.

СОЦИОЛОГИЯ ВЛАСТИ

(2021)

- № 1. *Павлов А.В.* Проблема легитимации капитализма в XXI веке; *Мазоренко Д.А.* Своевременность позднего капитализма: почему постмодернизм остается главным языком описания нашей эпохи?; *Павлов А.В.* Что нового в новом капитализме?; *Николаи Ф.В., Ковылин И.И.* «Выиграть время», или темпоральные (за)стенки неолиберального капитализма; *Квачев В.Г.* Тайна формы самой по себе: возвращение проблемы стоимости; *Жихаревич Д.М.* Элементы прагматической теории капитализма; *Контарева А.Ю.* Платформы как рынки, архитектуры, экосистемы: обзор основных подходов к изучению интернет-компаний.

Подготовила А. ГОВОРОВА

INTERNATIONAL SOCIOLOGY

(2021. Т. 36)

- № 3. *Апьюк О.Д., Омар Б.* Что движет поведением при обмене новостями пользователей социальных медиа? Проект реляционной коммуникационной модели через призму социального капитала; *Камаль М.С.М., Улас Э.* Детский брак и его влияние на рождаемость в странах Южной Азии; *Сух Чан С.* В дыму опиума для народа. Влияние религиозных верований и действий на участие в протестах; *Родригес-Медина Л., Вессури Х.* Личные связи в интернационализации социальных наук. Взгляд с периферии; *Величкова А.* Рационализация принадлежности: устойчивости транснациональной общности; *Альбассам А.Б.* Выход на устойчивое развитие путем повышения качества институтов Саудовской Аравии; *ван Дурмален Т., Ютермарк Ю.* Фреймирование событий 9/11 в американских, французских и голландских национальных газетах (2001–2015): индуктивный подход к изучению событий.
- № 4. *Скрибано А.* Глобальный взгляд на политику чувствительностей; *Холмс М.* Эмоции в Аотеароа, Новая Зеландия: рефлексивная эмоционализация в колонизированном контексте; *Чжан Дзинтин, Чао Джа.* Между традицией и модерностью: эмоциональные перемены и проявления китайского общества; *Моше М.* Нормализация страха: геокультурные и универсальные эмоции, отраженные в ежегодном хит-параде «Радио Израиль»; *Ребугини П.* Социология тревожности: современное наследие Запада и вспышка COVID-19; *Эррера Х.М., Ривера М.* Миграции, эмоции и политика чувств в Центральной Америке; *Скрибано А.* Эмоции и политика в Латинской Америке; *Маджини Н. и др.* Солидарность с инвалидами во времена кризиса. Сравнительный анализ Италии и Великобритании.

CURRENT SOCIOLOGY

(2021. Т. 69)

- № 4. *Цинн Й.О.* К социологии пандемии; *ван дер Молен М., Браун П.* Опыт голландских профессионалов сферы заботы во время COVID-19: напряжения в повседневных практиках и политике в условиях меняющихся неуверенностей; *Манчини Ф.* Риски ограничений и социальные неравенства в Латинской Америке: данные по Аргентине; *Джоши Б., Сварнакар П.* Держись в стороне, останешься жив: изучение рисков и стигмы COVID-19 в контексте верований, акторов и иерархий в Индии; *Баятризи З. и др.* Риск, траур, политика: к транснациональной критической концепции траура по умершим от COVID-19 в Иране; *Грилли Нюрген К., Улофсон А.* Шведская исключительность, стадный иммунитет и социальное государство: медийный

анализ борьбы за природу и легитимность пандемической стратегии COVID-19 в Швеции; *Шань Р.К.Х.* Борьба с риском COVID-19 в Гонконге: проверка недоверия, соглашательства и менеджмент риска; *Нерлих Б., Яспал Р.* Социальные репрезентации «социальной дистанции» в ответ на COVID-19 в СМИ Соединенного Королевства; *Руке М.* Альтернативные медийные фреймы рисков COVID-19; *Цинн Й.О.* Заключение. К социологии пандемии и не только.

AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW

(2021. Т. 86)

- № 3. *Торч Ф., Рауф Т.* Политический контекст и детская смертность в США; *Суль Т., Карим С.* Как наследие геополитической травмы формирует сегодня популистский национализм; *Фрай М., Вожны А.* Морализация производства и продажи студенческих работ и дипломов в Уганде; *Гоналонс П., Гангль М.* Брак и маскулинность: культура мужчины-кормильца, незанятость и риски развода в 29 странах; *Уитхэм М.* Генерализованная щедрость: как норма генерализованной взаимности создает мосты коллективных форм социального обмена; *Лундберг Я. и др.* Определение искомого количества соединяет статистические данные с теорией.

AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY

(2021. Т. 127)

- № 1. *Нельсон Л.К.* Циклы конфликта, столетие преемственности: влияние устойчивой привязанной к местности политической логике на стратегию социального движения; *Чан Ян.* Почему элиты бунтуют: восстания элит во время Тайпинской гражданской войны в Китае; *Гамильтон Л., Армстронг Э.* Родители, партнеры и профессии: воспроизводство и мобильность в когорте женщин-выпускниц колледжа; *Ашвин С. и др.* Занятость пенсионеров, благосостояние и гендер: уроки России; *Монк Э.П. мл. и др.* Сохранение неравенства: раса, гендер и физическая привлекательность в США.

EUROPEAN SOCIOLOGICAL REVIEW

(2021. Т. 37)

- № 3. *Нюлин А.-К. и др.* Тренды относительных заработков женщин по парам на протяжении перехода к родительству в Швеции, 1987–2007; *Мари Г., Кутули Дж.* Усугубляют ли отпуска по уходу за ребенком «наказание за материнство»?; *Андерсон Л.Р. и др.* Двойное беспокойство: ведет ли потеря работы к распаду брака и наоборот?; *Карлссон М. и др.* Гендерное неравенство в рекрутировании ученых? Данные эксперимента в Скандинавии; *Шпёрляйн К., Шлютер Э.* Этнические оскорбления в комментариях YouTube: социальная зараза и последствия выбора во время «кризиса беженцев» Германии; *Либе У., Швиттер Н.* Объясняя этническое насилие: релевантность географических, социальных, политических факторов в преступлениях по мотивам ненависти к беженцам; *Канас А., Штайнметц Ш.* Экономические результаты иммиграции с разными миграционными мотивами: роль политики на рынке труда; *Гретц М.* Влияет ли смена политического режима на межпоколенную мобильность? Данные по воссоединению Германии; *Гержани К. и др.* Кто возьмется? Добровольность смены правил сотрудничества в гетерогенном населении; *Брен Р., Эрмиш Дж.* Модели родства, категориальные результаты, внутриклассовые корреляции; *Турек К. и др.* Файл сравнительных панелей: нормализованные панельные обследования домохозяйств семи стран.

Подготовил Н. ВИКТОРОВ

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЧУПРОВА (08.08.1938 – 18.08.2021)



Череда потерь продолжилась уходом Владимира Ильича Чупрова – основоположника академической школы социологии молодежи, ее главного двигателя и созидателя.

Как многие из его поколения, он пришел в социологию по внутреннему побуждению, дабы понять реалии, которые без аппарата этой науки понять и осмыслить было бы невозможно. После окончания экономического факультета МАИ в 1960 г., работал ассистентом на кафедре, пытался применять социологические методы в изучении удовлетворенности работников заработной платой. Поскольку в студенческие годы он проявился как лидер, возглавлявший одну из самых крупных комсомольских организаций, то в 1964 г. был приглашен в ЦК ВЛКСМ, где его исследовательские и организаторские способности сыграли знаковую роль для отечественной науки и определили его профессиональную траекторию. Вместе с В.Г. Васильевым, В.Н. Шубкиным, А.С. Кулагиним, В.Г. Мордковичем он подписал обращение в ЦК партии с предложением о возрождении на официальном уровне социологии в нашей стране. В разное время с группой социологи ЦК ВЛКСМ сотрудничали самые маститые социологи, такие как В.А. Ядов, И.С. Кон и др.

Работая в группе, он формировал сеть региональных исследовательских центров. Вместе с коллегами провел первое общенациональное социологическое исследование молодежи, а на его базе – всесоюзную научную конференцию, ознаменовавшую возрождение отечественной социологии.

Полученные группой результаты исследований уже тогда взрывали официальные представления о молодежи. Потребность в их дальнейшем научном обосновании привела Владимира Ильича в аспирантуру Института философии, а затем и в ИКСИ АН СССР – нынешний Институт социологии РАН. За исключением нескольких лет работы в должности советника вице-министра труда по социальным вопросам Республики Куба и заведующего отделом информации и координации социологических исследований ИС РАН, Владимир Ильич Чупров всегда занимался социологией молодежи, возглавляя отраслевые научные подразделения. Под его руководством формировались теоретические основы современной социологии молодежи. Обосновывалась методология целостного подхода к исследованию молодежи и комплексная теория социальной регуляции и саморегуляции. При его участии разрабатывались механизмы государственной молодежной политики.

Сделанное Владимиром Ильичом – существенный вклад не только в отраслевую науку, но и в теоретическую социологию в целом. Незаурядный ум, тончайшее научное чутье и опыт позволяли ему осмыслить и операционализировать сложные процессы изменяющейся реальности. Его умение сочетать теоретический и эмпирический подходы не раз отмечались коллегами. За глубину понимания современных проблем молодежи и общества его ценили не только ученые, но и практики. Многие разработки Чупрова в области социологии молодежи стали своеобразным народным достоянием, например, сформулированная им классификация подходов к исследованию молодежи.

Нетерпимый к любой конъюнктуре, он четко следовал принципам фундаментальной науки, глубоко переживая все, что мешает ее развитию. Осознавая задачи, стоящие перед академической наукой, следовал ее традициям и вместе с тем экспериментировал с аналитическими инструментами, руководствуясь тем, что когда-нибудь добытое им знание пригодится обществу. Для учеников служил маяком и камертоном, помогавшим маневрировать в системе не свойственных фундаментальной науке требований решать прикладные задачи, прежде всего работать над обоснованием глубинных механизмов функционирования и развития общества.

Неординарно мыслящий, обладающий исключительной способностью создавать атмосферу творчества и мотивации, он притягивал самых пытливых исследователей. Его уважали и любили все, кто попадал в орбиту его профессионализма, обаяния и бесконечной щедрости. Он умел вдохновлять, открывая человеку его собственный потенциал. Помогая молодым в продвижении, ставил перед ними главную цель – стать специалистом. Неутомимый труженик, исключительно честный и преданный своему делу, он остается в сердцах людей, а его идеи будут развиваться теми, кто готов брать и идти дальше.

ПАМЯТИ АРКАДИЯ ОЛЕГОВИЧА ЛАПШИНА (01.04.1949–16.08.2021)



16 августа 2021 г. после тяжелой болезни ушел из жизни главный редактор журнала «Власть», член Президиума Академии политической науки, кандидат исторических наук Аркадий Олегович Лапшин.

Аркадий Олегович родился 1 апреля 1949 г. в г. Вольске Саратовской области. В возрасте 16 лет переехал в Москву, окончил среднюю школу и продолжил обучение в Московском областном педагогическом институте им. Н.К. Крупской. Служил в армии. В 1990 г. А.О. Лапшину присуждена ученая степень кандидата политических наук. Профессиональный путь начал редактором отдела политики еженедельника «Россия», с 1993 г. возглавил журнал «Власть» и был его бессменным главным редактором до последних дней жизни. Являлся членом Научного совета Российской ассоциации политической науки (РАПН) и членом Президиума Академии политической науки (АПН).

Уход Аркадия Олеговича стал невосполнимой потерей для всех, кто его знал. Он был прекрасным организатором и руководителем, умел находить контакт с людьми, опекал студентов, приходивших на практику в редакцию журнала. Всем предоставлял возможность творческой и научной самореализации, результаты которой публиковались на страницах журнала.

А.О. Лапшин обладал уникальной работоспособностью и энциклопедическими знаниями, что позволяло сохранить журнал в непростые времена. На страницах почти каждого номера открывалась широкая дискуссионная площадка для обмена мнениями и результатами научного поиска, проходивших конференций и круглых столов.

Аркадий Олегович был полон планов и новых идей. Каждое общение с ним было для нас незабываемым, уникальным уроком преданности Отечеству, гражданской позиции, научного предвидения. Он трезво оценивал политическую обстановку в стране и мире, особо выделял ученых, предлагавших пути разрешения имеющихся проблем. Старался понять каждого, с кем сталкивала его профессиональная и частная жизнь, сделать союзником в работе своего издания. Развитие журнала «Власть» было целью всей его жизни.

Скорбим вместе с его родными, близкими, друзьями и коллегами. Вечная ему память!

Редакция, редколлегия журнала «Власть»

1991: A Look at Events 30 Years Later

© 2021 r.

B.N. MIRONOV

THE FORMATION OF NATIONAL ELITES AS A FACTOR IN THE DISINTEGRATION OF THE USSR

Boris N. MIRONOV, Dr. Sci. (Hist.), Prof., Saint Petersburg State University, St. Petersburg, Russia
(mironov1942@yandex.ru).

Acknowledgements. *This research was supported by a RFBR grant, project No. 20-09-00353 "The Disintegration of the Soviet Union in the Human Dimension: An Interdisciplinary Study".*

Abstract. *The disintegration of the USSR was a natural consequence of the Soviet national policy aimed at accelerating the modernization of the Union republics and equalizing their levels of development. By launching the process of the de-Russification ('korenizatsiya') of managerial personnel, Moscow has contributed to the formation of modern national elites on the ground. The implementation of the national-state construction project led to the nationalization of ethnic and interethnic relations and the sovereignization of the Union republics, a key factor in the collapse of the USSR.*

Keywords: *disintegration of the Soviet Union, national policy • "korenization" policy • ethnic structure of the state apparatus • ethnic discrimination • de-Russification of the government bodies*

DOI: 10.31857/S013216250016782-3

This article is a translation of: Миронов Б.Н. Становление национальных элит как фактор дезинтеграции СССР // *Sotsiologicheskie Issledovaniia*. 2021. No 8: 34–48. DOI: 10.31857/S013216250014306-9

Researchers have studied the circumstances and causes of the collapse of the USSR with unflagging interest for thirty years. According to estimates, more than 3,000 articles, 300 books and 20 dissertations had been completed in the Russian Federation alone by the beginning of September 2020. One can divide the explanations for this disintegration into two groups: the first considers the disintegration to be the natural consequence of processes developing over time, the second views it as the result of a combination of random circumstances, management errors and external factors. The first group often refers to the disintegration as a breakup, implying the regularity of the process and the result; the second designates it a collapse, suggesting the randomness of the phenomenon and its results [Mironov, 2021].

The disintegration of the USSR is assessed in the historiography as a geopolitical catastrophe on a global scale. To understand its causes, it is necessary to analyze many factors in an interdisciplinary framework, relying primarily on statistical sources. Such research can be performed by a research team. An individual researcher can address limited tasks. This article attempts to consider the disintegration of the Soviet Union from the perspective of discrimination against ethnic groups, especially the titular ethnic groups of the union republics, which in the constitutions of 1924 and 1936 possessed limited, or potential, state sovereignty, and in the constitutions of 1977 and 1990, full sovereignty. The titular ethnos is the nation whose name a republic bears; there were fifteen such nations from 1956. Such a perspective has been selected on the one hand because of the importance of

the problem, for political inequality took a prominent place both in the programs of national parties and movements during “perestroika” and in explanations of the disintegration in ethnopolitical studies. On the other hand, there are mass statistical sources that make it possible to measure the extent and dynamics of ethnopolitical inequality in the Soviet period by the degree of the presence of representatives of different nations in state administration, parliament, the police and the courts, as well as in the army from 1897 to 1989.

Russian ethnosociologists have long studied the problem of ethnic conflict arising from the inequality of the ethnosocial and ethnopolitical statuses of the peoples in Russia [Harutyunyan, Drobizheva, 2016: 29–38]. The research of a team of sociologists within the framework of three large international projects led by L.M. Drobizheva became a landmark on this path [Asimetric Federation..., 1998; Democratization..., 1996; Conflict ethnicity..., 1995; Social and cultural distances..., 2002; Social inequality..., 2002; Sovereignty..., 1995; Values and symbols..., 1994; etc.]¹. These ethnosociologists reached conclusions explaining interethnic conflicts in Soviet and post-Soviet Russia. In particular, they consider the political sphere as the main space in which Russians and non-Russians perceive their inequality. Discrimination in access to power is the most important cause of interethnic conflict. Ethnic groups consider the possibility of and actual participation in administration as the criterion for assessing their position in society and as an indicator of discrimination. The strengthening of democracy in the formation of government bodies solves some problems but raises other issues. Modernization gives contradictory results. Education, personal freedom, a prestigious profession, prosperity, free time, and access to all benefits generate new needs for ethnic groups, especially for those lagging in economic and cultural terms, new demands that previously were absent. The real capabilities of a society and a state to meet these needs, however, do not keep pace with their growth; the existing principles of distribution of benefits do not seem fair to everyone. Relative deprivation arises, provoking personal discontent. When a state machine weakens and a government is perceived as illegitimate, discontent is transformed into conflict and open insubordination, as happened in Russia in the late 1980s and early 1990s.

The main subject of this paper is the political inequality of the peoples in the Soviet Union as the cause of its collapse. The object of this research is the apparatus of administrative and security agencies personnel in the union republics and the USSR as a whole. There are two specific tasks: 1) to measure the level of discrimination in the formation of the power structures; 2) to determine the participation of titular ethnic groups in the governance of the USSR and the union republics.

The role of various ethnic peoples in public administration is determined not only by the number of their representatives in power; also important is what command positions they occupy, how effectively they use them, and what personal status, prestige and influence they have. Nevertheless, participation in governance is of paramount importance, as evidenced by the (usually informal) mechanism of parity and proportional quotas based on ethnicity in the system of state authorities, which was applied in the multiethnic union and autonomous republics of the USSR and is currently found in autonomous regions of the Russian Federation. This technology is used because the democratic principle of staffing government entities in conditions of free competition does not always ensure the proportional representation of ethnic groups, which seems unfair to the latter, although ethnic quotas guarantee neither the professionalism of officials, nor their responsibility, conscientiousness or morality, and often gives rise to nepotism. The mechanism of quotas was especially important in the Central Asian, Caucasian and North Caucasian union and autonomous republics, in which remnants of clan relations and community orders and traditions have persisted, and kinship and local relations have played an important role in society [Informal ethnic quotas..., 2017: 1–53; Fedorchenko, 2010: 692–705].

The ethnic structure of the Soviet and Communist Party apparatus has long attracted the attention of researchers. The party’s historians dealt with this subject in the Soviet period; and historians,

¹ The text of footnote 1 from the original version: Almost all the team’s monographs contain theoretical introductions written by L.M. Drobizheva [see, for example, *Sotsial’noe neravenstvo (Social inequality)*, 2002:3–13].

sociologists and political scientists have done so in post-Soviet historiography, not specifically but in the context of the cultural, social and demographic profile of Soviet and party functionaries. This research has revealed much information. The data is chronologically and geographically fragmentary, however, which does not allow one to obtain a general picture of the ethnic composition of government bodies over the years of Soviet rule. The present research addresses this challenge for the first time in the historiography, as far as I know, on the basis of all-union population census data, which, although utilized by my predecessors, was also employed in a fragmentary fashion (see, for example, *Dynamics...*, 2002; *Social inequality...*, 2002). While the data on ethnic employment according to the 1926 census had been published, it was not summarized for the USSR and the RSFSR [All-Union Census..., 1928–1930], and the data from subsequent censuses has been stored in the archives [All-Union census..., 1959; All-Union Census..., 1979; All-Union Census..., 1989]. The census of 1897 [General Code..., 1905] has records of officials of imperial and municipal bodies without division by rank, class and character of occupation. The Soviet censuses in the sphere of state administration counted only the leadership of the executive and legislative authorities, the Communist Party and public organizations, but with respect to the courts and police the censuses contain data about all their professional employees. A comparison of the data of the CSO statistics and the censuses found that senior employees constituted 31% of all administrative personnel in 1926, 21% in 1959 and 1970, and 26% in 1979, that is, one manager supervised three or four ordinary officials. The Soviet census data on the number of persons employed in administration are not comparable with the data of 1897; but they are comparable with each other, since the criteria for classifying persons as managers were identical – the leaders of the party, executive and legislative authorities were included in the state administration. One cannot identify rank-and-file officials as a separate category in the census materials. Rank-and-file officials/Ordinary officials were not singled out into a distinct professional group, imperceptibly dissolving in the general mass of employees, and it is impossible to identify them in the census materials.

To determine the degree of equality in the staffing of state bodies I use ethnopolitical representativeness (hereinafter IEPR), the ratio of the percentage of representatives of an ethnic group to the total number of administrative officials and to the entire employed population [Mironov 2017: 197–210; *Russians...*, 1992]. In the literature this indicator is also known as the index of ethnic discrimination, the index of participation, and in English-language studies the index of representativeness (ethnic representation proportionality index). This indicator allows one to assess the degree of political inequality and to rank the ethnic groups accordingly. If this index is greater than or less than 1, then the ethnic group is excessively or insufficiently represented in the power structures. If this is equal to 1, the rights of this ethnic group are adequately considered when forming governing bodies. Another operational indicator measures the participation of various ethnic groups in governance – the percentage of those who were promoted to higher-level positions (*vydvizhentsy*) in the Soviet state and the Communist Party, police and judicial structures.

Let us evaluate the dynamics of ethnopolitical representativeness in the country as a whole. The scope of the article makes possible the provision of mainly relative data and summary information about Russians and non-Russians (Table 1). In 1897, non-Russian peoples participated in the staffing of the power structures at a ratio 1.6 times lower than the democratic norm ($1.00: 0.61 = 1.6$) and 2.3 times lower than that of Russians ($1.43: 0.61 = 2.3$). There is no doubt that this constitutes ethnopolitical inequality. At the same time, let us note that non-Russian citizens had representatives in government bodies. The IEPR of non-Russians increased in all government structures from 0.61 to 0.79 by 1926, and their representation became only 1.3 times lower than the democratic norm. Subsequently, this upward trend gained strength; by 1989 the inequality was minimized: the IEPR of non-Russians was 0.93 and of Russians 1.06. Russians had lost their former privileges. In different spheres of government ethnic inequality had been eliminated at different rates. Equality had become a fact in the state apparatus as early as in 1959. In the apparatus of the public and party organizations, the IEPR of Russians slightly exceeded the democratic norm (1.05) even in 1989. The police and courts both before and after 1917 employed non-Russians as personnel to a lesser extent than Russians, but even here the inequality decreased. In judicial institutions non-Russians had an IEPR of 0.78 in

Tab. 1

Representation of non-Russians and Russians in the governing bodies of the Russian Empire* and the USSR in 1897, 1926, 1959, 1979 and 1989

Ethnic Group	1897	1926	1959	1979	1989
<i>Officials</i>					
Non-Russians	–	0,81 ^a	1,00	0,99	1,00
Russians	–	1,15 ^a	1,00	1,01	1,00
15 titular nations	–	1,02 ^a	0,99	1,00	1,00
<i>Structures of the Communist Party</i>					
Non-Russians	0,62 ^b	0,81	0,79	0,91	0,94
Russians	1,42 ^b	1,15	1,18	1,07	1,05
15 titular nations	1,10 ^b	1,02	1,03	1,02	1,01
<i>Courts</i>					
Non-Russians	–	0,78	0,94	0,89	0,91
Russians	–	1,17	1,05	1,09	1,08
15 titular nations	–	1,01	0,93	0,99	1,01
<i>Police</i>					
Non-Russians	–	0,74	0,74	0,84	0,90
Russians	–	1,21	1,22	1,13	1,09
15 titular nations	–	1,06	1,05	1,01	1,01
<i>Administration, police and courts</i>					
Non-Russians	0,61	0,79	0,84	0,91	0,93
Russians	1,43	1,17	1,14	1,07	1,06
15 titular nations	1,09	1,03	1,02	1,01	1,01
<i>Army</i>					
Non-Russians	0,77	0,67 ^c	0,89 ^d	–	–
Russians	1,25	2,79 ^c	1,09 ^d	–	–
15 titular nations	1,04	0,80 ^c	1,04 ^d	–	–

Notes. * Here and throughout, Finland is not taken into account in the information on the Russian Empire. ^aThe apparatus of state, Communist Party and public organizations is combined for 1926. ^bClergy. ^cThis is sample data. ^dThe column for the army in 1959 contains data for 1942–1943.

Sources for this and all subsequent tables in the article: [General Summary..., 1905: 226–255; All-Union Population Census of 1926; All-Union Population Census of 1959; All-Union Population Census of 1979; All-Union Population Census of 1989; Labor in the USSR, 1988: 16–25, 118, 125–127].

1926 and 0.91 in 1989, and the index for Russians was 1.17 and 1.08, respectively. The IEPR of non-Russians in the police was 0.74 in 1926 and 0.90 in 1989, while the IEPR of Russians was respectively 1.21 and 1.09. The IEPR of non-Russians in the armed forces was 0.77 in 1897 and 0.67 in 1926, and that of Russians was 1.25 and 2.79, respectively. Information about the ethnic composition of the army became classified after 1926. It can be assumed from fragmentary data that subsequently the share of Russians in the army remained higher than their share in the population of the USSR.

The degree of representativeness of non-Russians and Russians was different at different levels of power. Russians were prevalent in the state administration in 1926, but to a greater extent at its highest level: The IEPR of Russians at the lowest levels was 1.14, at the middle level 1.15, and at the highest levels 1.27, and of non-Russians 0.83, 0.81 and 0.66, respectively. Ethnic inequality among state officials had significantly decreased by 1959; at the middle and lower levels of governance it had disappeared (Table 2).

Within the Communist Party structures, according to data for 1959 (there is no comparable information for other dates), the situation was different. Russians had an advantage at all levels: the

Table 2

The representativeness of non-Russians and Russians in different spheres of state management in the USSR in 1926, 1959, 1989

Level of administration	Russians			Non-Russians		
	1926	1959	1989	1926	1959	1989
State apparatus	1,15*	1,00	1,00	0,81	1,00	1,00
Heads of all-union, republican, regional and district bodies	1,27	1,14	–	0,66	0,84	–
Heads of district and city bodies	1,15	1,06	–	0,81	1,04	–
Heads of local Communist organizations	1,14	1,00	–	0,83	1,00	–
Apparatus of the Communist party	1,15*	1,18	1,05	–	0,79	0,94
Heads of all-union, republican, regional and district bodies	1,27	1,17	–	–	0,80	–
Heads of district and city bodies	1,15	1,11	–	–	0,88	–
Heads of local Communist organizations	1,14	1,27	–	–	0,69	–
State and Communist party apparatus, courts and police	1,17	1,07	1,06	0,79	0,84	0,93

Note. *For 1926 r. the apparatus of state, party and public organizations is merged for the accounting of personnel.

IEPR of Russians on the lower rungs was 1.27, on the upper rungs 1.17, and of non-Russians 0.69 and 0.80, respectively. By the end of the Soviet period ethnic inequality within the governing structures had significantly decreased and had disappeared among state officials. In the party apparatus, at the highest level of executive power and in the security agencies, however, the representation of Russians was slightly higher than their share in the population.

Let us now consider the data on the participation of individual ethnic groups in governance. The percentage of non-Russians among officials gradually increased: it was 32.2% in 1897, 35.2% in 1926, and 43.8% in 1989. In 1987 Russians were numerically represented in the power structures as a whole at a percentage slightly higher than their share in the country's population (Table 3). From 1959 to 1979, the number of officials in the state apparatus increased by 1.1 times; the number of persons in the Communist Party apparatus had risen by 2.5 times, and the percentage of all those employed who worked in the party apparatus increased from 37% to 56%, respectively. The

Tab. 3

The ethnic composition of the administrative bodies and the employed population in the Russian Empire and the USSR in 1897, 1926, 1959, 1979 and 1989 (%)

Segment of state management	Non-Russians	Russians	15 titular nations
1897			
Population	52,7	47,3	78,1
Administration, courts, police	32,2	67,8	85,3
1926			
Population	44,5	55,5	80,5
Administration, courts, police	35,2	64,8	82,9
1959			
Population	46,4	53,6	88,4
Administration, courts, police	38,8	61,2	90,1
1979			
Population	44,9	55,1	89,5
Administration, courts, police	40,9	59,1	90,3
1989			
Population	46,9	53,1	90,1
Administration, courts, police	43,8	56,2	91,0

Tab. 4

The ethnic composition of the administrative bodies and the employed population in the Russian Empire and the USSR in 1897, 1926, 1959, 1979 and 1989 (%)

Ethnic group	1897	1926	1959	1979	1989
<i>Police</i>					
15 titular nations	–	81,4	92,4	90,5	91,5
Non-Russians	–	33,0	34,6	37,9	42,0
Russians	–	67,0	65,4	62,1	58,0
<i>Courts</i>					
15 titular nations	–	81,4	82,0	89,1	90,6
Non-Russians	–	34,9	43,6	40,1	42,8
Russians	–	65,1	56,4	59,9	57,2
<i>State management, law enforcement agencies and courts</i>					
15 titular nations	85,3	82,9	90,1	90,3	91,0
Non-Russians	32,2	35,2	38,8	40,9	43,8
Russians	67,8	64,8	61,2	59,1	56,2
<i>Army</i>					
15 titular nations	80,7	68,0*	92,3**	–	–
Non-Russians	40,7	27,0*	36,9**	–	–
Russians	59,3	73,0*	63,1**	–	–

Note. *Calculations for 1926 are based on sample data. **For 1959 r. data of the Red army in 1943 is used.

Sources: [Artemyev, 1975: 58] (data on the composition of two hundred rifle divisions numbering over a million soldiers in 1943), as well as the sources indicated in the note to Table 1.

Communist Party leadership began to prevail over Soviet officials not only in their degree of power but also in quantity. This trend also continued during the years of perestroika: the Communist Party apparatus decreased by 17.5% and the Soviet apparatus by 86.3%; the imbalance in favor of the former increased [National Economy..., 1990: 50].

Let us now gauge the participation of different ethnic groups in various power structures.

Non-Russians participated in state administration in 1897, although their share was two times less than that of Russians, 32.2% versus 67.8%. The percentage of non-Russians within all government bodies increased to 35.2% by 1926, to 38.8% in 1959, and to 43.8% in 1989. The participation of non-Russians also grew in the security forces, but until the end of the Soviet regime they were underrepresented in their work.

The Center always relied on local elites in the nationalities policy of the Russian Empire [Mironov, 2017: 378], but the Center never set the goal of nationalizing interethnic relations, granting state sovereignty to the peoples of the "national borderlands"; St. Petersburg was well aware of the danger of such a policy for the unity of the country. Soviet Moscow began to consistently follow the democratic principle of personnel recruitment from indigenous ethnic groups for administrative organs. Consequently, the share of non-Russians in the administration as a whole throughout the USSR grew but remained below 50% as a rule, because up to 1991 the percentage of Russians in the population of the Soviet Union was more than half (Russians constituted 50.8% of the total population and 53.1% of the employed population in 1989). This gave the Russians slight numerical superiority in the administrative **hierarchy**. It should be emphasized that ethno-political status increased among all non-Russian ethnic groups, not only among the titular ethnicities. The share of non-Russians in government bodies was 32.2% in 1897, 52.7% in the employed population, and the IEPF stood at 0.68; in 1926 these figures were 36.5%, 47.9% and 0.76, respectively; in 1959 these indicators were 38.7%, 46.4% and 0.83, respectively; in 1979–41.2%, 47.6% and 0.87, respectively, and in 1989 they reached 48.7%, 49.2% and 0.99, respectively. By 1989 non-Russians were represented in government

Tab. 5

The ethnic composition of the administrative bodies and the employed population in the Russian Empire and the USSR in 1897, 1926, 1959, 1979 and 1989 (%)

Nation	1897	1959	1979	1989	1897	1959	1979	1989
	State management				Population			
Azerbaijanis	–	1,0	1,7	2,1	–	1,1	1,6	2,0
Armenians	0,8	1,0	1,7	1,5	1,6	1,1	1,5	1,4
Bashkirs	0,1	0,3	0,5	–	0,5	0,4	0,5	–
Belarusians	2,3	3,4	3,2	3,7	3,6	4,2	3,8	3,8
Georgians	0,9	1,2	1,1	2,0	1,4	1,2	1,3	1,4
Jews	0,8	1,6	0,8	–	0,7	1,0	0,6	–
Kazakhs	1,3	1,6	2,6	3,1	2,5	1,2	1,8	2,4
Kyrgyz	–	0,3	0,5	0,6	0,7	0,4	0,5	0,7
Latvians	1,1	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,5	0,5
Lithuanians	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,0	1,1
Moldovans	0,3	0,3	0,6	0,8	1,1	1,2	1,1	1,2
Germans	1,7	–	–	–	0,7	0,8	0,7	–
Russians	67,8	61,2	59,1	56,2	47,3	53,6	55,1	53,1
Tajiks	0,0	0,4	0,7	0,7	1,1	0,5	0,8	1,0
Tatars	1,4	2,2	2,3	–	2,4	2,4	2,5	–
Turkmens	0,0	0,3	0,4	0,6	0,8	0,3	0,5	0,7
Uzbeks	0,0	1,6	2,5	2,7	4,8	2,3	3,4	4,4
Ukrainians	9,3	15,4	14,1	15,0	16,2	19,1	16,4	16,0
Estonians	0,8	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4
Yakuts	–	0,2	0,3	–	0,1	0,1	0,1	–
Non-Russians	32,2	38,8	40,9	43,8	52,7	46,4	44,9	49,9

bodies at a ratio close to the democratic norm and occupied about half of the leadership positions (Table 1).

All non-Russians experienced an increase in their political status in Russia (Table 5). Most of them participated in ruling the “prison of the peoples”, as historians of the former union republics and some autonomous republics now call the Russian Empire [Mironov, 2017: 121–139]. Ninety-seven nations out of the 118 included in the 1897 census had at least one representative in the governing bodies. Among them were Aleuts, Giliaks, Kamchadals, Tunguses, Gypsies, Eskimos, Yakuts and others. Seventy-nine nations had more than 10 representatives, 55 nations had more than 100 representatives, and 22 nations had more than 1000. Also participating in the governing bodies were 2587 Jews, including 7% outside the pale of settlement [General Code..., 1905: 335]. Among officials, the percentage of non-Russians (mainly in local government structures) was significant-32.2%. In the “national borderlands” (within the borders of the Soviet Union, excluding the Russian Federation), non-Russians prevailed numerically in administration – they constituted 56.5% of all officials. This clearly proves that in the “national borderlands” the central government relied on local elites. In the Soviet era, their presence in government bodies increased even more, and by 1979 their representativeness approached the democratic norm. Moreover, those promoted from non-Russian ethnic groups (*vydvizhentsy*) were employed at all levels of power (information about this is available only in the censuses of 1926 and 1959) (Table 6).

For example, in 1959 the share of Jews in the state and party apparatus was 1.72% (including in the highest echelon-5.31%). Jews’ share among the population was 1.04% in that year. They were represented in the state and the Communist Party apparatus at a ratio 1.65 times higher, and at the highest echelon 5 times higher, than the democratic norm (their IEPK was 1.65 and 5.09, respectively). The participation of non-Russians in the power structures in the Union as a whole increased

Tab. 6

**The national composition of the state and party apparatus of the USSR
in 1926 and 1959 at different levels**

Nation	Representativeness index				Percentage in the apparatus (%)			
	I*	II*	III*	vs ero	I*	II*	III*	vs ero
1926								
Russians	1,25	1,11	1,12	1,13	69,30	61,70	62,20	62,60
Non-Russians	0,69	0,86	0,85	0,84	30,70	38,30	37,80	37,40
	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1959								
Azerbaijanis	0,74	1,05	1,24	1,07	0,81	1,16	1,36	1,17
Armenians	1,36	0,97	0,96	1,04	1,43	1,02	1,01	1,10
Bashkirs	0,40	0,92	1,53	1,07	0,15	0,33	0,56	0,39
Belarusians	0,72	0,81	0,77	0,77	3,01	3,39	3,25	3,25
Georgians	1,01	0,97	1,04	1,01	1,23	1,18	1,25	1,22
Jews	5,09	1,19	0,45	1,65	5,31	1,24	0,47	1,72
Kazakhs	1,16	1,61	2,23	1,78	1,36	1,87	2,61	2,08
Kyrgyz	1,04	1,25	1,39	1,27	0,39	0,47	0,53	0,48
Latvians	0,99	1,07	1,27	1,13	0,69	0,75	0,89	0,79
Lithuanians	0,68	1,24	1,35	1,18	0,76	1,39	1,51	1,32
Moldovans	0,12	0,18	0,61	0,35	0,14	0,21	0,71	0,41
Russians	1,15	1,09	1,01	1,07	61,72	58,33	53,92	57,17
Tajiks	0,88	1,14	0,76	0,93	0,43	0,56	0,37	0,45
Tatars	0,59	0,94	1,01	0,90	1,30	2,07	2,23	1,98
Turkmenis	1,37	1,58	1,11	1,35	0,47	0,54	0,38	0,46
Uzbeks	0,57	0,82	0,66	0,71	1,32	1,89	1,53	1,63
Ukrainians	0,65	0,84	1,01	0,88	12,44	16,08	19,37	16,73
Estonians	1,65	1,71	1,09	1,44	0,76	0,79	0,51	0,67
Yakuts	1,62	4,12	4,04	3,60	0,15	0,39	0,38	0,34
Others	0,78	0,80	0,91	0,84	6,12	6,35	7,17	6,64
Non-Russians	0,83	0,90	0,99	0,92	38,28	41,67	46,08	42,83
Total	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Note. *I – All-union, republic-level, and regional (*oblast'*) organs; II – district (*raion*) and city organs; III – heads of local organizations.

and accelerated in the years 1897–1989, while in contrast such participation by Russians decreased. In the years 1897–1926, a period of 29 years, the share of Russians fell by 3 percentage points; in the period 1926–1959, a span of 33 years, by 3.6 points; and in the years 1959–1989, a period of 30 years, by 8.1 points. It is a mistake to think that during the period 1897–1926 the entire increase in the share of non-Russians in government bodies occurred in the first post-revolutionary decade. The involvement of local elites in the ruling structures was always a principle of the nationalities policy of the Russian imperial government.

The so-called policy of indigenization (*korenizatsiia*) (the creation of autonomous regions, the promotion of representatives of local elites to the leadership, the use of national languages in record-keeping and education, and the development of mass media in the indigenous languages) [Martin, 2011], which began in the 1920s, not only continued the policy of St. Petersburg, but raised it to a new level, the level of sovereignization, setting the goal of creating essentially sovereign states from the union republics. The policy of indigenization in some respects ended in the 1930s, but the sovereignization of the republics largely continued until the last days of the Soviet regime. During

the years 1897–1989 the increase in the role of non-Russians in the ruling structures was due to an increase in their ethno-political status (their IEPR rose from 0.61 to 0.93), for the share of non-Russians in the country's population decreased by 6.5 percentage points over this period. The decline in the percentage of Russians in government accelerated in the years 1979–1989 under the influence of the higher birth rate among non-Russians: the share of Russians in the population fell by 1.6 percentage points, and that of non-Russians increased by 1.6 points. By 1999, only 10 years after the collapse, had the USSR endured and the pace of the dynamics of Russians and non-Russians continued as in the Soviet period, non-Russians would have become the majority, and de-Russification would thereafter have gained strength.

After the disintegration of the Soviet Union this is exactly what took place in the post-Soviet republics. In 1989, there were 286 million people living in the USSR, of whom 145 million or 51% were Russians. In 2018, there were approximately 295 million people in the post-Soviet space, of whom 125 million, or 42%, were Russians². Just twenty-nine years after the breakup, the total population of the fifteen former union republics increased by about 9 million, the number of Russians decreased by 20 million, and their share fell by 9%. Russians have become a minority. If the USSR had lasted, the depopulation of Russians would have led to a decline in their participation in government bodies. There would also inevitably have been other changes in the national composition of officials, as the population dynamics in individual republics were different. From 1989 to 2019 the population increased by 26.5 million in the six Muslim republics – Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan and Azerbaijan, and decreased by 16.5 million in the republics of the RSFSR, Estonia, Ukraine, Moldova, Lithuania, Latvia, Belarus, Georgia and Armenia³ [How the number changed..., 2020].

Another important fact: non-Russian peoples who gained statehood after 1917 expanded their participation in government to a greater extent than non-Russians who did not have statehood. Over the period 1897–1989 in the “national borderlands” the percentage of representatives from fourteen titular nations (excluding Russians) among administrative personnel increased by 39.6 points (from 35.0% to 74.6%) in the years 1897–1989, while the percentage for non-Russian ethnic groups as a whole rose by 20.0 points (from 59.5% to 79.5%). In all the union republics, including the Russian Federation, the displacement of Russians from the governing structures occurred, albeit with varying intensity (Table 7).

Russia experienced the least de-Russification. Over the years 1897–1979 the percentage of the titular nationality (Russians) among officials in Russia decreased from 89.3% to 82.4% (by 1989 to 81.6%), and in the population of the RSFSR the Russian percentage increased from 80.5% to 82.4%. By contrast, the share of non-Russians in the administration rose from 10.7% to 17.6% (by 1989 to 18.4%), mainly due to an increase in their representativeness – their IEPR increased from 0.55 to 1.00. By no later than 1959, they were represented in the power structures in proportion to their number.

The displacement of Russians from the governing entities in the “national borderlands” proceeded more intensively. Already in 1897 the percentage of Russians among officials on the territory of the fourteen union republics under Soviet rule equaled only 40.5%; after 1927 this indicator systematically declined to 20.5% by 1989. Conversely, the role of local cadres in government bodies increased, as their share among officials rose from 59.5% to 79.5%. From 1897 to 1989 the index of representativeness of Russians plummeted by 2.8 times (from 2.89 to 1.02), while that of non-Russians increased by 1.4 times from 0.69 to 0.99. As a result, by 1989 Russians and non-Russians were represented in the power structures at a ratio close to the democratic norm in fourteen union republics (the USSR excluding the RSFSR) as a whole: The IEPR of Russians was equal to 1.02, of non-Russians 0.99. In five of the fourteen union republics (Azerbaijan, Armenia, Georgia, Kazakhstan, and

² The number of Russians. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Численность_русских (accessed 06.11.2020).

³ The number of Russians. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Численность_русских (accessed 06.11.2020).³ How has the population of the former Soviet republics changed over the past 30 years? URL: https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/kak-izmenilas-chislennost-naseleniia-byvshih-sovetskikh-respublik-za-poslednie-30-let-5dab00208600e100b133a238?utm_source=serp (accessed 06.11.2020).

Estonia), however, Russians were underrepresented; but the titular ethnic groups prevailed in the power structures in both absolute and percentage terms thanks to their large numbers and controlled the administration in twelve of the fourteen union republics. Only in Kazakhstan and Latvia did they not have a majority, in Kazakhstan due to their small numbers (in 1989 the population share of Kazakhs was 28.6%), and in Latvia due to the underrepresentation of Latvians in the administration (Table 7). Russians were still in the minority in all government bodies in the Kazakh SSR and the Latvian SSR, however.

By 1989 representatives of the titular ethnic group had also taken dominant positions among senior leaders in the production sectors of the country's economy (Table 8). This happened gradually as the number of national personnel grew. In 1926, in addition to Russians, only two ethnic groups, the Armenians and Georgians, were prevalent among the economic administrators of the titular republics. In 1959, the number of such ethnic groups increased to seven, and in 1979 to nine. In 1989, only Kazakhs were not in the majority, for their percentage in the population of the republic was 39.7%.

In Moldova, the titular people accounted for about half of the managers, but together with representatives of other non-Russian peoples their share reached more than 70%. The growth dynamics of the economic elite were positive: on average, the share of top managers from the titular ethnicity increased by 35 percentage points among fourteen nations. The largest increase was observed among the peoples with a low starting position – Azerbaijanis (76 points) and Turkmen (61.9 points), and the smallest among the peoples with a high starting point – Armenians (6.3 points) and Estonians (7.8 points). Only in the RSFSR did the percentage of titular Russian managers decrease by 5.3 points. Because of this, an equalization of ethnic statuses occurred, which is evident from the data on the ethnic representativeness of different peoples in the economic elite (Table 9). A national elite has also developed or emerged in the non-productive spheres of the national economy (finance, trade, etc.), as well as in culture and science, education and medicine, and the like [Public education..., 1989: 16, 202, 237, 256].

The study allows us to draw the following conclusions. Non-Russian ethnic groups were represented in the governing structures long before the revolution of 1917, although at a ratio below the democratic proportion. But their underrepresentation, excluding Jews, was mainly due to a shortage of national personnel and poor knowledge of the Russian language, rather than legal restrictions on engaging in government service; that is, it is incorrect to consider the situation political discrimination [Mironov, 2010: 148–152]. Indigenization (*korenizatsiia*) or, as it was also known, nationalization of the administration took place until the last days of Soviet rule. Ukrainization, Belarusization, Bashkirization, Turkmenization, Uzbekization, Tatarization, Yakutization, and the like were supported by the Center and at all levels of government as democratic and progressive processes. Russification was considered a manifestation of great-power chauvinism. Because of this, in the period 1897–1990 as a whole the role of non-Russian ethnic groups in the power structures in the entire country increased steadily, while the role of Russians decreased. The reverse side of indigenization was the de-Russification of governance not only in the Soviet Union in its entirety but also in all the union and autonomous republics. The Russian Federation was the least affected by the de-Russification, which occurred with the greatest intensity in the “national borderlands”. By 1979, non-Russians and Russians were represented in the governing bodies of all the union republics at a level close to the democratic norm, but due to the large populations of titular ethnic groups, they were prevalent in the power structures both absolutely and relatively. In 1989, in nine of the fifteen union republics, native peoples had a qualified majority, which means that according to the republican constitutions, they had the opportunity to adopt any laws and carry out any reforms. In Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan and Estonia, the titular peoples had a simple majority; only in Kazakhstan (due to their small numbers) and in Latvia (due to the underrepresentation of Latvians in the administration) did the titular ethnicity fail to have a majority. In these two republics, however, Russians were still in the minority in the power structures, and in terms of the share of managers they were inferior to the titular ethnicities.

Tab. 7

De-Russification of governance in the Union Republics in 1917–1989.

Republic of the USSR, nation	Representativeness index					The share of the ethnic group in management (in %)				
	1897	1926	1959	1979	1989	1897	1926	1959	1979	1989
RSFSR: Russians	1,11	1,10	1,00	1,00	1,01	89,3	81,8	82,5	82,4	81,6
Non-Russians	0,55	0,70	1,02	1,00	0,97	10,7	18,2	17,5	17,6	18,4
Azerbaijan SSR:										
Azerbaijanis	–	0,84	0,94	1,04	1,03	–	49,0	56,1	77,9	83,3
Russians	3,35	1,43	1,18	0,86	0,79	84,3	17,5	17,2	8,4	5,3
Armenian SSR: Armenians	0,83	1,14	1,06	1,05	1,03	39,3	94,5	92,4	94,4	97,0
Russians	3,52	0,50	0,72	0,49	0,75	23,4	1,2	2,7	1,4	1,3
Belarusian SSR: Belarusians	0,70	0,69	0,85	0,93	–	30,7	57,5	69,5	72,5	–
Russians	4,50	2,18	3,10	1,50	–	42,0	16,6	20,7	19,0	–
Georgian SSR: Georgians	0,67	1,08	1,11	1,11	1,11	50,2	69,5	72,0	76,5	79,2
Russians	5,24	1,91	0,70	0,66	0,66	32,5	8,0	7,5	5,2	4,3
Kazakh SSR: Kazakhs	0,23	0,42	1,57	1,45	–	16,2	24,7	38,3	41,5	–
Russians	3,46	2,74	0,96	0,90	–	77,8	51,2	43,6	40,7	–
Kyrgyz SSR: Kyrgyz	0,15	0,35	1,00	1,17	–	11,7	24,1	38,5	47,4	51,0*
Russians	6,82	4,38	1,14	1,05	–	78,1	45,9	36,9	33,4	–
Latvian SSR: Latvians	0,36	–	0,78	1,04	0,95	15,9	–	48,5	51,9	46,8
Russians	4,17	–	1,48	1,00	1,06	29,6	–	37,9	34,6	36,5
Lithuanian SSR: Lithuanians	0,40	–	0,87	1,00	0,98	11,9	–	69,5	77,3	75,9
Russians	5,09	–	2,53	1,28	1,33	48,4	–	19,9	13,0	13,3
Moldavian SSR: Moldovans	0,25	–	0,56	0,81	–	10,2	–	37,7	50,4	–
Russians	2,33	–	3,60	1,71	–	76,0	–	30,9	22,5	–
Tajik SSR: Tajiks	0,87	0,55	1,00	1,07	–	23,8	40,4	50,3	56,7	–
Russians	11,83	13,00	1,48	1,25	–	49,7	35,0	23,3	18,3	–
Turkmen SSR: Turkmen	0,20	0,36	0,85	1,01	–	10,6	25,7	47,9	62,8	–
Russians	4,09	6,35	1,32	1,16	–	69,6	46,2	28,9	19,9	–
Uzbek SSR: Uzbeks	0,28	0,60	0,83	0,96	0,96	15,8	40,6	49,5	61,1	64,6
Russians	11,83	6,19	1,47	1,20	1,25	49,7	49,2	23,4	17,3	13,6
Ukrainian SSR: Ukrainians	0,73	0,66	0,87	0,97	–	53,3	55,0	68,1	70,0	–
Russians	3,23	2,75	1,62	1,14	–	38,9	23,0	25,2	25,1	–
Estonian SSR: Estonians	0,62	–	0,89	1,12	1,00	52,4	–	66,1	66,9	58,5
Russians	3,72	–	1,37	0,81	0,98	28,3	–	26,4	25,1	31,2
USSR: Russians	1,43	1,22	1,14	1,07	1,06	67,8	64,8	61,2	59,1	56,2
Non-Russians	0,61	0,76	0,84	0,91	0,93	32,2	35,2	38,8	40,9	43,8
15 titular nations	1,06	0,96	0,97	1,00	1,01	85,3	82,9	90,1	90,3	90,1
The USSR excluding the RSFSR:	2,89	1,67	1,65	1,11	1,02	40,5	27,9	25,0	23,7	20,5
Russians										
Non-Russians	0,69	0,87	0,88	0,97	0,99	59,5	72,1	75,0	76,3	79,5
14 titular nations	0,63	0,93	0,89	0,99	1,02	35,0	82,2	61,8	69,9	74,9

The collapse of the Soviet Union had objective prerequisites formed under the influence of the nationalities policy of the Center, which aimed to establish governance and to equalize the levels of development of the union republics, ensuring their accelerated development, at the expense of the most developed and resource-rich republics, primarily the RSFSR. The comprehensive progress of the republics contributed objectively to the emergence and development of educated and qualified

Tab. 8

Representatives of the titular nation among senior managers in the production sectors of the national economy, 1926–1989 (%)

Republic, nation	1926	1959	1979	1989	Change during the period 1926–1989
RSFSR: Russians	82,6	81,0	83,4	77,3	-5,3
Non-Russians	17,4	19,0	16,6	22,7	+5,3
Azerbaijan SSR: Azerbaijanis	17,8	49,0	73,5	93,8	+76,0
Armenian SSR: Armenians	93,1	92,4	94,4	99,4	+6,3
Belarusian SSR: Belarusians	40,6	59,3	71,6	77,7	+37,1
Georgian SSR: Georgians	58,2	72,7	83,2	89,3	+31,1
Kazakh SSR: Kazakhs	10,6	19,3	25,4	39,5	+28,9
Kyrgyz SSR: Kyrgyz	6,9	20,3	29,6	55,1	+48,2
Latvian SSR: Latvians	–	50,1	51,3	63,1	+13,0*
Lithuanian SSR: Lithuanians	–	71,4	81,8	91,5	+20,1*
Moldavian SSR: Moldovans	–	21,9	43,7	50,0	+27,9*
Tajik SSR: Tajiks	22,9	30,1	38,8	66,3	+43,4
Turkmen SSR: Turkmen	9,9	32,0	53,2	71,8	+61,9
Uzbek SSR: Uzbeks	19,8	34,4	42,8	67,6	+47,8
Ukrainian SSR: Ukrainians	40,4	57,9	66,7	79,0	+38,6
Estonian SSR: Estonians	–	74,4	71,1	82,2	+7,8*

Notice. * In this and the following table, an asterisk marks the change in 1959–1989.

national cadres. Moscow stimulated the formation of modern national elites in the republics by indigenizing, or nationalizing, the administration. Meanwhile, a national elite, a state apparatus and a governing class are rightly considered attributes of any national state. Given a territory (with recognized borders and a population), state symbols and a constitution (which in 1924 gave to the union republics sovereignty and the right to self-government up to secession), by 1979 the republics began to possess all the attributes of a real state, and the titular ethnic groups became true nations. In cases of political desire or necessity the union republics could separate from the USSR and exist independently. Thereafter, the fate of the Soviet Union was left to the mercy of local elites and depended on a conjuncture of circumstances. The decisive issue was the real and imagined benefits (in a broad sense) and the attractiveness of separation or union. The republics developed rapidly within the framework of a single state in the period of the rise, stability and prosperity of the Soviet Union; but in the exceptional conditions of the crisis of the Soviet system in the 1980s, the national elites had both a real opportunity and the temptation to secede, to find their own way out of the crisis and their own way to prosperity. The expansion of nationalism that pushed the republics to secession occurred as a result of the political mobilization of ethnic groups, a mobilization carried out by national elites. "The USSR disintegrated not so much as the result of the action of certain historical laws and the desire of peoples for national self-determination," V.A. Tishkov declared in the early 1990s, "but as a result of a deep split within the Soviet elite, individual groups of which first of all determined themselves" [Tishkov, 1996: 37]. One must agree with researchers who argue that Soviet nationalities policy, following an essentially multicultural model, objectively created a set of institutions and agencies that contributed to the emergence and development of nation-states, which, if necessary, could secede from the USSR [Tishkov, 1994: 9; Tishkov, Shabaev, 2011: 154–155; Burovsky, 2004: 214–215; Martin, 2011: 32; Hirsch, 2005; Lane, 1996; Slezkine, 1994: 414–452; Walker, 2003: 193–202]. Thus, the Center created the structural prerequisites for and the possibility of the country's collapse with its own hands. The motivation in different periods varied: to attract the non-Russian peoples, who felt aggrieved/slighted/disenfranchised before the revolution, to the side of the Bolsheviks; to spark world revolution; to draw the divergent "national borderlands" of the empire into a single state; to weaken interethnic conflicts; to create in the localities/at the grassroots level a competent administrative apparatus that was loyal to the Center; and others [Amanzholova,

Tab. 9

The index of ethnopolitical representativeness among senior managers in the production sectors of the national economy

Republic, nation	1926	1959	1979	1989	Change during 1926–1989
RSFSR: Russians	1,08	0,98	1,01	0,95	–0,13
Non-Russians	0,73	1,11	0,95	1,23	0,49
Azerbaijan SSR: Azerbaijanis	0,31	0,82	0,98	1,13	0,83
Armenian SSR: Armenians	1,12	1,06	1,05	1,07	–0,06
Belarusian SSR: Belarusians	0,48	0,72	0,92	1,00	0,51
Georgian SSR: Georgians	0,90	1,12	1,20	1,27	0,37
Kazakh SSR: Kazakhs	0,18	0,79	0,88	0,99	0,81
Kyrgyz SSR: Kyrgyz	0,10	0,53	0,73	1,05	0,95
Latvian SSR: Latvians	–	0,80	1,03	1,21	0,41*
Lithuanian SSR: Lithuanians	–	0,90	1,06	1,15	0,25*
Moldavian SSR: Moldovans	–	0,32	0,70	0,77	0,45*
Tajik SSR: Tajiks	0,31	0,60	0,73	1,06	0,75
Turkmen SSR: Turkmen	0,14	0,57	0,82	1,00	0,86
Uzbek SSR: Uzbeks	0,26	0,58	0,82	0,95	0,69
Ukrainian SSR: Ukrainians	0,97	0,74	0,92	1,09	0,12
Estonian SSR: Estonians	–	1,00	1,19	1,34	0,34*

Krasovitskaya, 2020: 96–172]. This conscious rejection of the idea of a single nation based on common citizenship in favor of nation-states stimulated first the development of nationalism in the republics, and second, created a national track, which it was extremely difficult to leave in later years.

Hence the doubts about the viability of the Soviet project of nation-state building, which aimed, as is sung in the Soviet anthem, to create a “single, powerful, unbreakable Union” of “free republics”. The task of creating free republics was successfully completed. But the country’s leadership did not find a mechanism for reconciling the interests of the free republics it had created in a single multinational state for the long term [Toshchenko, 2003: 53, 121], although it had tactical successes in the short and medium term. The nationalization of interethnic relations led to the sovereignization of the union republics, which became a key element, but not the only factor, in the breakup of the USSR. The disintegration of the Soviet Union was not an accident, but a process, not a collapse caused mainly by the mistakes of the perestroika period, but the natural result of Soviet nationalities policy and the immanent desire of national elites for sovereignty, which guaranteed them full power over the resources and population of the of a republic.

REFERENCES

- AllUnion Population Census of 1926*: in 56 vols. (1928–1930) Vols 18–34. Moscow. (In Russ.)
- AllUnion Population Census of 1959*. Russian State Archive of Economics (RSAE). Archive 1562 “Central Statistical Office of the USSR”. List of files 336. Documents 2839, 2871–2890, 2893, 2898, 2904, 2924, 2928, 2938, 2939, 2949.
- AllUnion Population Census of 1979*. RSAE. Archive 1562. List of files 336. Documents 7466–7473, 7490, 7500, 7501, 7503, 7505, 7508, 7510.
- All–Union Population Census of 1989*. RSAE. Archive 1562. List of files 69. Documents 2570–2578.
- Amanzholova D.A., Krasovitskaya T. Yu. (2020) *Cultural Complexity of Soviet Russia: Ideology and Management Practices, 1917–1941*. Moscow: Novyi khronograf. (In Russ.)
- Artemyev A.P. (1975) *Fraternal Combat Union of the Peoples of the USSR in the Great Patriotic War*. Moscow: Mysl’. (In Russ.)
- Arutyunyan Yu.V. (ed.) (1992) *Russian: Ethnosociological Essays*. Moscow: Nauka.

- Arutyunyan Yu.V., Drobizheva L.M. (2016) Passed Paths and Some Problems of Modern Russian Ethnosociology. In: Ostapenko L.V., Subbotina I.A. (eds) *Ethnosociology Yesterday and Today*. Moscow: IEA RAN: 29–38. (In Russ.)
- Beissinger M.R. (2002) *Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Brubaker R. (1994) Nationhood and the National Question in the Soviet Union and Post-Soviet Eurasia: An Institutional Account. *Theory and Society*. Vol. 23. No. 1: 47–78. DOI: 10.1007/BF00993673.
- Burovskii A.M. (2004) *The Collapse of the Empire: The Course of Unknown History*. Moscow: AST. (In Russ.)
- Drobizheva L.M. (ed.) (1995) *A Conflict Ethnicity and Ethnic Conflicts*. Moscow: IEA RAN. (In Russ.)
- Drobizheva L.M. (ed.) (1998) *Asymmetric Federation: Looking from the Center, Republics and Regions*. Moscow: IS RAN. (In Russ.)
- Drobizheva L.M. (ed.) (1996) *Democratization and Images of Nationalism in the Russian Federation in 90s*. Moscow: Mysl'. (In Russ.)
- Drobizheva L.M. (ed.) (1998) *Social and Cultural Distances: The Experience of Multinational Russia*. Moscow: IS RAN. (In Russ.)
- Drobizheva L.M. (ed.) (2002) *Social Inequality of Ethnic Groups: Representations and Reality*. Moscow: Academia. (In Russ.)
- Drobizheva L.M. (2003) *Social Problems of Interethnic Relations in PostSoviet Russia*. Moscow: TsOTs. (In Russ.)
- Drobizheva L.M. (ed.) (1994) *Values and Symbols of Ethnic SelfAwareness*. Moscow: IEA RAN. (In Russ.)
- Drobizheva L.M., Guzenkova T.S. (eds) (1995) *Sovereignty and Ethnic SelfConsciousness: Ideology and Practice*. Moscow: IEA RAN. (In Russ.)
- Fedorchenko S.N. (2010) The Problem of Quotas in the Russian State Personnel Policy. In: *National Security: The Scientific and State Management Content: Proceedings of the all-Russian Scientific Conference*. December 4, 2009. Moscow: Nauchnyi Ekspert: 692–705. (In Russ.)
- General Summary across the Empire of the Results of the Compilation of Data of the First General Population Census, Carried out on January 28, 1897*: in 2 vols. (1905) Vol. 2. St. Petersburg: Tip. N.L. Nyrkina. (In Russ.)
- Hirsch F. (2005) *Empire of Nations: Ethnographic Knowledge and the Making of Soviet Union*. Ithaca: Cornell University Press.
- Informal Ethnic Quotas in the MultiEthnic Republics of the North Caucasus: Analytical Report*. (2017) Makhachkala. (In Russ.)
- Lane D. (1996) The Gorbachev Revolution: The Role of the Political Elite in Regime Disintegration. *Political Studies*. Vol. 44. No. 1: 4–23. DOI: 10.1111/j.1467–9248.1996.tb00754.x.
- Martin T. (2011) *The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939*. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Mironov B.N. (2017) *Management of Ethnic Diversity in the Russian Empire*. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin. (In Russ.)
- Mironov B.N. (2021) Disintegration of the USSR in Historiography: Collapse or Dissolution. *Vestnik Sankt Peterburgskogo universiteta. Istoriya* [Vestnik of Saint Petersburg University. History]. Vol. 66. Iss. 1: 132–147. DOI: 10.21638/11701/spbu02.2021.108. (In Russ.)
- Mironov B.N. (2018) *The Russian Empire: From Tradition to Modernity*: in 3 vols. 2nd ed. Vol. 1. St. Petersburg: Dmitriy Bulanin. (In Russ.)
- National Economy of the USSR in 1989*. (1990) Moscow: Finansy i Statistika. (In Russ.)
- Public Education and Culture in the USSR: Statistics Digest*. (1989) Moscow: Finansy i statistika. (In Russ.)
- Results of the allUnion Population Census of 1970*: in 10 vols. (1973) Vol. 8. Part 1. Moscow. (In Russ.)
- Slezkine Y. (1994) The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism. *Slavic Review*. Vol. 53. No. 2: 414–452. DOI: 10.2307/2501300.
- The Labor in the USSR (statistics digest)*. (1988) Moscow: Finansy i statistika. (In Russ.)
- Tishkov V.A. (1996) *Conceptual Evolution of National Policy in Russia*. Moscow: IEA RAN. (In Russ.)
- Tishkov V.A. (1997) *Essays on the Theory and Politics of Ethnicity in Russia*. Moscow: Russkiy Mir. (In Russ.)
- Tishkov V.A. (1994) Nationalities and Nationalism in the Post-Soviet Space: Historical Aspect. In: Tishkov V.A. (ed.) *Ethnicity and Power in MultiEthnic States: Proceedings of the International Conference* [January, 25–27], 1993. Moscow: Nauka: 9–34. (In Russ.)
- Tishkov V.A., Shabaev Yu.P. (2011) *Ethnopolitology: Political Functions of Ethnicity*. Moscow: Moskovsk. un-t. (In Russ.)
- Toshchenko Zh.T. (2003) *Ethnocracy: History and Modernity (Sociological Essays)*. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Walker E.W. (2003) *Dissolution: Sovereignty and the Breakup of the Soviet Union*. Berkeley, CA: Berkeley Publ. Policy Press.

A.V. YAKOVENKO

USSR AS A MIRROR OF AN UNREALIZED HUMANISTIC PERSPECTIVE

Andrei V. YAKOVENKO, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Head of the Department of Sociology and Social Technologies, Lugansk State University named after Vladimir Dahl, Lugansk, Ukraine (6daoav@rambler.ru).

Abstract. Based on statistical data on the population in the two largest republics of the former Soviet Union, it is concluded that a significant demographic resource of citizens born in the USSR has been preserved. Examples are given of social sections that act as carriers of the memory of the Soviet Union. In particular, considered are: infrastructure layer; technological heritage; cultural standards; phraseological canvas. Particular attention is paid to the phenomenon of "oath-apostasy", initiated by an abrupt change in the political system and the disappearance of the state. "Oath-apostasy" is analyzed in line with the well-known theory of "social trauma". The author defends a position according to which, with the destruction of the USSR, another attempt to create a collective community, alien to narrowly focused and primitivized needs, was leveled. The usual strategies in the "destruction-restoration" logic were implemented. The collapse of the Soviet Union again exacerbated a number of habitually insoluble problems: the possibility of organizing social life of a global society outside the dominance of principles and interests based on profit; rejection of the practice of total confrontation; going beyond the limits of stable polarization of forms of social structure ("mobilization model – consumer society"); overcoming the contradiction between the temptation to build the world order on the platform of "elitism" and the gravitation towards "egalitarianism". It is emphasized that the desire to destroy competitors has led to absolute uncertainty in the parameters of the near and distant future, with the prevalence of skeptical and even apocalyptic forecasts regarding the prospects for human development.

Keywords: USSR • generation • Soviet • social trauma • humanity

DOI: 10.31857/S013216250016787-8

This article is a translation of: Яковенко А.В. СССР как зеркало нереализованной гуманистической перспективы // *Sotsiologicheskie Issledovaniia*. 2021. No 8: 73–81. DOI: 10.31857/S013216250015534-0

In scientific publications devoted to the Soviet Union, authors who remember its existence will necessarily feel a personal attitude to the Soviet past. No analytical neutrality, impartiality, detachment in relation to this "object of research", especially to the anniversary of its abolition, can be expected. The 30-year distance, separating us today from the events of 1991, does not reduce the intensity of emotions. Only they now include the experience, sensations and emotions of the past three decades outside of space, which for many was defined (and can now be defined) by the meaningful concept of "Motherland". In general, the attitude towards the USSR still is a powerful indicator for political positioning and self-determination.

However, even without subjective value judgments, the collapse of the Soviet Union in December 1991 is undoubtedly one of the core factors of the most acute and often quite polarized polemics, where at one pole there is an idea of the USSR as a so called "evil empire", and at the other as almost an "earthly paradise". Much continues to revolve in the cycle of several questions: "Was what happened inevitable?", "What are the internal and external reasons for the collapse of the USSR?", and, naturally, "Who is to blame and to what extent?" Repeatedly analyzed, described and discussed, they still disturb the consciousness of both intellectuals of the modern era and ordinary citizens who once found themselves in the "new geopolitical reality" overnight.

The format of the article allows us to touch upon only a few subjects about the analysis of "soviet prominences" that influence the present and the future. Therefore, further emphasis will be placed on the generational potential of the historical memory of the Soviet Union, the problem of social and individual "betrayal" in the context of social trauma (P. Shtompka, Zh. Toshchenko), as well as the fatality of the lessons of the collapse of the USSR as an indicator of humanity's inability to create a humanistically oriented social order.

"Born in the USSR". Speaking about the ratio of "Soviet" and "post – Soviet", we can take statistical data on the population as a template basis. The simplest and relatively neutral indicator is the percentage of the total population of citizens, which received a birth certificate in the USSR. Whatever the attitude of the current thirty-year-olds to the Soviet Union, it is difficult to exclude in their minds the idea that they were born "still" in the Soviet state. So, if we believe the statistical indicators presented last year (data as of January 1, 2020) for the two largest ex – Union republics in demographic terms (the former RSFSR and the Ukrainian SSR)¹, then the official number of citizens aged 30 and older is 66.1% in the Russian Federation and 68.7% in Ukraine. Consequently, the number of those "born in the USSR" still prevails over those who were born in independent states. The ratio of 50% to 50% between the conditionally "Soviet" and "post-Soviet" begins to take shape approximately with the age parameter "40 years and older". According to our calculations, there are 49.3% in the Russian Federation and 52.1% in Ukraine of representatives of these age categories. The percentage of those who can refer to persons as having experienced, as they now say, "a happy Soviet childhood", it is advisable to count from the age category at the age of 45 and older: this is 42.1% in Russia and 44.7% in Ukraine. Thus, almost half of the population remains a physical carrier of the memory of the Soviet Union. Young people who are considered non-Soviet, post-Soviet or even anti-Soviet still live "inside" or next to the memory of their parents and especially grandparents, which periodically "return" their children and grandchildren to their childhood and youth through the memories. There are a polemic and discussion of the Soviet heritage regardless of the attitude of modern boys and girls to these memories, as well as to their carriers. It is natural that after 30 years, the "Soviet" manifests itself in all layers of public relations, relying on a quite tangible material basis. Let's go through the known sections again, in addition to the mentioned demographic resource of memory carriers about the USSR.

Infrastructure layer. An exploitation of a significant number of industrial structures, educational and cultural facilities built in the Soviet Union continues. Residential quarters of many cities and urban-type settlements are mainly a combination of "Khrushchev" and nine-storey buildings of the Brezhnev period, if we are not talking about large metropolitan megacities.

Technological heritage. Until now, the space achievements of the USSR are the indicator and criterion of a great success of the Soviet science, and the test flight of the unmanned reusable spacecraft "Buran" is one of the peaks of Soviet space technology. Even in the most fashionable and breakthrough field of computer technologies today, there are constant references to the achievements, for example, of the team of Academician Glushkov, missed opportunities for the production of their own "hard" and "software", as same as domestic wireless communication systems. It seems that modern breakthrough Russian developments in the field of weapons only recently began to rely on the "Russian" segment of engineering thought itself, however, continuing to be based on the ideas, experience, approaches, achievements and culture of the Soviet school of organizing the defense complex.

Cultural standards. Today, the creative level of many remarkable Soviet, as they were called, "masters of culture" is perceived almost as a reference. Even the sphere of mass culture

¹ The population of the Russian Federation by gender and age as of January 1, 2020. URL: <https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13284> (accessed: 01.06.2021); Population of Ukraine for 2019: Demographicny shchorichnik. Kyiv: Derzhavna Statistical Service of Ukraine, 2020. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2020/zb_nas_2019.pdf (accessed: 01.06.2021)

of the period of the USSR's existence (with its rock, pop and other authors) is considered practically a classic, having not generated worthy and comparable followers in the post-Soviet period.

Phraseological outline. A wide range of popular phrases is still actively represented in communication, including both terms, definitions and quotations from the classics of Marxism – Leninism and Soviet literature, as well as words and phrases from Soviet films, cartoons, and TV shows.

And, finally, **emotional background.** There is a high level of emotionality of assessments, one way or another related to facts, events, positive and negative aspects of Soviet reality. Most of the historical parallels, comparisons and analogies relate specifically to the USSR. Moreover, its opponents traditionally appeal mainly to the tragic events of the revolutionary period, the Civil War and the thirties, and their opponents appeal to the heroism of victories during the Great Patriotic War, industrial successes, space achievements and social stability of the post – war decades. In any case, the factual analysis and argumentation of the pros and cons of the current financial, economic, socio – political and military-strategic situation revolve around a comparison with the advantages and disadvantages of the Soviet Union.

Both supporters and opponents of the Soviet state recognize that the Soviet Union, which has passed into the category of a historical phantom, continues to have a significant impact on the present, as well as on the future. And if in the first years after the dissolution of the USSR it was not supposed to mention at all the positive aspects of its structure that have at least some relation to the “bright future of capitalism”; today, 30 years later, the problem devoted to the possibilities of taking into account the experience of organizing the activities of at least individual social institutions looks not retrograde, but in some cases even more than productive. One of the latest examples is the organization of the sanitary and epidemiological service and the Soviet legacy of scientific virology, the remnants of whose traditions contributed to a smoother passage of the “coronavirus” situation by Russia.

The past period is characterized by another interesting socio-historical feature. When assessing the period from the collapse of the Soviet Union to the current point of historical evolution, it is difficult to avoid parallels and associations with the radical transition from the Russian Empire to the USSR. Many people involuntarily draw a comparison with the same 30-year interval since the disappearance in March 1917 of an even more voluminous geopolitical entity than the Soviet Union. Simple arithmetic shows that by 1947, the new state, which had replaced the Russian Empire managed to survive a colossal decline as a result of the Civil War, a gigantic industrial upsurge, the most terrible war that initially deprived it of a significant part of the European territory, to win a historic victory over fascist Germany, to unconditionally establish itself as one of the two pillars of international politics and to begin to hard, but systematically rebuild peaceful life, abolishing the card system in almost any of the post – war countries. The analogous time period for the entire post-Soviet space, of which we are witnesses and participants, does not seem to be so dramatically successful.

The constant use of the term “post – Soviet” means the recognition of the “Soviet” special quality, fundamentalism, its distinctiveness as a cultural and historical phenomenon. This uniqueness still exists as an attempt to achieve its “overcoming”. The inability to create one's own autonomous integral and distinct quality of social relations outside of the limited prefix “post -” rather characterizes the blurriness, weakness of the present. At one time, the “Soviet” again in less than 30 years was able to establish itself in a different, autonomous and clearly distinguishable fabric of social life of the global order, little comparable to the realities of monarchical Russia. The current state over the past three decades has not found a special, well-established and more or less generally recognized definition.

“Perjury” as an organic component of social trauma. Taking into account the ratio of those who could consciously live in the USSR and our younger colleagues is important for understanding the problem of direct or latent perjury which, as it seems, requires more significant attention of researchers.

Once again, it is appropriate to recall that the collapse of the Soviet Union meant that a huge number of people fell into the category of perjurers. This is not only the 19 million members of the CPSU, which constantly appear in political polemics, they did not come to the defense of the party and the state. We are also talking about members of the Komsomol and even the Pioneer organization, whose charter documents contained provisions on the struggle for communism and loyalty to the Soviet Union. The main "apostates" were millions of young, not very young and very elderly people who were led to the military oath of allegiance to the USSR. We are talking about a significant number of citizens who once swore to defend with weapons in their hands the state, which disappeared from the political map of the world at the end of 1991. Regardless of the circumstances of the destruction of the Soviet Union, many people were put in conditions under which they committed, at least, a dishonorable act. And this is not counting those who, after the collapse of the USSR, continued to serve in the armed forces and law enforcement agencies of the former Soviet republics, which means that they were forced to had to **swear** an oath again to independent states in order to hold their status, seniority, the right to benefits, have career prospects and other preferences.

We should take into account another comparison: by December 1991, the Soviet regime existed for almost 74 years, and the Soviet Union had history of almost 69 years. In the socio-generational dimension, this meant that the vast majority of its inhabitants grew up and were brought up within the boundaries of the political history of the USSR, without being tied to the Russian Empire as a state entity. At the time of the disappearance of the USSR from the world, people who were not born in the Soviet Union (since 1922) were strictly chronologically more than 68 years old, and those born in the Russian Empire were more than 75 years old. Thus, by the time of the dissolution of the USSR, a huge number of its citizens were organically woven into the Soviet socio – political system, without having a direct personal historical memory of the Russian Empire. The overwhelming number of people who lived on the territory of the former Soviet Union by December 1991 were socially and historically Soviet people.

Accordingly, the absolute majority of former Soviet citizens voluntarily or not after the destruction of the USSR agreed to abandon yesterday's oaths and vows, resigned themselves, or even began to zealously welcome their own, in fact, self-betrayal. Such maneuvers and transitions are unlikely to pass without a trace for consciousness. Such transformations seem insignificant only at first glance. It is they who create the very dramatic social atmosphere that is commonly called "social trauma" in sociology today [Toshchenko, 2020; Shtompka, 2001]. The organic component of social trauma, as it seems, is an acute or blunted feeling of some kind of treason, betrayal, apostasy due to a sharp change in ideological priorities or rejection of priorities as such. Naturally, first of all, we are talking about the most conscientious-decent-people.

Any socio-political upheaval, the result of which is a cardinal change in the forms of government, ideological principles (secular and/or religious), a fundamental redistribution of property, of course, significantly transform the attitude, not only to external circumstances, but also to self – perception. Habitual ideals, holidays, idols and values lose their social significance, are declared retrograde or even criminal, thereby forcing them to change the past in the name of well-being in the present and promises of excellent prospects in the future. A small percentage of citizens are initially ready for such a reversal in any society. The majority, on the other hand, takes a wait-and-see attitude, justifying their inertia by the need to solve the problems of everyday life. A limited number of members of society are also radically and fundamentally opposed to changes. The well – known developments of R. Merton about the social conformism of the majority seem to be quite justified [Merton, 2006]. It is appropriate to recall the Durkheim anomie [Durkheim, 2006].

Let us again turn to the comparison of the tragic and revolutionary in all respects "phase transition" of 1917 with the result of 1991. Supporters of the Russian Empire, remembering the oath they gave to "the sovereign and the fatherland", 30 years after its collapse, as a result of the victory of the USSR in World War II, could calm themselves with the fact that it was only a modification of the former Homeland. The Soviet Union in 1945 actually "reasserted" the Russian

Empire at the next historical turn. Today, those who are nostalgic about the Soviet Union, especially in the national republics, have much less confidence in continuity. On the contrary, in a number of cases, there are attempts to "reassign" national territories to other zones of global and local political and economic influence (Washington, Brussels, Beijing, Ankara, etc.).

The USSR as a vanished image of the humanistic perspective of human development.

It was repeatedly noted that the collapse of the Soviet Union did not mean the abstract disappearance of relatively stable rules of the game. It initiated the formation of a general atmosphere of turbulence, timelessness in relation to the existence of political systems and states within the framework of a new era. Moreover, it provided the basis for a sense of some simplicity and ordinariness of the destruction of the life foundations of hundreds millions of people.

No one disputes the thesis that the collapse of the Soviet Union was the starting point for "a new era". The collapse of the USSR, the ease with which the most influential financial and economic groups (internal and external) in the aggregate of interests agreed to such a radical step and the subsequent socio-economic and spiritual-moral crisis, acted as another indicator of the inability of the aggregate humanity to constructively cope with the situation of the maturation of civilization to the transition to a more humane layer of relationships. The impasse of the question of what to do with a huge number of relatively literate people, which were limited by the framework of the established, in Marxian terminology, "production relations", come to life again. It turned out to be much easier to continue the practice of raiding vast socio-economic spaces not for their further development, but for the purpose of banking, selling and reselling "production capacities" at dumping prices, while simultaneously increasing the influence of the entertainment infrastructure, which solve the tasks of "saving" millions of people from the meaninglessness of existence.

It has long been stated (some with regret, others with mockery) that the project of the Soviet man collapsed together with the USSR. Thus, the idea of the potential possibility of crystallization of a spiritual, educated, inquisitive person, alien to religious, racial and national intolerance, worried about the fate of all mankind and at the same time rooting for the development of his country, as well as striving for a socially just world order, was buried (or at best significantly delayed). It has been noted many times that the USSR was an attempt to form a socially oriented state. Even the proposal, which is being hotly discussed today with the light hand of the founder of the Davos Forum, Klaus Schwab, to switch to the model of so-called "stakeholder capitalism" contains echoes of ideas that were born precisely during the period of acute rivalry between "developed capitalism" and "developed socialism" [Schwab, Vanham, 2021].

There is a need to recall that the name of our former Homeland "Union of Soviet Socialist Republics" lacks an ethno – national reference. Only the plot of the political, by the way, precisely democratic structure ("soviets") and the ideological platform indicating the key priority "socialism". There is a presentation of the combination of universal, open and total democracy with the social orientation on the social world order. Taking into account today's phraseological frames, this was an attempt to "remove" the contradiction between the local and global, national and supranational levels of the social order. In this vein, it can be argued that one of the images of an ideal future is precisely the improved USSR, which has really grown to the level of universality.

However, the geopolitical conjuncture and general competition outweighed the importance of solving problems of a civilizational nature. It turned out to be more convenient, once again in history, to force millions of people to return to the point of poverty and ideological primitivism in order to give them utilitarian meanings. The ideological, political, organizational and financial center, which once actively produced peace initiatives, sponsored detente and disarmament movements, has been radically leveled. Having destroyed the USSR, humanity once again signed its unwillingness to develop through the synthesis and harmonization of interests, choosing a focal self-destruction with a repeatedly approved strategy of profiting from looting and recovery after relapses of robbery. This triggered the usual wave of civil wars, providing capital outflow, socio-economic and moral decline, the usual scenarios of finding

patrons, financial resources to solve problems of both a military and an insurrectionary nature. If we go beyond the ideological conjuncture around the prohibitions of the term "civil war", for example, in Ukraine in relation to the events in the Donbass, we should once again state: all the military conflicts that took place and continue to bleed on the territory of the states which were once part of the USSR are in fact one big civil war that has been lasting for more than 30 years, taking lives, crippling souls and draining funds from all the states of the former Soviet Union. As a result, the common heroism of the joint Victory of the Soviet people in the Great Patriotic War is gradually but persistently replaced by a string of wars, small and large-scale conflicts, on the territory of a once unified state.

The past three decades have demonstrated: the destruction of the Soviet Union is a global tragedy, which characterizes the inability of the global rulers to organize the world order in a different way than by encouraging the disintegration of its individual relatively independent components. We are talking not only about the USSR, but also about the SFRY and the Czechoslovak Republic, and later about Libya (the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya), the Republic of Iraq, the Syrian Arab Republic, which, as has been noted many times, were secular states with official ideologies largely contained socialist values.

There is uncertainty ahead. The last 30 years have led to the fact that the feeling of being on the eve of some kind of global cataclysm is almost not disputed. The universality of the information space, through which apocalyptic forecasts are replicated, introduces additional impulses of anxiety. As N. Romanovsky rightly noted: "I would like the Russian community of sociologists to see now and foresee possible options for the future. The stakes are too high" [Romanovsky, 2015: 20].

Today, it is our generational cross-section that is experiencing an intellectual, visual and physical immersion in the reality of a crisis of universal scale. The obvious compression of peoples and continents gives the process uniqueness, since it does not allow anyone to feel their distance from the epicenter of events, which in fact does not exist, since almost everything significant for the life of the world is the epicenter. Even the popular and finely analyzed by Z. Bauman retrotopia no longer saves [Bauman, 2019]. The past is moving away in the main social forms more and more rapidly, losing even the ghostly ground of reality.

The disappearance of the USSR forced us to re-actualize a number of habitually unsolvable tasks: 1) the possibility of organizing the social life of a global society outside the dominance of principles and interests based on profit; 2) rejection of the fundamental practice of total confrontation, in which states are considered primarily as resource units; 3) going beyond the stable polarization of forms of social structure "mobilization model-consumer society"; 4) overcoming the contradiction between the temptation to build a world order on the platform of "elitism" and the attraction to "egalitarianism". We will briefly describe each of them.

So, the economic and financial background of all ongoing tactical actions and strategic plans is still clearly obvious. A normalization, rhythm and complexity of the desires of the majority of the inhabitants of the planet are still based on these items. The attempts of the USSR, once also tightly woven into the logic of commodity – money relations, to find some kind of autonomous tools and a basis for existence turned out to be in vain. At present, humanity does not even have minimally acceptable projects of a comprehensive alternative to a social system built outside the interests of profit. The entire World's community is included in a making value through global markets, set by its conventions and habitual principals. There are no large-scale positive non-market and non-profit oriented standards and models of the organization of social life. But a reasonable suspicion has been formed that under any new ideas of the World order, not truly universal interests will be viewed again, but well – known financial and economic calculations. For example, it turns out that the "green economy" can be no less speculative (and therefore fictitious precisely according to the highest criteria of humanity) than the current "non-green" one.

We continue to witness how, in parallel with the beautiful thoughts of sincere humanists, there is an assessment of the mobilization resources of countries, the maturity, flexibility and

efficiency of the activities of their institutions in the ongoing and prospective confrontation. These well-known measurements of the strength potential of states, which are well known from the previous "civilized" times, are made based on well – known (hidden, and sometimes openly articulated) goals, the essence of which is the next modification of oppression.

Most analysts remind us that, unlike the well-known matrix of the Second World War, there are currently no divisions similar to blocks as the axis countries and the Anti-Hitler coalition. The imposed next ideological duality – "authoritarianism-democracy" was not constituted. At the same time, the total war is escalating as economic, socio-psychological, informational, institutional processes (in politics, medicine, education, etc.). According to all these indicators, it is conducted for endurance and stability in a very diverse and sophisticated way. But it is well known that the military situation is an extreme state of society. Such a comparison means that the goal, the only super-task, is survival at the cost of sacrifice. However, various modifications of mobilization measures do not yet bring genuine revolutionary changes to the content of social relations, continuing to reproduce heroism (for example, honest doctors, law enforcement officers, volunteers) at one pole along with looting and greed at the other.

Once again, we note that it is unlikely that hungry and destitute people, especially those who are angry at the poverty that has fallen on them, are capable for social organization based on criteria of goodness and justice. And here, by the way, lies the historical tragedy of the periodic ideological dominance of left-wing parties and movements, due, as a rule, to impending or unfolding crises. After all, until now, their political success has often been due to the framework of the usual logic described by P. Sorokin in his work "Hunger as a factor" [Sorokin, 2021]: a decrease in material prosperity as a trigger for an increase in the attractiveness of the ideology of social justice. So far, there are few prerequisites for the organizational and political dominance of ideological concepts based on the awareness of the need to search for a new solidary social unselfish path of development based on welfare.

It seems that the self-consciousness of a just life should (again, only ideally) not be based on the fear of deprivation, not act as a reaction to a personal and / or general social catastrophe, but be based on a whole complex of external favorable factors and internal beliefs in the soundness, usefulness of sincere life activity on the platform of humane improvement.

A retreat of the consumer society is hardly possible to be relying on the principles of beggarly existence and forced restriction. Once again, we have to recall the attempts that were never realized in the Soviet Union to create an ideological and effectively practical basis for cultivating reasonable needs [Donchenko et al., 1984].

In fact, there continues to be an eternal oscillation between mobilization practices and the absolutization of materialism. However, during periods of mobilization, many people do not quite reasonably dream of waiting for the times of expanse of consumerism as soon as possible. In a categorical form, it can be argued that there was no meaningful "consumer society" in the history of mankind. There was either a "society of underconsumption" or a "society of overconsumption" (for a certain part of the society). There was no long-term period of dominance of conscious moderation. Otherwise, the same Soviet person would not have bought into the external temptation of Western-style "abundance", as a result of which the Soviet Union was corrupted and destroyed by low-grade consumer tsunamis. The experiment of building socialism in a single country in an aggressive consumer environment turned out to be a failure. The collapse of the USSR, we recall once again, clearly demonstrated the indisputable truth: in no way can a harmonious local society develop in our interconnected world.

Today, even with reservations, it is appropriate to state: a well-known formula "from each according to his ability, to each according to his needs" has the potential for implementation. Only the level of needs turns out to be somewhat different than the one that consistent humanists dreamed of and continue to dream about. After all, the Marxists meant almost a reference range of needs for all creatively and morally oriented humanity. The modern united and disconnected global civilization has enough resources for a comfortable existence of billions. However, this long-established banality does not cancel the well – established configuration of society on

the principles of rigid hierarchical dependence, exploitation and social injustice. As well as a colossal technological platform for the openness society has been created in terms of its prevalence and equipment. But whether it is capable of initiating a transition from the official and unofficial "transparency" of everyone to the sincerity of all subjects, especially representatives of the upper echelons of political and economic structures, is a more than rhetorical question.

Once again, the dilemma that accompanies the entire social history of humanity has emerged. Through the justified activation of the controversy about chipping, biolabs, in the sediment, everything boils down to the long – known rigid self-definition of everyone involved in the political, scientific, educational and expert spheres of activity. We are talking about the main guideline and, accordingly, the logic of actions/inactions. Either this guideline is aimed at maintaining the hierarchical principle of the organization of society in a modified form, or, on the contrary, the conviction of the need for comprehensive and universal real enlightenment, the creation of a basis for a conscious society of educated and socially responsible individuals is put at the forefront. The current situation in an acute form draws the eternal two trajectories – elitism and egalitarianism. It is worth recalling in the context of historical events related to the Second World War and the role of the USSR in this war, that in the macro-scale in the middle of the last century, the same two versions of the worldview clashed: the "elitism" of the German nation, standing, as it seemed to its representatives, at the top of the hierarchy of peoples, and the egalitarianism of the communist ideology of the Soviet Union, which was against a division of people on classes (even with reference to the revivalist military – historical symbolism of the Russian Empire). It was the victory of the Soviet people over fascism that not only buried the popular global racial-elite project, but also provided an impetus for the removal of racial prejudices throughout the World including the United States. Largely due to the controversy about the fight against coronavirus through the use of technologies for ubiquitous monitoring for the private life of citizens' life in the public space, an old question has been re-actualized: should knowledge be directed to general education or limited to the literacy of only the "chosen", who on this basis are allowed to manipulate the poorly educated population? As before, they are trying to use the new technological round to maintain the inviolability of the global hierarchy, maintaining a high level of education and competence for the "worthy" on the one hand, and, on the other hand, lack of development, limitation and primitiveness under the guise of primary literacy for the majority. And in this vein, the phantom pains of the Soviet Union with its official orientation towards mass, prestige and quality of education give soil for discussion among our contemporaries.

Conclusions. By any assessment of the Soviet Union even 30 years after its collapse, it is impossible to do without the politicized component of analysis, which is so disliked by professional sociologists-theorists. Until now, the "level of apologetics" of the authors in relation to the USSR is being measured explicitly or implicitly, instantly forming the corresponding stigmatization across the entire spectrum of likes and dislikes. The Soviet Union continues to be a controversial landmark from the recent century, a reference point, at least, for the post-Soviet countries, including the countries of the former Warsaw Pact. It reproduces the constant dispute between the past and the present with the unrealized future, giving rise to well-known, although unproductive, questions about the possible development of events in case of preservation of the USSR.

That is why the future seems vaguely alarming, since the experience of the Soviet Union in a shaping a creative, humanistic oriented person has been leveled, if not vulgarized and ridiculed. It is no exaggeration to state that at the moment the entire power of predictive state and international institutions is puny, little or even ineffective. Leading politicians, scientists and analysts either honestly admit their impotence to calculate the consequences of what is happening, or give estimates that can hardly claim to be thorough. And this is reflected in the significant impact of the events of thirty years ago, when a multi-ethnic, non-religious, progressive globally oriented project of social structure was abolished and ostracized.

Clearly or implicitly, nostalgia for the Soviet past is based precisely on something unfulfilled good, even if very fabulous. It was not possible to direct (the category “force” is not used on purpose) millions of people to live humanely and meaningfully. The fatal doom of the USSR is the fate of perfect ideas, faced with the impossibility of their mass and voluntary implementation. Perhaps 30 years ago, humanity missed the chance for a peaceful reconstruction in the humane direction of its development...

REFERENCES

- Bauman Z. (2019) *Retrotopia*. Moscow: WCIOM. (In Russ.)
- Donchenko E.A., Sohan L.V., Tihonovich V.A. (1984) *Formation of Reasonable Needs*. Kiev: Politizdat. (In Russ.)
- Durkheim E. (1994) *Suicide: A Study in Sociology*. Moscow: Mysl'. (In Russ.)
- Merton R. (2006) *Social Theory and Social Structure*. Moscow: AST: AST MOSCOW: KHRANITEL. (In Russ.)
- Romanovsky N.V. (2015) Future as a Problem of Contemporary Sociology. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 11: 13–22. (In Russ.)
- Schwab K., Vanham P. (2021) *Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Sorokin P.A. (2021) *Hunger as a Factor: The Impact of Hunger on People's Behavior, Social Organization and Social Life*. Moscow; St. Petersburg; Syktyvkar: TsGI. (In Russ.)
- Sztompka P. (2001) Cultural Trauma in post-Communist Society (article two). *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 2: 3–12. (In Russ.)
- Sztompka P. (2001) Social Change as Trauma (article one). *Sotsiologicheskiye issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 1: 6–16. (In Russ.)
- Toshchenko Zh.T. (2020) *Society of Trauma: Between Evolution and Revolution (An Experience of Theoretical and Empirical Analysis)*. Moscow: Ves' Mir. (In Russ.)

Social policies. Social structure

© 2021 r.

A.L. ANDREEV, I.A. ANDREEV

RUSSIA-2021: EXPERIENCING THE PRESENT AND LOOKING INTO THE FUTURE

Andrey L. ANDREEV, Dr. Sci. (Philos.), Chief Researcher; Prof., National Research Nuclear University MEPhI; National Research University "Moscow Power Engineering Institute" (sympathy_06@mail.ru); Ivan A. ANDREEV, Graduate Student (v-andreev_07@mail.ru). Both – Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia.

Abstract. *The article presents results of an empirical study by FCTAS RAS in order to analyze the spiritual state of modern Russian society and its ideas about itself, which should be considered as a special non-material factor for its development. The study was conducted in March – April 2021 in a series of studies aimed at creating a kind of “sociological portrait” of modern Russian society, viewed through the prism of its self-esteem and self-image. In this article, the authors focus on a facet of this sociological portraying, i.e. on the opinions of Russians about the ways of their country’s development, assessments of the historical productivity of this path and, in this regard, their personal prospects, as well as on what they would like to see their country to be in the future. The authors analyze peculiarities of the perception of the arrow of time in the Russian mentality, characterize emotional tone of Russians’ thinking about the future, characterize dynamics of the gradually increasing demand for change in Russian society, and examine in detail the views of the population of the country about what tasks currently facing Russian society are priorities and what ideas could unite Russians on the way to the future. Special attention is paid to the opinion of the Russian population about its relations to the West and the East. Basing on the results of empirical research, the authors state that Russian citizens perceive their country as an independently developing civilization and in this context reject mechanical following of Western models and recipes. In conclusion, the article examines the features of the political segmentation of the Russian society. An explanation is offered for the idea that, despite the fact that there is a demand for change in Russian society, a majority of citizens tend to support the current government and, despite all its shortcomings, would not want to change it by another one, at least now.*

Ключевые слова: *Russian society • Russian civilization • sociological portrait • image of the future • development model • social changes • political process*

DOI: 10.31857/S013216250016785-6

This article is a translation of: Андреев А.Л., Андреев И.А. Россия-2021: переживание настоящего и взгляд в будущее // *Sotsiologicheskie Issledovaniia*. 2021. No 8: 82–92. DOI: 10.31857/S013216250015258-6

“Sociological portrait” as the purpose of the study. One of the characteristic, one might say, “trademark” features of Russian scientific culture is a special interest in conducting research in the genre of “portrait” sociology, the specific task of which is an integral description of various social worlds and specific societies [Andreev, 2017]. Such works have become a response of the Russian sociological community to an urgent public inquiry – to sort out again who we are, what we are striving for, and how, based on this, to build a new strategy for the

country's development, which, on the one hand, does not contradict the mentality and historical memory of Russians, and, on the other hand, fully meets the challenges of the 21st century.

The methodological groundwork for a "portrait" sociology was already underway in Soviet times, beginning at least with a detailed study of the informational and sociocultural environment of a typical Soviet industrial city led by B.A. Grushin [Mass Information..., 1980]. Later on, the tradition of such sociological descriptions was expanded and enriched in the works of M.K. Gorshkov, N.I. Lapin, J.T. Toshchenko, M.F. Chernysh, V.K. Lavashov, V.I. Fedotova, V.V. Kozlovsky, N.E. Tikhonova, F.E. Sherega and other Russian scientists. The leading role in the development of this direction continues to be played by the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, as well as other scientific institutions, which became part of the RAS FCTAS (Federal Center of Theoretical and Applied Sociology) in 2017.

This article presents the results of another such survey. The sociological survey, which formed its empirical basis, was conducted in March 2021 by questionnaire polls according to the standard for such studies: the sample is of quota-type, representative of the socio-demographic structure of the country's population; the sampled population size is 2000 respondents. The survey covered 22 constituent entities of the federation representing 11 out of 12 territorial and economic regions of the country (except Kaliningrad region). Respondents were offered to answer questions concerning their personal situation and the situation in the country as well as to describe their own social and political activity and actions that they were taking or were going to take to protect their interests. Value preferences were probed through questions involving a choice between two alternative judgments. For example: "People should limit their personal interests for the sake of the interests of the country and society" or "Personal interests are still most important"; "Freedom is the ability to be one's own master" or "One's freedom is implemented in one's political rights." The stratification of the sampling was carried out according to standard socio-demographic parameters (gender, age, level of education, type of settlement where the respondent lives, level of material well-being, religious affiliation, occupation), but some additional specifying characteristics of the socio-cultural context were added to these, such as the education of parents and activity of this respondent in the Internet and social networks (daily, 2–3 times a week, once a month, every month).

Without claiming to be exhaustive, we would like to focus here only on what Russians think about the path of Russia's development, what they would want it to be like in the future, and how they perceive their personal and national prospects.

Thinking about the future. As revealed in previous studies, the term "future" has more positive associations in the Russian mentality than does the term "present". In this respect, Russia stands out against other European countries, where "emotional emphases" in the experience of the arrow of time are set somewhat differently [Andreev, 2014: 59]. Thus, in the seemingly overused phrase "Russia is concentrated on the future" one should not see only a tired metaphor, because this concentration is indeed a characteristic feature of our national psychology.

In the survey, almost two-thirds of respondents (about 63%) reported that they regularly think about their future, almost a quarter have such thoughts at least from time to time, and just over 5% think about it rarely. Only 6% were completely unconcerned about what is to come. In principle, such a distribution of indicators looks more or less natural. But it is necessary to understand what all these thoughts are caused by and how they are reflected in the internal well-being of an individual. When the future is perceived mainly as frightening uncertainty, or even more so as gloomy hopelessness, or is experienced as a chance, the psychological effect will be quite different. In this connection it is necessary to pay attention to the emotional tone of Russians' reflections on the personal prospects opening up before them. As might be expected, the spectrum of emotions experienced in this case ranges from very bright to extremely gloomy. But oppressive feelings, such as fear and despair, are not very common in this case: they affect up to 8.5% of our fellow citizens, while confidence in favorable prospects, calmness, and hope are experienced in the aggregate by almost 60%. The anxiety widespread

Table 1

**Do you have to think about your personal future and the future of your country?
(as a percentage of respondents, the answer was given for each column)**

Frequency	One had to think	
	about one's own future	about the country's future
Regularly	63	27
Sometimes	24	35
Rarely	5	19
Didn't think about it	6	15
Found it difficult to answer	2	4

among Russians is not in itself an anomaly or a sign of psychological malaise, since anxiety is generally inherent in active life and can be avoided only when one is totally apathetic about everything that is going on.

Russians think not only about their personal prospects, but also about the collective fate of the nation, although less frequently than about their own fate. Only one person out of seven is not interested in such matters at all (Table 1). At the same time, it should be noted that our fellow citizens perceive the future of their country in a much more troubling light than their own future.

Let us say that fear and despair concerning our common future were expressed by approximately 17% of respondents in our survey, and regarding their own future – almost twice as little. On the other hand, approximately 18% feel calm and firmly confident about the future of Russia – this is only one percentage point higher than the percentage of those who are discouraged and despondent.

There is a certain weariness of Russians from the accumulated problems; young people in particular do not fully understand the country's development strategy. Obviously, the existing information system is not doing a good job of explaining this strategy, which has led to an increased demand for change. The number of citizens who think that we need new reforms virtually equaled the number of those who would prefer stability to change (47% vs. almost 50%). It should be noted that the proportion of citizens who favor radical changes in Russian society is noticeably lower than in France (68 percent) or the United States (65 percent), although it is higher than in Germany, where it does not exceed the threshold of 39 percent [Wike et al., 2021]. About 10–12 years ago, the gap between the indicators "for change" and "for stability" was much larger: the first of these was approximately at the level of today's Germany (about 40%), while the second reached almost half of the respondents (2008 data). People who identify themselves as supporters of communism, as well as of various versions of socialism, were most often in favor of immediate changes: 59% and 45%, respectively. In the liberal environment, the percentage of those satisfied with the current state of affairs rises to 2/3, and among supporters of an independent Russian path of development – to 70%.

What would Russians want Russia to be like in the future? When asked, our respondents, as in previous years, gave first place to ensuring social justice, which, if we turn to history, has been the main "Russian idea" for centuries. This answer option was supported by more than half of the respondents (the exact figure is 51%). In second place comes the classic set of democratic rights: ensuring individual rights and freedom of expression (41%). They are followed by the preservation of national traditions, time-tested moral and religious values, and strong state authority, with almost equal results (about a third of the answers received). About a quarter of Russians would also like to see their country as a world power – the unifier of peoples. As for such standard elements of the liberal socio-political model as cooperation with the West, private property and free market, minimization of state interference in economy, etc., they, judging by the data we received, appeal to no more than 15–16% of our fellow citizens. The narrowly nationalistic ideal of turning Russia into a "state of Russians" is even less popular; only an eighth of our respondents supported it (Fig. 1).

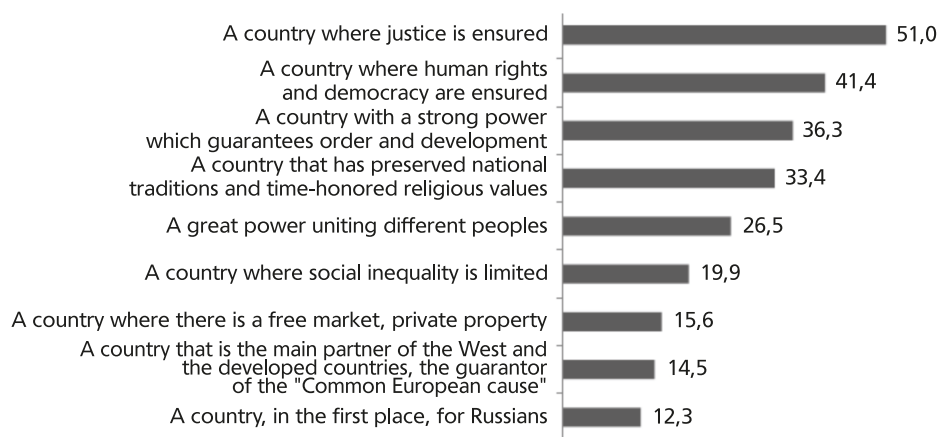


Fig. 1. What would Russians want Russia to be like in the future (in %)

Public opinion has for a long time attached the highest priority to real equality before the law as one of the most urgent tasks that must be resolved in the further development of Russian society. This is the result we have consistently seen in all surveys over the past two decades. According to the spring 2021 data, the highest number of votes (almost 40%) was in favor of a tough fight against corruption. Equality before the law remained among the priorities, but being supported by about 31% of the respondents it moved back to the fourth place, letting mitigation of social inequality (the point of view of 37% of those surveyed) and increase in budget allocations for the social sphere (medicine, education, etc.) take the lead. (However, it is necessary to take into account the opinion of Russians on other aspects of strengthening the rule of law, in particular on the issue of observing the rights guaranteed by the Constitution, which nearly a quarter of our respondents found necessary to mention in their answers as a priority position). Apparently, the acuteness of the problem of ensuring the rule of law was somewhat mitigated by the high-profile arrests of governors, ministers and generals caught on bribes. But it does not cancel the fact that the population is really not satisfied with the organization and financing of health care, and the quality of education and science management is of great concern in the society.

Our fellow citizens also consider the formation of a high-tech economy based on the achievements of modern science and the strengthening of our country's global stature and its effective sovereignty to be important tasks on the way to the future. These points were mentioned by 28 and 25.5% of the respondents in their answers, respectively. However the liberal agenda – the development of democratic institutions, expanding civil rights and freedoms, creating new opportunities for entrepreneurship, ensuring the principle of competitiveness – received rather limited support (in the range of 10–13%) in the context of the country's priorities. Maintaining national traditions and values was also not high on the list of priorities, perhaps because this position is not currently problematic; sufficient attention has already been given to this issue (Fig. 2).

The desired image of Russia in the future as seen by its citizens includes a number of elements inherent in modern Western-type societies. At the same time, it also differs in a number of specific ways, and Russians do not share many of the actively propagandized "fundamental" values of the modern West at all. It must be said that our respondents are quite aware of these differences. The majority of them think that Russia should not follow any ready-made models of development and be guided by externally set criteria – it should rely on its own socio-historical experience. This follows from the answers to the questions that presuppose a choice of two alternative value judgments about the path of socio-historical development. In

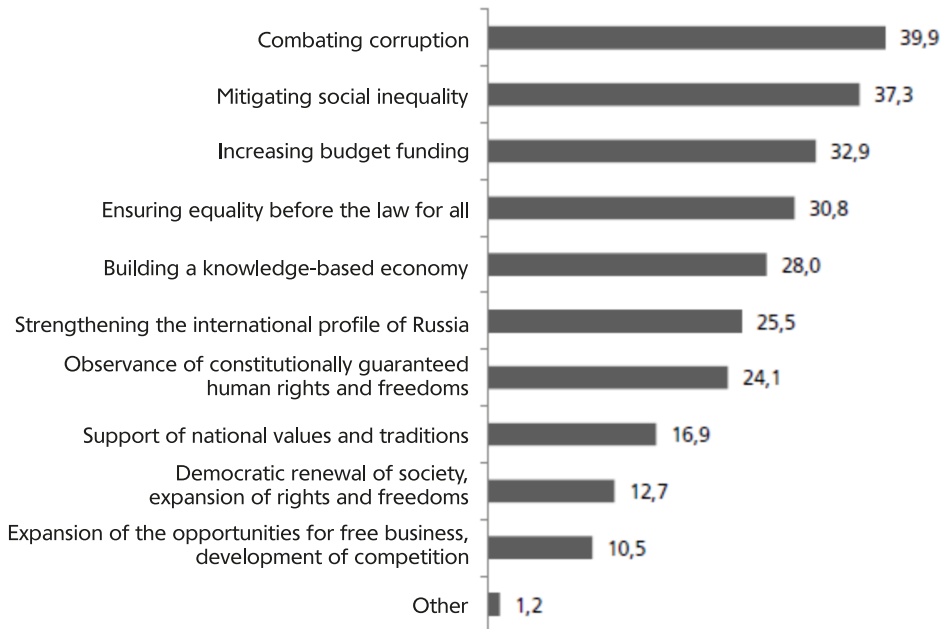


Fig. 2. Priority tasks that Russia should solve (in %)

the same or comparable wording such questions were repeatedly included in the program of studies conducted in different years, which gives us an opportunity to consider the views and attitudes of Russian society in historical dynamics. Thus, for two decades we have periodically asked respondents to decide whether Russia should be seen as part of Europe, which should adhere to the same rules as modern Western states, or whether our country is a separate civilization and the Western way of life will never be instilled in it. The year that V.V. Putin was first elected the President of the country, the ratio of supporters of these alternative points of view was 2: 1 in favor of the pro-European one [Russia on the cusp..., 2000: 406]. More than half of the respondents expressed the opinion that Russia should join the EU as soon as possible. In other words, public mood was largely comparable to what we see, for example, in Georgia, where about 63% of the population rely on support from the United States and the EU [Future of Georgia..., 2021: 24]. However, as the Russian leadership sought to overcome the asymmetry in relations between Russia and the West, and as the West responded with containment strategies and arrogant preachings, ignoring Moscow's concerns and legitimate interests, the vector of Russia's foreign policy orientation began to reverse. In 2007 an approximate parity of two opposing points of view on Russia's fate was recorded: about 35% of respondents agreed with the statement that Russia is part of Europe, the same number joined the opposite thesis – Russia is not a fully European country, it is a special Eurasian civilization, and in the future the center of its policy will shift to the East. It is indicative, however, that in comparison with the previous surveys, the number of those who hesitated and were undecided increased significantly, reaching almost 30% this time. In the 2010s, the outlined tendency continued and the proportion looks again like 1: 2, only the sides have swapped places: in 2011, the thesis on the European nature of Russia was supported by only 36% of respondents, while about 64% spoke for the fact that Russia is not a European but a Eurasian country.

In 2021, one clarifying addition was made to the set of revealing the theme of Russia's civilizational sovereignty and the uniqueness of the Russian path of development: Russian/Eurasian identity was no longer compared only with Western/European one, but also with Eastern

identity: our respondents were additionally offered a choice between judgments: "Russia is a Eurasian power and should cooperate more actively with the countries of the East (China, India, etc.) than with the countries of the West" and "The East is a special world, and we should be very careful with it; it is easier to orient ourselves toward the West, which is more closely tied to us by its culture". In this context, the indicator of support for the Eurasian choice fell slightly to about 53%, while more than 47% of our respondents agreed that it's easier and simpler for us to interact with Europe. One senses that Russia's turn to the East, which has been much talked about in recent years, is perceived somewhat cautiously.

Nevertheless, taking away the "Eastern context" and "leaving Russia alone with the West," we again get the same 1:2 ratio. Thus, according to the results of the choice between the two alternatives: "Russia should live by the same rules as modern Western countries" and "Russia is a separate civilization, the Western way of life will never be instilled in it" – the first was supported by slightly more than one third of the respondents (more precisely, 35%) and the second by almost twice as many (65%). Only young people under 25 years of age fall out of the picture: three out of every five respondents in this group hold pro-Western views. However, the two-fold prevalence of the supporters of the Russian distinctness is almost restored in the next age cohort (26–35 years old), and after 55 years old it becomes at least three-fold. By the way, an orientation to the Western way of life and Western models of development in the eyes of young people does not yet mean "friendship" or even active partnership with the West, let alone any geopolitical obligations to it, including assistance in strengthening the so-called "common European home". Over 76% of our youngest respondents (up to 26 years of age) were against this formulation of the question. This number is certainly lower than in older age groups, where the value of this indicator exceeded 85% (in the 45–55 age cohort) and even 90% (respondents over 55), but it is nevertheless quite eloquent. Besides the point, the distinction between sympathies for Western life and Russia's geopolitical interests fundamentally distinguishes the attitudes of today's youth from the exalted Westernism characteristic of the middle-class urban Russians in the late 1980s and early 1990s.

The Russian understanding of democracy. Closely connected to the Russians' choice of civilization is the thorny question of democracy, which in recent years has become almost the main point of Western criticism towards Russia. Although, as has already been noted, Russians for the most part refuse to accept the Western model of development as an immutable model, it does not follow that they reject the idea of democracy as such. Moreover, of those elements and features of social structure which are considered characteristic of Western societies and which Russians also consider appropriate for themselves, almost all are precisely the various characteristics of democracy. About 2/3 of our respondents said that Russia should be a democratic state, where human rights and individual freedom of expression are guaranteed. Those who believe that democracy will not be instilled in us and that we need a strong individual power capable of ensuring order and unity of the country were in the minority (although their number is statistically significant).

Let us consider another issue, which concerns political freedoms, elective authorities and fair elections, the right to express one's opinion, including through meetings and demonstrations. Almost 3/4 of our respondents agree with the fact that all these things must exist in Russia, and only slightly more than a quarter of them think that these rights should be restricted in order to maintain stability and order.

At the same time, describing Russians' ideas about what Russia should be like, we emphasize that our society has formed its own vision of democracy, which differs from its normative understanding in the West. For example, the majority of our citizens are not inclined to associate freedom with political rights. Freedom in the Russian interpretation is somewhat apolitical – it is rather the absence of restrictions or at least their minimization – what we call the *volya* (it is no coincidence that more than half of our respondents spoke out against monitoring the movement of people within the country, if the aggravation of the coronavirus situation requires it). Another illustrative example: the majority of Russian citizens recognize the legitimacy and

necessity of the existence of a political opposition (a normative element of democracy, which is of great importance in the West), but are not inclined to consider it in the context of the "political pendulum" model characteristic of Western democracies (regular change of political leaders and political parties in power). Gender equality, which has lately been recognized in the West as the most important criterion of democracy, also enjoys considerably less support in Russia: 54 percent versus 90–96 percent in the United States, Canada, Great Britain, Sweden, Australia, or at least 62–70 percent in Poland, the Czech Republic, Slovakia, and Israel [Pew..., 2021]. In general, Russians are characterized by a desire to combine democratic ideals with the historical experience of the political organization of the Eurasian space, which suggests the need for a strong centralized state. The commitment to this model of statehood or, on the contrary, to the decentralization and delegation of more and more power to the localities that is encouraged in Europe divides contemporary Russian society virtually in half: in our survey 52 percent of respondents favored the first alternative, while 48 percent favored the second.

Ideas capable of uniting Russians. But if the state is not so much a mechanism for coordinating interests as a kind of integrator of the national will, this immediately raises the question of a unifying idea (or ideas) under which the Russia of the future will be built. The data at our disposal allow us to consider this question in dynamics as well. The main ideas which, as Russians believe, can unite the Russian society, have been defined long ago. These are the unity of the peoples of our country for the purpose of its revival as a great power, the strengthening of Russia as a democratic and law-governed state, and the unification of peoples in the name of the solution of global problems of mankind. Since this question was first proposed to our respondents (1995), the composition of these three ideas and their distribution by the level of importance (it was determined by the number of respondents who named one or another idea) has remained practically constant. In 1995, 41.4% of those surveyed chose the idea of reviving Russia as a great power as a priority; in 2001, 48%; in 2011, 42% and in 2021, 40%. In 1995, 30% "voted" for the idea of strengthening the Russian Federation as a democratic and law-governed state; in 2001–48%; in 2011–38%, in 2021–30% again. In favor of unification of peoples for the sake of solving global problems of mankind in the same years 23.5%, 24%, 26% and 25% pronounced themselves respectively. As we can see, these figures have varied very little over the course of a quarter of a century. More significant changes took place in the middle and lower parts of the list, where less popular, but still widespread variants of the national idea are listed. For example, a return to socialist values in 1995 was supported by only 10% of respondents; in 2011 – twice as much, in 2021 – over 22%. It is hardly necessary to explain specially what shifts of public mood are hidden behind these dynamics. The idea of confrontation with the West was rising in a similar way: in 1995 it was appealing to only 2% of respondents, and by 2021 this proportion increased more than fourfold. Almost the same number (about 10%) of respondents holding an opposite standpoint and advocating embrace of the West and joining the common European house (in 1995 it was over 12%, and this number exceeded the number of supporters of embrace of the West almost six-fold) turned out to be in our sample. The number of Russians who believe that our society could be united by the belief in a special historical mission of the Russian people has somewhat increased for a quarter of a century. In 1995, they accounted for 7% of our sample; in 2011–9%, and in 2021 – about 11%. On the other hand, judging by the data we received, the "social weight" of the fixation on the purification of society through the Orthodox faith decreased a little: if in the 1990s it gathered 5–6% of votes, then today only 4%. Among the possible options for a national idea, the survey suggested such options as the unification of the Slavic peoples, the broad autonomy of the regions within the Russian Federation, and the priority of the interests of the individual over the interests of the state. Some of these ideas themselves find a certain resonance among Russians, but even the majority of their supporters do not consider them to be a unifying or rallying idea. Thus, in contrast to the value orientations of Soviet times, a large part of the population today puts personal interests above public and state interests, their share reaches 2/3. Nevertheless, there are many times fewer supporters of bringing state and public interests down from the

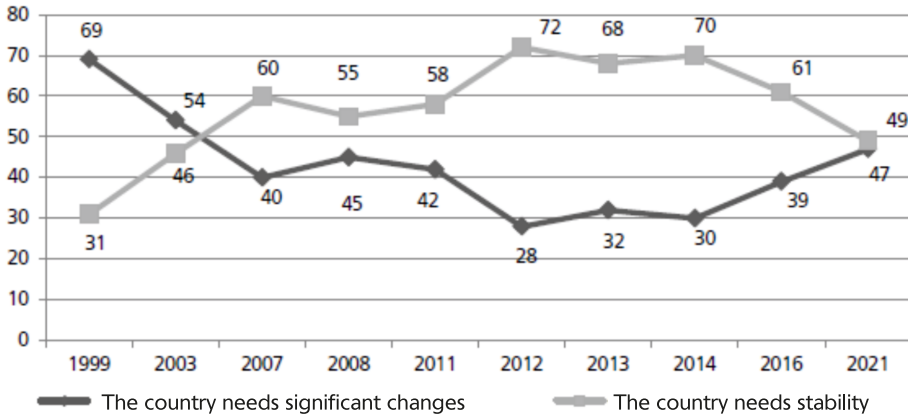


Fig. 3. Dynamics of People's Assessment of the Necessary Changes in Russia (in %)

Table 2

Opinions on Russia's Path of Development, 2001–2021 (as a percentage of the number of respondents)

Statement	2001	2011	2014	2016	2021
The path Russia is following will yield positive results in the long term	59	60	76	65	55
The path Russia is following leads to a dead end	39	39	24	35	45

ideological pedestal as an ideological basis for the consolidation of Russian society. In 2011 there were about 8% of them; by now this number has slightly increased – up to 12%, which, however, does not change the overall picture much. The ideology of individualism, despite its prevalence, has still not gained mass recognition in our country. Under the column "Another Idea" some of our respondents inscribed the resignation of V.V. Putin from the post as the President of the Russian Federation. We have found 0.4% of such in our sample.

Assessment of the Current Path of Development of the Country. When asked whether Russia is following the right path today and whether it will lead to positive results, more than half of the respondents (55%), despite all the difficulties experienced recently (Western sanctions, COVID-19, high levels of corruption, etc.), answered in the affirmative. At the same time, it is noteworthy that the value of this indicator, which had been rising steadily for a long time after 2000, has declined by more than 20 p.p. over the past 5–6 years (Table 2). Nevertheless, 55% is 8 percentage points higher than the above-mentioned value of the indicator characterizing the intensity of the demand for changes forming in the society (47%). Hence it can be concluded, at least presumably, that the need for change has been at least partially satisfied, and this, in turn, leads Russians to the idea that the current government, for all its shortcomings, is basically coping with the country's development tasks (Fig. 3).

Demand for Change and Ideological and Political Segmentation of Society. The variety of opinions on various aspects of Russia's future development that we have described here is all integrated into the four consolidated ideological movements that have emerged in contemporary Russian society, which can be characterized as right- and left-wing liberal, social-traditionalist (left of various trends, including both orthodox and unorthodox communists), and conservative-statist (the core of which consists of supporters of a Russian independent development path focused on one or another version of "national" state capitalism). However, the process of ideological self-identification and party segmentation of Russian society is complicated to a certain extent: only a third of our respondents could give a definite answer to the

question concerning their affiliation with any particular ideological movement. Approximately 7% ascribed themselves to liberals and advocates of a market economy, approximately 18% as left (including nearly 11% – as communists), and almost 7% as supporters of an independent national path of development. Most respondents could not definitely answer the question about their ideological choice: almost every second respondent said they did not support any movement, while about 18% said they supported a combination of various ideas, avoiding extremes at the same time. In total, this “sector of uncertainty” amounts to more than two-thirds of our sample.

In a situation of “recurring ideological changes,” it is difficult for citizens to choose a party that would sufficiently correspond to their ideas about how the country should be run. A considerable part of the Russian electorate feels uncertain about the choice that is to be made, and cannot make up their mind until the very moment of voting. In particular, in the spring of 2021, five months before the elections, only 44% of our respondents confessed that they would not vote for any party, that they would not go to the elections, or that they could not yet decide whom they should support this time.

In this connection it would be natural to raise the question about the length of the life cycle and the “wearout period” of various political projects. After all, even in contemporary clip way of thinking, sooner or later the problem of verification arises. In the specific psychic atmosphere of the postmodern, this or that party or movement can, of course, simultaneously hand out advances to liberals, supporters of a “strong” state, and socialists, as well as to modernization enthusiasts and traditionalists. But advances always involve expectations that must someday be met, at least in part. And in politics, this “someday” usually fits into fairly close time horizons and may even mean something like “in the next electoral cycle.”

We cannot delve further into this rather special and difficult topic here. However, we cannot help mentioning some specific symptoms, foreshadowing the occurrence of similar problems in the future. Let us take for comparison the dynamics of the segmentation of the electorate of the “United Russia” according to its political preferences on the threshold of the previous and forthcoming parliamentary elections in September of this year. In the first case, the forecast estimates, based on the data of sociological monitoring of the elective field, already six months before the elections (March–April 2016) proved to be very close to the actual voting results. For example, the VCIOM (All-Russian Public Opinion Research Center) April forecast for United Russia was 47–48% of the vote, while the actual result was just over 54% in the nationwide constituency and about 48% in the single mandate constituencies. The projected estimates for the other parties that participated in the elections were also close to the actual election results. In 2021, however, the picture looks different. The survey we conducted gave UR (United Russia) only a little more than 17% of voters who had already made up their minds. The forecast of the VCIOM April survey is more optimistic – about 29% [Ratings of confidence in politicians..., 2021]. However, it is also far from the 47–48% that sociologists promised the government party six months before the 2016 elections. Forecasts for other political actors are still close to the results they usually get in elections. However, we should pay attention to the fact that the increase in doubts in relation to the government party is not accompanied by a proportional increase in the influence of any other political actor, as usually happens in the framework of the “pendulum” model of elective democracy. And this, in our opinion, can be seen as a symptom of increased uncertainty and increased doubts of Russians in general. We can also talk about the crisis of the institution of political parties as the spokespersons of the interests of the population. In fact, parties have the lowest confidence rating of all political and public institutions in the country: according to sociological surveys, only one out of five citizens trusts them.

Nevertheless, a significant majority of the population (over 63%) believes that despite all the shortcomings of the current government it still deserves support. This is noticeably higher than the 47% who preferred stability to change. Another question is that in mass consciousness authorities are identified not so much with some formal “government institutions”, as with a

complex system of multilevel relations of state institutions, public organizations, “think tanks” and generators of information flows, the uniting center of which is the figure of the President. A simple calculation shows that at least one third of our respondents, who support the idea of the necessity in changes, vote “for the authorities”. Probably, it should be understood in such a way that the majority of the population relies upon the present leadership of the country for their implementation.

REFERENCES

- Andreev A.L. (2014) Russians and Europeans: Cultural and Psychological Characteristics of People and Societies. In: *Russia and Europe. Vol. 1: History, Traditions and Modernity*. Moscow: Veche: 50–100. (In Russ.)
- Confidence Rating of Politicians, Assessments of the Work of the President and the Government, Support for Political Parties*. (2021) WCIOM. April 9. URL: <https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10747> (accessed 02.05.2021). (In Russ.)
- Future of Georgia: Survey Report*. (2021) CRRG Georgia. URL: https://crrc.ge/uploads/tiny_mce/documents/Future%20of%20Georgia/Final%20FoG_Eng_08_04_2021.pdf (accessed 02.05.2021).
- Mass Information in the Soviet Industrial City*. Moscow: Politizdat. (In Russ.)
- Russia at the Turn of the Century*. (2000) Moscow: ROSSPEN. (In Russ.)
- Wike R., Silver L., Schumacher S. (2021) Many in US, Western Europe Say Their Political System Needs Major Reform. Pew Research Centre. March 31. URL: <https://www.pewresearch.org/global/2021/03/31/many-in-us-western-europe-say-their-political-system-needs-major-reform/> (accessed 02.05.2021).

I.M. KUZNETSOV

FOUNDATIONS OF RUSSIANS' VALUE CONSOLIDATION: TRADITIONALISM AND RENEWAL

Igor M. KUZNETSOV, Cand. Sci. (Sociol.), Leading Researcher, Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia (ingvar31@yandex.ru).

Abstract. The article presents first results of an analysis of the consolidating potential of Russians' value orientations. The empirical basis of the study is a survey of 2000 Russian citizens in September 2020. Following conclusions were drawn in analyzing the survey data. The level of support for the idea of civilizational originality of Russia is over 70% allowing us to conclude that this value benchmark has a high consolidation potential. This idea is for a majority of Russians a marker of their identity delimiting the Russian cultural, historical and even civilizational space. Orientation towards this value marker ensures cultural identity of contemporary Russians (including the youngest) with Russians of other historical eras. At the same time, an overwhelming majority of Russians is focused on a liberal understanding of the values of civic consciousness, which indicates an almost massive rejection of the ideological imperatives of the Soviet period. The process of renewal of the value orientations in civic consciousness is characteristic not only for young people, but also for older age groups, including those respondents whose civic consciousness has been formed in the Soviet era.

Ключевые слова: value orientations • value semantics • terminal values • traditionalist values • liberal values

DOI: 10.31857/S013216250016786-7

This article is a translation of: Кузнецов И.М. Основания ценностной консолидации Россиян: традиционализм и обновление // Sotsiologicheskie Issledovaniia. 2021. No 8: 93–102. DOI: 10.31857/S013216250014161-0

Working Concept of the Research. The peculiarity of the analysis of values in terms of their consolidation potential is that, given the great diversity of ethnic cultures that characterize Russia, it is necessary to take such an approach to the research of value diversity that would allow us to assess the measure of commonality among Russians who hold different ethno-cultural standards in their vision, perception and evaluation of current and historical events. In the course of research in 2014–2018, such an approach was developed [Interethnic Concord ..., 2018: 217–244; Russian Society..., 2016: 86–104]. Its essence is that the list of values, their hierarchy in this or that cultural and historical community is recognized as relatively constant over time. In other words, if we build prioritized lists of values, we will every time get some "eternal" set: family, prosperity, work, health. But when analyzing such a set, we cannot see how the value of, say, a family for the Soviet people of the mid-1980s differs from the same value for today's Russians, or how this value for residents of a North Caucasian village differs from the value of a family for inhabitants of a Moscow metropolis. This question can only be answered by analyzing the content of these or other designation in this list of values. The temporal dynamics of change, the difference or similarity of the values of different ethno-cultural communities is manifested (and can be measured) at the level of the content of the concepts denoting social values, i.e. at the level of value meanings. These gradual changes in the content of this or that value can be placed between two poles which, following R. Inglehart [Inglehart, Welzel, 2011], can be conventionally designated as *traditional* and *modern* (or *secular-rational*) poles of interpretation of value concepts.

This approach can complement approaches based, for example, on distinguishing certain types of values – traditional, universal, modern [Globalization and Social..., 2010: 27] – and the

subsequent analysis of the combination of these types at different times and in different cultural contexts. In our approach, if we want to fix the current state of a given system of values or to compare different systems, we must determine the position of the value systems in question on the "traditional-modern" scale.

Here we must recognize that the choice of the term "traditional" may not be entirely acceptable for one of the poles, since it has many commonplace, politicized, evaluative interpretations. In populist discourse, for example, traditionalism is often associated with some "backward" archaicism or with what can be conventionally called "rut," i.e., some kind of social conformism. Traditionalism, as we understand it, is views on life, systems of evaluation, behavioral practices, etc., that constitute the social and cultural heritage of a given community, which is passed from generation to generation [Traditions and Innovations..., 2008: 18] but is constantly renewed. The process of integration of innovations into the traditional system can be defined as the *traditionalization of innovations*, which provides *legitimization* of innovations in the traditional consciousness [Aksenova, 2016]. Simultaneously with the traditionalization of innovations there is a process of *modernization of traditions*, which ensures their stability over time. Thus, within the concept of "reflexive modernization", one of the directions of tradition modernization lies in the fact that "traditions are preserved only to the extent that they are available for discursive justification and open dialogue not only with other traditions, but also with alternative modes of activity" [Giddens, 1994: 105]. In our research context of comparing outwardly different value structures, it is important to point out what is common to both archaic systems, where tradition is perceived as a given, as heritage, and to those in the process of reflexive modernization, where tradition is also present, but already as a reflexive and rationally grounded tradition. In our opinion, the common basis, the intention of the traditionalist pole of interpretation of value meanings is to ensure the preservation and continuity in time of this *community*, which is perceived, figuratively speaking, as the only environment for human habitation and reproduction not just the population, but human souls (in those socio-cultural definitions of this phenomenon which are characteristic for given community).

We refer to the alternative analytical pole of the scale of variation of value meanings as modern, or secular-rational. The dominance of modern value meanings is characteristic of postmodern communities with their attitude to members of society as individuals [Bauman, 2008: 37]. At the same time "individualization" consists in the transformation of human "identity" from "given" to "find" and in making individuals responsible for this task and for the consequences (as well as side effects) of their actions" [Bauman, 2008: 39]. In our opinion, the intention of modern pole of value meanings can be characterized as ensuring self-realization of separate individuals regardless of given social context. Thus, returning to the example of the variability of meanings of the value of "family", we can say that this value can occupy an equally high place in the hierarchy of values of both traditionalist and modernist types. However, in the first case the latent meaning of this value is reproduction of worthy members of this community (and, as a consequence, recognition of the family as a "basic unit" that ensures preservation of society), while in the second case the family can be understood as one of the platforms of personal self-actualization (and, accordingly, be considered as one of many forms of self-organization of individuals, equally significant with other such forms of self-organization).

Finally, following other researchers, we believe that value systems have a multilevel hierarchical structure from value imperatives of the abstract ideological level (in the tradition going back to M. Rokeach [1973], they can be designated as "terminal values") to a ramified set of principles of everyday behavior ("instrumental values", according to Rokeach)

According to the results of the studies of designated above period, a conclusion was made that the traditionalism of Russians is most vividly manifested in the broad support for the traditional interpretation of terminal values, and the process of modernization of the modern Russian public consciousness is most clearly manifested in the revision or rejection of the traditional interpretation of instrumental values. In particular, the set of instrumental value meanings of economic (labor) activity, which became traditional during the time of domination of the

Soviet distributive economic model and total collectivist ideology, is actively replaced by instrumental meanings more appropriate to the conditions of activity in the global market economy with its values of achievement and individualism.

Additionally, it is concluded that the modernization of value meanings at the instrumental level leads to the fact that the value imperatives of the generalized level gradually cease to perform the function of imperatives proper (prescriptions for action) and begin to function as a kind of markers, delimiting the Russian cultural, historical and even civilizational space. The orientation towards these markers-values ensures the identity of the Russians' awareness of themselves in historical time. The traditionalism in comprehending the markers of Russian cultural and historical space means the orientation on maintaining the stability and continuity in time of this space [Kuznetsov, 2017].

This article presents the first results of the next stage of the study of Russians' value meanings, the task of which is to trace the dynamics of change and determine significant relationships between the most supported terminal value meanings and a number of instrumental socio-political dispositions of Russians, which will eventually allow to determine the measure of their consolidation potential within the framework of the approach outlined above.

Empirical basis and instruments of the research. The empirical basis of the research was the data from the mass survey of the population of the Russian Federation, conducted during the first stage of the research project "All-Russian identity and inter-ethnic relations: social practice, public discourse and managerial decisions"¹. The survey was conducted in September 2020 using a representative all-Russian stratified quota sample. The sample size was two thousand respondents, representing the adult (18 years and older) population of the Russian Federation according to the parameters of age, gender, socio-professional status, education, and type of settlement.

In order to assess the consolidated potential of the terminal values, the respondents' attitudes towards two alternative statements characterizing the place of Russia in the global world in general and on the European continent in particular were measured. Respondents were asked to choose between the statements "Russia needs to strengthen its own historical traditions, moral and religious values" and "Russia needs to more actively implement the laws and values of the way of life accepted in economically developed countries". Agreement with the first or second statement was recorded on a four-point scale: 1 – agree with the first statement, 2 – rather agree with the first statement, 3 – rather agree with the second statement, 4 – agree with the second statement. Here the first statement is interpreted as reflecting a traditionalist view, which has quite deep historical roots, of the "special way" of Russia and the special mentality of Russians. This is reflected, for example, in Russian classical literature of the 19th century (N. Gogol, F. Dostoevsky)

According to Yu. Levada and his colleagues, such a perception already at the level of official ideology is typical for the Soviet period of Russian history as well: "The first of the fundamental characteristics of the "Soviet man" is the indoctrinated and perceived idea of his exclusivity, specialness, a fundamental difference from the typical man of other times and social systems". [The Soviet Commoner..., 1993: 13]. The other statement reflects an idea, alternative to the first one, of Russia as an integral part of the European mental and cultural space. This view also has deep historical roots, but it has become particularly relevant and demanded in the post-Soviet period of Russian history.

Three pairs of statements were chosen as alternative values reflecting different dimensions of civic consciousness. Moreover, statements reflecting the ideological collectivist characteristic of the Soviet period of Russian history act as the conventional traditionalist pole. The first pair of statements concerns the choice between tradition and innovation in everyday life: "The

¹ Program of scientific research related to the study of ethno-cultural diversity in Russian society and aimed at strengthening all-Russian identity (Instruction of the President of the Russian Federation No. PR-71 dated 16.01.2020).

Table 1

Respondents' opinions about Russia's place in the global world
(percentage of respondents who answered)

The first statement: "Russia needs to strengthen its own historical traditions, moral and religious values." The second statement: "Russia needs to more actively implement the laws and values of the way of life accepted in economically developed countries".	%
Definitely agree with the first statement	37.7
Rather agree with the first statement	32.4
Rather agree with the second statement	22.7
Definitely agree with the second statement	7.2

main thing is to respect the established customs and traditions" or "The main thing is initiative, entrepreneurial spirit, search for something new in work and life, even if you find yourself in the minority". The second pair concerns the choice between "opportunism" and active citizenship: "One needs to be able to adapt to reality, not waste its own energy fighting it" and "One needs to actively fight for its own interests and rights". Finally, the third pair concerns the choice of public or personal interests as a priority: "People should limit their personal interests for the sake of public interest and interests of the country" and "Ensuring personal interests is the main thing". Agreeing or disagreeing with any of the pairs of statements was also rated on a four-point scale.

The Consolidating Potential of Traditionalism. Data on respondents' assessments of the alternatives described above for Russia's place in the global world (Table 1).

A total of 70% of Russians have a traditional view of the need to strengthen their own historical traditions, moral and religious values. It is important to note that according to the results of long-term measurements of this (or similar) indicator, the level of support for the values in question has remained virtually unchanged for 20 years. Thus, in 2001 the share of support for this view of Russia was 68%, and in 2011 it was 67%. It was then, in 2011, that the opinion was expressed that "since the mid-1990s, the Russian society has been strengthening its own identity, when the originality of Russia is perceived not as a historical curse, but as a value" [Gorshkov et al., 2011: 156–157].

In order to establish how consolidating this value is for Russians, it is necessary first of all to consider the prevalence of the idea of civilizational originality of Russia in different socio-demographic groups. Our calculations show that there are no significant differences in support for this value among respondents living in different types of settlements, with different levels of education, different socio-professional status, who refer themselves to different ethnicities and to different groups in terms of material security. Significant differences in the support of the specified value are observed only in different age groups (Table 2).

Table 2

Opinion on Russia's place in the global world among respondents of different ages
(in %, the percent of those who agree and those who rather agree with the statement)

Answer options	Age group (years)				
	18–30	31–40	41–50	51–60	older than 61
Russia needs to strengthen its own historical traditions, moral and religious values	60.6	64.3	72.8	76.3	78.3
Russia needs to more actively implement the laws and values of the way of life accepted in economically developed countries.	39.4	35.7	27.2	23.7	21.7

Note. Pearson's chi-square $p \leq 0.001$.

Support for the traditionalist value increases with age, and the greatest difference in the degree of support is observed in the extreme age groups (18–30 years old and over 61 years old). If we take into account the fact that in both 2001 and 2011 the same regularity was fixed [Gorshkov et al., 2011: 156], then there are reasons to claim that differences in support for the opinion about the civilizational originality of Russia in different age groups are determined more by mental features of the respondents' age rather than represent intergenerational differences. Otherwise, i.e. if the differences were of an intergenerational nature, in dynamics we would observe a decrease in support for this pole among respondents of the same age in different years. In other words, if the low support of the opinion about Russia's civilizational uniqueness by respondents who were, say, 20 years old in 2001, was determined by the fact that they are people of another ("post-Soviet") generation, then we would record equally low support of this opinion of people who will turn 40 in 2021 (i.e. the former twenty-year-olds).

However, this is not the case. Thus, it can be said that age differences in support for the value in question are transient, and opinion about Russia's place in the global world changes towards the traditionalist pole with age.

Despite the differences noted above, even at the minimum the level of support for the view of Russia's civilizational uniqueness is over 60%, which allows us to conclude that the consolidation potential of this value is high.

Consolidation potential for the renewal of values of civic consciousness. As noted above, the broad support for traditionalist values at the terminal level by no means prevents active processes of modernization of the system of values at the instrumental level, in particular in the sphere of economic activity, which corresponds to the new economic realities [Interethnic Concord..., 2018: 231]. The current project tested the extent to which this conclusion can also be expanded to the instrumental values reflecting the realities of Russia's modern socio-political structure. The data we obtained indicate an active modernization of Russian civil consciousness (Table 3).

Meanwhile, despite such broad support for the modern meanings of socio-political values across the board, the level of this support can vary significantly among different socio-demographic

Table 3

**Respondents' evaluation of alternative meanings
of socio-political values ((percentage of respondents who answered)**

Socio-political values	%
The first statement: <i>"The main thing is respect for established customs and traditions"</i>	
The second statement: <i>"The most important thing is initiative, entrepreneurial spirit, search for something new in work and life, even if one finds oneself in the minority"</i> .	
Definitely agree with the first statement	10.5
Rather agree with the first statement	23.4
Rather agree with the second statement	33.9
Definitely agree with the second statement	32.2
The first statement: <i>"One needs to be able to adapt to reality, not waste its own energy fighting it"</i>	
The second statement: <i>"One needs to actively fight for his/her own interests and rights"</i>	
Definitely agree with the first statement	6.1
Rather agree with the first statement	25.7
Rather agree with the second statement	33.7
Definitely agree with the second statement	34.5
The first statement: <i>"People should limit their personal interests for the sake of public interest and interests of the country."</i>	
The second statement: <i>"Ensuring personal interests is the main thing"</i>	
Definitely agree with the first statement	6.2
Rather agree with the first statement	31.6
Rather agree with the second statement	34.7
Definitely agree with the second statement	27.5

Table 4

Estimation of the "tradition" – "innovations" alternative by respondents with different levels of material well-being (in %, the percent of those who agree and those who rather agree with the statement)

Answer options	Social stratum		
	High-income	Middle-income	Low-income
The main thing is respect for established customs and traditions	14.3	29.4	39.3
The main thing is initiative, entrepreneurial spirit, search for something new...	85.7	70.6	60.7

Note. Pearson's chi-square $p \leq 0.001$.

groups of Russians, reflecting the different speeds at which the socio-political consciousness of various strata of Russian society is being modernized.

Differences in assessments for the greatest number of socio-demographic parameters are fixed for the value "traditions" vs "innovations". Thus, there are significant differences in the level of support for the traditional pole of this value among respondents living in different types of settlements. Moreover, the least support for this pole is recorded not by any means in metropolitan cities and large cities, as it would be logical to expect, but in small and medium-sized cities under district jurisdiction. Whereas in metropolitan cities and central cities of regions the traditional pole is supported at the level of approximately 33%, in small and medium cities it is 28% (Pearson's chi-square $p \leq 0.05$). Perhaps this is a reflection of the conflict between the need of the population of these cities (especially local youth) to practice new (assimilated, for example, through the global information network) models of everyday behavior and traditional systems of external social control over behavior that are quite preserved in these cities today (but already almost destroyed in large cities).

Even more significant are the differences in support for the traditional pole of the value "traditions" vs "innovations" among respondents who consider themselves to be high- and middle-income groups and respondents who consider themselves to be low-income. Among the former, the modernization of the meanings of the value in question is more rapid than among the latter (Table 4).

We observe the opposite picture when comparing the assessments of representatives of Russia's major traditional confessions (Orthodox Christians and Muslims) and atheists.

Modernization processes among atheists go faster than among believers of the specified confessions (for comparison: the traditional pole here is supported by 44% of Muslims, 36% of Orthodox Christians and 23% of atheists). There is also a tendency for ethnic Russians to modernize relatively faster than other ethnic groups in Russia.

In our view, the above differences in support for the traditional pole of this particular value among representatives of different strata of Russians can be explained by the fact that here we are talking not so much about overcoming the Soviet legacy, as about rethinking the imperative, which has very deep historical roots in the Russian socio-cultural matrix. We can cautiously assume, as a hypothesis for a more detailed research, that in this case we are dealing not so much with rejection as with a process of gradual renewal, rethinking of the traditional imperative "to live like everyone else" in relation to the new conditions for historical Russia. Perhaps gradually, as new generations come into active life, the criteria and examples of this "like everyone else" will change, but the principle itself will remain.

We already observe somewhat fewer differences in support for the traditionalist pole of the value "civic passivity" vs. "civic activism". Here, just as in the previous case, support for civic passivity is lower for respondents in small and medium-sized cities under district jurisdiction and higher for residents of metropolitan cities. The traditionalist meaning, i.e. the statement "One needs to be able to adapt to reality, not waste its own energy fighting it" is supported by 39% of residents of metropolitan cities and 26% of residents of small and medium-sized cities. Respondents who classify themselves as low-income also have more support for civic passivity. Unlike in the previous case, however, no differences were fixed between believing respondents

Table 5

Assessment by respondents of different ages of alternative meanings of socio-political values (in %, the percent of those who agree and those who rather agree with the statement)

Answer options	Age group (years)				
	18–30	31–40	41–50	51–60	older than 61
<i>“Traditions” vs. “innovations”</i>					
The main thing is respect for the existing customs and traditions	20.4	28.8	31.4	39.1	51.0
The main thing is initiative, entrepreneurial spirit, search for something new...	79.6	71.2	68.6	60.9	49.0
<i>“Civic Passivity” vs. “Civic activism”</i>					
One needs to be able to adapt to reality, not waste its own energy fighting it	23.0	32.3	30.3	31.7	41.1
One needs to actively fight for its own interests and rights	77.0	67.7	69.7	68.3	58.9
<i>“Public interest” vs. “individual interest”</i>					
People should limit their personal interests for the sake of public interest and interests of the country	29.4	36.8	37.9	36.9	47.8
Ensuring personal interests is the main thing	70.6	63.2	62.1	63.1	52.2

Note. Pearson's chi-square $p \leq 0.001$.

Table 6

Assessment by respondents of different ages of the alternative “tradition” “innovations”, 2011* and 2020 (in %, the percent of those who agree and those who rather agree with the statement)

Statement	Age group (years)					On average by sample
	18–30	31–40	41–50	51–60	older than 61	
2011						
The main thing is respect for established customs and traditions	45.2	52.1	61.4	63.5	68.3	57.3
The main thing is initiative, entrepreneurial spirit, search for something new...	54.8	47.9	38.6	36.5	31.7	31.7
2020						
The main thing is respect for established customs and traditions	20.4	28.8	31.4	39.1	51.0	33.8
The main thing is initiative, entrepreneurial spirit, search for something new...	79.6	71.2	68.6	60.9	49.0	66.2

Note. *Calculated on the basis of the survey within the framework of the All-Russian sociological research “Twenty years of reforms in the eyes of the Russians”, the survey was conducted in April 2011, the sample of 1750 people from 18 years of age and older [Gorshkov et al., 2011].

and atheists or between representatives of different ethnic groups in Russia. Finally, there are virtually no significant differences in socio-demographic parameters (with the exception of age) in the level of support for the traditionalist pole of the value “public interest” vs “individual interest”. Age differences in support for one pole or another are most revealing for all of the above-mentioned values of civic consciousness (Table 5).

Among young people, the process of renewing the meanings of socio-political values is more active than in older age groups, which is quite logical, given the age peculiarities. One of the central questions here is whether this process is related only to age or whether we are still dealing with a relatively massive change in the meanings of socio-political values. In order

to answer this question, it is appropriate to compare the data on age differences in assessment of the same indicator for different years (Table 6).

If we start by comparing the data on average for the array (Table 4) obtained in 2011 and 2020, we can see that over the past decade the value of renewal, an active approach to life that corresponds to contemporary Russian socio-political realities, has been firmly established in the public opinion of Russians. This applies even to people in the most conservative age group (over 61 years old). The attitude of representatives of this group to tradition and innovation in everyday life and work in 2020 is approximately similar to the assessments of the poles in question among young people aged 18–30 in 2011. This allows us to conclude that the differences in the assessment of alternatives to socio-political values fixed in 2020 are related not to the transient age-specific features of the respondents, but rather to sustainable *inter-generational* changes, i.e. they reflect a change in the socio-political values of Russians, their almost massive retreat from the ideological imperatives of the Soviet period.

In their assessments of the entire set of socio-political values, Russians overwhelmingly support statements that correspond to the new socio-political realities of Russia. The only exception is the group of respondents over 61 years old, i.e. those who had the main stages of socio-political socialization in Soviet times. But even representatives of this age group, albeit by a very slender margin, support statements that reflect the current socio-political realities. Thus, it can be said that the process of renewing the meaning of socio-political values of the Russians is massive in nature.

Main conclusions. The level of support for the opinion about the civilizational uniqueness of Russia is over 70%, which allows us to conclude that this value has a high consolidation potential. One of the manifestations of this consolidation is that the belief in the civilizational distinctiveness of Russia is an identity marker for the majority of Russians, which delimits the Russian cultural, historical, and even civilizational space. Orientation to this value marker ensures the cultural identity of contemporary Russians (including the youngest) with Russians of other historical eras.

Russians in the vast majority, i.e. consolidated, support statements that reflect the new socio-political realities of Russia. At the same time, the process of renewing the values of civic consciousness is characteristic not only for young people (which is quite logical), but also for older age groups, including those respondents whose civic consciousness was formed in the Soviet era.

We can say that the phenomenon of the “*Soviet common man*”, described in detail by Yu.A. Levada and his colleagues *Soviet Common Man...*, 1993], is a thing of the past. It also means that in relation to the current situation it would not be quite correct to talk about the majority of public opinion as a “silent” or “submissive” majority.

Finally, it should additionally noted that the fact of support for the traditionalist pole of value meanings at the terminal level is quite compatible with support for the modernized meanings of instrumental values. These latter, being *instrumental* in their function, can meet the tasks of supporting both traditionalist and modernist values of the terminal level.

REFERENCES

- Aksenova O.V. (2016) Modernization or Development: Traditional Basis of the Progress in Russia. *Vlast* [The Authority]. Vol. 24. No. 9: 31–36. (In Russ.)
- Bauman Z. (2008) *Liquid Modernity*. St. Petersburg: Piter. (In Russ.)
- Devyatko I.F., Fomina V.N. (eds) (2010) *Globalization and Social Institutions: Sociological Approach*. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Drobizheva L.M. (ed.) (2018) *Interethnic Accord in all-Russian and Regional Dimension: Socio-cultural and Religious Contexts*: monogr. Moscow: FNISTS RAN. (In Russ.)
- Giddens A. (1994) Living in a post-Traditional Society. In: Beck U., Giddens A., Lash S. (eds) *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Cambridge: Polity Press: 56–109.

- Goffman A.B. (ed.) (2008) *Traditions and Innovations in Contemporary Russia: Sociological Analysis of Interaction and Dynamics*. Moscow: ROSSPEN. (In Russ.) Gorshkov M.K., Krumm R., Petukhov V.V., Byzov L.G. (2011) *Twenty Years of Reforms through the Eyes of Russians: The Experience of Many Years of Sociological Measurements*. Ed. by M.K.
- Gorshkov, R. Krumm, V.V. Petukhov. Moscow: Ves Mir. (In Russ.)
- Gorshkov M.K., Petukhov V.V. (eds) (2016) *Russian Society and Current Challenges*. (2016) Book 4. Moscow: Ves Mir. (In Russ.)
- Inglehart R., Welzel C. (2011) *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Moscow: Novoe izdatelstvo. (In Russ.)
- Kuznetsov I.M. (2017) The Value Markers of Russians' Cultural and Historical Identity. *Vestnik instituta sotziologii* [Bulletin of the Institute of Sociology]. Vol. 8. No. 3: 12–31. (In Russ.) DOI: 10.19181/vis.2017.22.3.466.
- Levada Yu.A. (ed.) (1993) *Soviet Common Man: Experience of a Social Portrait at the Turn of the 90s*. Moscow: Mir, Okean. (In Russ.)
- Rokeach M. (1973) *The Nature of Human Values*. New York: Free Press.

© 2021 r.

M.A. SHABANOVA

SEPARATE WASTE COLLECTION AS RUSSIANS' VOLUNTARY PRACTICE: THE DYNAMICS, FACTORS AND POTENTIAL

Marina A. SHABANOVA, Dr. Sci. (Soc.), Prof., Leading Researcher, Center for Studies of Civil Society and the Nonprofit Sector, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia (mshabanova@hse.ru).

Abstract. The paper presents the data of three all-Russia representative surveys (2014, 2017 and 2020) on the dynamics of the levels, factors and conditions of citizens' engagement in the practice of separate household waste collection (SWC). It has been ascertained that today a major (and increasingly growing) share of Russians do not reject their engagement in SWC but put forward a counter-demand for an available and convenient infrastructure and information in this sphere. The progress in the development of an enabling environment in 2019–2020 had an impact on the sharp increase in the number of actual SWC participants, a growing number of potential participants and a drastic decline of those who are indifferent, which somehow mitigated adverse impact of the waste problem owing to the pandemic. The study provides evidence that despite the persistence of key motivations and factors of engagement in SWC, significant changes occurred in their structure in 2020 resulting from the waste reform, change in the quality structure of participants and the pandemic challenge. Based on the new wave of the survey, the paper makes a conclusion about the potential and measures for further enhancement of Russians' participation in SWC.

Keywords: waste issue • civil society • separate collection of household waste • environmental consumer responsibility • pro-environmental behavior • ethical consumption • COVID-19 pandemic

DOI: 10.31857/S013216250016788-9

This article is a translation of: Шабанова М.А. Раздельный сбор бытовых отходов как добровольная практика россиян: динамика, факторы, потенциал // *Sotsiologicheskie issledovaniia*. 2021. No 8: 104–117. DOI: 10.31857/S013216250015256-4

Introduction. The severity of the waste issue in Russia is on the rise. It is manifested by congestion of existing landfills, reproduction of unauthorized landfills, increase in the volume and appearance of new types of waste amid the pandemic, discontent and public protests against dumping, etc. The experience of countries that have had a great progress in solving the waste issue over the past two or three decades indicates that recycling with pre-sorting of waste into different fractions is the most effective and safe way to deal with waste [Hoornweg, Bhada-Tata, 2012: 27]. In Russia, the separate collection of household waste (SCHW) remains a purely *voluntary* practice of civil society (CS): it is promoted mainly by pro-environmental and pro-social grounds, it is associated with additional efforts and time costs on the part of participants, but is not accompanied by any incentives or sanctions. The boundaries of this sphere of the civil society are constantly changing and depend on the actions of other concerned parties, as well as on trigger events. The specifics of 2020 consists in the simultaneous impact of two

differently directed processes on the participation of Russians in the SCHW: active promotion by the government and business of the conditions for the SCHW and COVID-19 pandemic that complicated this promotion.

Amid the pandemic, the conditions for participation of all actors in the reform of this sphere have become more complicated: firstly, the volume of garbage in the residential sector has increased (according to regional operators, averagely by one third)¹, new types of garbage (masks, gloves) have appeared; and secondly, consumer preferences have changed. Among them there are unwillingness to bring household waste to separated containers due to the fear of infections in the elevator; increased consumption of antibacterial wet wipes and products, disposable bags; rapid growth of online purchases, and, accordingly, packaging materials, etc. In addition, the pandemic has suspended the work of companies and charitable organizations that take away (accept as a gift) unnecessary items/things, free transfer or peer-to-peer sales of used things or other items. The volume of garbage thrown out has also increased in connection with general cleaning and repairs of apartments/houses, which were pushed by forced isolation. In some countries, the researchers have recorded an increase in demand for new products due to the fact that the second hand stores are closed and are usually not present on the Internet [Ikiz et al., 2021]. The experts predict that a number of new consumer habits will continue after the pandemic [Giudice et al., 2020; Hobbs, 2020].

How do these changes, which have complicated the implementation of the garbage reform in Russia, overlap with the steps taken (since the beginning of 2019) by the government and business in developing a favorable environment for SCHW? Which of the effects was stronger? Have there been any advances in involving Russians in the SCHW by the end of 2020 in comparison with the pre-pandemic period, when the situation practically did not change? How have the social potential, motives, factors and conditions for involving in the SCHW changed? Without an answer to these questions, it is impossible to understand the prospects for SCHW development in the Russian institutional and cultural environment as well as the degree of civil society involvement, without knowledge of which it is impossible to fully assess the economic significance of the latter. The goal of the research is to identify the dynamics (2014, 2017, 2020) of the levels, factors and conditions of Russians' actual and potential involvement in the SCHW as a voluntary practice of the civil society, and also to justify on this basis the measures for further expansion of the SCHW.

Theoretical perspectives and extant research. In Russia, the SCHW, while remaining a voluntary choice of the civil society, essentially reflects what M. Micheletti calls an *individualized collective action* [Micheletti, 2003]. Individuals from different social groups, outside of membership in any civil associations or parties, on their own initiative take responsibility for a problem that they consider socially important. They devote more time and make more efforts, alone or together with others, promoting the solution of an urgent problem in their understanding. This type of activity allows self-realization, combining personal interest and the common good [ibid: 25–26]. This *everyday activism*, which is based not on given (structural), but on flexible (contextual) identities embedded in specific situations, occurs in a variety of spheres. Ethical consumption, including ethical handling of household waste, is one of them.

To understand the real patterns of the formation of voluntary pro-environmental /prosocial practices in a changing (due to both the activities of other actors and unexpected trigger events) external environment, it is advisable to integrate Micheletti's ideal construct (detached from structures) into the concepts that consider different aspects of the connections between the levels of social reality – subjects/actions and structures. This allows us to supplement the theoretical understanding of the subject of research with the following main propositions.

Two levels of social reality (structures and subjects) are closely connected with each other and at the same time retain a certain degree of autonomy. When analyzing social shifts, each

¹ Garbage removal operators in the regions faced an increase in waste // TASS. 2020. April 6. URL: <https://tass.ru/obschestvo/8170091> (reference date: 17.06.2021).

level is considered in two incarnations, in potency and in reality, and the vector of changes is given a probabilistic character [Shtompka, 1996; Zaslavskaya, 2004]. The level of SCHW development as a voluntary choice of the civil society, as well as the degree (pace) of its transition from a potency to a reality at each moment of time reflect both the degree of the civil society concern about the problem, and the balance of forces between the main concerned parties (government, business, non-profits, population, etc.), their interests and resources. Up to a certain point, the initiatives and requests of the population and non-profits may not find a response from the authorities, and likewise the progress of the latter in the garbage reform may not be noticed by mass groups of the population. Reducing failures in the information signals is a field of activity of all interested parties (non-profits, mass media, authorities, etc.), in order not to bring the situation to "garbage riots", protests against dumping, to which the authorities are forced to respond promptly, but belatedly.

Studies on the factors of population involvement in SCHW held in different countries (for more information, see: [Shabanova, 2019]) indicate the importance of both the pro-environmental /prosocial attitudes of individuals, their moral and cultural aspirations, and the level of the favorable environment: accessible and convenient infrastructure, education and information, material incentives and sanctions, social pressure and forcing, etc. (see, for example: [Mifodzyeva, Brandt, 2013; Kirakozian, 2016; Iyer, Kashyap, 2007; Robinson, Read, 2005; Shaw, Maynard, 2008; Owusu et al., 2013; Czajkowski et al., 2017] etc.). All these factors affect the ratio between the costs and benefits of involvement in the SCHW, as well as the size of the gap between intentions and actual actions, in a word, the parameters of individualized collective actions about the garbage problem.

Following Etzioni, we proceed from the fact that the individuals simultaneously have two types of aspirations, egoistic, on one hand as well as moral and cultural, on the other, which can be in conflict with each other. This leads to various kinds of adverse consequences (feelings of guilt, shame, etc.) [Etzioni, 2003], ultimately reducing the level of subjective well-being of individuals. In other words, we do not strictly oppose the altruistic and egoistic involvement of individuals in the SCHW, but proceed from the fact that their real actions at any given time reflect a certain trade-off between two types of aspirations. There is a reason to believe that it differs greatly among the representatives of different waves of participants of the SCHW: pioneer enthusiasts tend to make greater sacrifices than the representatives of subsequent waves. It is no accident that our research has shown that as compared to *actual* participants, the *potential* ones have higher requirements for accessing SCHW [Shabanova, 2019].

The pandemic has made adjustments to the factors of population involvement in the SCHW and other "near-garbage" practices. The first studies conducted in different countries record an increase in the volume of garbage in households [Hantoko et al., 2021], associated with a sudden change in everyday lifestyle, fears and concerns for health, an active transition to online shopping, etc. As a result, there is an increase in plastic and medical waste. Thus, according to an international study, 45–48% of respondents indicated an increase in the consumption of packaged goods, fresh food and food delivery; plastic packaging increased by 45% [Filho et al., 2021]. Regarding the volume of *food* waste, the results are contradictory, but most state either their preservation at the same level, or a reduction amidst the pandemic [UNSCN, 2020; Principato et al., 2020; Pappalardo et al., 2020] and, as a result, a change in the garbage structure. Sudden shifts in the volume and structure of garbage have become a serious challenge for the waste management system in all countries, but especially in low and middle income countries, where ethical consumption practices are poorly developed, and the SCHW is breaking new ground or [is] absent. In Russia, active steps to promote the garbage reform fell on the COVID year, which, in case of a positive response from the civil society, could at least partially smooth out the garbage problem that has worsened amidst the pandemic. But how did the population react? Has the individualized collective action aimed at solving this problem become more apparent?

Based on extant research and our previous studies, we will proceed from the fact that the progress made in 2019–2020 in the development of a favorable SCHW environment, despite the pandemic, has resonated with the population affecting both the level and structure of factors conducive to accessing this practice. At this stage, the following **hypotheses** were tested.

H1: Assessment of the level of development of the favorable environment currently play a more important role in accessing SCHW than all the components of the “green moral index” (pro-environmental /prosocial motives and attitudes that reflect the aspirations of individuals to contribute to the common good, to bear personal responsibility for the state of the environment).

H2: Pro-environmental /prosocial motives are more associated with the probability of actual involvement in the SCHW than the motives of personal gain, economic and non-economic (special satisfaction from participation, creating the impression a responsible person), although the role of the latter is rather increasing.

H3: The factors of getting into groups with different position in relation to the SCHW have specifics. If the probability of getting into the group increases significantly among the *actual* participants with an increase in the estimates of the favorable environment development, this is rather not the case among the *potential* participants. The *potential* participants, in contrast to the *actual* ones, make higher requests for the immediate, comprehensive development of the favorable environment as a condition for accessing the SCHW, which reduces the costs and increases the effectiveness of their participation (the efforts made are not useless).

H4: The level of concern about the severity of the garbage problem in Russia is positively associated with the probability of getting into the groups of both *actual* and *potential* participants. Such a dependence is also characteristic of the position regarding the SCHW as a way to weaken the garbage problem, although the connection with the probability of inclusion in the SCHW is not so strong.

H5: Since the SCHW in Russia is currently a purely voluntary practice, the involvement in other voluntary socio-economic activities that characterize the degree of “social response” (monetary donations, voluntary labor, transfer of things) is positively associated with the probability of participation in SCHW.

Data and methods. The study is based on data from three surveys (2014, 2017, 2020 for 2 thousand people), representing the population of Russia by gender, age and level of education². Having no data on the level of involvement of Russians in the SCHW in 2019, we will be guided by the following considerations to understand the impact of two differently directed processes in 2020 (a rapid change in the infrastructure development and a pandemic that complicated the implementation of the garbage reform). The slow change in the level of infrastructure development had almost no effect on the level of involvement in the SCHW: 11 and 13%, respectively, in 2014 and 2017. Since there were no fundamental steps in changing the environment until 2019, we will proceed from the persistence of the tendency and an approximate estimate of 15–16% in 2019, i.e. on the eve of a pandemic.

Along with the descriptive analysis aimed at identifying the dynamics of the composition of groups with different attitudes to the SCHW, the multinomial logit-regression apparatus was used to assess the relationships between different factors and inclusion of individuals in these groups (data as of November 2020). The dependent variable took three possible values: 1 – actual participant of SCHW, 2 – a potential participant, 3 – an individual indifferent to this practice (base group for comparison).

Dynamics, motives and conditions of population’s involvement in the SCHW. Since in the first two waves of monitoring (2014, 2017) the share of SCHW participants practically did not change (Table 1), it was clear that the potential of pioneer enthusiasts was almost exhausted, and without creating a convenient and efficient infrastructure, the practice would not develop [Shabanova, 2019]. At the same time, even then, the coefficients of stability and

² Multistage stratified territorial random sampling. The survey method is a formalized.

Table 1

**Participation and intentions to join/continue participating
in the SCHW in the next year or two (in %)**

Indicator	2014	2017	2020
Currently participate on a regular basis	11	13	34 (27)*
Intend to join or continue to participate in the next year or two	23	29	54 (47)**
Stability coefficient ***	73	81	82
Replacement coefficient ****	5.1	7.8	4.63
Distribution by type:			
participate and will continue to participate	8	10	28
do not participate, but intend to	15	19	26
participate, but intend to stop	3	2.5	6
do not participate and do not intend to	74	68	40
Total	100	100	100

Notes. */**Taking into account both those who put (intend to put) waste to separate containers near the house, and those who bring (intend to hand over) their individual types (waste paper, plastic, glass, metal, etc.) to special points (in parentheses – only the first group). *** Stability coefficient means the ratio of the number of those who intend to continue participating in separate garbage collection in the next year or two to the total number of those currently involved in this practice ($\cdot 100\%$). ****The replacement coefficient is the ratio of the number of those who intend to join this practice to the number of those who intend to abandon it in the next year or two.

substitution signaled a good (and expanding) social base for the development of SCHW, about high chances of increasing the number of participants in case of the development of a favorable environment. A jump in the growth of the share of SCHW participants detected at the end of 2020 (Table 1) reflects the reaction of the population to positive changes in the development of infrastructure: first of all, to the installation of separate containers for recyclable materials in courtyards from 2019. The sharp increase in the number of actual participants at the expense of potential ones, who, as we found earlier, have high requirements for the conditions of inclusion into the SCHW, also affected the growth of the share of those who were disappointed (6% in 2020 compared to 2.5% in 2017). This rollback can be associated both with the insufficient quality of the SCHW infrastructure that has become available, and with the effect of the pandemic, which has pushed concerns over the garbage problem to the background.

As a result, currently the share of *actual* participants of the SCHW reaches 34%: 27% – sort and carry household waste into specially installed separate containers near the house, 12% – sort and hand over certain types of waste (waste paper, plastic, glass, metal, etc.) to special reception points, and 5% are included in both practices. The share of *potential* participants (we included those who are not currently included in the SCHW, but intend to do it in the next year or two) is 26%, and the share of *indifferent* participants (who do not participate now and do not intend to do it in the next year or two) is 40%. The latter group is still numerous, but it is much smaller than in 2014 and 2017 (Table 1).

Groups with different position regarding the SCHW are not equally concerned about the garbage problem and have different attitudes to the need for SCHW to weaken it (Table 2). Actual and potential participants are much more concerned about the garbage problem, and they often associate its weakening with the SCHW. Among the indifferent people, on the contrary, the share of “not concerned” or not thinking about the garbage problem at all, as well as those who believe that Russians are not yet ready for the SCHW, is higher. At the same time, in all three groups, a very significant part (21–25%), recognizing the importance of the problem, does not believe in the success of its solution, because all previous attempts have failed.

Table 2

**Concern about the garbage problem and the attitude to the introduction of the SCHW
of different groups (in %)**

Position	Actual	Potential	Indifferent	Total
<i>Personal concern about the garbage problem in Russia*</i>				
Very concerned	46	44	28	38
Rather concerned	40	39	35	38
Rather not concerned	8	8	17	12
Not concerned at all	2	4	12	6
Didn't think about it	4	5	7	6
<i>The need to introduce the SCHW in Russia: opinions</i>				
"This is a priority, we need to create conditions for its solution as soon as possible"	60	49	30	45
"I recognize the importance, but I do not believe in its success. All previous attempts have failed"	21	23	25	23
"The problem is important, but our people are not yet ready to separate household waste"	16	23	30	23
"Russia does not need a separate garbage collection at all"	3	2	8	5
Other/difficult to answer	0	3	7	4

Note. *The question was like this: "Now there is a lot of talk about the problem with garbage in Russia. Some consider it important because of the huge garbage dumps that poison the soil and air. Others are not concerned about it because of the lack of dumps near their locality. Still others say that there is no such problem, referring to the large territory of our country. To what extent are you personally concerned with the garbage problem in Russia?"

However, the actual and potential participants, sharing this position, probably hope that the current campaign to introduce the SCHW will be successful.

Among the motives for participation or readiness to start participating in the SCHW, pro-environmental/prosocial ones consistently and by solid margins lead, combined in a number of studies [Berglund, 2006] in the "green moral index": 88% (2017) and 84% (2020) of the respondents named at least one of its elements (Table 3). The structure of the index in 2020 has undergone changes: against the background of a decrease in the share of those who want to contribute to environmental improvement, well-being of current and future generations (in the group of real participants), as well as those who believe that it is economically beneficial for society (in all groups), the share of those who simply try to do what, in their opinion, everyone should do, has increased everywhere. The "green moral index" of the "indifferent people" has significantly decreased, however, today half of them have named at least one pro-environmental/prosocial motive for their possible participation in the SCHW. Therefore, as the favorable environment develops, we can still count on the involvement of a significant part of this group. The role of considerations of personal advantage (economic and especially non-economic) has increased (both for real and potential participants), but it is, as before, secondary (Table 3).

An disturbing fact is the decrease in the share of those who join or ready to join the SCHW, because they believe that their efforts are not in vain and they can influence the solution of an important problem. Among the potential participants, this share decreased by almost 2 times (Table 3). Since the confidence in the effectiveness of one's efforts is a significant factor which is positively associated with the probability of getting into the group of potential participants [Shabanova, 2019], ceteris paribus, its decrease affects the increase in this group. This is probably due to a decrease in the replacement coefficient in 2020 (see Table 1).

Against the decrease in the group of indifferent people, among them the share of people who are very categorical about the SCHW has increased: 28% do not find either altruistic or

Table 3

Motives for participation or readiness to start participating in the SCHW* (in % by column)

Motives	Actual		Potential		Indifferent		Total	
	2017	2020	2017	2020	2017	2020	2017	2020
1. I want to feel like a responsible person for the environment status	47	49	35	46.5	21.5	18	27	36
2. I want to contribute to the environmental improvement, well-being of current and future generations	36	29	29	37	21	20	24	28
3. I believe that this is economically beneficial for society as a whole	29	16	31	18	19	9	23	14
4. I try to do what, in my opinion, everyone should do	37	43	22	45	18	20.5	21	34
Total: at least one item from clauses 1–4	88	84	80	88	60	50	67	72
5. I believe that my efforts are not in vain, and I can influence the solution of an important problem	20	15	34	18	17	7	21	13
6. It is economically beneficial for me personally (my family)	10	14	9	11	8	8	8	11
7. I want to give people the impression of myself as a responsible person	4	15	4	9	4	3	4	8.5
Total: at least one item from clauses 6, 7	14	25	11.5	18	10.5	10	11	17
8. I get special satisfaction from these actions, I am pleased with involvement in that affair	9	11	8	9	5	4	6	7.4
9. I do not participate and/or do not intend to participate in separate garbage collection	2	5	4.5	3.5	23	28	17	14

Note. * The answer to the question "Please tell us the main reasons why you are already participating or are ready to start participating in separate garbage collection" (any number of answers allowed). Adapted and supplemented question from: [Berglund, 2006: 564].

selfish reasons for involvement in the SCHW ("I am not interested in this") and do not intend to voluntarily sort waste.

The main constraint for involvement in the SCHW is the lack of an accessible and convenient infrastructure. So, regarding the availability of containers for separate waste collection near the house, the position "there are no conditions at all" was chosen by 59% of *potential* and 67% of *indifferent* ones against 35% of *real ones*. Such a nature of differences is reproduced by the assessment of the reasonable amount of time for the waste delivery to special points or separate containers (Table 4). Attention is drawn to the low satisfaction of even real participants with the level of awareness about what and how it can be sorted and how to do it correctly. The score of 1–2 points on a 5-point scale was given by 62% of real participants, 77% by potential and 81% by indifferent ones. According to the share of those who received the lowest scores, the awareness is ahead of all other components of the favorable environment, regardless of the position of individuals in relation to the SCHW. According to the total estimate of four components of the favorable environment, 58% of actual participants of the SCHW scored the positions not lower than the average, compared to 34% and 23% among potential and indifferent ones, respectively.

Even if the main part of Russians is ready to sort waste, then without additional inconveniences (Table 5). Among the conditions of inclusion (or continued participation), as before, the installation of containers for the SCHW near the house is leading by a significant margin (64%). The availability of information about what and how you can sort; how to do it correctly (30%) takes the second place. The factors that characterize the quality of accessibility structure (timely export, recycling, etc.) play a noticeable, but more modest role than before. Probably, the steps taken by the government and business to promote the garbage reform affect the

Table 4

**Assessment by different groups of conditions for the development of SCHW
in their locality (in % by column)**

Conditions	Actual	Potential	Indifferent	Total
<i>Availability of containers for separate collection of waste near the house</i>				
1 – there are no conditions at all	35	59	67	54
2 – bad conditions	12	12	11	12
3 – average conditions	21	14	9	14
4 – good conditions	14	8	4	9
5 – excellent conditions	17	6	7	10
Found it difficult to answer	0	1	2	1
<i>Reasonable amount of time for the delivery of household waste to special points or separate containers</i>				
1 – there are no conditions at all	32	52	62	49
2 – bad conditions	17	12	12	14
3 – average conditions	20	17	10	16
4 – good conditions	12	6	5	7
5 – excellent conditions	13	6	4	8
Found it difficult to answer	6	7	7	6
<i>Timely and correct waste disposal</i>				
1 – there are no conditions at all	27	44	56	43
2 – bad conditions	13	14	14	13
3 – average conditions	22	19	11	17
4 – good conditions	16	11	6	11
5 – excellent conditions	19	8	9	12
Found it difficult to answer	3	4	4	4
<i>Awareness of the population about what can be sorted and how? What is the correct way to do so?</i>				
1 – there are no conditions at all	43	63	69	59
2 – bad conditions	19	14	12	15
3 – average conditions	16	12	8	12
4 – good conditions	10	4	3	6
5 – excellent conditions	10	5	4	6
Found it difficult to answer	2	2	4	2
<i>Total: The level of conducive environment development</i>				
Aggregate assessment of the conditions:				
0–4 scores – not at all	18	33	46	33
5–8 scores – bad	24	33	30	29
9–12 scores – average	29	22	15	22
13–15 scores – above average	15	8	4	9
16–20 scores – good/excellent	14	4	4	8
Total	100	100	100	100

situation supported (which is important) by the control and promotion of its results on the Internet by the initiative citizens (for example, tracking the divided and mixed garbage with the help of GPS beacons placed in packages). But such a social factor as the involvement of the majority of neighbors in the SCHW, as a condition for involving the respondent, has increased its role everywhere, especially in the group of potential participants. Probably, the “effect of the participation of similar others” is increasing, and the more noticeable the SCHW is, *ceteris paribus*, the more potential participants will become actual participants, and the pace of development of the practice will increase.

So, we acknowledge that the main (and increasing) part of Russians today does not refuse to participate in the SCHW, but puts forward counter requests to the authorities and

Table 5

Conditions for involvement (continued participation) in the SCHW (in % by column)

Conditions	Actual		Potential		Indifferent		Total	
	2017	2020	2017	2020	2017	2020	2017	2020
Installation of containers for the SCHW near the house	79	77	89	79	61	42	69	64
The availability of information about what can be sorted and how; how to do it correctly	X	35	X	41.5	X	19	X	30
Confidence that the separately collected waste will be recycled	30	25	32.5	24	24	17	26	21.5
Participation of the majority of neighbors in the SCHW	17	22	12	21	12	15	13	19
Reasonable amount of time for the delivery of waste to special points or separate containers	20	23	15	21	17	9	17	17
Introduction of fines or additional fees for refusal to sort	13	16	11.5	16	10	10.5	11	14
Availability of information about where you can take separately collected waste	15	16	21	15.5	15	9	16	13
Organization of timely and correct waste disposal	20	13	23	20	17	7	19	12

businesses to create an accessible and convenient infrastructure. Advances in its development over the past two years have affected the jump-like growth in the number of actual participants in the SCHW, an increase in potential ones and a sharp decrease in indifferent ones. However, the group of indifferent people is becoming more and more "intractable": it is less receptive to positive changes in the development of a supportive environment and less often calls them as a condition for its implementation. In addition, judging by the assessments of individual components of the contributing environment by different groups, in the future, if the status quo is maintained, some rollback and an increase in the number of those who are disappointed in the SCHW is possible. Among the bottlenecks there are not only the lack of a convenient infrastructure, which fixes the majority of both potential participants and indifferent ones, but also the weak awareness of all groups about what and how to sort, how to do it correctly, and also what is the effect of the efforts they have already made.

Factors of inclusion in the SCHW: regression analysis. As far as can be judged by the multinomial logistic regression ratios, the Russians, *ceteris paribus*, are more likely to be *actual* participants in the SCHW than taking an *indifferent* position if they are concerned about the severity of the garbage problem, take a constructive position regarding the SCHW as a way to weaken it, positively assess the current level of the conducive environment for the SCHW, want to be personally responsible for the state of the environment (both without looking back, and with an eye to the actions/assessments of other people), have participated in some kind of financial help to random people in the last year. But for the majority of objective individual characteristics (social and age, status), the actual participants do not differ from indifferent ones. The exception is the age: millennials and pensioners are more common among the actual participants. Similar differences from the indifferent ones are also a characteristic of the *potential* participants, but there are also certain specifics. Against the background of the disappearance of differences in relation to high assessments of the level of development of the conducive environment, the belief in the influence on the solution of an important problem (the efforts made are not useless) begins to play a significant role.

Due to the fact that the ratios of the multinomial regression β do not lend themselves to the direct interpretation as a measure of influence, Table 6 shows the average marginal effects calculated on their basis for each position in relation to the SCHW. These demonstrate the average percentage point (p.p.) change in the probability of the corresponding outcome after a particular independent variable is changed its value by 1 unit, provided all other independent variables remain unchanged.

The strongest positive relationship exists between involvement in the SCHW and assessments of the level of development of the conducive environment. The higher this score, the higher the probability of getting into the group of actual participants. So, in comparison with those who indicated a complete lack of conditions for the SCHW in their locality/yard (0–4 points, Table 4), the probability of including those who gave these conditions an average value (9–12 points) is higher by 29.6 p.p., and a good or excellent (16–20 points) is 37.2 p.p.

The second group of significant factors is related to motives and attitudes. Pro-environmental and prosocial motives combined in the “green moral index” (Table. 3), are closely associated with getting into the group of actual participants (the probability is higher by 12–14 percentage points compared to those who have zero index). Nevertheless, the role of moral aspirations is less than the level of development of the conducive environment (*H1* hypothesis is not rejected). In addition, the changes noted above in the structure of the “green moral index” (a decrease in the significance of two components out of four in 2020) also affected the nature of relationship between the actual involvement in the SCHW and the index value (Table 6). *H2* hypothesis stating that the prosocial and pro-environmental motives are more associated with the probability of actual involvement than the motives of *personal* advantage is not rejected only partially. Indeed, the motive for obtaining personal pleasure/satisfaction from participation in the SCHW, as before, is insignificant, and personal *economic* benefits is of little significance ($p < 0.1$). But the role of creating the impression of a responsible person suddenly “gained momentum”. Compared with those who did not indicate this motive, the probability of involvement in the SCHW of those who indicated it is on average 20.5 percentage points higher, i.e. exceeds the individual values of the “green moral index”. Probably, the actual participation today is affected not only by education and awareness in this area, but also by the participation in the SCHW of a “critical mass” from the social environment of individuals.

The level of concern about the severity of the garbage problem in Russia is positively associated with the probability of getting into the group of *actual* participants (the higher it is, the higher this probability is: by 6.8 and 9.9 percentage points, Table 6). Such a dependence is also characteristic of

Table 6

Average marginal effects of choosing the type of participation in the SCHW for the model of multinomial logistic regression

Independent variables	Actual	Potential	Indifferent
<i>Assessment of the level of development of conditions for the SCHW in a locality (0–4 points-base)</i>			
Bad (5–8 points)	0.073*** (0.024)	0.000 (0.026)	-0.073*** (0.026)
Average (9–12 points)	0.204*** (0.028)	-0.040 (0.028)	-0.164*** (0.028)
Above average (13–15 points)	0.296*** (0.040)	-0.054 (0.037)	-0.242*** (0.035)
Good or excellent (16–20 points)	0.372*** (0.041)	-0.143*** (0.034)	-0.229*** (0.037)
<i>Values-based orientations, attitudes, motives for inclusion (readiness to join)</i>			
<i>“Green moral index”: 0-base</i>			
1	0.119*** (0.024)	0.173*** (0.022)	-0.292*** (0.026)
2	0.145*** (0.032)	0.201*** (0.032)	-0.346*** (0.035)
3–4	0.131*** (0.039)	0.260*** (0.041)	-0.391*** (0.041)
I want to give people the impression of myself as a responsible person	0.205*** (0.034)	0.053 (0.036)	-0.258*** (0.045)
It is economically beneficial for me personally (my family)	0.061** (0.031)	0.011 (0.032)	-0.072** (0.034)
I believe that my efforts are not in vain, and I can influence the solution of an important problem	0.004 (0.030)	0.061** (0.028)	-0.065** (0.033)

End of Table 6

Independent variables	Actual	Potential	Indifferent
<i>Level of concern about the garbage problem in Russia (base – does not bother (at all or rather) or did not think about it)</i>			
Very concerned	0.099*** (0.028)	0.022 (0.028)	-0.121*** (0.027)
Rather concerned	0.068** (0.027)	-0.009 (0.027)	-0.058** (0.026)
<i>Ideas about the need to introduce the SCHW in Russia (the basic judgment is "This is an urgent task, it is necessary to create conditions for its solution as soon as possible")</i>			
"I recognize the importance, but I do not believe in its success. All previous attempts have failed"	-0.088*** (0.025)	0.003 (0.025)	0.085*** (0.025)
"The problem is important, but our people are not yet ready to separate household waste"	-0.139*** (0.025)	0.005 (0.025)	0.134*** (0.026)
"Russia does not need the separate garbage collection at all"/have never thought about it/it makes no difference	-0.161*** (0.046)	-0.016 (0.046)	0.177*** (0.043)
<i>Social, age and status characteristics</i>			
<i>Age: 18–30 years – base</i>			
31–40 years	0.051* (0.030)	0.030 (0.029)	-0.081*** (0.029)
51–60 years	-0.007 (0.032)	0.060* (0.032)	-0.053* (0.032)
older than 60	0.051 (0.031)	0.056* (0.031)	-0.107*** (0.030)
<i>Prosocial activity in other areas</i>			
Monetary contributions for the last year, including alms	0.064*** (0.021)	0.004 (0.021)	-0.067*** (0.020)
Transfer of unnecessary things and other items to other people on a regular basis	-0.090*** (0.021)	0.041** (0.021)	0.048** (0.021)

Notes. $N = 2000$. Regions (8 federal districts) are controlled. $*p < 0.1$, $**p < 0.05$, $***p < 0.01$. Robust standard errors are given in parentheses. Probability $> \chi^2 = 0,0000$. Pseudo $R^2 = 0.1899$. The table does not show the variables that turned out to be insignificant: gender, age 41–50 years, education, financial status of the family, type of settlement, getting personal pleasure from being involved in the SCHW case, participation in volunteer work over the past year, membership in the non-profits and participation in their activities.

the position regarding the SCHW as a way to mitigate the garbage problem, although the connection with the probability of involvement is weakened due to the disbelief of individuals in the success of this venture, the confidence that "our people are not ready to separate the household waste", as well as due to the position that the SCHW as such is unnecessary in Russia. Thus, **H4** hypothesis is not rejected in this part. But in relation to the *potential* participants, it was not confirmed. Currently, the values of the "green moral index" are most associated with the probability of falling into this group (increasing it by 17–26 percentage points). The motives of the *personal* advantage (both economic and non-economic), as before, are insignificant. Obviously, the *potential* participants do not expect any incentives or sanctions from the environment. At the same time, they, unlike the *actual* participants, have higher aspirations for the conditions of "involvement" in the SCHW: they give significance to the non-uselessness (efficiency) of the efforts made and have higher requirements for the "one-time" development of the conducive environment, which reduces the costs of their participation (**H3** hypothesis is not rejected in this part). It is no coincidence that all ratings of the conducive environment, below good/excellent, are not associated with the probability of getting into the group of *potential* participants, and the highest ratings, reducing the probability of getting into the group of *potential* participants (by 14 p.p.), "push" them into the group of actual participants.

It is noteworthy that getting into groups with different positions in relation to the SCHW is now significantly not related to either gender or status (education, type of settlement, material status of the family) characteristics of individuals. Compared to 2017, the differences between men and women, as well as between individual types of settlements, have disappeared. If at first women were more actively involved in the SCHW than men, then as the group expanded, the differences on this basis were leveled. A similar effect was caused by a headway in the development of the SCHW infrastructure in different types of settlements in 2019–2020, including Moscow, which previously lagged behind other million cities on this basis [Shabanova, 2019: 104].

There is a persistent lack of connection between the position in relation to the SCHW and membership/participation in the activities of non-profits. However, *H5* hypothesis about a positive relationship between voluntary involvement in the SCHW and other voluntary socio-economic activities (monetary donations, voluntary labor, transfer of things), both through non-profits and through informal civil structures, is not rejected only partially. Those who made monetary donations in the last year, the probability of getting into the group of *actual* participants of the SCHW is 6.3 percentage points higher compared to those who did not make them during this period. On the contrary, this value is 9.1 percentage points lower with those who gave away unneeded things as compared to those who did not give them away. It can be assumed that this connection is temporary, connected both directly with the pandemic and with the effect of “moral licensing” that it aggravates: people refrain from being involved in new behaviors to mitigate a particular problem if they believe that they have already made a feasible contribution and can “rest on their laurels” [Truelove et al., 2014; Thøgersen, Crompton, 2009]. The development of infrastructure for the SCHW which came in the year of the pandemic, partially mitigated the negative consequences of the narrowing of institutional opportunities for transfer of things (suspension of the work of a number of non-profits, charity shops, fear of interacting with strangers, etc.), as well as the feeling of guilt from throwing them away. But the connection with participation in volunteering has disappeared completely against the background of a sharp decrease in the share of volunteers in all groups amidst the pandemic.

Thus, despite the preservation of the key factors of inclusion in the SCHW, the significant changes have occurred in their structure, both related to the progress in the development of the conducive environment in 2019–2020, and to the challenges from the 2020 pandemic.

Conclusions and final considerations. The Russians promptly responded to the advances made by the government and businesses in the development of the SCHW conducive environment. The group of *actual* participants in 2020 has significantly expanded, which once again confirms the conclusion we made earlier (according to data of 2017) that the population is not a weak link in the social mechanism of the SCHW formation [Shabanova, 2019: 107]. However, the group of voluntary participants has changed not only quantitatively, but also qualitatively. Pragmatists of the second wave joined the pioneer enthusiasts, who were often involved in the SCHW not because of the presence of a favorable environment, but despite its absence. As a result, the infrastructural and institutional factors came to the fore, ahead of pro-environmental and prosocial motives and attitudes, and the share of those who were disappointed in the experience increased.

As for *potential* participants, getting into their group is currently most strongly associated with proenvironmental /prosocial motives and attitudes. This connection has become even stronger among them than in the group of *actual* participants, which was not the case in 2017. Insensitivity to the level of development of the conducive environment, estimated below good or excellent, indirectly indicates a wait-and-see attitude and higher requirements of potential participants. This is also signaled by such a distinctive factor of this group, which retains a stable significance (2017 and 2020), as the utility of the efforts made, faith in the ability to influence the solution of an important problem. This indicates that a further increase in the number of participants in the SCHW is associated with setting a high bar, which implies a comprehensive progress in the development of a conducive environment. We are talking not only about installation of containers near houses, but also about an acceptable time for the

delivery of household waste to these containers or to special points; timely and correct waste removal, as well as raising public awareness about what and how it can be sorted, how to do it correctly. The lack of this knowledge is now recorded by the representatives of all groups, regardless of their position in relation to the SCHW.

The progress in the development of the accessible and convenient infrastructure, which found a response from a very significant part of Russians, partially smoothed the aggravation of the garbage problem in connection with the pandemic. Since actual participants do not differ from the indifferent ones by the majority of social, demographic and status characteristics (gender, education, financial status of the family, type of settlement), and the number of such characteristics grew in 2020, voluntary inclusion in the SCHW, in fact, represents what Micheletti calls an individualized collective actions [Micheletti, 2003: 24–32]. However, the very fact that these actions can occur outside of traditional structures does not mean that the latter do not affect them: infrastructural and institutional factors play a significant role. The lack of connection with membership in non-profits also does not indicate the passive role of the latter in the formation of such actions: it manifests itself at the stages of both their preparation and implementation (informing, education, promotion of infrastructure development, including through interaction with other concerned parties).

Nevertheless, acting as an arena for the independent construction of identities related to the environmental or social problems that seem urgent to the individuals and fall into the area of their personal responsibility, new voluntary consumer practices indicate that the consumption increasingly becomes the sphere of modern civil society, expanding its boundaries and strengthening its social and economic role.

REFERENCES

- Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. М.: Дело, 2004. [Zaslavskaya T.I. (2004) *Modern Russian Society: Social Transformation Mechanism*. Moscow: Delo. (In Russ.)]
- Шабанова М.А. Раздельный сбор бытовых отходов в России: уровень, факторы и потенциал включения населения // Мир России. 2019. Т. 28. № 3. С. 88–112. [Shabanova M. (2019) *Separate Waste Collection in Russia: The Level, Factors and Potential for Citizen Engagement*. *Mir Rossii* [Universe of Russia]. Vol. 28. No. 3: 88–112. (In Russ.)] DOI: 10.17323/1811-038X-2019-28-3-88-112.
- Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. [Sztompka P. (1996) *The Sociology of Social Change*. Moscow: Aspekt-Press.]
- Berglund C. (2006) The Assessment of Households' Recycling Costs: The Role of Personal Motives. *Ecological Economics*. Vol. 56. No. 4: 560–569. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2005.03.005.
- Czajkowski M., Hanley N., Nyborg K. (2017) Social Norms, Morals and Self-interest as Determinants of Pro-environment Behaviours: The Case of Household Recycling. *Environmental and Resource Economics*. Vol. 66. No. 4: 647–670. DOI: 10.1007/s10640-015-9964-3.
- Etzioni A. (2003) Toward a New Socio-economic Paradigm. *Socio-Economic Review*. Vol. 1. No. 1: 105–118. DOI: 10.1093/soceco/1.1.105.
- Filho W., Voronova V., Kloga M., Paço A., Minhas A., Salvia A., Ferreira C., Sivapalan S. (2021) COVID-19 and Waste Production in Households: A Trend Analysis. *Science of the Total Environment*. Vol. 777. Article no. 145997. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.145997.
- Giudice F., Caferra R., Morone P. (2020) COVID-19, the Food System and the Circular Economy: Challenges and Opportunities. *Sustainability*. Vol. 12. No. 19. Article no. 7939. DOI: 10.3390/su12197939.
- Hantoko D., Li X., Pariatambay A., Yoshikawa K., Horttanainen M., Yan M. (2021) Challenges and Practices on Waste Management and Disposal during COVID-19 Pandemic. *Journal of Environmental Management*. Vol. 286. Article no. 112140. DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112140.
- Hobbs J.E. (2020) Food Supply Chains during the COVID-19 Pandemic. *Canadian Journal of Agricultural Economics*. Vol. 68. No. 2: 171–176. DOI: 10.1111/cjag.12237.
- Hoornweg D., Bhada-Tata B.P. (2012) What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management. *Urban Development Series Knowledge Papers*. No. 15. Washington: The World Bank. URL: <https://www.ccacoalition.org/en/resources/what-waste-global-review-solid-waste-management-urban-developmentseries-knowledge-papers> (accessed 19.04.2021).

- Ikiz E., Maclaren V.W., Alfred E., Sivanesan S. (2021) Impact of COVID-19 on Household Waste Flows, Diversion and Reuse: The Case of Multi-residential Buildings in Toronto, Canada. *Resources, Conservation and Recycling*. Vol. 164. Article no. 105111. DOI: 10.1016/j.resconrec.2020.105111.
- Iyer E.S., Kashyap R.K. (2007) Consumer Recycling: Role of Incentives, Information, and Social Class. *Journal of Consumer Behaviour*. Vol. 6. No. 1: 32–47. DOI: 10.1002/CB.206.
- Kirakozian A. (2016) The Determinants of Household Recycling: Social Influence, Public Policies and Environmental Preferences. *Applied Economics*. Vol. 48. No. 16: 1481–1503. DOI: 10.1080/00036846.2015.1102843.
- Miafodzyeva S., Brandt N. (2013) Recycling Behaviour among Householders: Synthesizing Determinants via a Meta-analysis. *Waste and Biomass Valorization*. Vol. 4. No. 2: 221–235. DOI: 10.1007/s12649-012-9144-4.
- Micheletti M. (2003) *Political Virtue and Shopping: Individuals, Consumerism, and Collective Action*. New York: Palgrave Macmillan.
- Owusu V., Adjei-Addo E., Sundberg C. (2013) Do Economic Incentives Affect Attitudes to Solid Waste Source Separation? Evidence from Ghana. *Resources, Conservation and Recycling*. Vol. 78: 115–123. DOI: 10.1016/J.RESCONREC.2013.07.002.
- Pappalardo G., Cerroni S., Nayga R.M. Jr., Yang W. (2020) Impact of COVID-19 on Household Food Waste: The Case of Italy. *Frontiers in Nutrition*. Vol. 7. Article no. 585090. DOI: 10.3389/fnut.2020.585090.
- Principato P., Secondi L., Cicatiello C., Giovanni M. (2020) Caring More about Food: The Unexpected Positive Effect of the COVID-19 Lockdown on Household Food Management and Waste. *Socio-Economic Planning Sciences*. Article no. 100953. DOI: 10.1016/j.seps.2020.100953. (In press.)
- Robinson G.M., Read A.D. (2005) Recycling Behavior in London Borough: Results from Large-scale Household Surveys. *Resources, Conservation and Recycling*. Vol. 45. No. 1: 70–83. DOI: 10.1016/j.resconrec.2005.02.002.
- Shaw P.J., Maynard S.J. (2008) The Potential of Financial Incentives to Enhance Householders' Curbside Recycling Behavior. *Waste Management*. Vol. 28. No. 10: 1732–1741. DOI: 10.1016/j.wasman.2007.08.008.
- Thøgersen J., Olander F. (2003) Spillover of Environment-friendly Consumer Behavior. *Journal of Environmental Psychology*. Vol. 23. No. 3: 225–236. DOI: 10.1016/S0272-4944(03)00018-5.
- Truelove H.B., Carrico A.R., Weber E.U., Raimi K.T., Vandenberg M.P. (2014). Positive and Negative Spillover of Pro-environmental Behavior: An Integrative Review and Theoretical Framework. *Global Environmental Change*. Vol. 29: 127–138. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2014.09.004.
- UNSCN. (2020) COVID-19 Pandemic: The Evolving Impact on How People Meet the Food System. URL: <https://www.unscn.org/en/news-events/recent-news?idnews=2065> (accessed 19.04.2021).

XXIII Kharchev readings

© 2021 r.

THE 23RD SCIENTIFIC CONFERENCE “KHARCHEV’S READINGS”

THEORETICAL SOCIOLOGY ABROAD AND IN RUSSIA TODAY: The Round Table

Participants: Alexander B. GOFMAN, D. Sc. (Sociol.), Prof., National Research University Higher School of Economics; Institute of Sociology FCTAS RAS (a-gofman@yandex.ru); Svetlana G. KIRDINA-CHANDLER, D. Sc. (Sociol.), Institute of Economics RAS (kirdina@bk.ru); Vladimir V. KOZLOVSKY, D. Sc. (Philos.), Prof., Director, RAS Sociological Institute, FCTAS RAS branch, St.-Petersburg, Russia (v.kozlovskiy@socinst.ru); Ul'yana G. NIKOLAYEVA, D. Sc. (Econ.), Prof., Institute of Sociology FCTAS RAS (ynikolaeva@list.ru); Anatoly A. OVSYANNIKOV, D. Sc. (Econom.), Prof., MGIMO University (ibda@ibda.ranepa.ru); Nikita E. POKROVSKY, D. Sc. (Sociol.), Prof., Scientific Research University Higher School of Economics; Institute of Sociology FCTAS RAS (npokrovsky@hse.ru); Nikolay V. ROMANOVSKY, D. Sc. (Hist.), Prof., Institute of Sociology FCTAS RAS; 'Sociological Studies' journal (romanival@yandex.ru); Larisa G. TITARENKO, D. Sc. (Sociol.), Prof., Belarus' State University, Minsk, Republic of Belarus' (larisa166@mail.ru); Zhan T. TOSHCHENKO, D. Sc. (Philos.), Prof., RAS Corresponding member, Chairman of Editorial Board, 'Sociological Studies' Journal (zhanatosch@mail.ru); Vyacheslav V. SHCHERBINA, D. Sc. (Sociol.), Prof., Institute of Sociology RAS FCTAS (sherbina.vyacheslav@mail.ru); Valentina A. SHILOVA, Cand. Sc. (Sociol.), Institute of Sociology RAS FCTAS (vshilova@yandex.ru); Vladimir I. ZALUNIN, Cand. Sc. (Philos.), Prof., Public Academic University for Humanities (zaluninv@mail.ru). All not otherwise identified: Moscow, Russia.

Abstract. *The Round Table “Trajectories of Global and Russian Theoretical Sociology Evolution” has been held on June 2, 2021, under auspices of the Academic Council of the Social Sciences Section, Russian Academy of Sciences, RAS Institute of Sociology, Federal Center for Theoretical and Applied Sociology, Russian Society “Community of Professional Sociologists” with participation of the journals “Sociological Studies” and “Sociological Journal” in remote format. The topics suggested for the discussion were as follows:*

- 1. What principal changes are underway in the global and Russian theoretical sociology? How do Marxist, positivist, public, postmodern, global etc. sociologies fare?*
- 2. What processes are characteristic of Russian sociology today?*
- 3. Teaching theoretical sociology in the universities of the world and in Russia as an indicator of overall trends.*

The Round Table was chaired by RAS corresponding member Zhan T. Toshchenko and Professor Nikita E. Pokrovsky. The materials of the Round Table are published above.

Keywords: *trajectories of theoretical sociology evolution • global sociology • Russian sociology • changes in sociology • theoretical sociology • teaching sociology*

DOI: 10.31857/S013216250016789-0

This article is a translation of: О мировой и отечественной теоретической социологии (круглый стол) // Sotsiologicheskie Issledovaniia. 2021. No 9: 3–15. DOI: 10.31857/S013216250016494-6

1. The fundamental changes in the world theoretical sociology. Zh. T. Toshchenko

opened the discussion of the Round Table's problems. Among fundamental changes in theoretical sociology in Russia and abroad he put the growth of public knowledge of constructivist paradigm, sociological realism (society – people) and sociological nominalism (people – society) first. Constructivism overcomes the extremes of realists and nominalists, attempts to combine the analysis of objective conditions and subjective factors, macro-, mezzo- and micro-world, and activity nature of the human being.

Of the most active theoretical conceptions, Zh. Toshchenko highlighted the *globalization* concept. It contains many proper judgments and conclusions, but it is limited: a) globalization often has "Americanization" or "Westernization" character, declaring the development standards in American and/or West European society the only acceptable option for everybody without a single exception; b) globalization demands are being spread to spiritual life, culture and education fields, which runs counter to national, regional, and enclave peculiarities; c) the importance and the necessity to defend national culture are rejected as though they were the attempt upon democracy, human liberty and rights, obligatory for all. These positions are a source of confrontation to Western policy in many countries, which have chosen the way of independent development.

In series of current theoretical conceptions the author put the *sustainable development* conception which is recommended as the prospect of human civilization based on a kind of balance between the solution of social, economic problems and environmental conservation, when "the current needs satisfaction does not undermine the future generations' ability to satisfy their own needs". The formula "sustainable development" is widely used in academic literature. Though the author did not negate its positive side, he suggested some considerations: a) the meaning of *sustainable development* in Russian translation is not quite correct; b) positive qualities of this conception are absolutized; c) according to the World Bank, today 53 states in the world experience stagnation and recession, which permits to speak of such a modality of development as the trauma society; d) this conception is sometimes primitivized: sustainable development of a town, a village, a region is impossible in the country with no sustainable development.

Modernization, innovative, digitalization conceptions etc. reflect important, but separate aspects of social development. These conceptions costs in Russia are: a) the absence of comprehensiveness, coordination, and synchronization in the development programs and plans based on them; b) the state bureaucracy rejects to fulfil the resolution on introduction of strategic planning; c) ignoring the social and humane component.

Passion for *postmodernism* (and post-postmodernism) has not brought any results; moreover, it has produced the situation of uncertainty, of arbitrary interpretation of phenomena essence and the sense of the processes. In some degree such an approach is acceptable in art and literature; it cannot be applied to science with its requirement for a relative consensus, especially in the case of practical needs.

Russian society and Russian science have rejected a series of conceptions (the end of history, transitology, disappearance of classes, the end of ideology) or required for fundamental revision (nation-state, consumer society). In Russian sociology there appeared ideas with heuristic potential in theoretical comprehension of the changing reality. In the framework of world systems analysis, the relationships of "North-South" are relative, in the framework of systemic approach there is the humanistic turning-point in sociology, in the framework of constructivism these are problems of glocalization, fundamental changes in culture, the trauma society functioning, the emergence of new classes and social communities, increasing conflicts due to national and confessional relations, or in border areas.

N.E. Pokrovsky offered his own vision of the world sociology "landscape" having brought forward a hypothesis/supposition that the 2000s have been marked with the dissemination of the so called "left" sociology as the dominant of the socio-scientific paradigm changing as a whole.

Globalization made real the destruction of frontiers between countries and regions, intensive movement of capital across the world, labor migration, info-communicational transparency of the former isolated enclaves. At the same time, the process of social institutions corporatization and their submission to market profit-making logic is of primary importance. The main corporatization tool has become managerialism, directed to keeping a grip of power by corporations. "The managerial revolution", for a long time having been talked about by sociologists, has become the fact known to everybody. The abovesaid process has seized economic institutions of society, spheres of politics, culture, including universities, where the current sociological science is represented.

Sociology in its scientific version is becoming somewhat inconvenient and unclaimed due to its independence, criticism and objectivity. It does not coincide with managerialism on many ideological grounds. There has been originated the conflict and even the confrontation between them. In the US, recently the sociology citadel, sociology has shifted to the periphery of interests of university management and even of students' mass.

The situation of a kind of confrontation between the corps of social sciences and managerialism pressing is originating. Moreover, it is sociology that experiences the main blow, while this science due to its nature is "the Disenchantment of the World" (Max Weber's "die Entzauberung der Welt"); it discloses the sense and the content of the current situation, the distribution of powers and the game of public interest. There are few secrets for it in the current society, which is both dangerous and inconvenient. On the whole, the common consideration is that "it is better without sociology". Managerialism suggest that sociology should choose between the two versions of leaving the scene: either to imitate applied and instrumental disciplines or to transform into extraordinary and purely utopian construction of social reality with its subcultural isolation and group identity.

Such were the suggested terms of the agreement on self-liquidation of sociology. This agreement began "willy-nilly" to be put in life in both versions. But not all sociologists, including American universities, agreed to such a state of affairs. The grapes of wrath were rape against corporatist intrusion into the science, which pushed sociology to the brink of death. The means of confrontation to this pressing was found in Marxism with its basic thesis of the mission of social science to transform the world not only by investigating it, but chiefly by re-making it institutionally. Consequently, the 2000s have seen the process of politization of sociology, which defends its right to exist through the confrontation to the corporative world.

There has emerged the situation of a large-scale closed and open social conflict of the field of science. By and by Marxism and "the left turn" have become the mainstream of American and West European sociologists. To be a non-Marxist, to be a pure "scholar", "a positivist" in the sort of R. Merton or T. Parsons, was indecent and even dangerous, as it threatened with being misunderstood, stigmatized and even ostracized.

The condition of open confrontation entailed the change of the paradigm, the change of the language. There appeared the theory of so called "global sociology" which emphasized the politized agenda based on such concepts like "post-colonialism", "inequality", "global North", "global South", "dominance of Western sociology", "predominance of the English language" and so on. Summing up, somewhat conventionally, one can establish that sociology is being converted into the format of a softy political movement under the banner of Marxism. Virtually, it also reveals in the proclamation of all the regional ("indigenous") sociologies, irrespective of their contribution into the common corps of sociological knowledge, adjacent to the sociology being developed in the leading universities of "global North". The struggle for social justice has become the universal leitmotiv of the sociological discourse, and the participatory qualitative methods of participation in social movements prevailed over the rest. This trend is widely spread and institutionalized; it is notable for its radical political engagement, but its scientific content, objectivity and rationality of researches are overshadowed. Peter Sztompka was the first to concentrate on this trend (Sztompka P. Ten Theses on the Status of Sociology in an Unequal World. *Global Dialogue*, 2011, Vol. 2, No. 2. He was supported by

N. Ye. Pokrovsky (Pokrovsky N., 'Patient Denied Hospitalization', or 'In Defence of Sociology.' *Global Dialogue*, 2011, Vol. 2, No. 2.)

Of course, sociology was and still is multiparadigmatic. Here the topic is the dominant trend, *the mainstream*, the matter of our discussion. As examples N. Ye. Pokrovsky gave the agendas of the plenary sessions of the World Sociological Congress in Toronto (2019), programs and agendas of European sociological congresses, training course programs on classical and theoretical sociology in Western universities, journal articles arguing that "left" sociology needs neither explanations nor proofs. It is in the very air of universities; it is at least in fashion with all the consequences.

The analysis of the programs on classical and theoretical sociology of many universities having sampled by the continents and regions of the world have showed that "left" sociology takes the lead, ironically, in the US and in Europe, while the universities in developing countries are drawn toward classical tradition. Developing countries seem to be the first to raise the flag of struggle for sociology liberation of global North's domination. But this does not happen. Global sociology with its appeal to humiliated and insulted in the world appears to be used no so much to defend interests of the humiliated and insulted in the far South, as the means to confront the corporatization of universities in the North. We see a kind of mobilization of the external forces of the South to address internal problems of the North. There are no signs of a universal reciprocal plot. This is a dynamic composition of current processes in the field of sociology.

As a result, one can state that the general condition of the field of sociology in the current world is as follows: it is thickly sowed with left politized ideas overshadowing proper scientific reasons and motivations of sociological researches. The tasks of the struggle for justice in the world are regarded as of paramount importance. *The struggle* must be emphasized, which is typical for the current sociology of the globalized world.

A.B. Gofman constructed his comprehension of the situation around the "internal" and "external" factors of the development of current sociological theory known as the dilemma of "internalism" and "externalism" theoretical and methodological positions. According to the former, the development of science is determined mostly with *the internal logic of scientific cognition*, with the factors rooted inside the cognitive process. According to the latter, the determinants of the development of science are *outside*, being "external" with regard to science, be it political power, political and moral movements, religion, economy, psychological characteristics and value orientation of creators of science etc.

Virtually, it is the question of a pseudodilemma. Obviously, there are combinations and interactions of the "internal" and "external" factors. Accordingly, the research of the development of science means to investigate these combinations and interactions, but not to reduce one group to the other, not to negate or underestimate one of them.

Recent decades have seen the tendency to *vital predominance of "externalism" over "internalism"* in the sociological theory, or rather, in social metaphysics, often posing to be the theory, the predominance both conscious, premeditated and unconscious, unpremeditated, both obvious and obscure. Obviously, "externalism" gains the upper hand, as far as fashionable, popular trends and tendencies are concerned. The importance attributed not only to the "external" factors increases, but attributed to the "internal" ones decreases. "The external" here concerns both sociology as a discipline (the role of nonsociological scientific models and interpretations increase) and sociology as one of sciences (different extra-scientific factors are considered still more important in its development). The former means the penetration in sociology of terms and approaches of such disciplines, as postmodern philosophy, linguistics, literary criticism, political philosophy etc.; the latter means art, fiction, political activism etc. The latter shows the reduction of the intrascientific aspect of sociological knowledge to different social, political, and other determinants, such as power, force etc.; the reductionism often reproduces the ideas, which used to be called "vulgar sociology".

Recently, sociology, probably, more than the rest social sciences and humanities has experienced powerful influence of such movements as postmodernism, feminism, postcolonialism, LGBT, BLM, "new ethics", "cancel culture", ecologism, anticapitalism, antiliberalism, antiglobalism etc. These movements integrate into old, more or less radical left- or right-wing movements.

Is this good or bad for sociological knowledge, for comprehension of social reality, for "improving" the latter? I am inclined to answer in the negative, while the essence of the above-said tendency is depreciation of scientific knowledge in general and of sociological knowledge in particular. This depreciation has programme implications in the works of a number of contemporary theorists. Constant, but not always just charges of science, sociology in particular, with many sins, the statement of its groundlessness, of its present or future "end" etc. are observed. Hence, constant turn to different forms of knowledge and disciplines, such as art, journalism, literary criticism etc., which generate numerous nonsenses, idle talks, open fantasies, posing them as the latest creative achievements to academic community and general public. Social metaphysics, political and moral philosophy are often posed as sociological theory. I mean, these fields are not less important than sociology, but to pose them as sociology is bad for everybody.

It is often stated that the gap between theoretical and empirical sociologies impedes the fruitful development of sociological knowledge. But taking into consideration the sad state of theoretical sociology, the abovesaid gap, I believe, can be rather concerned *a blessing* for this development, while theory in its present condition is useless, at best.

L.G. Titarenko mentioned that at the "global" level sociological approaches and dominant paradigms of the second half of the 20th century do not enjoy the support even in the countries of sociological mainstream, where they emerged long ago. It is true as far as structural functionalism, and integralist theories of the 1980s are concerned. Giving up these macrotheories contributed to the diminishing of prestige of sociology in the world. Its status as an important social science, able to give a well-grounded social prognosis, declined; the interest in sociology as a job decreased. At the same time, the interest in social movements (both at the cognitive and active levels) increases. Social activism is supplanting academic approaches in many countries of the world. An important feature of current sociology has become the decline of interest in universal macrotheories, giving up the search of the laws functioning and development of society. Sociology is disintegrating into special trends, which became fashionable outside sociology, like BLM movement in American sociology. Popular topics of citizenship, national minorities, migration have emerged due to the political fashion in sociology. Contemporary theorists work in the framework of private problems, separate social institutions, have some results in these fields (for example, in economic sociology, cultural sociology), but these works do not present the image of global sociology.

There is no common approach in the development of new sociological trends and theories. Some innovations (sociobiology, neurosociology) are assessed as naturalization of sociology, as the danger to lose its disciplinarity, as a positivist (on the whole) trend in its development by many authors, especially by Western ones. The interdisciplinarity is assessed ambiguously. Some sociologists welcome it, others consider it as "solution" of sociology in related disciplines.

As for national sociologies in the countries, which do not belong to the West (i.e., to global North), they are growing, but these *sociologies are not united even in regional clusters*, contributing to fragmentation of sociology in the world. Dividing lines of global sociology become intensified along the lines East – West, North – South. Postcolonialism is reflecting fragmentation of current society and deviation from globalization models, so popular at the end of the 20th century.

It is noteworthy that dislike structural and functional theories, neo-Marxism is noticeable until now. Critical Western authors work actively (the third generation of the Frankfurt School, other leftist critics of capitalism). They are seeking new ways to confront capitalism, most of them out of authentic Marxism. This can be explained, as nowadays nobody considers proletariat as the driver of radical reforms and changes of capitalism. Therefore, other Western

theorists express their opinions (known since D. Bell) that present-day "Marxists" are post-Marxists. They have only preserved criticism of capitalism, but not Marx's key ideas.

N.V. Romanovsky supported the idea that the term *crisis* is the most relevant sociology characteristic worldwide. In the West they apply it to sociology, social science and theory as a whole, to universities, journalism, and the spheres of social life.

The crisis evidences, what lies ahead for sociology: a new stage of its history, a scientific revolution, in the terms of Th. Kuhn. Turning-points in society are followed with serious shifts in scientific (in this case social and sociological) theory being the carcass of science. That's what is ahead for sociology.

V.V. Shcherbina agreed with those who spoke that a) sociology (first and foremost Western sociology) is suffering from a real crisis now; b) the crisis is connected with the loss of ideas of sociality as a special reality. In his opinion, this is what deprived sociology of its status of proper science, investigating objective social processes in social communities of different types. He expressed the conviction in the efficiency for sociology of those (only) explanatory schemes, which R. Merton (unlike so called general theories) named middle-range theories, and our home sociologists (Toshchenko, Babosov, etc) called them special sociological theories. Such theories: a) are always linked with a concrete type of social communities (teams, local groups etc.); b) are formed on the base of summing up the results of empiric research and observations of these social organizations; c) use the ideas of stable dependences, fixed in linking with a given situation; d) are convincing while explaining the logic of ongoing processes; e) allow to prognose the logic of ongoing social processes; f) make possible to apply regulations of sociology to social practice. In his opinion, the development of sociological theory is a long and step-by-step process, which is not being built on the giving up former theoretical schemes. At the same time, sociological theory focuses on the tasks of social practice (if it really exists) and puts the question of seeking objective criteria of ongoing social changes positivity to sociologists. Today such a criterion is still the question, how the content, value and rates of social changes influence the ability of social organizations to survive and be competitive in dynamic environment. The attempts to find the exit out of these contradictions without social science assistance are doomed to failure.

2. Current theoretical sociology in Russia. In his opening speech Zh.T. Toshchenko formulated a series of important theses. 1. In the 2000s in our sociology a quantity of research works and publications of applied character has increased, but the quantity of attempts to theorize on the base of the data received by researchers has somewhat decreased. In the framework of economic, political sociologies, those of culture, youth, etc. there are developed substantive provisions applying them to the research subject, but they have a limited range, interpreting but one aspect of people's activity and life; general theoretical questions are being analyzed by the way and partially. 2. Theoretical thought has mostly been fed with empirical researches, giving summary conclusions for theoretical interpretation of social conditions and the prospects of social development. We possess great data array having been investigated at the first approximation, so far; usually they are kept in the low-income storage. 3. The prospects are as follows: our theoretical thought must concentrate on the problems of priority virtually worldwide, on the problems which excite and worry people. These problems determine stability and successful progressive development, i.e., social justice, socioeconomic and sociopolitical equality, social concord and mutual understanding. Like ideas root in historical cultural contexts of Russia. Once they penetrated into the world sociology in the form of amitology, P.A. Sorokin's altruism (having emerged simultaneously with modernization of T. Parsons and R. Merton). Zh.G. Toshchenko believes, that for Russian contemporaneity such an understanding is significant, as the data of a series of researches shows justice to be the priority, the vital need of Russian population, being the token of their relation to social changes, their (un)willingness to trust social institutions. Therefore, a number of researchers proceeding from the fact that aspiration to justice has acquired stability, suggest that it should be made the ideological guide of a new Russia.

V.V. Kozlovsky attracted attention to the “catching-up model” development of current Russian sociology. Our society has moved from the post-Soviet stage of transformation on the model of catching-up modernization up to the stage of planning a new configuration of socioeconomic base, social stratification, cultural space. Current world order evidences a new civilizational dynamic of the world, including Russian society. The world is changing swiftly (climate, new technologies, virtualization, militarization, epidemics etc.). Russian society is no exclusion. Everything demands for the relative timely response. Today social sciences are not ready to respond.

Indeed, there have emerged authors’ conceptions (life sociology, service-home civilization etc.) in Russia, but their heuristic potential has not been revealed yet. It is worth to note that Russian sociology for a long time coped with the achievements of Western social theoretical thought, when foreign works were translated and published, their methodological and theoretical resources were used. The import of foreign sociological theories was packed in the Marxist tradition dominating in the Soviet period and was argued with the advantages of multiparadigmality, with the experience of methodology of empirical researches. The originality of Russian society disappeared from such constructions and found poor conceptual reflection.

The wide network of empirical research of Russian society of various topics in state and private scientific centers provided for the inflow of a large data array, reflecting sociostructural changes, public opinion dynamic, features of regional development, changes in daily life etc. But there is lag in theoretical conceptualizations of these data, in understanding tendencies of changes and formation of current social figuration in Russia. One of the prospects of sociology development in current Russia is the sociologically oriented civilizational analysis of the development of Russian society in the world’s context¹. Civilizational development² of current Russian society in sociological studies remains at the periphery of interests, as it is considered that in this way the focus is being shifted toward the trajectories of disciplines outside sociology. In the last resort this topic can be set in the framework of interdisciplinary researches. In foreign literature civilizational approach is being developed in several directions (Johann Arnaon, S. Eisenstadt etc.). The advocates of promoting civilizational analysis in Russian sociology may be accused of following the foreign tradition. However, the development and application of civilizational approach in sociology means the creation of native conceptual apparatus for fixation, designation, explanation, interpretation of a large array of linkages of social structure and culture, institutions and agent structures (individuals, groups, communities), different capitals in the changeable sociocultural space of Russian territories. The optics of this approach can assist sociology to comprehend changes developing in Russia.

S.G. Kirdina-Chandler showed two facets of comprehension processes in Russian theoretic sociology. The first of them is connected with globalization effects, i.e., any national sociology cannot help being global, taking into account the role of links of national and global, regional and global, right up to individual and global in the analysis of social processes. This link is present and it runs through the national social cloth, irrespective whether it’s being overt or not. Global conditionality generates a series of effects linked with the adaptation of national sociologies, including sociology in Russia, to the global world. 1. There is “positive adaptation” contributing to the development of sociology: mastering new, advanced and strict, in comparison with Russian ones, standards of organization and conduct of sociological researches, a deeper scientific reflection of national and universal tendencies in the course of comparisons. 2. The aspiration to become part of the world (often understood as Western) sociology urges researchers to the themes interesting for such a sociology, as to be included in the world sociology means publication in foreign journals, too.

¹ Czech sociologist I. Šubr paid attention to this fact in one of his recently published articles (see: *Sotsiologicheskie issledovaniya*. # 1, 2021).

² In this discussion an important conception of multiple modernities is linked with it.

In current conditions, when Western countries oppose Russia, it means interest in our research works, which are enrolled in the conception of western ideas of Russia. The topics developed in the framework of such ideas of Russian problems as nepotism, population's distrust in power, national conflicts etc. in all probability will be accepted for publication. The analysis of the cited English articles by Russian authors confirms the interest in such problems. The works on mechanisms of the development of Russian society are of less interest. Globalization consequence in this case is the deformation of the field of research in favor of the works reinforcing the negative image of Russia in the eyes of world actors, including those in science. "The negative adaptation" is supported, ironically, with the appreciation of scientific labor, introduced in Russia: publications in the journals indexed in international bases with dominance of Western approaches. Hardly ever we will "catch up and overtake" Western sociology in this way. In the conditions of global context activation of our interaction with the countries outside the Western mainstream seems perspective, and this is typical of the foreign policy agenda of our country. Sociologists can follow this way, why not? Here it is possible to find the balance between "positive" and "negative" adaptation, contributing to the development of Russian sociology.

The second topic, connected with the first one, is, possibly, more important in practice. It is marking and presentation of our researches' results, writing sociological texts. The presentation of our texts, their language, their lexis is not less significant as their content. The digital reality reinforces the importance of this work. In particular, social networks culture shows the role of *HOW* articulated is this or that statement, how expressive, convincing and laconic it is. Here also, the global context must be taken into account, because we still more often write English, though not articles, but abstracts to them.

V.A. Shilova believes that it is important not to tear problems of our theoretical sociology off Russian society development and its social disease, which reflected on domestic sociology and will influence its development. *Current administrative state elites*, she emphasized, *have no demand for a theoretical fundamental sociological knowledge* due to many reasons, the key one being the habit to use sociology as "serving" practice of legitimation of power and adopted resolutions. Hence the underfunding of fundamental researches. The crisis of Russian society in the 1990s was very harmful for domestic sociology. There occurred a failure in reproduction of specialists; there is no scientific cohort which could succeed the leaving generation of theorists of the 1950s and 1960s. Mechanisms of scientific, especially theoretical, knowledge and of development of scientific schools were broken. Scientific work is becoming fragmentary, losing the outline of senses. The reform of the Russian Academy of Sciences and universities had the negative effect; the true principles of scientific work are being lost due to the feverish pursuit for publications.

N.V. Romanovsky mentioned that Russian sociologists mostly did not surrender to promises of science adventurers of public sociology, postmodernism, series of Fashionable trends. But "modern" as a reference point according "The System of Modern Societies" by Parsons in Soros' interpretation remains. The acknowledgement of their failure in the West has had no consequences. The influence of such well-known theorists of sociology like U. Beck, P. Bourdieu, A. Giddens, M. Castels etc. is underestimated (see N. Pokrovsky above), with their support on Marxism; the achievements of phenomenology have not been interiorized; the positions of postcolonialism are not comprehended etc.

Since the Soviet period and now a number of Russian sociologists-theorists have implemented the ideas relevant to those of current theoretical global sociology. It is the breakthrough ideas marketing necessary in science that is not realized; these technologies are to be mastered. The extreme poverty of the empirical research base performs poorly at the background of immense data array having been collected by our leaders in sociology, such as Russian Public Opinion Research Center (VTsIOM), the "Public Opinion" Foundation (FOM), the Levada Center, RAS institutes, regional sociological centers across the country, commercial

information centers. They have been collected, but analyzed at the first approximation only. These data bases have not been theoretically comprehended.

The situation is ambiguous, but it seems not to be insuperable. Russian sociologists should see the prospect of changes in sociology as the guide point. Their chief task is to convince society that science will not only provide technologies for the country, but also will be the guide toward the future for society.

Sociological theory, its challenges and solutions, search for the way toward the future are important for Russia. The suggestions touching general and particular aspects of these searches are well-known. Such a situation not only promise the novation, but obliges to advance it. The realization of raw, industrial and infrastructural projects, with following changes in the space of Russian East are urging for the analysis of relevant civilizational, social, cultural transformations and problems. Sociology foresees general outlines of forthcoming searches now. Such works as "The Atlas of Modernization of Russia and its Regions" by N.I. Lapin will inevitably form the basis of sociocultural provision of "the turn to the East" and "social turn" in the country.

Is current Russian sociology up to this task? There are no reasons to answer in the negative. One must not wait for answers from some "advanced" social thought of the "civilized" world. Social thought experiences crisis there. We are in a special position, because we are not taking practical steps toward the exit out of the poor situation. We are late to acknowledge this fact and to undertake relevant actions. And they are possible, if current generations of Russian sociologists make certain efforts.

L.G. Titarenko mentioned the recent occurrence of Russophobia in Western sociology. For many years after the collapse of the U.S.S.R. a number of sociologists in the Ukraine, Moldova, Belarus' attempted to develop the scheme of Postcolonialism as the leading one for their sociologies (having got grants from the West). Now it is known, where it has led. And what has this added to theory? Nothing. Also, a number of Russian sociologists wished to consider post-Soviet Russian sociology as Postcolonialism. One should investigate: whose sociological colony was the Soviet sociology? Probably, those who believe that everything noteworthy in Soviet and Russian sociology has been done under the influence of the West, consider Soviet sociology derivative from Western sociology, dependent on it. It is hard to accept this opinion. Some authors, who negated such an appreciation in the Soviet time, openly express it now, thereby cancelling Soviet sociological legacy as a "survival" of intellectual colonialism. Maybe, Russian theorists must reconsider both their own legacy and the ways of the development of Russia to find the alternative, which having not been acknowledged by global sociology to be "legacy of the world", yet can be quite functional to interpret and explain Russian civilization?

As far as Postcolonialism is concerned, **N.V. Pomanovsky** mentioned that the aspiration of some domestic sociologists to link the U.S.S.R. with imperialism and colonialism was unexpected to him. Foreign advocates of this theory, whose works were of sight and in the "Sociological Studies" journal, consider colonialism being generated by capitalism and imperialism. Exploitation, violent expropriation, slavery and racism cannot be applied to Russian history realities, moreover to the U.S.S.R. J. Go, influential in the "left" neo-Marxist Postcolonialism, whose articles have been published in "Sociological Studies" (see № 6, 2021; № 4, 2019), insists on reconsidering the former ideas of modern, globalization, basic features of the most influential sociological theories. The content of L.G. Titarenko speech is rather the result of actions in the framework of hybrid warfare (realized through Soros' channels and Turkey universities with their plans of the expansion of the Turkic-speaking world).

3. Teaching theoretical sociology as the indicator of the general trend of the development of sociology reflects some difficulties in this sphere of our science. **N.E. Pokrovsky** mentioned, in particular, that in the 2000s sociological departments of the US universities began to "merge and be absorbed" due formally to being unclaimed by the students. Pure sociology *per se* is merging and losing independence. It is not of interest either for the management of universities, or for most students. Such is, in his opinion, social background of current sociology of the US, Western Europe and, partially, of Russia.

A group of N.E. Pokrovsky's colleagues have analyzed syllabi on sociology of a number of universities sampled by continents and regions of the world. It has been found out that public sociology takes its leading stand in the US and in Europe. Universities of the third countries are drawn to classical tradition. Developing countries seem to raise the flag of struggle for sociology liberation of global North's domination. But this does not happen. Global sociology with its appeal to the interests of the humiliated and insulted in the world is used not so much to defend the interests of the humiliated and insulted, as to confront the corporatization of universities in "the North".

N.V. Romanovsky mentioned that since the early 2000s we have established decrease of the academic level and of requirements for scientific production in Russia, from research and training works to dissertations. Current sociological theory is not compatible with competency-building and marketing approach. Its value in training courses is minimum. In reality professors and teachers should convince society and our students that science will not only provide the country for technologies, resources etc., but will be the guide to the future for its society. It is possible to form public opinion, convincing our audiences in the importance of social theory. The country, which recently has attempted to progress dynamically, ought to do it with the support on the advanced social science (the science of society); and this science must be relevantly organized and oriented.

V.I. Zalunin gave two examples of theorizing in the training process in his speech. The first concerns the definition of sociology subject. At the lesson several definitions (1–3) of sociology subject are given: 1) society in its subjective measurement, social life, social relationships as relations between subjects concerning reproduction of themselves and their living conditions from the standpoint of their position, status, equality, justice, solidarity; 2) forms of joint life and activity, social phenomena and processes from the standpoint of their place and role in integration (solidarity) and disintegration of society as the integral system; 3) general forms and principles of social interactions in their concrete revelation on the ground of broad application of empirical data.

Then, summing them up, the teacher gives the author's (leading the students up to its (non-)acceptance) *definition of sociology subject: 4) science of regularities of making, development and interaction of social systems (from an individual to society on the whole) in their objective and subjective measurement, research methods and technologies of optimization and their control.* Proposed (doubtful) vision of sociology subject permits to propose new approaches to structuring sociological knowledge.

U.G. Nikolayeva paid attention to a significant complication of the ideas of sociohistorical dynamic of society in current sociology, at the necessity of reflecting new approaches in training students. Linear schemes are giving up their place to multifactorial models of social evolution. The problem of the unevenness in development, of social and economic lag is conceptualized in a new way. There is emphasized the importance not only of progressive factors, but also of disfunctional ones, of contradictory combination of the newest tendencies and "archaic" layers of sociohistorical memory.

The past is not annihilated by history, but transits to a kind of historical "unconsciousness", moves into a "depository", and from time to time according to a certain social logic it is extracted out of there and implanted into the relevant present. We are dealing with turbulent dynamic of sociocultural and economic systems, when the past is present not only as separate traditions and rituals, but as entire complexes. However, even specialists are hardly ever aware of it. This leads us up to the topic of archaic and its presence, functioning and development nowadays. Centuries-old archaic is presenting itself here and now.

Originally, the concepts "archaic", "archaism", "archaization" were used in art criticism and meant the use of obsolete art elements, linguistic forms, motives. Recently (including the author's efforts) these concepts have begun to be used to characterize retrogressive trends in the development of societies. However, unexpected popularity of the term "archaization" made it exceed the limits of scientific usage, appear a great many everyday meanings. Corruption,

interest in magic, fear of vaccination in pandemic conditions, negation of science, and Soviet celebrations etc. have been called "archaic". These different phenomena and processes show different "retrodistance" and reciprocating trends of social development, creating a complicated image of society. We need scientific conceptualization, theoretical comprehension of these phenomena, connected, it seems, first and foremost with the reanimation of "pre-modern" (pre-marketing, pre-capitalist) socioeconomic relationships, sociocultural institutions and scientific world-conception. At the same time "pre-modernity" is utmost different historically and typologically. Therefore, to unite pre-marketing (pre-modern) societies in the common concept for "traditional societies" seems to be unproductive (L. Morgan, K. Marx, B. Malinowski, K. Polanyi, Yu.I. Semenov and many other social scientists, historians and anthropologists wrote about it). The deepest scientific analysis of early history of mankind (including anthroposociogenesis) is given in the works by Yu.I. Semenov, an outstanding Russian historian, which must serve the base of the analysis of current processes of social archaization.

"The archaization" in current society appears to be found in the following forms: reanimation of pre-capitalist socioeconomic relationships (racket, raiding, extraeconomic coercion, corruption, pull, nepotism, bureaucratization, neopolitarianism elements etc.); spread of "power" practices of social interaction and social conflicts' solutions, the extension of the zone of extralegal regulation, the decrease of the importance of formal law and the extension of the influence of "non-formal" law; "corporatization" of society, the decline of social mobility, the emergence of half-feudal stratification elements, the revival of pre-rational forms of social consciousness, de-scientization and re-mythologization of culture. The explanation of "archaic" phenomena must be founded on historical sociology, economic anthropology, theories of premarketing economy, world-system analysis, "peripheral" capitalism conceptions, theories of "multiple" modernization.

Socio-historical analysis through the magnifying glass of the abovesaid approaches allows to form much deeper and multifaceted vision of social reality, where ultramodern forms of life (digitalization, technologization, robotization, virtualization) coexist and engage in symbioses, in hybrid combinations with pre-modern, archaic social models, passed long ago.

A.A. Ovsyannikov put the question of the importance to fill the teaching of sociology with Russian social practices and problems. Domestic practice in Russian sociology textbooks takes no more than 7%–8% of their volume. The textbooks have been written for Russian universities, but there is no place for Russia in them. They can concentrate on retelling Western sociology, having nothing to do with Russian practices. Like in the U.S.S.R. of the period of historical materialism, we have got into the cognitive loop: theoretic sociology with no empirism has become nonsense, and empirical sociology without distinct theoretical reflection is blind speculative activity. Interpretation of foreign sociological theories is to some degree justified and correct. But there are limitations. These limitations are determined with scientific criticism, which seems to be absolutely absent in our sociology. As a result, the Russian student readily speaks on the problems of Texas or on the condition of Arabs in France, on the American soldier and Polish emigree, on current anomie and "complex society" discussing the American black world. But he cannot say anything sensible about the situation in Buryatia or Altai, or on the Russian Army. And to add: Russian sociology must not ignore Russophobia, propagated by Western establishment wherever it is possible.

Compiled by V.A. Shilova, Institute of Sociology RAS FCTAS; the text by N.V. Romanovsky, "Sociological Studies" journal.

© 2021 r.

S. Ya. SUSHCHIY

RUSSIANS IN THE SOUTH CAUCASUS: FACTORS OF DYNAMICS IN THE POST-SOVIET PERIOD AND GEODEMOGRAPHIC PROSPECTS

Sergey Ya. SUSHCHIY – D.Sc. (Phil.), Chief Academic Associate, RAS FIC South Scientific Center, Rostov-on-Don, Russia (SS7707@mail.ru)

Abstract. *The collapse of the USSR sharply accelerated the depopulation of the South Caucasus, which fell from 783,000 to 140,000–148,000 people during the 1990s–2010s. The main demographic losses were due to outflows into Russia. The decline in the number of Russians was widespread and was accompanied by a serious deformation of their age and gender structure, with a noticeable predominance of women and older people. A noticeable part of the region's settlement net (with the exception of Abkhazia) has lost its permanent Russian population. The epicenters of the Russian ethnic presence remain the capitals, and in rural areas – some settlements founded by Old Believers in the imperial period. The transformation of Russia into a guarantor of security for regional states (Abkhazia, South Ossetia) slowed the rate of loss of the Russian population, while confrontation with the Russian Federation (Georgia) markedly accelerated it. By 2050, the number of Russians in the region could decrease to 70–90 thou people. Baku will remain their largest medium. However, if current trends persist, in 30–50 years the Russian community of Abkhazia could become comparable in size to the Baku community. These two groups could comprise 85–90% of the Russians in the South Caucasus in midcentury (47% in 1989). As the old-age communities continue to shrink, the prospects for the ethnic presence of Russians in the region will increasingly correlate with the size of the tourist flow and the size of the group of Russians who own local real estate. Russian military units stationed in the region will play a prominent role as major centers of the Russian population in some countries. At the same time, all these groups will no longer represent diasporas, complexly rooted ethnic communities with a high level of internal communication and the capacity for sustainable self-reproduction.*

Keywords: *South Caucasus • Russian population • geodemographic dynamics • settlement pattern • gender and age structure • migration • assimilation*

DOI: 10.31857/S013216250016790-2

This article is a translation of: Суцций С.Я. Русские на Южном Кавказе: факторы динамики в постсоветский период и геодемографические перспективы // *Sotsiologicheskie Issledovaniia*. 2021. No 9: 27–41. DOI: 10.31857/S013216250015744-1

Research objective and common reference. Russians have been one of the fastest growing ethnic groups in the South Caucasus (hereinafter referred to as the SC) for 150 years (mid-19th–20th centuries). During 1850–1917, the Russian population of the region grew from 30,000 to 400,000, and reached 975,000 in 1970 [Kabuzan, 1996: 265, 266]. The expansion of the Russian ethnic presence in the SC was one of the main components of the imperial (and later Soviet) project for the comprehensive integration of the region into the vital cycles of the

Table

Censuses in the South Caucasus, 1999–2019

State	1999	2001	2002	2003	2005	2009	2011	2014	2015	2019
Azerbaijan	•					•				•
Armenia		•					•			
Georgia			•					•		
<i>Unrecognized and partially recognized states</i>										
Abkhazia				•			•			
Nagorno-Karabakh					•				•	
South Ossetia									•	

Russian state. However, even in the post-Soviet period the geo- and sociodemographic indicators of the Russians of the SC remain an important indicator of the region states preservation in the Russian geocivilizational space. An independent aspect represents the geodemographic and settlement dynamics of the Russian population of unrecognized and partially recognized polities of the SC, allowing us to clarify the role of the sociopolitical factor in the preservation and reproduction of Russian communities in the region.

Various aspects of geodemographic, settlement and gender – age dynamics of the Russian population of the post-Soviet space have been in the focus of attention of the academic community since the early 1990s. Nevertheless, the Russians of the SC have become the object of research quite rarely, although the difficulties of their complex adaptation to new conditions of life were almost maximal (this is indicated by the rate of depopulation). Among the complex studies of the Russian population of the SC in the 1990s, we should mention the monograph by S.S. Savoskul [2001: 315–343], as well as works by N.M. Lebedeva [1995] and A.S. Yunusov [2001].

In the last 10–15 years, the activity of research in this scientific direction has decreased even more. In the literature, there are practically no publications devoted directly to the geodemographic dynamics of the Russian population of the region and its individual states. Some aspects of this problem are touched upon in articles that discuss general ethnodemographic processes in the modern SC [Kamakhia, 2007; Masaki, 2018; Lachenova, 2006]. However, it is obvious that this topic needs a more detailed study.

As an information base for the geodemographic analysis of the Russians in the SC can be used the data from the national censuses of the states in the region, which, however, differ significantly in the completeness of their ethnodemographic sections (Table).

Given that five to ten years have passed since the last censuses in the countries of the region¹, analytical procedures will be needed to assess the current demographic potential and geography of the Russian population. A much more difficult task is to perform geodemographic forecasting. Nevertheless, under certain conditions it is possible. Such a calculation should be oriented to obtaining the most probable range. At the same time, the forecast should take into account geodemographic trends that developed during the 1990s-2010s into a dynamic 'rut', which is very likely to continue in the future. The availability of data on the gender and age structure of Russian communities makes it possible to calculate the natural component of their future demographic dynamics using the age shifting method (such information exists in full for Armenia and Nagorno-Karabakh, and partially for Georgia and South Ossetia).

Dynamics of the Russian population in the South Caucasus in the post-Soviet period.

The maximum level of ethnic presence in the region was reached by Russians in 1970–973 thou people. By 1989, this number decreased to 783 thou. However, the real 'exodus' of Russians from the SC began after the collapse of the U.S.S.R. In the 1990s, local Russian communities outpaced all other neighboring countries, except Tajikistan, in terms of depopulation. There

¹ In Azerbaijan, the last census took place in 2019, but its data has not yet been published, so we have to use the results of the 2009 census.

were several reasons for such a mass exodus. Serious ethnopolitical and socioeconomic problems, typical for the entire post-Soviet space, were seriously aggravated by interethnic conflict. In fact, all the newly formed states of the SC found themselves in the early 1990s involved in military confrontations, which determined a rapid increase in the migration of Russians from the region. During 1989–1995, 55% of the Russian population left Armenia, 43% left Azerbaijan, and around 40% left Georgia [Savoskul, 2001: 321]. By the beginning of the 21st century, the number of Russians in the SC had decreased to 250,000, almost returning to the level of 1900.

Intense depopulation continued in the 2000s and 2010s. The main demographic loss was still associated with the outflow to Russia. At the same time, as the number of Russians decreased and their age and gender structure became increasingly deformed, the natural factor began to play a more prominent role in these losses. By now, the Russian population in the region has decreased to 140,000–150,000.

Many geodemographic trends were similar for all Russian communities in the post-Soviet period, including widespread and persistent depopulation, concentration in capital cities, a gradual increase in the average age, and a tangible gender imbalance. However, there were also certain country specifics that created opportunities for different variants of further demographic dynamics. The nature of relations between the states of the region and Russia played an important role in increasing this scenario variability. Thus, the geodemographic perspectives of the Russian population in each of the SC countries (including unrecognized/partially recognized) need to be analyzed independently. Since the comprehensiveness of modern ethnodemographic statistics varies markedly across the countries of the region, it is logical to begin the study with the community about which the most information is available.

Armenia. Even during the Soviet period, Armenia stood out from the Soviet republics by the minimal presence of Russians. At its demographic peak their number was 70.3 thou people (1979). By the time of disintegration of the U.S.S.R. (early 1992) this number decreased to 41–42 thou people and in the mid-1990s it was 24–25 thou (calculated according to [Savoskul, 2001: 341]). The 2001 census recorded 14.6 thou Russians in Armenia. Consequently, the most significant part of the depopulation process fell within the first post-Soviet decade and was associated with migration – it accounted for 96–97% of all demographic losses (Fig. 1).

The rate of loss differed by pattern of settlement system. The number of Russians in Yerevan has decreased by 3.3 times in 1989–2001. The number of Russians in other Armenian cities has decreased by 5.7 times. The rural Russians were much more stable; the old inhabitants who settled in the SC during the Russian Empire, were the majority among them.

The gender imbalance, which had already been felt in the Soviet period, increased considerably. In 2001, there were 249 women for every 100 Russian men in Armenia and the average age of the population went up to 45 years (47.6 years for city dwellers). The combination of these two vectors of deformation of the gender and age structure led to a sharp increase in the proportion of older (over 60 years old) women: in 2001, they accounted for about a quarter of the Russians in Armenia. A significant portion of them had 'titular' husbands, which was the main reason why they refrained from migrating in the 1990s.

By the beginning of the 2000s, the most adapted part of the Russian population who did not want to (were not able to) leave the country, remained in Armenia. This circumstance determined its further geodemographic dynamics. In the first decade of the 21st century, the scale of the outflow decreases by an order of magnitude, and the natural factor connected (through interethnic marriage) with the assimilation of mixed offspring of Armenian-Russian families begins to play an increasingly important role in the depopulation of Russians.

In 2001–2011, the Russian population of Armenia decreased by 18.8% (to 11.9 thou people). In contrast to the 1990s, this reduction was not widespread. In half of the country regions, the number of Russians slightly increased or remained unchanged. But the demographic dynamics of the community in that period were determined by its two main epicenters: the Russians in Yerevan and the settlements in the Lori Region (several Molokan communities, including the largest

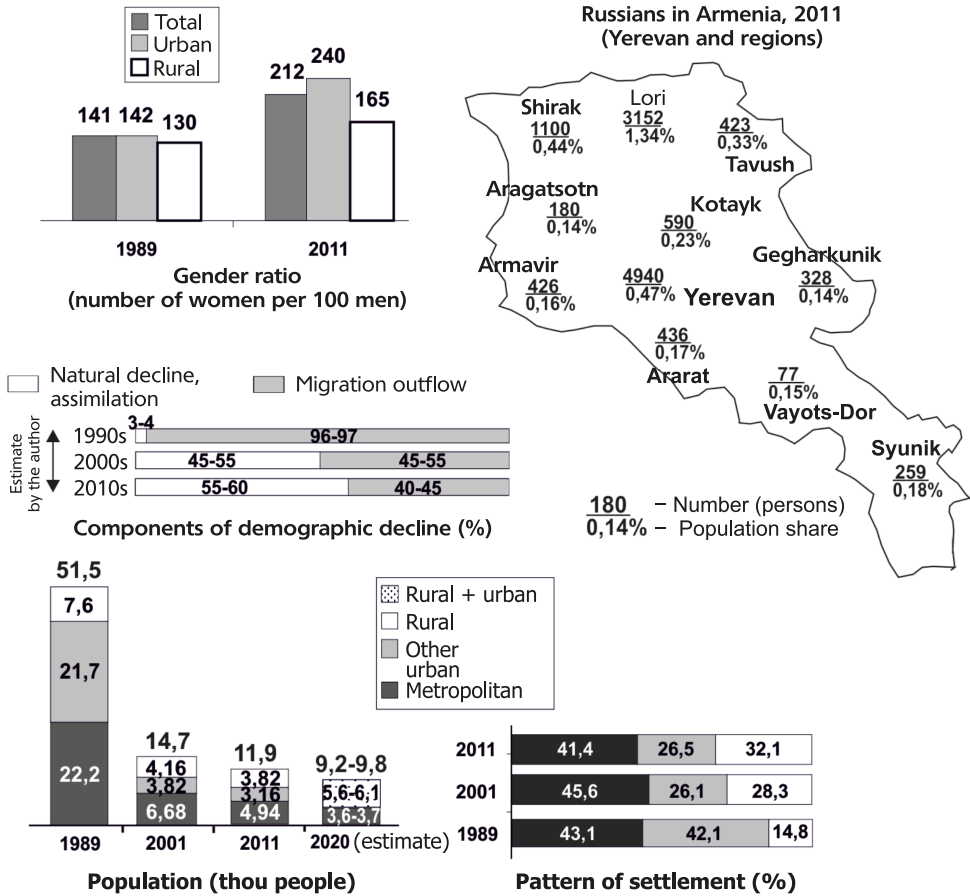


Fig. 1. Russian Population of Armenia

Sources: Figures 1–7 are based on [All-Union census.]; Population Statistics of Eastern Europe and the Former USSR (URL: <http://pop-stat.mashke.org> (Retrieved on May 30, 2021)) and data from national censuses.

ones in the villages of Lermontovo and Fioletovo). In total, these two epicenters accounted for over two-thirds of Russians in Armenia, and including the Russians of Gyumri, for about 75%.

A comparison of separate age generations of the Russian population according to the 2001 and 2011 censuses reveals the main decline among middle-aged (30–50 years old) and older (over 60 years old) people. In the first case, the main factor of the loss was migration, in the second case, it was increased mortality (natural factor). According to calculations, the depopulation of Russians in the 2000s was formed to a comparable extent by the outflow and natural loss.

The significant increase in the role of the natural factor also had positive consequences. Since a significant part of the loss was caused by old women, the growth of the average age of the Russian population has stopped and the gender imbalance has somewhat decreased. Nevertheless, in the early 2010s ‘older’ women continued to be the most significant group in the gender and age structure of the Russian community of the country, which, in addition to the imbalance, caused a huge age gap between the genders (the average age of Russian men in Armenia was 28.2 years, women – 51.3). Naturally, this disproportion had a negative impact on the reproductive performance of the Russian population.

The Armenian census scheduled for 2020 was postponed indefinitely due to the pandemic, and the dynamics of the Russian population in the 2010s can only be ascertained by expert evaluation. Given its gender and age structure, the most likely dynamic scenario for this period is that depopulation rates of the 2000s will be maintained. Some reduction in the outflow was supplemented by a growing natural decrease, associated not only with increased mortality of aged Russians, but also with a fall in the birthrate. The number of potential Russian 'mothers' aged 20–39 years old was expected to decline by 22% in 2011–2020 even without taking migration into account (from 1,750 to 1,370 persons). Given the average annual natural decrease of 10%–11% and some outflow, the number of Russians in Armenia could have decreased by 18%–20% in the 2010s. The losses in the community in the capital were most likely higher due to the high proportion of old people. By the early 2020s, there could be about 9,200–9,800 Russians in the country, including 3,600–3,700 in Yerevan, 2,500–2,600 in Lori province and 0,900–1,000 in Gyumri. About 2.2–2.5 thou people were settled in the rest of Armenia.

Further geodemographic prospects for the Russian community will be increasingly determined by natural dynamics. In 2021–2030, the number of Russian women of reproductive age will decrease by another 24% (from 1,370 to 1,040). Accordingly, the birthrate will continue to decline, including the fact that some Russian brides, by marrying members of the titular nation², begin to 'work' for the reproduction of the Armenian people.

The calculation of the natural dynamics of the Russian community using the age shifting method shows a 9%–10% decline in the 2020s and a 14–15% decline in the 2030s and 2040s. Thus, without migration the number of Russians may decrease to 8,6–9 thou by 2030 and 6,3–6,7 thou in 2050. However, a complete cessation of the outflow is an extremely unlikely scenario, and keeping it even at the level of 3–5% over a decade can reduce these numbers by 1–1.5 thou people. The average age of Russians in Armenia could rise to 51 years by the middle of the century (43 years for men and 57.5 years for women).

The epicenters of the Russian community will continue to be Yerevan, Lori region, and Gyumri, but the ratio between them may change. By 2050, the number of Russians in the capital and Lori province will most probably equalize due to the accelerated attrition of 'old' Russians in Yerevan. The group of Russians in Gyumri, where the Russian military base is located, will be close to them. This makes it a center of attraction for Russians from all over Armenia. The rest of the country's provinces (with the exception of the outskirts of Yerevan) may almost completely lose their small Russian population by mid-century.

The Russian ethnic presence in the country will also be linked to tourism, the importance of which may grow as the elderly population declines. In the late 2010s, 400–450 thou Russians visited the country annually [Comparative Statistics..., 2020]. Even if Russians made up only half of this tourist flow, there were several thou of them in Armenia at any given time, which is comparable to the size of the Russian community.

Georgia. In terms of the Russian population rate of decline in the post-Soviet period, Georgia surpassed all the neighboring countries except Tajikistan. And large-scale losses, not limited to the 1990s, continued into the first 10–15 years of the 21st century. In 2014, 26,400 Russians remained in the country (10% of the 1989 level). About half of them lived in Tbilisi, 35%–40% lived in a number of other centers (Batumi and Rustavi – more than 1,000 people in each, 400–500 in Kutaisi and Poti), 15% were settled in rural areas (Figure 2).

The gender and age structure of Georgia's Russian population reveals even greater disparities than among Russians in Armenia. In the mid-2010s the share of people over 65 years old among them was 30.8% [Bruijn, Chitanava, 2017: 23] and taking into account the cohort of 60–64-year-olds it grows up to 39–40% (10% more than in Armenia). At the same time, young people (15–29 years old) in Georgia accounted for only 13–14% of local Russians

² The elevated level of interethnic marriage was determined, among other things, by the shortage of Russian 'suitors' – in the group of 20–29-year-olds there were 89 men per 100 Russian women, in the group of 30–39-year-olds there were 71.

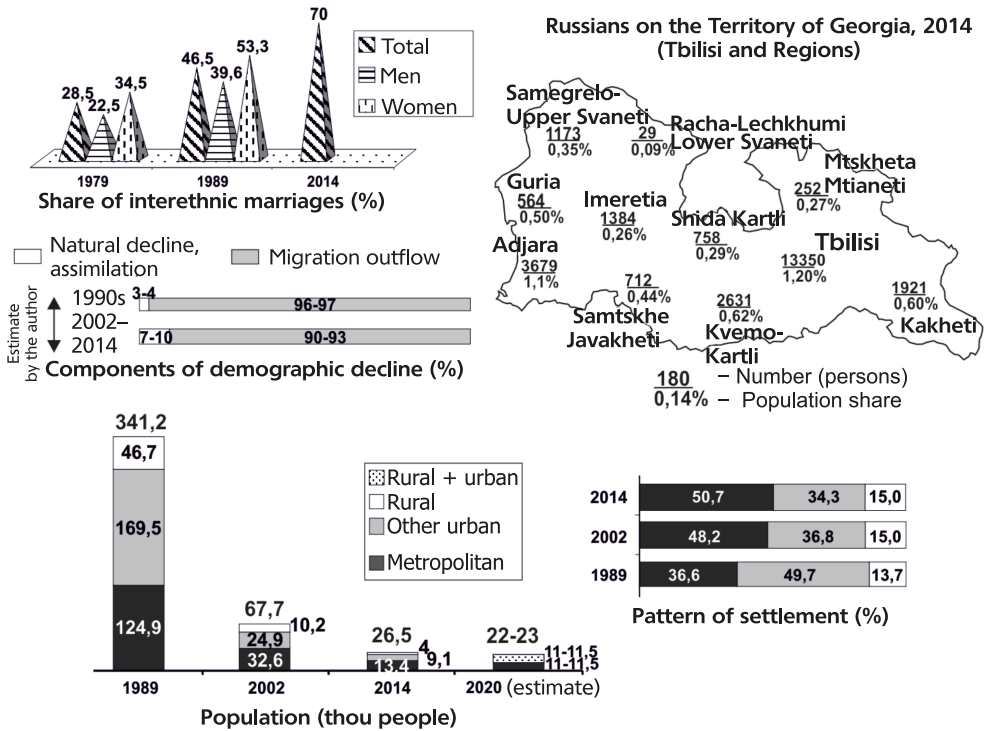


Fig. 2. The Russian population in Georgia

[Eelens, 2017: 17]. The dynamic aspect was no less important. Of all notable ethnic groups in the country, it was Russians who in 2002–2014 had the fastest rate of aging [Buijn, Chitanava, 2017: 23]. In the mid-2010s, their average age was 52–53 years, and the gender imbalance was comparable to that of the Russian community in Armenia. About 70% of family Russians in Georgia were in interethnic marriages (the maximum level among large and medium-sized diasporas of the country) [Hakkert, Sumbadze, 2017: 32], and the largest part of such families was represented by the ‘titular’ husband and Russian wife, and they actually fell out of the natural reproduction of the Russian community.

This indicates a very high rate of natural assimilation decline, which could reach 1.5%-2% per year at the beginning of the 21st century. However, the real average annual loss of Russians in Georgia was more than 20% in 2002–2014. Consequently, it was the outflow that continued to play an absolutely dominant role in their depopulation, although migration pulsed over a wide range, with a peak in the late 2000s (after the events of August 2008).

Prolonging the rate of decline from 2002 through 2014 by another decade (an extremely negative scenario) gives a figure of 10,000 to 11,000 Russians for the mid-2020s. By 2035, it could decrease to 4–5 thou people. Given that we are talking mostly about old people, this group risks almost completely disappearing by the middle of the century. But even if the rate of outflow has decreased since the second half of the 2010s, it will be extremely difficult for the Russian community to avoid a reduction of 15%-25% in each decade (natural decrease + some outflow) under any demographic scenario. With such a ‘soft’ rate of depopulation, 12–14 thou Russians will remain in the country by 2050, but more negative depopulation options are very likely.

As Georgia’s community of Russian old-timers shrinks, the Russian ethnic presence in the country will increasingly correlate with the scale of the Russian tourist flow and the size of the

group of local property owners. In 2017–2019, 1.2–1.4 million Russians per year visited the country; depending on the season, 20,000–60,000 people stayed within the country at one time (calculated from [Comparative Statistics..., 2020]). In 2016–2019, more than 15 thou Russians bought housing or land plots here³, i.e. during these four years about 8–10 thou Russians chose Georgia as their place of stay, if not permanent, then more or less frequent. With the normalization of the Russian-Georgian relations, tens of thousands of such Russians seem to be a realistic figure even in the most distant future. However, these people, who are not related to the Russian old-timers, will not be a diaspora. They will form a dispersed multitude whose geography is limited to Tbilisi and the coastal zone, above all Batumi and Kobuleti.

Azerbaijan. During 1989–2009, the number of Russians in Azerbaijan decreased 3.3 times, from 390,000 to 119,000. Despite large-scale depopulation, this is the best indicator among the three major states of the Southern Caucasus. A specific feature of the Russians in Azerbaijan is their 'metropolitan nature', which has been peculiar to them since the Soviet period (in the 1920s and 1980s, two thirds to three fourths of all Russians in the republic lived in Baku), but which has intensified in recent decades. In 1999, 84% of the Russian population of Azerbaijan was concentrated in the capital; in 2009, this number had already increased to 91%. Less than 11 thou Russians remained outside Baku, including 2,100 in Sumqayıt and 0.89 thou in Ganja (Fig. 3). About 2 thou people lived in Ivanovka, a Molokan settlement (Ismailly district), which comprised about half of all rural Russians in the country.

At the time of writing, the results of the 2019 census had not yet been published, and we had to resort to expert estimates of the current demographic potential of Azerbaijan's Russian population. The second decade of the 21st century turned out to be a period that was stable for the country both politically and socioeconomically, so the outflow of Russians to Russia, given its difficult situation in the 2010s, should have decreased. At the same time, natural losses in the Russian community were likely to increase. Already at the end of the twentieth century, the average age of Russians in the country was 41 years, and there were 170 women per 100 men [Yunusov, 2000]. In the 2000–2010s, the disparities in the gender and age structure should have increased markedly, since the small generation of the 1990s began to enter the period of reproductive activity in the 2010s.

The situation of the Russian community in Azerbaijan was complicated by the fact that here (unlike in Armenia) a significant gender imbalance affected the youth generations. In the group of 14–29-year-old Russians there were only 69 young men per 100 girls [Youth of Azerbaijan, 2020: 28]. Because of the shortage of Russian 'suitors' alone, about a third of young Russian women were forced into interethnic marriages. However, in addition to this, there were other factors that further increased the proportion of such families.

There is every reason to believe that in the 2010s the rate of depopulation of the Russian community, compared to the beginning of the 21st century, at least did not decrease or even slightly increased, amounting to about 20%–25%. In this case, about 90–95 thou Russians could stay in Azerbaijan by 2020 and 92%–94% of them will probably live in Baku. In other words, the demographic future of the country's Russians is primarily the prospects of their metropolitan group, whose further depopulation is inevitable, but its rate may vary markedly. Taking the above into account, the natural decline of the Russians in Baku in 2020s will hardly be lower than 12%–15% per year⁴. Taking into account the outflow, even if it is reduced to 3%–5% over

³ Dvali G. *Rossiiane skupayut nedvizhimost' v Gruzii* [Russians are buying up real estate in Georgia] // *Kommersant*. August 12, 2020. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4451146> (accessed on May 12, 2021).

⁴ For comparison, according to Russian Federal State Statistics Service (Rosstat)'s demographic forecast, the average annual natural loss of population in the maximum 'Russian' Novgorod and Pskov Regions in the 2020s will be 8.5–9‰ at medium variant and 10.5–11‰ at low variant (see: Forecast on demographic indicators up to 2035 in the Russian Federation and its subjects. URL: <https://showdata.gks.ru/finder/> (Retrieved on May 28, 2021)). Also take into account that disproportions in the gender and age structure of the Russian population in Russia are significantly lower than those of the Russians in Azerbaijan, and the former have virtually no interethnic marriages.

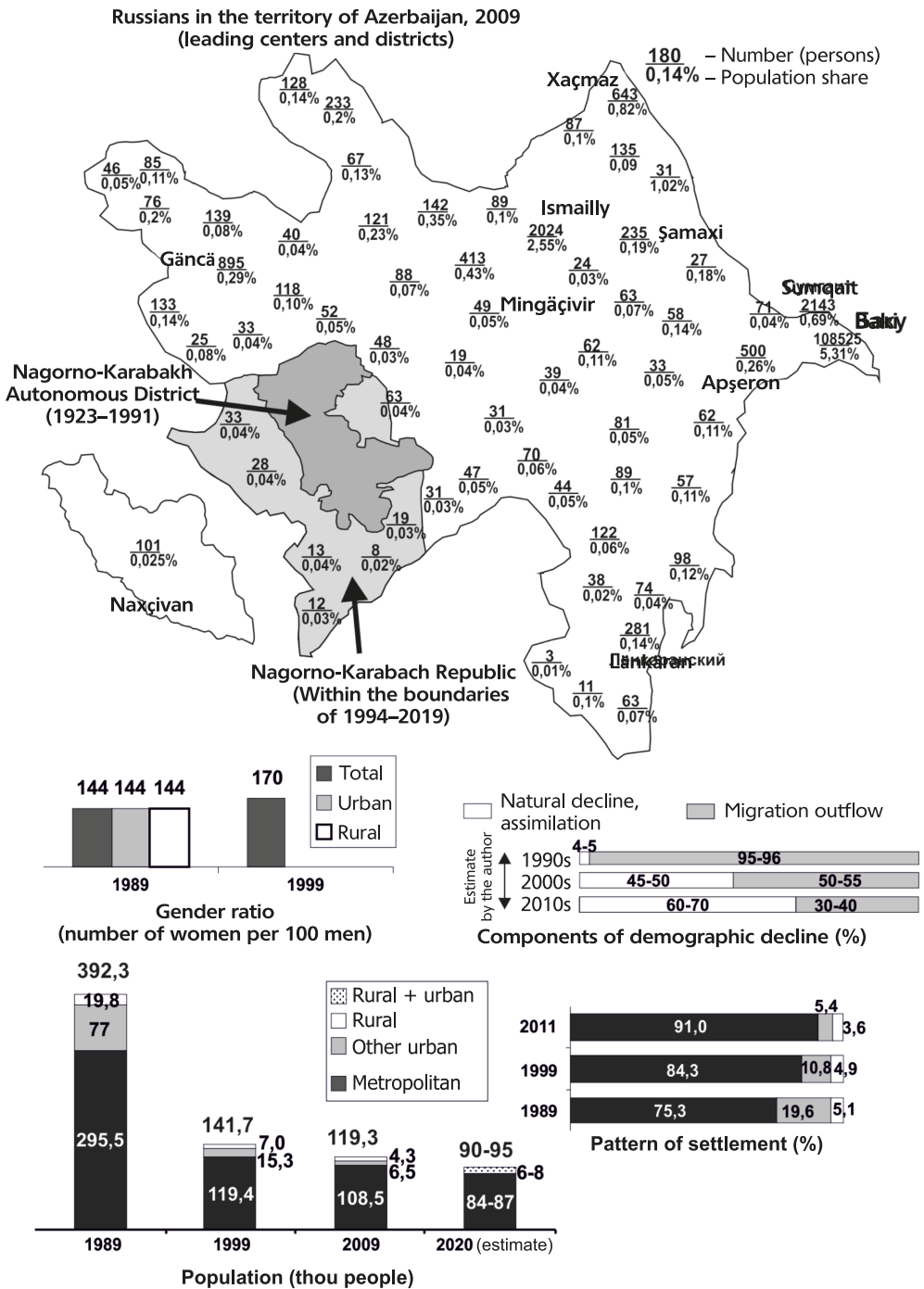


Fig. 3. The Russian population in Azerbaijan

the decade, the depopulation over 2021–2030 will be around 15%-20%, and this demographic scenario can be considered positive.

In the future, as the Baku Russians age, the rate of their natural decline will increase and the scale of their outflow will decrease. Such a depopulation rate – 15–20% per decade – seems a fairly plausible scenario until the middle of the century. As a result, even without a social force majeure, the number of Russians in Baku may decrease to 65–75 thou by 2030 and to 40–50 thou by 2050. In an ‘accelerated’ scenario this figure could be 1.5–2 times less.

The geography of Russians in Azerbaijan will continue to shrink due to the disappearance of local groups of dispersed settlement. In the late 2000s, in most rural areas of the country their size was limited to a few tens of people (0.04–0.1% of the local population), and by 2020 these small groups could lose another $\frac{1}{4}$ – $\frac{1}{2}$ of their size. Relative demographic stability in the post-Soviet period was demonstrated only by a number of old Molokan settlements, although even they were losing population quite rapidly: during the 2000s, the number of Russians in Ivanovka dropped from 2.5 thou to 2.0 thou. The same depopulation trend could very likely persist in the 2010s, but it is unlikely to prevent Ivanovka from increasing its share in the demographic potential of rural Russians to 55%-65% by 2020 and overtaking Sumqayıt to become the country’s second largest center in terms of Russian population.

Thus, in the geography of Russian Azerbaijan, two epicenters of the settlement system are becoming more and more distinct: Baku for urban dwellers and Ivanovka for rural inhabitants. In the following decades this spatial peculiarity is likely to intensify. As the old-age population decreases, the Russian ethnic presence in Azerbaijan, as well as in neighboring Armenia and Georgia, will correlate more and more with the Russian tourist flow, which in the late 2010s amounted to 800–900 thou people per year. Depending on the season, 15–30 thou Russians stayed in Azerbaijan at a time (calculated according to [Comparative statistics..., 2020]), and the country has every opportunity to maintain or increase this indicator. At the same time, Azerbaijan (unlike Georgia) has not become an attractive place for Russians to purchase real estate (not counting ethnic Azerbaijanis with Russian citizenship).

The unrecognized and partially recognized states of the South Caucasus. As a result of armed conflicts in the post-Soviet period, three such entities emerged on the territory of the region: Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-Karabakh. Despite a number of similarities, the geodemographic dynamics of their Russian populations have notable specificities.

Abkhazia. The main depopulation of the local Russian community occurred during the Georgian-Abkhaz armed conflict in 1992–1993. On the whole, during the 1990s, the number of Russians decreased by 3–3.5 times from 75,000 to 20,000–25,000 people (Fig. 4), which is comparable to the rate of decline of the Russian population in Georgia. Nevertheless, by the end of the 20th century the size of the Russian community in Abkhazia had stabilized: 23,400 and 22,100 people in 2003 and 2011 respectively⁵. A similar value is found in the results of the current demographic record in 2015–2019: 22.3–22.5 thou [Abkhazia in Figures..., 2020: 27–29].

The reliability of the current statistics of the republic is questionable, but there is no doubt that a number of significant factors work for the sustainable preservation of the Russian population of Abkhazia. Among them is the exclusive role of Russia as the guarantor of the republic’s independence, and Russian tourism as the main source of income for the republic’s budget and a significant part of the population. All this is certainly reflected in the attitude of the authorities and the titular community toward local Russians.

After Russia recognized Abkhazia’s independence in 2008, the prerequisites for a rapid increase of the Russian ethnic presence there have increased significantly. The main factors are natural and climatic attractiveness and the low price of local real estate. The main factors were the natural, climatic attraction and the low price of local real estate. At the same time, the growth of Russian homeowners throughout the entire subsequent period was significantly

⁵ Population Statistics of Eastern Europe and the Former U.S.S.R. URL: <http://pop-stat.mashke.org> (Retrieved on May 30, 2021.)

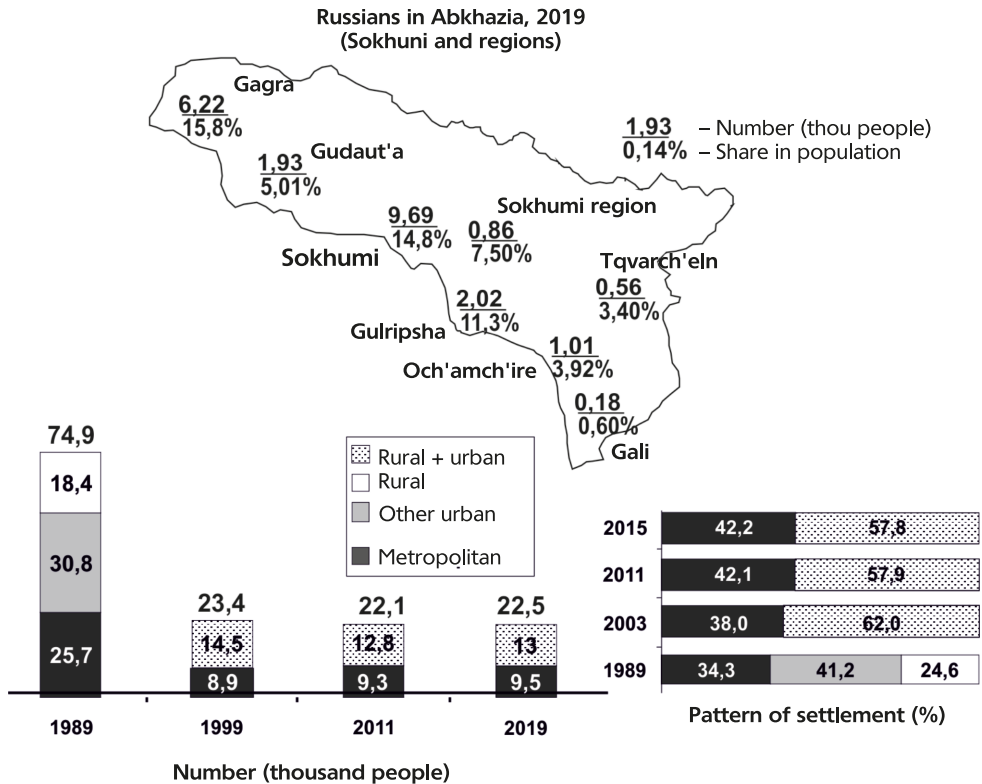


Fig. 4. The Russian population in Abkhazia

hampered by unregulated legislation on property acquisition by foreigners. The Abkhazian authorities were obviously deliberately reluctant to solve this problem for fear of transferring a significant part of the republic's housing stock into the ownership of Russians. Another undesirable consequence could have been the rapid growth of the Russian population, which would have perceptibly changed the national structure of the small republic's society. However, even in conditions of legal insecurity, the number of Russians buying real estate in Abkhazia was quite significant. Only the number of trials related to its purchase in the mid-2010s ranged from three to four thou⁶, and the total number of Russians, homeowners (the group of 'sporadic' stay), could be many times greater, i.e. comparable with the permanent Russian population.

If we take into account the entire Russian tourist flow (from 4.3 to 4.8 million people annually in 2016–2019), we can talk about much larger values. Depending on the season from 100 to 200 thousand Russian tourists are simultaneously on Abkhazian soil (calculated according to [Comparative statistics..., 2020]), and Russians, based on the national structure of the Russian Federation, may constitute three quarters of this multitude, which makes them the most numerous national group of the 'available' population of Abkhazia. And from May to October, the Russians outnumber the rest of the population in the seaside area many times over.

These circumstances have an impact on the structures of everyday life, economic activities, sociocultural practices of the republican society and increase the socio-psychological comfort

⁶ Kolesnikov E. *Zhilishchnyy vopros isportil* [The housing issue spoiled them...]. Versia. 2017. October 5. URL: <https://versia.ru/kak-otzhimayut-kuplennuyu-rossiyanami-nedvizhimost-v-abkhazii-i-pochemu-russkix-v-respublike-vse-menshe> (accessed on June 02, 2021)

of the life of local Russians. In addition, the permeability of the border between Abkhazia and the Russian Federation significantly facilitates spatial circulation between the countries. Thus, the demographic dynamics of the Russian community in Abkhazia is primarily determined by migration, the scale of which is regulated by the authorities of the republic in accordance with the interests of the titular nation.

The most likely scenario for the demographic dynamics of the Russian population in the medium and long term seems to be fluctuating within the existing corridor from 22 to 24 thou people. Significant stability will obviously be demonstrated by the geography of their settlements, which mainly cover the coastal network of settlements with the epicenters in the Gagra and Sokhumi regions; in the last 20 years they together account for about 70% of the Russian population of Abkhazia.

South Ossetia. The Russian population in South Ossetia has always been small. Reaching its peak by the early 1960s (2,380 people) it remained at the level of 2,000–2,100 in the last decades of the Soviet period. Armed conflict with Georgia and socioeconomic problems of the 1990s led to a drastic reduction in the number of Russians in the republic. Since the beginning of the 21st century, the size of the Russian community in the South Ossetia stabilized again, remaining at 500–600 people, with 75%–80% of them in the capital Tskhinval.

The 2015 census recorded 610 Russians in the republic, revealing an extremely high level of gender imbalance: 439 women and 181 men (Figure 5). The almost 2.5-fold female predominance was in itself a prerequisite for high interethnic marriage among the local Russian population, but its actual level in the South Ossetia turned out to be the highest. Only 13 of 213 (6%) married Russian women had a Russian husband, 180 (88.7%) had an Ossetian. The situation with Russian men in the republic was similar: only 13 out of 68 Russian husbands (19%) were married to Russians and 51 (75%) to Ossetians.

The exceptionally small percentage of monoethnic marriages among Russians in the South Ossetia indicates that virtually all such families have left the republic. Only the presence of a 'titular'

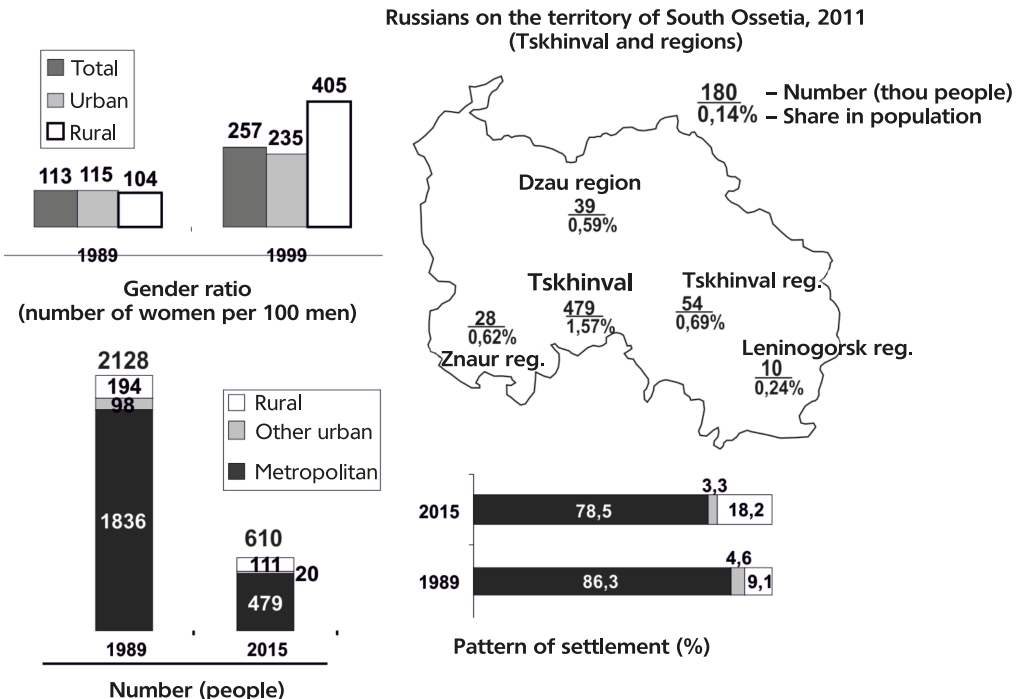


Fig. 5. Russian population of South Ossetia

husband/wife kept the family from leaving for the Russian Federation. Accordingly, all children, adolescents and youth groups of the Russian community of the South Ossetia are now represented by Russian-titular bi-ethnophores, and this is of central importance for its demographic future. Already in the medium term, the assimilation process may lead to an accelerated depopulation of the local Russian population. Under such a scenario, by the middle of the century the Russian population could decrease by 1.5–2 times, and then the Russian ethnic presence in the republic will be mostly limited to servicemen of the 4th Guards Military Base stationed in Tskhinvali and Djava, which is (and will remain) the main center of the 'available' Russian population in South Ossetia.

Nagorno-Karabakh. The number of Russians in Nagorno-Karabakh reached its maximum in the late 1930s (2,100 people). In the post-war decades, this number gradually decreased until the second half of the 1980s, when a significant number of refugees, including Russians, from various centers and regions of Azerbaijan appeared in the autonomy. However, the growth, observed in the last years of the USSR, was short-lived: during the Armenian-Azerbaijani armed conflict of 1992–1994, the largest part of Russians left the region.

The nationwide census of 2005 registered only 170 Russians in the Nagorno-Karabakh Republic (hereinafter NKR) of which more than 44% lived in Stepanakert (which corresponds to the figures of the late 1980s)⁷. The age and gender characteristics of this small group (its average age is 42.8 years; 69.5% are women) indicated a high probability of further depopulation, but in 2005–2015, the number of Russians in the NKR increased to 239 people, i.e. by almost 40% (Fig. 6). Almost all of the increase was in Stepanakert, while the number of rural Russians remained unchanged. Taking into account the natural decline, it was provided mainly

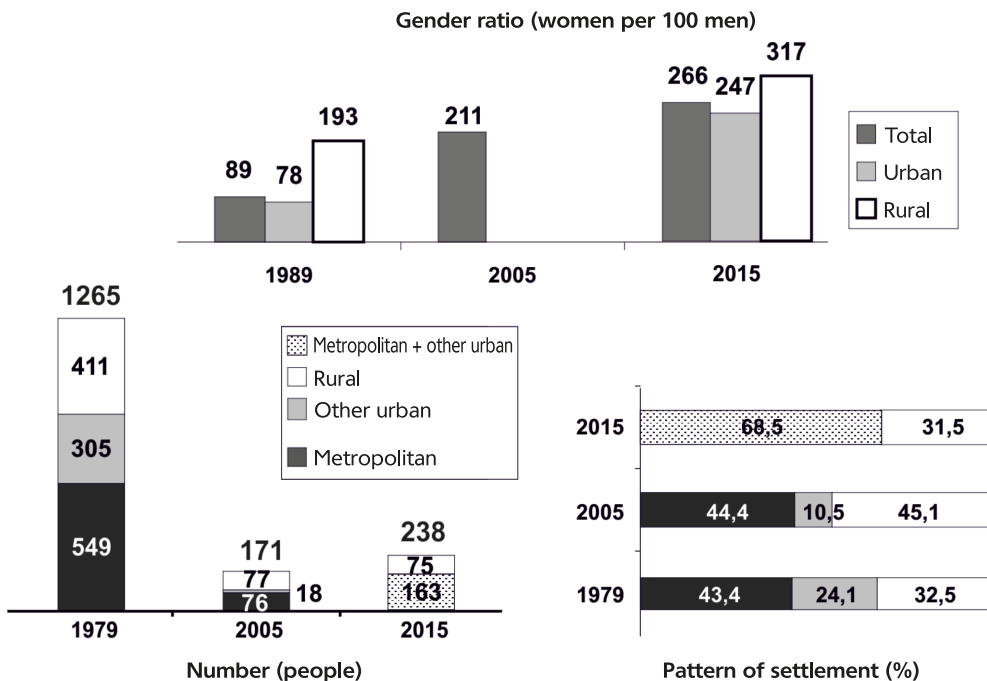


Fig. 6. Russian population of the Nagorno-Karabakh Autonomous District and the Nagorno-Karabakh Republic

⁷ Population Statistics of Eastern Europe and the Former USSR. URL: <http://pop-stat.mashke.org> (accessed on May 27, 2021).

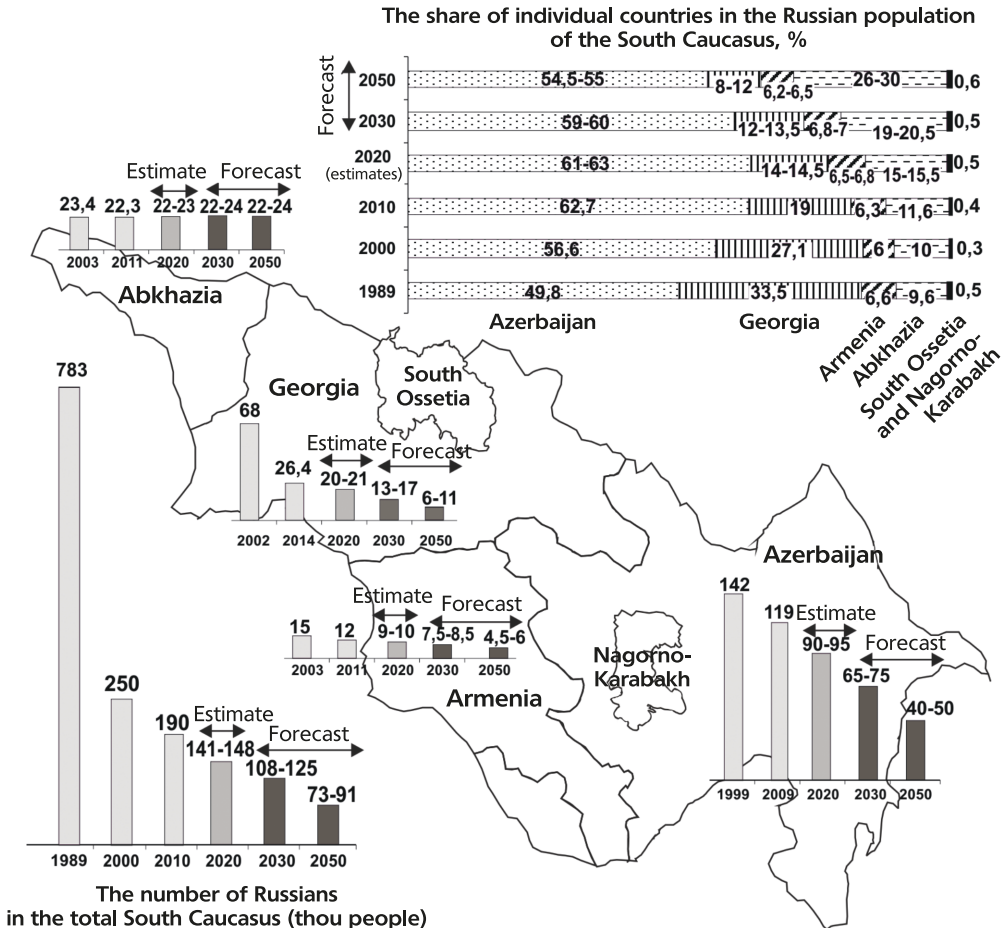


Fig. 7. Russian population of the South Caucasus
 Note. Estimates and forecasts capture the most likely ranges for the number of Russians

by the migration inflow. Nevertheless, this did not change the negative dynamics of the age and gender structure of Russians.

In the mid-2010s, the average age of Russians in the NKR rose to 49.9 years, and the proportion of women rose to 72.7%. Almost a third of the Russian population of the republic were women over 60 years old, and there were only 0.56 children per Russian woman of active reproductive age (20–39 years old) (in the Russian Federation this indicator was 1.28). The main reason for such a low indicator is not the actual small number of children of Russian women in the NKR, but interethnic (primarily Russian-Armenian) marriages, as a result of which the bulk of children in such families were recorded by the census as part of the titular nation. Finally, the age structure of Russian women in the NKR indicated the most significant reduction of the birth rate in the future 10–15 years: in 2015 there were 50 of them at the age of 20–39, by 2025 this number should decrease to 31, and by 2035 – to 11. However, this downward trend does not take into account either the negative consequences of the second Karabakh war (September–November 2020), or the high probability of the migration outflow of some local Russians from the NKR.

Thus, the characteristics of the Russian population of Nagorno-Karabakh and the current realities of life in the republic will contribute to the rapid depopulation of the Russian community in the medium term. The only factor of its support is the Russian peacekeeping contingent stationed in the republic since November 2020. It is obvious that the servicemen will be, at least until 2025, the main group of the available Russian population in the NKR.

Conclusions. The collapse of the U.S.S.R. sharply accelerated the process of ethnic derussianization of the Southern Caucasus, already observed from the 1960s-1970s. The reduction in the number of Russians was widespread and was accompanied by a serious deformation of their age and gender structure, which is now noticeably dominated by women and people of older age. A large part of the region's settlement network (with the exception of Abkhazia) has now almost completely lost its permanent Russian population. The epicenters of the Russian ethnic presence in the Southern Caucasus remain the capitals, and in rural areas some settlements founded by Old Believers in the imperial period. The transformation of Russia into the closest ally and guarantor of national security for regional politics (Abkhazia, South Ossetia) slowed or stopped the depopulation of the local Russian population, while the harsh confrontation of states in the region with Russia (Georgia) markedly accelerated it.

By the middle of the century, the number of Russians in the South Caucasus could decrease to 70–90,000 (Fig. 7). Baku will remain their largest population center. However, if the current trends persist, in 30–50 years the Russian community of Abkhazia may become comparable in size. By 2050 these two centers could have 85%-90% of all Russians in the Southern Caucasus (in 1989 47% of Russians lived there and in 2020 there were 75%-80% of them).

The region is one of the attractive destinations for Russian tourism. As the old-time communities shrink, it is with tourists and Russian owners of local real estate that the main prospects for maintaining the Russian ethnic presence in most countries of the Southern Caucasus may be connected, with Abkhazia and partly Georgia having the greatest potential in this regard (subject to the normalization of interstate relations with Russia). Russian military units (13,000 to 14,000 men) stationed in the region also play a notable role in maintaining the Russian ethnic presence in the Southern Caucasus. In the long run, they can remain the main core of the available Russian population in South Ossetia, Armenia and Nagorno-Karabakh. At the same time, it should be kept in mind that all these groups of temporary residents will not represent diasporas, i.e. complexly rooted ethnic communities with a high level of internal communication and the capacity for sustainable self-reproduction, and their geography will be limited to capitals, resorts and popular tourist routes, as well as military bases.

REFERENCES

- Abkhaziya v tsifrakh za 2019 god* [Abkhazia in figures for 2019]. Lagvilava A., Sokhumi, 2020 (In Russ.)
- Brujin B., Chitanava M. *Ageing and Older Persons in Georgia*. NFPA Office in Georgia, Tbilisi, 2017. (In Engl.)
- Eelens F. *Young People in Georgia*. NFPA Office in Georgia, Tbilisi, 2017. (In Engl.)
- Hakkert R., Sumbadze N. *Gender Analysis of the 2014 General Population Census Data*. NFPA Office in Georgia, Tbilisi, 2017. (In Engl.)
- Kabuzan V.M. *Russkiye v mire* [Russians in the world] // Blitz, Sankt Peterburg, 1996. (In Russ.)
- Kamakhia M. *Slavyanskoye naseleniye Gruzii* [Slavic population of Georgia] // Tsentral'naya Aziya i Kavkaz. 2007. No. 4 (52). Pp. 152–165. (In Russ.)
- Laschenova E.A. 'Russkiy mir' v Armenii ['Russian world' in Armenia] // Rossiya i sovremennyy mir. 2006. No. 3 (52). Pp. 225–231. (In Russ.)
- Lebedeva N.M. *Novaya russkaya diaspora: sotsial'no-psikhologicheskii analiz* [New Russian Diaspora: Socio-psychological Analysis]. Moscow: IEA, 1995. (In Russ.)
- Mosaki N.Z. *Etnicheskaya kartina Gruzii po rezul'tatam perepisi 2014 g* [Ethnic picture of Georgia according to the results of the 2014 census] // Etnograficheskoye obozreniye. 2018. No. 1. Pp. 104–120. DOI: 10.7868 / S0869541518010086. (In Russ.)
- Savoskul S.S. *Russkiye novogo zarubezh'ya: vybor sud'by* [Russians of the New Abroad: A Choice of Fate]. Nauka, Moscow, 2001. (In Russ.)

- Sravnitel'naya statistika vyyezda grazhdan Rossii za granitsu v 2018 i 2019 godakh* [Comparative statistics of the departure of Russian citizens abroad in 2018 and 2019] // Assotsiatsiya turoperatorov. February 13, 2020. URL: https://www.atorus.ru/ratings/analitic_mrch/new/50476.html (accessed on May 28, 2021). (In Russ.)
- Vsesoyuznaya perepis' naseleniya 1989 goda: Raspredeleniye gorodskogo i sel'skogo naseleniya oblastey respublik SSSR po polu i natsional'nosti* [All-Union Population Census of 1989: Distribution of Urban and Rural Population of the USSR Republics by Gender and Nationality] // Demoskop-Weekly. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_89.php (accessed on May 30, 2021). (In Russ.)
- Youth of Azerbaijan: Statistical Yearbook. State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan. Baku, 2020. (In Engl.)
- Yunusov A.S. *Etnicheskiye i migratsionnyye protsessy v postsovetskom Azerbaydzhanе* [Ethnic and migration processes in post-Soviet Azerbaijan] // Materials of the international conference '*Problemy migratsii i opyt yeye regulirovaniya v polietnicheskom kavkazskom regione*' ['Problems of migration and experience of its regulation in the multi-ethnic Caucasian region']. 2001. URL: <http://chairs.stavsu.ru/geo/Conference/c1-67.htm> (accessed on May 17, 2020). (In Russ.)

V.I. SAKEVICH, B.P. DENISOV, S.Yu. NIKITINA

PREGNANCY TERMINATIONS IN RUSSIA ACCORDING TO OFFICIAL STATISTICS

Victoria I. SAKEVICH, *Cand. Sci. (Econ.), Senior Researcher, Institute of Demography named after A.G. Vishnevsky, National Research University Higher School of Economics (vsakevich@hse.ru)*; Boris P. DENISOV, *Cand. Sci. (Econ.), First Category Engineer, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University (denisov@demography.ru)*; Svetlana Yu. NIKITINA, *Cand. Sci. (Econ.), Director, Department of Population and Healthcare Statistics, Rosstat (nikitina_s@gks.ru)*. All – Moscow, Russia.

Acknowledgements. *The article is based on the research implemented in the framework of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics.*

Abstract. *For a long period, Russia was among the world leaders in the prevalence of abortions, which was a serious public health problem. In the post-Soviet years, the induced abortion rates have been steadily declining, and today more than half of Russian women of reproductive age live in regions characterized by a low abortion rate even by European standards. The article describes in detail the evolution of statistical accounting for abortions in Russia. The most recent changes in registration forms for the first time produced a possibility to evaluate the contribution of non-governmental clinics to the total number of abortions and to distinguish between induced and spontaneous abortions, which have completely different causes. On the basis of official state statistics that are not routinely published by Rosstat, we conclude about a significant increase in the effectiveness of birth control in modern Russia. From the main instrument of regulation of the number of children and the timing of their births by families, abortion has turned into an emergency, “firefighting” measure. Analysis of regional differences showed that in some regions located mainly in the north and east of the country, the problem of abortion has not lost its relevance. Every sixth Russian woman of reproductive age live in regions with a relatively high level of induced abortions.*

Keywords: *reproductive health • reproductive behavior • birth control • abortion • family planning*

DOI: 10.31857/S013216250016791-3

This article is a translation of: Сакевич В.И., Денисов Б.П., Никитина С.Ю. Прерывания беременности в России по данным официальной статистики // *Sotsiologicheskie Issledovaniia*. 2021. No 9: 43–53. DOI: 10.31857/S013216250014958-6

Abortion in Russia was probably the main tool of the demographic transition in fertility. Russia was the first country in the world (in 1920) to legalise the right to abortion on request. Women, with no other means at their disposal to postpone or avoid having a baby, were forced to terminate their pregnancies. In response to popular demand, an “abortion industry” emerged that also survived the period of abortion prohibition. In 1964, Russia recorded a record 5.6 million aborted pregnancies, or 169 abortions per 1,000 women aged 15 to 49. Then the abortion rate decreased slightly, but was still very high [Demographic modernisation..., 2006: 195–246].

The past 30 years have seen important shifts in the structure of methods by which the number and timing of children is managed at the individual and family level. Nevertheless, the problem of ineffective birth control in Russia continues to attract the attention of politicians and the public. There is a lot of information buzz around the topic of abortion and family planning; the public debate and even the scientific literature often use unreliable data, dubious sources of information, and sometimes the facts are deliberately distorted for one purpose or

another. For example, proponents of the religious view of abortion (“the embryo is a separate person and abortion is murder”) or “statists” who view abortion as a reserve for fertility growth, with little understanding of how abortion accounting works, tend to exaggerate the severity of the problem. Both tend to call on the authorities to tighten abortion laws¹.

In addition to the long history of the legal right to terminate a pregnancy, Russia also has a rather long history of abortions being recorded by the statistical authorities. In 1955, abortion was re-legalised, and by the mid-1960s abortion was registered again (Avdeev et al., 1995: 52). It has since become commonplace to criticise the completeness of domestic abortion statistics. During Soviet times, the Soviet tradition of manipulating statistics for ideological reasons was the main argument for such criticism, and in the post-Soviet years, the rapid decline in abortions is questioned by many. There is an opinion that in modern Russia a part of abortions has “moved” to private clinics and has allegedly fallen off the statistical radar [Starodubov, Sukhanova, 2012: 187]. We do not agree with this. A whole series of sample surveys of the population in the post-Soviet years showed the same level of abortion prevalence as the official statistics [Denisov, Sakevich, 2014: 148–149]. Some underreporting of abortions in the private sector is likely to occur, but in an environment where abortion is absolutely legal and its concealment by health facilities is punishable, such underreporting cannot be statistically visible. Russia is in a relatively small group of countries with official statistics on abortion, and this is our real advantage – in most countries the number of abortions is not reliably known and we have to rely on estimates.

The article describes the statistical system for pregnancy termination in Russia, provides a brief history of its changes in recent decades and assesses the comparability of official data over the years. The current abortion situation is analysed on the basis of state statistics, including a regional perspective. Since 2018, the updated abortion registers have provided valuable information that was not available in previous years, such as answering the question of how non-governmental organisations contribute to the total number of abortions and separating induced abortions from spontaneous abortions, which have other causes and require a completely different response.

Data. From 1956 to 1991, the procedure for statistical registration of abortions remained virtually unchanged [David, Popov, 1999: 242]. Both abortions performed in the health facility and abortions initiated or started outside the health facility (“out-of-hospital”) were included in the report of the health facility. The latter consisted of spontaneous abortions (miscarriages) and criminal interventions, with the ratio has been, and remains unknown. The inclusion of miscarriages was partly due to the nature of the socialist economy, where future numbers of “abortion beds” were planned on the basis of the report, irrespective of the nature of the abortion (Avdeev et al., 1995: 57). It is also worth noting that abortion statistics during this period were classified “for official use” and were not published until the late 1980s.

In 1991, a new form for registering abortions in ministry and departmental clinics was introduced, which involved the recording of several categories of terminated pregnancies,⁴⁴ partly in accordance with the ICD9th revision. The information collected was supplemented by the identification of several age groups of women and gestational age. In 1992, after the collapse of the USSR, this form (“Form 13”) was reproduced in a Resolution of the State Committee of Statistics of the Russian Federation for public health institutions in Russia.

Form 13 abortions were – and indeed still are – divided into the following groups: spontaneous abortions, induced legal abortions (later “medical legal”), induced legal abortions for medical reasons, induced abortions for social reasons, induced criminal abortions (later

¹ Demidov A. The Russian Orthodox Church has spoken out in favour of the idea of including abortions in mortality statistics // *Gazeta.ru*. 2021. 20 February. URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2021/02/20/n_15646544.shtml (accessed on 25/06/2021); Shipacheva D. “Woman is so programmed that she has to give birth for someone”: What representatives of the Ministry of Health and the State Duma talked about at the discussion on the problems of abortion in Russia // *Takie dela*. 2020. 18 December. URL: <https://takiendela.ru/news/2020/12/18/reshit-problemu-abortov/> (accessed on 25/06/2021). See also: [Zhukov, 2018; Ryazantsev et al., 2019].

“other – criminal”), and unspecified abortions. Before 2009, mini-abortions (i.e. early abortions performed by vacuum-aspiration) were also counted².

Induced legal or medical legal abortions are abortions at a woman’s request up to 12 weeks of pregnancy. Together with abortions for medical and social reasons, they form a group of “medical” abortions. Spontaneous abortions (or miscarriages) include abortions that began spontaneously but occurred or ended in a health facility. Abortion is considered to be criminal if it is detected that the pregnant woman herself or others have intervened outside the hospital to terminate the pregnancy. In other countries with established abortion records, the number of induced abortions (without miscarriages and illegal abortions) is usually published, i.e. the Russian figure is overstated compared to other countries. Form 13 is now used to record pregnancy terminations in organisations that report to the Ministry of Health. For other organisations – non-state-owned, as well as medical units of other ministries and departments – a different form of federal statistical observation (“Form 1-zdrav”) is used; data on abortions in this form are not submitted to the Ministry of Health, but to the territorial divisions of Rosstat (Russian Federal State Statistics Service). Rosstat summarises information from all sources and publishes consolidated data on terminated pregnancies.

Throughout the post-Soviet period, these statistical forms have been adjusted several times, but until recently the changes were not very significant. Since 1999, with the adoption of the ICD10th revision, abortions have been referred to as pregnancy terminations³, but the abortion categories have remained largely unchanged. After the new definition of live birth was adopted, the gestational age at which abortion is allowed decreased from 27 full weeks to 21 full weeks, but there were relatively few such late-term abortions⁴, so the statistics were not greatly affected.

A more notable step in the reform of the Form 13 system was the broadening of the criteria for spontaneous abortions, with the addition of an ICD-10 heading (“other abnormal products of conception”) in 2012. This was done to emphasize the high importance of pregnancy failure as an important reproductive and demographic problem in the context of worsening, according to some authors, reproductive health of Russian women and the threat of depopulation in the country [Starodubov, Sukhanova, 2012; Sukhanova, 2013]. As a result, the number and proportion of spontaneous abortions has increased significantly. In one year, from 2011 to 2012, the number of spontaneous abortions in clinics of the Ministry of Health went up from 176,600 to 222,900 (by 26%), including those before 12 weeks from 147,200 to 199,000 (by 35%).

In 2016, the Ministry of Health made even more radical changes to Form 13. Pregnancy terminations became “pregnancies with abortive outcome” and the list of ICD-10 headings was expanded to include: ectopic pregnancies, hydatidiform mole and abortion failure (codes O00-O07 instead of O02-O06 until 2016). The updated Form 13 has only been in force for a year; inconsistencies seem to have become apparent in the 2016 report. While between 2015 and 2014 the total number of terminated pregnancies declined by almost 9% (and the average rate of decline over the previous decade was 6%), between 2016 and 2015 it declined by only 1.4%. Since 2017, the Form 13 has all the headings as a separate line, enabling the necessary categories of abortions to be highlighted, as was the case before 2016.

The age distribution of aborted pregnancies should be mentioned separately. From 1991 to 1995, the Form 13 records were kept by aggregated age groups of women who had terminated

² Mini-abortions were permitted in 1987. (Order of the USSR Ministry of Health No. 757 of 05/06/1987), although, according to some evidence, it had been practiced since the early 1980s [Avdeev, 2011].

³ We use “pregnancy terminations” and “abortions” as synonyms. Abortions include both induced and spontaneous abortions.

⁴ In 2011, on the eve of the transition to the new birth criteria, the Ministry of Health recorded 16,300 pregnancy terminations between 22 and 27 weeks of pregnancy, of which around 60% were miscarriages, which have been classified as super-early as of 2012. The share of abortions at 22–27 weeks in 2011 was 1.65% of all abortions in the Ministry of Health system.

a pregnancy: under 15, 15–19, 20–34, 35 and over. As of 1996, the Ministry of Health has been allocating standard five-year age groups. However, in 2016, for unknown reasons, the five-year grouping was eliminated and the age distribution took the following form: under 14, 15–17, 18–44, 45–49, 50 and over. Since one age group (18–44) accounts for 98% of all abortions, the new age division does not make analytical sense.

As for Form 1-zdrav⁵, this has changed little until recently, although, unlike Form 13, it contained a sparse set of information – the total number of abortions and the number of mini-abortions. After 2010, individual categories of pregnancy terminations were identified in the accounting form, but by no means all, and the criteria for selecting these categories are unclear – either only medical but no spontaneous ones, or also spontaneous but only in late gestation. In fact, only the total number of aborted pregnancies could be used for analysis. From 1991 to 2007, Rosstat worked out the total number of abortions by aggregated age groups, and from 2008 to 2015 – by five-year age groups.

Significant changes were made to the content of Form 1-zdrav in 2016, when the list of “pregnancies with abortive outcome” was expanded as in Form 13 (codes O00-O07 instead of O03-O06 according to ICD-10⁶). This form 1-zdrav was valid during 2016 and 2017, and the reports for those years are not comparable with other years. We estimate that the total number of abortions in these years was 8–10% higher than in previous years. For this reason, the Rosstat statistics on aborted pregnancies for 2016–2017 have to be excluded from the analysis. Starting with the 2018 report, the accounting of pregnancy terminations outside the Ministry of Health has changed again and for the first time is as detailed as that of the Ministry of Health. The Rosstat data on the number of abortions is not only again suitable for studying the dynamics, but for the first time also contains information on the distribution of abortions by headings in non-governmental medical institutions. Finally, it has become possible to distinguish between induced abortion and spontaneous abortion, which have very different justifications and reasons. The only regret is that the previous breakdown by age has not been restored.

Thus, at present, the government statistics on pregnancy terminations that Rosstat develops are made up of three components. The main source of data is the Ministry of Health, which records aborted pregnancies in its subordinate organisations (83.7% of all abortions in 2019, 92–94% in the 1990s). The contribution of the non-governmental health sector is significantly lower (14.4% in 2019); the share of abortions performed in organisations belonging to bodies other than the Ministry of Health is even lower (less than 2% in 2019). In this paper, we rely on Rosstat statistics as the most complete.

Trends in the prevalence of pregnancy termination. There has been a steady decline in the abortion rate in Russia over the last thirty years; this trend has never been interrupted. According to Rosstat data, the total number of pregnancy terminations (including miscarriages and abortions for medical and social reasons) decreased from 3.5 million to 622,000 in the post-Soviet period (1992–2019), or per 1000 women aged 15–49 years from 94.7 to 18.0 (see Table 1), i.e. by a factor of 5.3, though it should be noted that in 2019, the definition of spontaneous abortion was different and the country's territory had widened by this time in comparison with 1992. The cumulative abortion rate, which can be calculated up to 2015, also shows a significant drop in the abortion rate: in the early 1990s, there were on average more than three terminated pregnancies per woman, while in 2015 it was 0.78.

The abortion rate (per 1,000 women of reproductive age), calculated using the standard methodology, i.e. excluding spontaneous abortions, shows an almost eightfold decrease over these years: from 89.0 to 11.3. It is the latter figure that should be used for comparisons with other countries.

⁵ Hereinafter, we will only talk about the seventh section of this form, dealing with abortion.

⁶ A broader definition of spontaneous abortion was introduced for the Ministry of Health organisations in 2012 and for the rest in 2016.

Table 1

Pregnancy terminations in Russia, 1992–2019

Year	Pregnancy terminations (ths.)		Pregnancy terminations* per		Total abortion rate*
	total*	including spontaneous**	1000 women aged 15–49 years	100 live births	
1992	3436.7	n/a	94.7	216	3.24
1995	2766.4	n/a	72.8	203	2.62
2000	2138.8	n/a	54.2	169	2.00
2005	1675.7	n/a	42.7	117	1.51
2010	1186.1	n/a	31.7	66	1.07
2015***	848.2	n/a	23.8	44	0.78
2018	661.0	243.4	19.0	41	n/a
2019	621.7	232.3	18.0	42	n/a

Notes. *Codes according to ICD-10: for organisations of the Ministry of Health of Russia: O03-O06 in 1992, 1995, 2000, 2005 and 2010, O02-O06 in 2015, 2018 and 2019; for organizations outside the Ministry of Health of Russia:

O03-O06 in 1992, 1995, 2000, 2005, 2010 and 2015, O02-O06 in 2018 and 2019. **Codes according to ICD-10:

O02-O03. *** As of 2015 including Crimea and Sevastopol.

Source: Calculated from Rosstat data.

An important characteristic of the abortion situation is also the ratio of abortions to births, which shows what proportion of pregnancies do not end in childbirth. In 2019, government statistics recorded 42 aborted pregnancies per 100 births, which means that around 30 per cent of pregnancies ended in abortion. Until 2007, for several decades, the annual number of abortions in Russia exceeded the number of births; in some years the ratio was over 250 abortions per 100 births, i.e. only one third of pregnancies ended in live births. Today, the effectiveness of birth control has improved considerably – there has been a convergence between the number of pregnancies and the number of births.

The multiple reductions in abortion rates have changed the position of our country compared to other developed countries. Not so long ago, Russia was among the leaders in the prevalence of abortion among countries with liberal abortion laws, but the gap has now been largely closed. In comparison, the induced abortion rate in Sweden is 16.9 per 1,000 women aged 15–49 (2017), France – 15.7 (2019), Estonia – 13.2 (2019), Denmark – 11.2 (2017), Norway – 10.6 (2017) and Germany – 5.8 (2019)⁷.

Let's take a closer look at the situation in 2019. The majority (56.2%) of pregnancy terminations in organisations of all forms of ownership are "medical legal" abortions, i.e. abortions at a woman's request up to 12 weeks of pregnancy. Spontaneous abortions or miscarriages are the second largest contributors (37.4% in 2019). The increase in the miscarriage rate was due both to changes in the reporting form and to a rapid decline in the number and proportion of induced abortions. Abortions for medical reasons (including social reasons) and unspecified

⁷ Induced Abortions in the Nordic Countries 2019 // Finnish Institute for Health and Welfare. URL: <https://thl.fi/en/web/thlfi-en/statistics/statistics-by-topic/sexual-and-reproductive-health/abortions/induced-abortion-in-the-nordic-countries>; Abortions: Number of Induced Abortions and Annual Indicators since 1976 // INED. URL: https://www.ined.fr/en/everything_about_population/data/france/abortion-contraception/abortions/; Statistics Estonia: Statistical Database. URL: <https://andmed.stat.ee/en/stat>; Abortions: Abortions by Age of the Women and Quota // Statistisches Bundesamt. URL: <https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-Environment/Health/Abortions/Tables/age.html> (accessed on 20/04/2021).

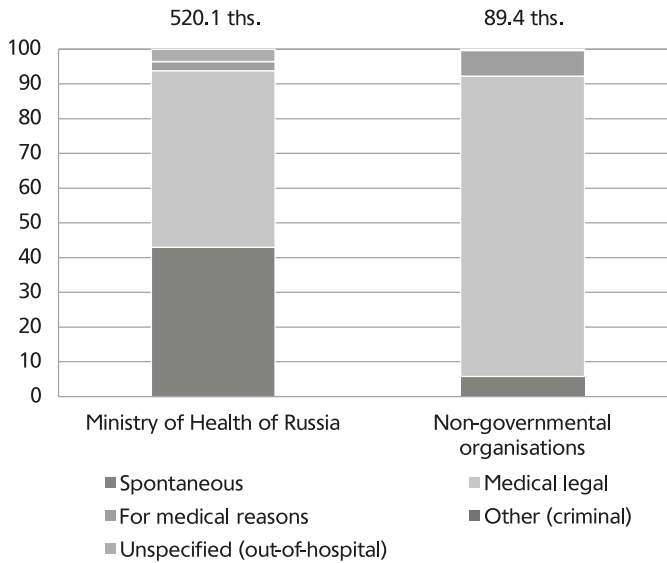


Fig. Structure of registered abortions in the organisations of the system of the Ministry of Health of Russia and in non-governmental organisations, 2019 (%)

Source: Calculated on the basis of data from the Ministry of Health of Russia and Rosstat.

abortions each account for approximately three per cent of the total number of abortions, while criminal abortions account for a very small percentage (0.1 per cent) (a total of 352 criminal abortions were registered in 2019).

The contribution of different types of abortion in government and non-governmental medical organisations varies. In cases of miscarriage, women are more likely to be taken to government institutions, so the vast majority (96%) of spontaneous abortions take place in institutions of the Ministry of Health. In the clinics of the Ministry of Health system, the share of spontaneous abortions among all abortions in 2019 was 42.9%, while in private clinics the share of spontaneous abortions did not reach 6% (see Figure). There are almost no late-term abortions in non-public facilities, which is to be expected, since clinics with specialised (including resuscitation) medical facilities are entitled to perform such abortions.

At the same time, the safest method for terminating a pregnancy – medication abortion – is much more widely used in private clinics than in public ones. In 2019, 72% of induced abortions in non-governmental organisations were performed using the medication method, while about 34% were performed in clinics of the Ministry of Health. Here lies some reserve for women's reproductive health.

The updated form allows for a more accurate assessment of the contribution of the non-public sector to the total number of abortions. If miscarriages are excluded, the share of non-governmental organisations rises from 14.4% (as mentioned above) to 21.6%; this means that at least one in five induced abortions in the country is performed in a private clinic.

Regional differences in the prevalence of pregnancy termination. The Russian average masks significant regional differences. Abortion rates tend to increase from west to east and from south to north. In 2019, the difference between the minimum and maximum figures – in the Republic of Ingushetia and the Jewish Autonomous Region – exceeded six times. The coefficient of variation based on the abortion rate shows considerable regional heterogeneity (see Table 2). The country is more homogeneous in terms of fertility rates than in terms of abortion rates.

Table 2

**Characteristics of regional* variation in abortion rates per 1,000 women aged 15–49 years,
2012–2015 and 2018–2019**

	2012	2013	2014	2015	2018	2019
Minimum	9.7	10.1	8.3	8.0	6.1	6.0
Maximum	58.4	55.6	53.0	47.2	37.7	37.0
Unweighted arithmetic mean	33.5	32.4	29.6	27.2	21.6	20.4
Coefficient of variation (%)	33.5	34.5	34.7	34.6	34.7	34.9

Notes. *Not including the Republic of Crimea and Sevastopol.

The lowest rates (ten or less per 1,000 women of reproductive age) of registered abortions are in a number of republics in the North Caucasus, the Republic of Kalmykia and Moscow. The highest rates (over 30 per 1,000 women) in 2019, apart from the Jewish Autonomous Region, are in Yakutia, the Orenburg Region, the Sakhalin Region, Tuva, the Nenets Autonomous Region and the Republic of Altai. The Magadan, Irkutsk and Sverdlovsk regions are also among the top ten anti-leaders.

However, there is relatively little variation in the prevalence of spontaneous abortion; the coefficient of variation, based on the number of miscarriages per 1,000 women of reproductive age, is 21.4% (2019). The miscarriage rate ranges from 3.9 per 1,000 women aged 15–49 in the Tambov and Tula regions to 10 per 1,000 in the Irkutsk and Magadan regions, with a Russian average of 6.7 per 1,000 (2019).

An estimate cited by the WHO suggests that an average of 10 to 15% of clinical pregnancies end in miscarriage⁸. Only one Russian region has exceeded the maximum limit of 15% in 2019 – the Ulyanovsk Region, while 17 regions have a share of less than 10%, with the Russian average being 11%⁹. The question of how the regions differentiate in terms of miscarriage rates needs to be specifically investigated. Presumably, in addition to women's health status, fertility rates play a role, since the higher the number of pregnancies, the higher the risk of pregnancy loss. Indeed, the Spearman's rank correlation coefficient ($r = 0.461$) shows a moderate relationship between the relative number of spontaneous abortions and the specific fertility rate, while no such relationship was found between the relative number of medical legal abortions and fertility. Territorial heterogeneity in the rate of *induced* abortions (without miscarriages but including abortions for medical and social reasons and unspecified abortions) is significantly higher than in the overall rate of pregnancy termination. It should be noted that in some regions the number of registered induced abortions is so low that these regions can be excluded from the analysis. In the Republic of Ingushetia, for example, 26 induced abortions were registered in 2018 and 36 in 2019. Less than 300 induced abortions a year are registered in the Nenets and Chukotka Autonomous Districts, as well as in Kalmykia. In Chechnya, Dagestan and Kabardino-Balkaria, the specific induced abortion rate (per 1,000 women of reproductive age) is three or lower – such low rates are not found in any country with liberal abortion laws; notably, Chechnya has one of the highest rates of miscarriage. Moscow (2.7 per 1,000 in 2019) joins this group of regions with a record low rate of induced abortions; such a low rate casts doubt on the completeness of abortion records in the capital. A second reason for caution is the questionable quality of population data for the North Caucasus and Moscow (used as a denominator in calculating the coefficients) [Mkrtychyan, 2019; Andreev, 2012].

Even without these regions, however, there is a wide variation in the rates of induced abortions: from 4.6 per 1,000 women in Moscow Region to 26.0 in Yakutia and 30.1 per 1,000

⁸ Why We Need to Talk about Losing a Baby // World Health Organization. URL: <https://www.who.int/news-room/spotlight/why-we-need-to-talk-about-losing-a-baby> (accessed on 20/04/2021).

⁹ The number of pregnancies was estimated as the sum of the number of births (including stillbirths) and the number of pregnancy terminations.

in the Jewish Autonomous Region (2019); the coefficient of variation is 41.5%. A group with a low rate of induced abortions (less than 10 per 1,000) includes 24 of 77 Russian regions, while 16 regions form a group with a relatively high rate of induced abortions – more than 20 per 1,000, with an average of 14.2 per 1,000 for 77 regions (see Table 3). The decline in abortions in the latter group has a lag of about a decade compared to the middle group.

Across Russia as a whole, about half of women of reproductive age (18 million out of 35 million) live in regions with low rates of induced abortions and three times less – 16% (6 million) – in regions with high rates of induced abortions. About a third of Russian women live in areas with an average score.

Discussion and conclusions. Accounting for pregnancy terminations in organisations of the Ministry of Health of Russia and in medical organisations not subordinate to the Ministry of Health is based on different forms of federal statistical observation. Until recently, the Ministry of Health's records remained much more detailed, but did not cover all abortions performed in the country. The most significant changes in the statistical forms have occurred since 2010, among which we should mention: the shortening of the gestational age at which abortion is performed (since 2012), the widening of the definition of spontaneous abortion (since 2012), and the almost complete elimination of the age distribution (since 2016). In 2016–2017, the published total number of abortions included all pregnancies with an abortion outcome (including e.g. ectopic pregnancies), resulting in a lack of comparability with other years. However, as of 2018, the content of the statistical forms for the organisations of the Ministry of Health and for organisations outside the Ministry of Health has changed again, and this was an important step forward in improving state statistics on abortion. The revision of observation

Table 3

Number of induced abortions per 1,000 women aged 15–49 years in Russian regions, 2019

Number of induced abortions per 1,000 women aged 15–49 years	Regions*
Less than 10	Moscow Region, Karachay-Cherkessia Republic, Rostov Region, Belgorod Region, Republic of North Ossetia-Alania, Krasnodar Territory, Saint Petersburg, Volgograd Region, Republic of Adygea, Republic of Mordovia, Ryazan Region, Samara Region, Voronezh Region, Tula Region, Astrakhan Region, Ulyanovsk Region, Yaroslavl Region, Stavropol Territory, Republic of Crimea, Ivanovo Region, Lipetsk Region, Republic of Bashkortostan, Kaluga Region, Omsk Region
10–20	Sevastopol, Saratov Region, Penza Region, Leningrad Region, Tver Region, Khanty-Mansiysk Autonomous District – Ugra, Republic of Tatarstan, Murmansk Region, Nizhny Novgorod Region, Tambov Region, Primorsky Territory, Altay Region, Kursk Region, Smolensk Region, Vladimir Region, Novgorod Region, Orel Region, Yamalo-Nenets Autonomous District, Kostroma Region, Republic of Khakassia, Republic of Karelia, Chelyabinsk Region, Udmurt Republic, Kaliningrad Region, Bryansk Region, Chuvash Republic, Kamchatka Region, Amur Region, Republic of Buryatia, Vologda Region, Republic of Komi, Khabarovsk Region, Kirov Region, Arkhangelsk Region (without Nenets Autonomous District), Tomsk Region, Magadan Region, Irkutsk Region
20 and above	Tyumen Region (without autonomous districts), Kemerovo Region, Zabaykalsky Territory, Republic of Mari El, Perm Territory, Krasnoyarsk Territory, Sverdlovsk Region, Pskov Region, Kurgan Region, Novosibirsk Region, Republic of Tyva, Sakhalin Region, Republic of Altai, Orenburg Region, Republic of Sakha (Yakutia), Jewish Autonomous Region

Note. * Excluded from analysis: Republic of Dagestan, Republic of Ingushetia, Kabardino-Balkar Republic, Chechen Republic, Nenets and Chukotka Autonomous Districts, Republic of Kalmykia, Moscow.

forms for all types of healthcare organisations has become almost identical, opening up new analytical possibilities. However, only a fraction of the information collected is published.

In 2020, a section on “Pre-abortion counselling results” was added to the registration form to include the number of women who have received special counselling and the number of women who have refused abortions and have been registered for prenatal care. In our view, the proposed statistics are poorly verifiable; compulsory counselling aimed at discouraging abortion pushes women out of the realm of free medicine into the realm of paid services and is fertile ground for corruption to flourish.

The lack of official statistics remains the absence of important socio-demographic characteristics of women who terminate pregnancy (age, marital status, level of education, etc.). It may make sense for Rosstat to outsource this activity, as in France, where similar statistics are developed by scientific organisations.

Based on state statistics, it can be concluded that the problem of abortion as a medical and demographic problem in contemporary Russia has lost its urgency. Abortion rates have declined several times in the post-Soviet years. There is a convergence in the total number of pregnancies and the number of births, indicating an increase in the effectiveness of birth control. The favourable trend has led to a change in Russia’s position in the ranking of developed countries with abortion statistics – our country has lost its status as the absolute leader. The decline in abortions can be expected to slow down in the near future due to the substantial exhaustion of reserves for this reduction.

However, the proportion of spontaneous abortions or miscarriages that do not depend on the will of the woman is increasing in Russia; it exceeded 37% in 2019. Miscarriages mainly represent the loss of desired pregnancies and their prevention is important for both the family and the demographic situation. In 2019, one in five (21.6%) induced abortions in the country were performed in a private clinic. In non-governmental clinics, the safest method of terminating a pregnancy, medication abortion, is much more widely used. Perhaps it is women’s preference for the modern medication abortion method that is leading to an increase in visits to private healthcare organisations. Improving the quality of services and promoting modern abortion technologies in public health facilities is a way of improving women’s reproductive health.

The analysis also shows that the Russian average masks significant regional differences and they are greater than in than the birth rate. About a third of Russian regions have low rates of induced abortion, comparable to the best-off countries in Europe [Singh et al., 2018: 11]; one fifth of regions have relatively high rates, 1.5–2 times the national average. In other words, in parts of the regions, mainly in the north and east, the problem of abortion is still far from being resolved and requires close attention. The main reason for the decline in abortion rates has been the spread of modern family planning – Russians have begun to use reliable contraceptive methods more often [Vishnevsky et al., 2017]. Unfortunately, statistics on contraceptive use are of inferior quality to those on termination of pregnancy, and sample surveys on this topic are very rare. But it is safe to say that over the past decades, abortion has been transformed from the primary means of birth control in Russia into a “firefighting” measure, resorted to in cases of contraceptive failure.

REFERENCES

- Avdeev A. (2011) Induced Abortion and Contraception in the 1990s – 2000s in the Mirror of Public and Private Statistics. In: Troitskaja I., Avdeev A. (eds) *Fertility and Family Planning in Russia: History and Prospects*. Moscow: TEIS: 9–36. (In Russ.)
- Andreev E.M. (2012) On Accuracy of Russia Population Censuses Results and Level of Confidence in Different Sources of Information. *Voprosy Statistiki*. No. 11: 21–35. (In Russ.)
- Avdeev A., Blum A., Troitskaja I. (1995) The History of Abortion Statistics in Russia and the USSR from 1900 to 1991. *Population: An English Selection*. No. 7: 39–66.
- David H.P., Popov A.A. (1999) Russian Federation and USSR Successor States. In: David H.P., Skilogianis J. (eds) *From Abortion to Contraception: A Resource to Public Policies and Reproductive Behavior*

- in Central and Eastern Europe from 1917 to the Present*. Westport, CT; London: Greenwood Press: 223–258.
- Denisov B., Sakevich V. (2014) Abortion in Post-Soviet Russia: Is There any Reason for Optimism? *Demograficheskoe obozrenie* [Demographic Review]. Vol. 1. No. 5: 50–68. DOI: 10.17323/demreview.v1i5.3172.
- Mkrtchyan N. (2019) Migration in the North Caucasus and the Accuracy of Statistics. *Zhurnal issledovaniy sotsialnoy politiki* [The Journal of Social Policy Studies]. Vol. 17. No. 1: 7–22. DOI: 10.17323/727-0634-2019-17-1-7-22. (In Russ.)
- Ryazantsev S.V., Rostovskaya T.K., Sigareva E.P., Sivoplyasova S. Yu. (2019) Abortions and Abortive Behavior in the Context of Searching for Demographic Development. *Ekologiya cheloveka* [Human Ecology]. No. 7: 17–23. DOI: 10.33396/1728-0869-2019-7-17-23. (In Russ.)
- Singh S., Remez L., Sedgh G., Kwok L., Onda T. (2018) *Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access*. U.S.: Guttmacher Institute. URL: <https://worldwide-2017> (accessed 21.04.21).
- Starodubov V.I., Sukhanova L.P. (2012) *Reproductive Problems of Demographic Development in Russia*. Moscow: Menedzher zdavoohraneniya. (In Russ.)
- Sukhanova L.P. (2013) *Statistical Information on the State of the Problem of Abortion and Infertility in the Russian Federation*. Moscow: FGBU TSNIIOIZ. (In Russ.)
- Vishnevsky A.G. (ed.) (2006) *Demographic Modernization of Russia, 1900–2000*. Moscow: Novoe izdatel'stvo. (In Russ.)
- Vishnevsky A., Denisov B., Sakevich V. (2017) The Contraceptive Revolution in Russia. *Demograficheskoe obozrenie* [Demographic Review]. Vol. 4. No. 5: 86–108. DOI: 10.17323/demreview.v4i5.8570.
- Zhukov V.I. (2018) Legislation on Abortion: World Trends and National Interests. *Sotsiologicheskie issledovaniya* [Sociological Studies]. No. 3: 113–123. DOI: 10.7868/S0132162518030121. (In Russ.)

© 2021 r.

SINIŠA MALEŠEVIĆ

THE END OF WARFARE?

Siniša MALEŠEVIĆ, Full Prof., Chair of Sociology, University College, Dublin, Ireland (sinisa.malesevic@ucd.ie).

Abstract. *The recent scholarship on warfare has been highly polarised around the question: Is organised violence on the rise or in decline? In this paper I critically examine the two dominant approaches – the new war thesis, and the decline of violence perspective – which offer contrasting answers to this question. The paper challenges both of these perspectives and develops an alternative, longue durée sociological approach, that focuses on the macro-organisational social context and explores the dynamics of the war-state-society nexus over the past centuries. I argue that warfare is not becoming obsolete and that 'new wars' are unlikely to completely replace inter-state warfare. Instead, my analysis indicates that there is more organisational continuity in the contemporary warfare that either of the two dominant perspectives is willing to acknowledge.*

Ключевые слова: *sociology of war • historical sociology • organised violence • war*

DOI: 10.31857/S013216250016792-4

This article was translated into Russian and published: Малешевич С. Конец войне? Социологический анализ основных подходов к изучению войны // Sotsiologicheskie Issledovaniia. 2021. No 9: 80–93. DOI: 10.31857/S013216250016091-3

Introduction

Over the last two decades war has become a central analytical concern for a number of sociologists (Wimmer 2013; King 2013; Mann 2012; 1993; Shaw 2005; Malešević 2017, 2010). These studies have provided both theoretical and empirically specific analyses of the relationship between war and society. However, there is still a major lacuna in the sociological understanding of the long-term historical processes that shape the relationship between war and society. It is not completely clear what is happening to contemporary war and what the lasting implications of these social dynamics are. Is organised violence on the rise or in decline?

This paper aims to answer this question. The first part critically assesses the two dominant and contrasting perspectives on the transformation of war both of which insist on the radical change in the character of the relationship between war and society. The second part provides an alternative interpretation that centres on the war-state-society nexus over long stretches of time. The main argument emphasises the role organisational power plays in these historically contingent, but for the most part cumulative and coercive, processes and contends that as long as the organisational capacity of states continues to increase the likelihood of wars becoming obsolete remains minimal.

Understanding Contemporary Warfare: Rise or Decline?

Although there is a general agreement that the institution of warfare is undergoing a substantial transformation it is less clear what the causes and the long-term implications of these

changes are. For one group of scholars the virtual disappearance of inter-state wars and their displacement by civil wars is an indicator of a broader social malaise resulting in the continuous weakening of state power. Thus Bauman (2006, 2002) Munkler (2004) and Kaldor (2013, 2007) argue that contemporary armed conflicts differ significantly from their 19th and early 20th century counterparts: they are decentralised, less restrained, more chaotic, and brutal, less focused on territory and more on the control of population and often characterised by the deliberate targeting of civilians. Furthermore, such conflicts are understood to be generated by the unrestrained proliferation of neo-liberal globalisation which in its constant search for resources, cheap labour and markets helps erode the sovereignty and capacity of many states. In some contexts, this ultimately contributes to the state's loss of monopoly on the legitimate use of violence leading to privatisation of violence and the emergence of rootless paramilitaries who wage wars over the remnants of state structures, scarce resources and people. In contrast to conventional warfare these 'new wars' are seen to be strictly parasitic phenomena whereby greedy warlords politicise ethnic and religious markers and utilise militias to wage genocidal wars on civilians. While the proponents of the new war thesis agree that wars between states have dramatically declined and that battle deaths have substantially decreased, they dispute the findings indicating a similar decline in civilian deaths. On the contrary both Kaldor (2013: 8–10) and Shaw (2005, 2003) argue that it is extremely difficult to gauge and provide reliable evidence on the civilian casualties not least because there are different methods for calculating these figures and many deaths remain unreported and undocumented (especially those that are indirectly caused by war operations such as disease or malnutrition). For example, the civilian death toll of war in Iraq ranges from 100,000 to 1 million depending on the source and methodology used. Furthermore, as the new war thesis is premised on the idea that new forms of warfare blur the distinctions between public and private, legal and illegal and most of all civilian and military, there is no reliable way to distinguish combatants from civilians. Most significantly they argue that the battle death toll is not the only measure that can capture the brutality of new wars. Instead, they show that other indicators such as the forced displacement of people or the proliferation of privatised purveyors of violence are just as reliable in accounting for the changing character of war. For example, UNHCR data shows that in 2010 there were 43.7 million forcibly displaced people, which was the highest figure in the last 15 years (Kaldor 2013:9). When all of this is considered the general argument is that as long as unimpeded neo-liberal globalisation proliferates so will the new forms of war.

In contrast to the new war paradigm other scholars argue that all forms of violence including warfare are in continuous decline. Hence, Goldstein (2011), Pinker (2011), and Muller (2009), insist that one can observe a steady trend in the gradual waning of all forms of warfare, revolutions, genocides, riots, terrorism, and other types of organised violent action. Mueller (1989) was one of the first who articulated this argument with his contention that major wars among large states have become obsolete. In his view 'war is merely an idea' comparable to duelling or slavery all of which have been 'grafted onto human existence' and have gradually become redundant as a mechanism for solving collective disputes (Mueller 1989:321). More recently he has radicalised this idea further, arguing that warfare as an institution 'has almost ceased to exist' (Mueller 2009:297). This argument was further refined and empirically documented by Goldstein (2011) who argues that in the last three decades one could observe fewer outbreaks and more endings of war and that existing wars tend to be more localised, smaller, and shorter than those fought in the previous decades. Nevertheless, the most influential book written in this vein was Pinker's *Better Angels of Our Nature* (2011). Drawing heavily on Elias's (2000) theory of civilizing process Pinker argues that not only warfare but nearly all forms of violence have experienced a dramatic decline from prehistory to the present day. He compares the available data on homicides, torture, human sacrifice, blood feuds, capital punishment, slavery, rape, infanticide, child abuse, inter-state, colonial, post-colonial and civil wars, revolutions, pogroms, and other forms of organised violence and concludes that all types of violence exhibit similar, downward, trajectory. Moreover, unlike most other scholars working

within this paradigm Pinker does not see the 20th century as being the most violent period in human history but instead insists that one should use relative rather than absolute numbers to gauge the level of destructiveness for a particular historical period. Hence, he rates the An Lushan revolt (8th century China) and the Mideast Slave Trade (7th–19th century) as being far ahead in terms of human casualties than the two world wars, Mao's Great Leap Forward and Stalin's purges combined (Pinker 2011:194–6). To account for this trend, he deploys the explanatory apparatus of evolutionary psychology and history of ideas. He maintains that the gradual decline of warfare and other forms of violence is rooted in the inner working of our brain which has an inherent propensity towards violence. As he puts it bluntly: 'most of us-including you, dear reader – are wired for violence' (Pinker 2011:483). This inborn proclivity, in Pinker's view, was gradually tamed by ideological and institutional transformations: the growth of state power, increasing literacy, the development of cosmopolitan and humanitarian worldviews, the expansion of trade and the wider civilising processes all of which have allegedly helped control our violent impulses and have increased the empathetic qualities of modern human beings. Hence for Pinker just as for other representatives of this perspective all forms of war are experiencing a dramatic and potentially irreversible decline.

These two perspectives provide conflicting diagnoses of social reality, so it is not clear what exactly is happening with the institution of warfare. There is no consensus on such questions as: Is war as such becoming obsolete? Are new wars replacing inter-state warfare for good? Is the decline of organised violence a temporary or permanent phenomenon?

Despite some obvious merits neither the new wars thesis nor the decline of violence perspective can provide convincing answers to these questions. As I have argued elsewhere (Malešević 2010) the new war paradigm suffers from economic reductionism which attributes too much power to the forces of neo-liberal globalisation and ignores geo-politics, organisational dynamics, and ideological transformations. This perspective also has a short historical memory: neither globalisation nor privatisation of violence are novel historical processes. In some important economic and political respects, the late 19th and early 20th century was just as globalised as today's world (Conrad 2006; Hall 2000; Hirst et al 2009) but whereas our predecessors were waging numerous colonial and inter-state wars culminating in WWI the scale of today's warfare has been substantially reduced. Hence if the same or similar processes were at work before why are the outcomes so different?

The decline of violence perspective exhibits a different kind of reductionism: it is deeply grounded in idealist epistemology that generates very functionalist arguments. The view that the reduction of human casualties in war, or the diminishing of all types of violence, can be attributed to 'the humanitarian revolution', the gradual expansion of human rights discourses and civilising norms is for the most part un-sociological. While ideas and beliefs play a significant role in social relations, they do not determine long term historical changes. This logic of reasoning cannot explain why the discourses of human rights, moral equality and civilizational advancement have become so influential in today's world but not before, even though they were formulated at the inception of modernity and were in some form of institutional use for the past two hundred years or so. More importantly these norm-centred explanations are prone to functionalist argumentation that regularly end up in tautological conclusions. To explain the decline of war they confuse needs with causes and make explicit what is already present in the premises of this approach. Much of this reasoning is unfalsifiable and not a single author from this tradition has managed to make a direct, causal, link between the post-WWII dominant values and the decline in organised violence (Malešević 2013b, Popper 2005).

The key argument of this paper is that despite some illuminating and valuable insights made by the two dominant perspectives they do not provide adequate analysis of contemporary warfare. As such their forecasts for the future of war do not seem plausible. The most significant weakness of both of these perspectives is the fact that they analyse large scale social transformations without devoting much or any attention to the complex macro sociological processes involved. More specifically to fully understand the character of warfare it is crucial to

utilise a *longue durée* sociological analysis that contextualises the transformation of warfare in broader long term social processes and especially the macro-organisational dynamics that underpin the war-state-society nexus. When contemporary wars are analysed from this long-term perspective it becomes clearer that there is more continuity than discontinuity in the institution of warfare than is recognised by either of the two dominant approaches.

The Historical Sociology of Warfare

In contrast to popular perceptions, shared by socio-biologists such as Pinker (2011), war is, historically speaking, a relatively novel invention. As much of the available archaeological and anthropological evidence indicates, the simple hunter gatherers and other foraging nomadic groupings tended to avoid prolonged inter-group violence and had no organisational, technological, ideological, or environmental means to wage wars (Malešević 2017; Fry and Soderberg 2013; Fry 2007). As recent extensive study of a comprehensive Ethnographic Atlas data set by Fry and Soderberg (2013) demonstrates, most simple hunter-gatherers were not engaged in organised violence. Deaths due to violence are quite rare and when they do occur, they resemble homicides rather than war and other forms of organised violence. For example, in 20 out of 21 cases analysed by Fry and Soderberg 85% of all violent acts undertaken include interfamilial feuds, group centred executions and interpersonal quarrels whereas the cases of inter-group violence are extremely uncommon. As foraging bands are small, non-sedentary, egalitarian and fluid there is no organisational prerequisite to wage wars.

Thus, war emerges on the historical scene together with social development – the rise of stratified group structures, sedentary lifestyles, agriculture, social hierarchies, and division of labour among others. Most of all the proliferation of warfare is closely linked with the emergence of the first stable, territorially focused, polities – chiefdoms, city-states and eventually pristine empires (Mann 1993, Malešević 2010:92–101) all of which have taken root only in the last 12,000 years. Furthermore, from its inception war, state and society have developed and changed together. If one understands war as an instrument of social and political power then as social orders change so does the nature of warfare. It is no accident that both chiefdoms and early pristine empires relied extensively on violent conquests to maintain (and expand) the existing social order. The famous chiefdoms of yesteryear such as those ruled by Arminius or Genghis Khan were despotic and hierarchical but highly unstable polities whose very existence was premised on continuous territorial expansion and war conquests. Similarly the early empires, from Romans, Chinese, Rashiduns, Srivijayas, to Ottomans, were heavily dependent on resources, slaves, serfs and territories to maintain their internal social cohesion and prosperity (Burbank and Cooper 2010). In contrast most city-states were more stable, less hierarchical and, with few notable exceptions such as Sparta or Venice, less conquest prone. In all of these cases polity formation, internal social dynamics and warfare have had a profound and lasting impact on each other. The nature of war has often had significant impact on internal social stratification and vice versa. The protracted, symmetrical and all-encompassing wars stimulated development of citizenship rights and democratic institutions whereas asymmetric and conquest-oriented warfare that utilised armies of the highly skilled warriors and expensive weaponry were more likely to foster hierarchical and highly stratified social orders (Mann 1993; Malešević 2010). For example, both ancient Greece and medieval Switzerland were often hailed as the first examples of participatory citizenship and advanced democratic institutions including their representative popular assemblies such as Greek *ekklesia* and Swiss *landsgemeinde* (Kobach 1993). However, it is often forgotten that this unusual degree of social freedom and popular decision making was built on large scale participation in wars. These were societies composed of self-armed and self-equipped communities of farmers-soldiers who were able and willing to use their arms and military skills to maintain their rights.

War has also played a decisive role in the advent of modernity. As Mann (1993) Giddens (1986) and Hirst (2001) have convincingly demonstrated the intensive preparations for war and the escalation of European warfare since late 16th century onwards provided unprecedented stimulus for state development and social change. The ever-increasing geopolitical competition

forced rulers towards greater fiscal reorganisation, the expansion of administrative structures, the growth of the banking sector, investment in the development of science, technology and the military. The direct corollary of these transformations was the extension of parliamentarism, citizenship rights and greater welfare provisions as the rulers were forced to trade political and social rights for more popular support, increased public taxation and the willingness of citizens to fight in wars. The onset of industrialisation was heavily dependent on the technology pioneered in the military sphere and from the mid-19th century onwards social development in the civilian sector regularly went hand in hand with the industrialisation of warfare (McNeill 1981; Giddens 1986). The two total wars of the twentieth century were a culmination of this ever-expanding link between the state, war and society: mass production, mass politics and mass communications were all mobilized for mass destruction. What started off as a traditional military confrontation was gradually redefined as a vicious conflict to the death between entire populations. Nevertheless, the long-term consequence of these two extremely destructive conflicts were further extension of citizenship rights, greater gender equality, delegitimisation of racism and the establishment of welfare states (Mann 2012). Hence over the past several centuries one could notice the constant increase in the destructiveness of war which was often preceded, or followed by, substantial social changes. However, this continuous increase of synergy between war, state and society cannot easily explain what happened to war over the last sixty years. Does the fact that inter-state wars have dramatically diminished and that human casualties have been substantially reduced suggest that that our age is experiencing a radically different relationship between the state, society and war, as suggested by the two dominant perspectives? The simple answer is: no.

What one can observe when looking historically at the nexus war-state-society is that their dynamics were largely shaped by similar processes over very long stretches of time and this has not substantially changed today. Since for 99% of their existence on this planet humans were nomadic foragers characterised by malleable and weak social ties it took millions of years for rudimentary social organisations to emerge. However once the first elements of social order and statehood developed they tended to arise in tandem with warfare. Hence what is truly distinct about the last 12,000 years is how quickly and forcefully the nexus war-state-society has transformed the face of this planet. One of the key processes spawned by the interplay at this nexus was the continuous expansion of organisational power. Since Weber's early works (1968) analysts have become aware that any effective social action entails the presence of organisations. Nevertheless once in place social organisations are inclined to grow, expand, control its personnel and engage in confrontations with competing social organisations. Hence all influential social organisations have a coercive foundation (Malešević 2013a, 2010). The prevalence of warfare over the past centuries has helped expand and increase the coercive capacity of polities. This process was already visible at the birth of the first empires when the expanding state power depended on the proliferation of 'social caging' with individuals being forced to trade personal liberty for state provided security (Mann 1993). Over the years social caging was combined with 'political racketeering', that is populations being required to pay taxes and finance costly wars in exchange for some citizenship rights and protection from other states and domestic threats. Nevertheless it is only in the past two hundred years that this cumulative bureaucratisation of coercion has significantly accelerated. The transformation of empires, composite kingdoms and city-states into sovereign nation-states was accompanied by technological, scientific and production changes all of which have had an enormous impact on the war-state-society nexus. As wars expanded and became more destructive and costly the organisational power of states and their ability to control their populations grew exponentially. Not only have modern states increased their infrastructural reach and capacity but they have also managed, for the first time in history, to legitimately monopolise the use of violence, taxation, legislation and education (Weber, 1968; Elias 2000; Gellner 1983). The pinnacle of this process were the two world wars. To wage such protracted and costly wars states were forced to further increase their organisational powers including their ability to mobilise millions of individuals to fight or labour for the war effort. The intensive popular mobilisation had long term

effects that galvanised intensive social changes. For example the shortage of manpower on the battlefields fostered the introduction of universal conscription which, among other things, expanded the citizenship and some welfare rights of urban poor and peasantry that could not be easily revoked after the war. In a similar vein the mass deployment of men to fronts and the expansion of war industries caused a shortage of industrial labour. This ultimately compelled state authorities to open up the factories and other industries to women workers thus introducing policies which have profoundly undermined traditional patriarchal relationships. Once women gained economic independence it was extremely difficult to re-establish the gendered status quo. Furthermore the mass war casualties and the war time ideals of national solidarity stimulated gradual delegitimation of the sharp class divides and forced the state authorities to extend welfare policies and health protection in many European and, to lesser extent, North American states. All of these substantial social transformations had a deep impact on post-war states and societies. Despite the enormous human casualties and material destruction post-war social organisations became stronger than ever. The further expansion of science, technology and industry together with the continuous growth of the administrative sector provided impetus to multiply organisational power in a variety of domains. Hence the second half of the 20th century witnessed a dramatic acceleration in the state's ability to collect information on all of its population, to tax its citizens at source, to fully police its borders, to control public education, health sector, employment and immigration policies, to interfere in family and sexual life and to successfully introduce mass surveillance programs (i.e. biometric passports, id cards, birth certificates, census data, CCTV cameras) (Lyon 2001, Mann 2012). It is war that was a prime catalyst of these changes.

The fact that most of Europe, North America and the rest of developed world have not experienced much or any warfare on their soil over the past seven decades might suggest that the war-state-society nexus has been broken or displaced by the less coercive structural mechanisms of development. This, however, is not the case. The immediate aftermath of WWII was not permanent peace but instead a protracted and highly intensive cold war occasionally enhanced by brutal and devastating proxy wars (i.e. Korea, Vietnam, Afghanistan, Angola, Nicaragua) directly supported by the two superpowers. This period (1946–1991) was characterised by the continuous preparation for war together with the political mobilisation of citizenry all of which have helped stimulate further increases in the organisational powers of states. Not only the USA and Soviet Union but all members of the two military alliances utilised military advancements and the perpetual threat of war to increase their organisational power. It was the political and military competition between the two power-blocks that gave impetus to technological, scientific, industrial and state development. As in the previous historical periods most significant scientific and technological inventions were pioneered in the military sector and then gradually found their way into civilian use (Giddens 1986). Despite the lack of human casualties in Europe and North America the proxy wars and the permanent threat of nuclear Armageddon proved to be key organisational devices for substantial social change throughout the world. The cold war was certainly the golden age of economic prosperity, political stability, welfare provisions and social mobility for large sectors of the population on both sides of the political divide (Mann 2012). Just as in the previous three centuries social development, state enhancement and military expansion advanced together. The war-state-society nexus was not significantly dented, it just became accommodated to the different historical constellations.

Whereas the late 20th and early 21st centuries have witnessed some significant changes in the relationship between war, state and society these are far from being radical transformations. In fact these changes indicate the continuous strengthening of the war-state-society nexus and further increase in the cumulative bureaucratisation of coercive power (Malešević 2013b, 2010). The popular view of globalisation as undermining the strength of nation-states and dramatically transforming social relationships between is an overstatement lacking empirical validation (Mann 2012, Hirst et al 2009, Hall 2000). The argument that globalisation inevitably weakens state power is often premised on the idea that before the current wave of globalisation nation-states were

strong and sovereign. However historically nuanced analyses show that for most of the 19th and early 20th century full sovereignty and political independence were largely unachieved ideals, something that most rulers strived for but were unable to achieve. It is only the Great Powers that could attain and afford full state sovereignty and control of their territories whereby most other states did not possess sufficient state capacity for, nor were they allowed to achieve, full sovereignty (Smith 2010). Hence the fact that some states have more political might and independence today than others is not particularly new. In fact it is only in the last few decades that most states have gained so much organisational power that even their strongest 19th century predecessors could not imagine possible. Similarly the pre 2008 economic liberalisation was not profoundly different to its late 19th and early 20th century predecessor and in both of these cases opening up of world markets went hand in hand with the increase in the organisational and coercive potency of the states (Mann 1993, 2012; Conrad 2006, Lachman 2010). Instead of being mutually exclusive forces neo-liberal capitalism and bureaucratisation often underpin one other (Lachman 2010; Hall 2000). Even the appearance of new technologies has not substantially shifted this balance. On the contrary the new technological advancements and inventions – from satellites, internet, mobile phones, robotics, laser weapon systems to nanotechnologies and many others – have helped reinforce the organisational power of states which are now much more able and willing to control and police their borders, populations, tax intake, transgressions of law, immigration, education, sexuality and so many other aspects of everyday life.

The continuous expansion of state power is also followed by the extension of its coercive reach and capacity both internally (policing one's own population) and externally (using military might to shape foreign policy). This growth of organisational strength allows most powerful states to engage in periodic but quite regular military interventions all over the world. Since the end of the cold war the USA, UK, France, Russia, and Israel among others have been involved in a number of wars and military interventions including Iraq, Afghanistan, Mali, Georgia, Lebanon, Palestine, Libya, Sierra Leon, Chad, Central African Republic, Ukraine, and Syria. It is true that these military undertakings have generated smaller number of casualties than similar interventions before and during the cold war. However the key point is that analysts' focus should shift from such a crude measure that are military or civilian casualties in direction of whether or not such wars make significant social and political impact. What sociologically matters is not whether a particular war caused more or less damage and human destruction but what kind of social and political change it generates. If viewed through these lenses it is possible to see that much of contemporary warfare has not engendered dramatic social transformations. Neither the so-called high-tech warfare waged by most powerful states nor the predatory civil wars fought by militias and the remnants of state armies have produced historically novel social conditions. The outbreaks of civil war tend to emerge in regions where the existing state structures are already quite weak and are challenged by competing social organisations. These often include not only the neighbouring states, but the domestic competitors also dissatisfied and capable of challenging the weakened state as well as the world powers who pursue their own geo-political ambitions. This obviously is not a historically novel situation. The European state formation went through a very similar process – it started with 1000 polities in the 14th century which by 16th century were reduced to 500 and by the early 20th century the protracted warfare was instrumental in reducing this number to only 25 states (Malešević 2017, 2010). As the running of modern social organisations becomes ever more expensive the state structures that cannot keep up with the demands of cumulative bureaucratisation of coercion often lose their monopoly on the legitimate use of violence. The dominance of civil wars today is not a new phenomenon; they are just more visible as there are no wars between powerful states. What is distinct about these conflicts is that, unlike their 15th, 16th or 18th century European predecessors, most contemporary civil wars cannot be 'played out' to their logical conclusion the outcome of which would be fewer but more powerful states. The main reason why such conflicts are labelled 'civil wars' and contained within the existing state borders is the coercive dominance of international regulations that explicitly prohibit any violent change of interstate

borders. In previous historical periods many wars that started off as intra-state conflicts were later, if and when insurgencies won, redesigned as inter-state wars. However the contemporary geo-political context does not allow for such a transition from civil to inter-state war to occur. In contrast to Mueller and other representatives of the decline of violence perspective who see the existing norms on the sanctity of inter-state borders as a simple reflection of the universally shared Enlightenment principles it is much more plausible to view these rules as something initiated, imposed and policed by the winners of WWII. As such these regulations are the ideological expression of the contemporary geo-political constellations as they firmly reinforce the geo-political status quo.

Although the last twenty years have seen numerous high-tech wars and military interventions waged by powerful states most of these violent conflicts did not generate major social change. The reliance on sophisticated technology, science and industry has reduced the need for the use of mass armies and has led to the abolition of conscription in Europe and North America. Although the introduction of mass conscription gave birth to the welfare state there is no reliable evidence that the ever-increasing professionalization of military directly causes the shrinking of welfare provisions (Lachman 2010). The new technological advancements in military and medicine have also been instrumental in decreasing the number of human casualties among the military personnel of the powerful states. However these changes had very little to do with humanitarian ethics and civilising processes and much more to do with organisational capacity of powerful states to use sophisticated technology to minimise political and military risks. As Shaw (2005) demonstrates much of this warfare is premised on minimizing life-risks to western military personnel by transferring these risks to the weaker enemy. From the Falkland war of 1982 to the 1991 Gulf, 1999 Kosovo, and most recent wars in Afghanistan, Iraq, Libya and Mali the reliance on technologically sophisticated weapons has helped create the systematic transfer of risks from the elected politicians to military personnel and from western militaries to enemy combatants and their civilians. Nevertheless the use of new technology and science did not alter the social and political context of warfare. What in Korean, Vietnam and Soviet war in Afghanistan was pursued relying on the millions of recruits and mass mobilisation of entire societies is now achieved through the use of high-altitude bombing, long distance missile launches, the remotely navigated combat drones, the use of demolition vehicles and other robotic devices.

The Future of War

If the war-state-society nexus has not been significantly weakened why have wars become rarer, and less deadly? And why has inter-state warfare been displaced by civil wars? To answer these questions one needs again to engage with the historical sociology of war and its role in the post-WWII world. When war is conceptualised not as a simple political instrument of rulers but as an outcome of complex and contingent historical processes involving competition between social organisations than its proliferation is heavily dependent on the strength and coercive reach of particular social organisations. The historical record shows that the prevalence and expansion of warfare tends to be linked with the increased capacity of social organisations. Hence scholars have identified several periods of revolutionary acceleration of warfare ranging from southern Mesopotamia in the late 4th and early 3rd millennium, eastern Mediterranean and China at the end of first millennium BE, and the European induced warfare expansion between 1500s and 1945 (Levy and Thompson 2011). In all three of these cases one can witness the significant interplay between war, state development and social transformation. The war-state-society nexus generated unprecedented social changes in military (army sizes, weaponry production) society (greater urbanisation, technological inventions, shift to mass scale production in agriculture and later in industry) and polity formation (greater political centralisation, expanding infrastructural power). The direct outcome of these changes was an escalation in wars as ever-expanding states attempted to establish regional hegemonies and/or prevent other such polities becoming new political hegemonies (Levy and Thompson 2011). In this context the post WWII period is not the end of (war) history. It is just an end of the long-term process that was initiated with the military revolution of early 15th century.

However the relative peace established in Europe and North America in the last several decades still remains grounded in the similar historical processes that have shaped social and political life in the previous centuries – the organisational power and the ability of large scale social organisations such as modern day nation-states to establish their political, economic, ideological and military dominance. During the cold war era the bipolar stability, mutually recognised regional hegemony and the threat of nuclear destruction prevented escalation of violence in the Northern part of the globe. The further decline of inter-state warfare after the Cold war is tightly linked with the unprecedented military supremacy of the USA and the combination of inability and unwillingness of other powerful social organisations (i.e. EU, Russia, China, India) to challenge the US military and political hegemony. For much of the past sixty years American military power has been so overwhelming that no other state, not even the Soviet Union at the peak of its military might, would willingly provoke a war with USA. The military omnipotence of this state is historically unprecedented: this is the only state that has a substantial military presence, including large scale army bases, in more than 150 countries all over the world; the US military budget is larger than the total combined military expenditure of its next ten competitors – China, Russia, UK, France, Japan, India, Saudi Arabia, Brazil, Germany and Italy. American airpower is so overwhelming that no other state is anywhere near its technological supremacy; and the US' military technology in laser guided missiles, aircraft carrier ships, re-fuelling facilities, military robotics and many other areas is so far ahead of any other military in the world (Mann 2003). This unparalleled military hegemony remains the cornerstone of contemporary geo-political stability in the world. The US military supremacy averts any attempts to engage in inter-state warfare in the Northern part of the globe and strongly discourages the potential outbreaks of inter-state war within the US's, extremely wide, interest zone. The fact that the American military shield (through NATO or other arrangements) incorporates much of Europe and Japan means that this *Pax Americana* acts as a brake on the escalation of any potential conflicts within its very wide domain. In this sense, as Burbank and Cooper (2010), Munkler (2007) and Mann (2003) remind us US military hegemony in many important respects resembles its imperial predecessors – the military supremacy of the Roman, Mongol and British Empires were decisive in generating extensive periods of peace not so dissimilar to the period we are currently experiencing. Hence it is the geo-political configuration not the humanitarian revolution or civilizational advancement that gave birth to *Pax Romana*, *Pax Mongolica*, *Pax Britannica* just as much as to *Pax Americana*.

Nevertheless what distinguishes the contemporary world from its predecessors is the considerable increase in the organisational capacity of most modern states and other social organisations. Whereas Roman, Mongol and other empires usually waged wars against polities with feeble organisational power most contemporary states possess high infrastructural capacity which makes any potential inter-state war extremely costly and difficult to fight. Unlike their patrimonial counterparts which in most important respects were puny leviathans most present day states are built around bureaucratic principles that foster the continuous expansion of their coercive capacity and reach (Malešević 2017, 2010). For example while the Roman Empire could subdue relatively quickly and cheaply the chiefdoms and composite kingdoms of Sabines, Etruscans, Goths, Illyrians, or Galls the late 20th and 21st century inter-state wars, typified by Iran-Iraq war (1980–1988), are extremely destructive, costly and difficult to win. Nevertheless it is important to emphasise that the ever increasing organisational power is not just confined to states but also to other overtly and covertly coercive social organisations (including terrorist networks, private corporations, social movements). This is best illustrated by the fact that despite the enormous military presence of US, UK and 47 other highly developed militaries in one of the poorest and infrastructurally least developed countries in the world the Taliban insurgency is well able to wage successful guerrilla war for more than 20 years. On the surface this looks as if the most powerful state in the world cannot easily overpower one of the weakest polities in the world. However the point is that US and its allies are not fighting the Afghan state which is infrastructurally and organisationally extremely weak but are engaged in a fierce struggle with the highly organised, effective, hierarchical and coercive insurgency

network – the Taliban. In this sense the Taliban is similar to other insurgency movements such as Hamas, Hezbollah or FARC: all of them have substantially increased their coercive organisational powers at the expense of the nation-state they inhabit (Malešević 2017; 2013a).

Hence paradoxically even though the continuous expansion of organisational power was decisive for the escalation of 20th century total wars it is this very same process that plays a major role in containing the inter-state warfare today. Simply put the inter-state wars have become rare and less deadly precisely because the organisational power of many contemporary states, and most of all USA, has so substantially increased to the point that initiating an inter-state war is extremely difficult, hugely expensive and, with the exception of a couple of powerful states, likely to generate enormous devastation if not complete self-destruction.

None of this is to suggest that the cumulative bureaucratisation of coercion will ultimately lead towards the end of war. On the contrary as geo-political and environmental configurations change it is likely that the long-term future will bring about more violent conflicts between the social organisations with increasingly uneven power structures. Once *Pax Americana* weakens and other states and non-state associations and networks gain even more organisational capacity one is likely to see an enormous geo-political world-wide transformation. Moreover as climate change and other environmental variations intensify including global warming, continuous population expansion and the excessive consumption of non-renewable resources, the nature of the war-state-society nexus is likely to become even more prominent. As much of the available forecasting demonstrates, climatic changes are bound to further increase CO2 emissions which ultimately will bring about a less hospitable planet – severe water shortages for large parts of the world, dramatically rising tides of oceans and seas with periodic tsunamis, the gradual disappearance of fossil fuels, the scarcity of minerals, and the lack of arable land (Mann 2012). These major changes are likely not only to make the global ecosystem unsustainable but might also cause an organisational collapse and potential disintegration of state structures in some regions of the world. Once these states prove unable to feed and protect their citizens this is likely to spark large scale migrations of people moving from the uninhabitable to the habitable parts of the globe. Such unprecedented population movement might trigger violent responses. Thus the future geo-political and environmental transformations could bring about a very different world with some states continuing to increase their organisational powers and channelling those powers in the direction of building large militaries and police forces whereas others would struggle to survive in the remnants of failed states. Thus one is likely to see a much more dystopian world of the future. On the one side the expanded cumulative bureaucratisation of coercion is likely to be used to engage in new wars of conquest for scarce resources while simultaneously creating and keeping fortress-like borders to exclude potential refugees. On the other side one might expect the appearance of organisational wastelands populated by stateless groups and organisations fighting for the survival. Although this almost apocalyptic imagery might sound unrealistic and farfetched its small-scale incarnation is already borne out in the social reality of several contemporary civil wars. From Somalia and DR Congo to Syria, Chad, Sudan and Yemen one can encounter large areas of destroyed and environmentally desolate areas where people struggle to endure or escape the never-ending war induced shortage of water and energy, the periodic famines, untreated contagious disease, chronic homelessness and unemployment (Hironaka 2005). In contrast to these zones of despondency the ever-increasing organisational capacity of most powerful states creates conditions for the real and substantial transformation of warfare in the future: the gradual displacement of human military and work force with their robotic counterparts. The mass reliance on the use of unmanned drones in Afghanistan and Yemen navigated by 'civil servants' in Nevada is probably a reliable indicator of how some wars will be waged in the future. It is quite conceivable that human warfare might give way to armed conflicts between robotic soldiers (Coker 2013). In this context where there is no direct human presence on the battlefields but where devastation and demolition continue to escalate it will quickly become obvious how futile it is to rely on human casualty counts as the barometer of war's destructiveness.

Conclusion

The contemporary scholarship on warfare has been sharply divided over the question: Is warfare on rise or in decline? While some argue that all forms of organised violence are gradually but surely disappearing from our horizon others insist that the globalisation-induced 'new wars' bring about more destitution and destruction. In contrast to these two perspectives, I argue that rather than indicating a radical transformation the current state of warfare is rooted in the same organisational logic that shaped our world over the last twelve millennia. Instead of reflecting a profound and permanent shift in historical development and a significant change in human attitude to war the contemporary decrease of organised violence is a product of specific geo-political and organisational constellations. As these constellations are produced by the same long-term processes that historically have shaped and continue to shape the war-state-society nexus as long as they are in motion it seems unlikely that the institution of war will disappear in the future.

REFERENCES

- Bauman, Z. 2002. *Society under Siege*. Cambridge: Polity Press.
- Bauman, Z. 2006. *Liquid Fear*. Cambridge: Polity Press.
- Burbank, J. & F. Cooper 2011. *Empires in World History*. Princeton: Princeton University Press.
- Coker, C. 2013. *Warrior Geeks*. London: Hurst.
- Conrad, S. 2006. *Globalisation and Nation in Imperial Germany*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Elias, N. 2000. *The Civilizing Process*. London: Blackwell.
- Fry, D.S. 2007. *Beyond War*. Oxford: Oxford University Press.
- Fry, D. & P. Sorderberg 2013. Lethal Aggression in Mobile Forager Bands and Implications for the Origins of War. *Science* 341 (6143): 270–273.
- Gellner, E. 1983. *Nations and Nationalism*. Oxford: Blackwell.
- Giddens, A. 1986. *The Nation-State and Violence*. Cambridge: Polity.
- Goldstein 2011. *Winning the War on War*. New York: Dutton.
- Hall, J. A. 2000. Globalisation and Nationalism. *Thesis Eleven* 63: 63–79
- Hironaka, A. 2005. *Never-ending Wars*. Cambridge: Harvard University Press.
- Hirst, P. et al 2009. *Globalisation in Question*. Cambridge: Polity Press.
- Hirst, P. 2001. *War and Power in the 21st Century*. Cambridge: Polity.
- Kaldor, M. 2013. In Defence of New Wars. *Stability* 2(1):4,
- Kaldor, M. 2007. *New and Old Wars*. Cambridge: Polity Press.
- King, A. 2013. *The Combat Soldier*. Oxford: Oxford University Press.
- Kobach, K. 1993. *The Referendum*. Dartmouth Publishing: Aldershot.
- Lachman, R. 2010. *States and Power*. Cambridge: Polity.
- Levy, J. & W. Thompson 2011. *The Arc of War*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lyon, D. 2001. *Surveillance Society*. London: OUP.
- Malešević, S. 2017. *The Rise of Organised Brutality: A Historical Sociology of Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Malešević, S. 2013a. *Nation-States and Nationalisms*. Cambridge: Polity.
- Malešević, S. 2013b. Forms of Brutality: Towards a Historical Sociology of Violence. *European Journal of Social Theory*. 16 (3): 273–291.
- Malešević, S. 2010. *The Sociology of War and Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann M. 2012. *The Sources of Social Power III*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mann M. 2003. *Incoherent Empire*. London: verso.
- Mann M. 1993. *The Sources of Social Power II*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mueller, J 2009. War Has Almost Ceased to Exist: An Assessment. *Political Science Quarterly*. 124(2):297–321.
- Mueller, J 1989. *Retreat from Doomsday*. New York: Basic Books.
- Munkler, H. 2004. *The New Wars*. Cambridge: Polity.
- Pinker, S2011. *The Better Angels of Our Nature*. New York: Allan Lane.
- Popper, K. 2005. *The Logic of Scientific Discovery*. London: Routledge.
- Shaw, M. 2003. *War and Genocide*. Cambridge: Polity.
- Shaw, M. 2005. *The New Western Way of War*. Cambridge: Polity.
- Smith, A. 2010. *Nationalism*. Cambridge: Polity.
- Weber, M. 1968. *Economy and Society*. New York: Bedminster Press.
- Wimmer, A. 2013. *Waves of War*. Cambridge: Cambridge University Press.

© 2021 г.

E.V. BALATSKY, N.A. EKIMOVA

WORLD-CLASS UNIVERSITY MARKET: RETHINKING GEOPOLITICAL AND NATIONAL STEREOTYPES

Evgeny V. BALATSKY, Dr. Sci. (Econ.), Director (evbalatsky@inbox.ru); Nataly A. EKIMOVA, Leading Researcher (n.ekimova@bk.ru). Both – the Center for Macroeconomic Research of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia.

Acknowledgements. *The article is based on the state assignment of the Government of the Russian Federation to the Financial University for 2021 “Political and economic patterns in the functioning and evolution of the economic system of Russia”.*

Abstract. *The article considers the results of the third wave of identification of world-class universities in 2021, obtained on the basis of the authors’ methodology. The comparison of the new results with the data for the 2017 and 2019 allowed us to examine in more detail some well-established mental stereotypes of a geopolitical and national character. In particular, the role of the North American university center is declining, but the universities of the United States and Canada are still models for the rest of the world, both in terms of the breadth of scientific diversification and in terms of the research results obtained. The seemingly self-evident “decline of Europe” concerning the market of advanced universities is not confirmed. Moreover, there is reason to talk about the growing activity of the European geopolitical center, whose universities not only hold their positions but also rapidly increase the number of highly specialized institutions and are at the forefront of training personnel for post-industrial society. Contrary to many expectations, the Asian university market is still far from becoming a distinctive authentic phenomenon and is still only an example of a relatively successful “copying model” of Western models. Quite unexpected was the alarming conclusion about the superiority of advanced universities in Latin America over universities in the post-soviet space in general and in Russia in particular. It is shown that the recognition of “new” world-class universities by international rating agencies, such as the National Autonomous University of Mexico, is very late. The internal Russian mental archetype concerning the model of development of the Lomonosov Moscow State University is recognized as untenable, whose tenure as a member of world-class universities is extremely unstable. Additional proof of this is the fact that this university has already lost the competition in the direction of “political science”*

Ключевые слова: world-class university • global university rankings • competitiveness • geopolitical inversion

DOI: 10.31857/S013216250016793-5

This article is a translation of: Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Рынок университетов мирового класса: пересмотр геополитических и национальных стереотипов // *Sotsiologicheskie Issledovaniia*. 2021. No 9: 117–131. DOI: 10.31857/S013216250014952-0

Introduction. The world is currently undergoing a process defined as *global geopolitical inversion* (GGI) [Balatsky, 2014]. This phenomenon is linked to the so-called G. Arrighi cycles, the outflow of global capital to a different geographical jurisdiction, with a corresponding change in the world's leading state. This period of transition has many characteristics, not least of which is the breakdown of established attitudes. In doing so, a huge number of illusions and mistakes are created. The global market for leading universities is no exception.

During the GGI period, the socio-cultural phenomenon of fake emerged with particular force [Lebedeva, 2013]. This has led to talk of fake science and fake economics [Kirdina-Chandler, 2017] and, in some cases, of a fake industry [Stepanova, Manokhina, 2019]. We can speak of the emergence of a sustained evolutionary trend consisting of the deliberate and unintentional formation of fake mental stereotypes by distorting information about social reality¹.

In contrast to the popular view that a country's advanced universities are the engines of its economic development [Valero et al., 2019], we take the opposite and no less popular view, according to which universities are a phenomenon "of secondary importance", emerging as a result of many years of successful development of society [Taleb, 2014; Hamdan et al., 2020]. The university market is therefore a delayed but very informative indicator of what is going on in the depths of the various states. The processing of new statistical data on higher education in the form of international university rankings allows us to quickly obtain portraits of national education systems and draw conclusions about the course of global competition between different geopolitical segments of the world.

The purpose of this article is to examine public mental stereotypes about the dominant features of the global marketplace of advanced universities (MAU) and to assess their relevance and continued viability in a changing world order.

Methodology and statistical basis for the study. This article is a follow-up to the work started in 2017 on the identification of *world-class universities* (WCU), which has resulted in two dedicated international top lists – the WCU Ranking and the National University System Ranking²; data for 2017, 2019 and 2021 are now available.

Hereinafter, we will use the previously introduced classification and codification of national universities: U-1, U-2 and U-3 [Balatsky, Ekimova, 2019]. The U-1 group is made up of WCU³ that: a) are in the top 100 in at least one of the available set of World University Rankings (WUR) and b) are in the top 50 in at least 5 QS World University Rankings by Subject. The U-2 group includes universities claiming to be a WCU: condition *a* is fulfilled but condition *b* is not. The U-3 group consists of narrowly profiled WCUs, for which condition *a* is not fulfilled and condition *b* is not fully fulfilled. Each advanced university gets a quantitative assessment of its achievements in the global market, summation of which gives an integral assessment of national university systems; the algorithm of calculations and ranking is disclosed in: [Balatsky, Ekimova, 2018]. This classification makes it possible to identify the range of key players in MAU and to provide a quantitative measure of their quality.

¹ A *mental stereotype* is understood to be a stable perception held by many people about an emerging situation in a particular area; this perception is massive and sometimes dominant, and appears in various forms in public discourse. Often such stereotypes are either inherently wrong or become so due to obsolescence and changing realities. Mental stereotypes themselves are formed under conditions of a lack of objective information, which generates their inconsistency with the real state of affairs.

² On the methodology of the ratings, see: URL: <http://nonerg-econ.ru/cat/16/201/> and URL: <http://nonerg-econ.ru/cat/16/203/> (accessed on 01/06/2021).

³ We emphasise that the size of university is not directly linked to its success, hence to the status of the WCU. The study [Balatsky, 2017: 36] shows that the boundary of the effective number of WCU students is between 8 and 22 thousand. While the size of university contributes to many of their indicators, this is not at all sufficient to turn them into a WCU. Thus, many Russian universities have exceeded the upper limit (RANEPA – over 180,000 students, Financial University – about 45,000, Ural Federal University – 57,000, etc.), but they are still far from joining the WCUs.

Applied calculations used data from the most authoritative WUR's – *Quacquarelli Symonds (QS)*, *Times Higher Education (THE)*, *Academic Ranking of World Universities (ARWU)*, *Center for World University Rankings (CWUR)* and *National Taiwan University Ranking (NTU)*⁴. The main indicators of the calculations are the number of universities in each group and the "strength" indices of particular universities (*H*) and whole countries (*W*)⁵.

The point of the study is to test the validity of several mental stereotypes about the world university system. It will be shown below that some "self-evident" perceptions need at least serious clarification. In a more specific formulation, the aim of the study is to draw unexpected conclusions that refute existing stereotypes in public discourse about the existing world and Russian university systems. The intrigue of the study lies in the *duality of the GGI period*, and in particular 2017–2021. On the one hand, there is a turbulence of development during this period without clear (incipient) trends; on the other hand, the trends can develop with incredible speed (e.g. an initially insignificant difference in the value of two indicators in 2–3 years can become fundamental). This means that the four-year period in question brings with it a great potential for social and economic surprises, which are yet to be identified. **Old and new geopolitical centres of the market for advanced universities.** Three interconnected mental stereotypes are emerging in public consciousness today, amid intense debate about the weakening of US hegemony [Lundestad, 2012]: virtually all human intellectual potential is concentrated in the US⁶; the gradual transfer of that potential to Asia⁷; the decline of European intellectual achievement has either already happened or is now a foregone conclusion⁸.

The identification of the elements of MAU for the enlarged regions of the world allows the above theses to be considered more precisely (see Table 1). In particular, the distribution of the WCU in the world is extremely uneven. Africa and the Middle East, for example, are a kind of scientific and educational desert that cannot be transformed into an oasis in the foreseeable future. Two more centres – Australia and New Zealand, Latin America – will not play a decisive role because the former is exemplary but unpromising due to its distance from the world's main economic contacts and the latter, while fairly promising, is too young, weak and undynamic to realise its potential, even in the medium term. The example of these two centres shows the high "sensitivity" of the WCU market: an inherent geographical disadvantage and a historically late start in development put an end to the intellectual dominance of certain

⁴ The geopolitical sympathies and antipathies of the various WUR's are discussed in [Balatsky, Ekimova, 2020]. The WURs used in this study are politically relatively neutral. In addition, the use of multiple rankings levels out possible subjective deviations of rankers.

⁵ For more details on the methodology of identification of NMC and the H parameter, see: URL: <http://nonerg-econ.ru/methodology/81/> (accessed on 02/06/2021), and methodology for assessing the capacity of national university systems and parameter W: URL: <http://nonerg-econ.ru/methodology/82/> (accessed on 02/06/2021). A detailed rationale and discussion of the methodologies can be found in [Balatsky, Ekimova, 2018].

⁶ On US intellectual leadership, see: On US Intellectual Leadership // EXRUS.eu. 2014. 4 December. URL: <https://ru.exrus.eu/K-voprosu-ob-intellektualnom-liderstve-SShA-SShA-privlekli-umy-so-vsego-id-5480bfc8ae20151f0f130747> (accessed 02.06.2021); 25 countries with the most powerful intellectual potential // Mixstuff.ru. 2013. 28 October. URL: <http://mixstuff.ru/archives/38918> (accessed on 02/06/2021).

⁷ On the spillover of intellectual potential, see: *Voda K.R.* Asian think tanks: Position in the World and Influence on Foreign Policy // Comparative Politics. 2018. № 3. Pp. 5–13. DOI: 10.18611/2221–3279–2018–9–3–5–13; *Dunayevskiy I.* Beijing is catching up: China is taking the lead from the US in science // Rossiyskaya Gazeta – Federal Edition. 2018. 17 September. № 207(7670). URL: <https://rg.ru/2018/09/17/kitaj-otberet-ussha-liderstvo-v-nauchnyh-issledovaniiah.html> (accessed on 02/06/2021); Is China taking global leadership away from the United States? // Medium. 2017. June 21. URL: <https://medium.com/fairbank-center/is-china-taking-global-leadership-away-from-the-united-states-3b2c77d2d960> (accessed on 02/06/2021).

⁸ On the intellectual degradation of Europe, see: Falling into oblivion: Europe is losing its national and cultural integrity // Business Online. 2018. 28 August. URL: <https://www.business-gazeta.ru/article/393152> (accessed on 02/06/2021); Eric Zemmour: "The Virus Showed the Power of Asia and Underlined the Degradation of Europe" (Le Figaro, France) // InoSMI.RU. 2020. 28 March. URL: <https://inosmi.ru/politic/20200328/247149396.html> (accessed on 02/06/2021).

Table 1

Geopolitical centres of the MAU

Country	2017				2019				2021			
	U-1	U-2	U-3	W	U-1	U-2	U-3	W	U-1	U-2	U-3	W
USA and Canada	42	18	44	403.0	41	15	56	379.1	41	15	65	370.5
Europe and Russia	37	22	118	205.6	42	18	143	230.6	41	14	159	230.0
Asia	19	4	39	75.9	17	8	35	77.3	19	8	48	84.0
Australia and New Zealand	8	0	25	33.0	8	0	18	31.7	8	0	21	31.6
Latin America	1	1	10	6.1	1	1	9	5.3	2	1	9	6.8
Middle East	0	2	1	1.6	0	1	2	1.1	0	1	5	1.5
Africa	0	0	4	0.6	0	0	3	0.4	0	0	5	0.6

regions of the world. The three geopolitical centres of greatest interest in this regard are North America, United Europe and Asia.

Thus, established WCU centres are very conservative and do not tend to change their location quickly. The rapid economic development of the Asian region does not imply a rapid change of intellectual centre. While it is true that the potential of the North American market for WCU is diminishing (32.5 points on *W* for 4 years), the main beneficiary is the European university market (24.4 points or 75% of redistributed bonuses) and not the Asian one (8.1 points or 25% of redistributed effect).

We can see another attempt by Europe to seize the intellectual initiative from the US. So, while in 2017 Europe had 5 fewer WCUs than the North American centre, in 2019 it already had an advantage of 1 university, and in 2021 the potential of the two leaders has become equal. The gap in the quality capacity of the university systems (*W*) of the two centres narrowed from 2.0 to 1.6 times. If only the US (excluding Canada) and Europe (excluding Russia) are considered, the ratio of WCU in 2021 is in favour of the latter – 36 versus 40. The number of Asian WCUs has remained unchanged over the four years.

Table 2 shows the top scores of different countries in two areas – the WCU ranking and the level of scientific diversification⁹. The latter point is particularly important in relation to the very phenomenon of the WCU: it involves the creation of a teaching and research centre where world-class developments in many scientific fields are taking place. It turns out that we can talk about the limit of scientific diversification in 40 positions, above which we can speak about the great concentration of intellectual resources: entering the top 50 universities in 41–46 subject rankings means a successful research activity in 80–90% of the currently available range of scientific disciplines (there have been 51 QS rankings by subject in 2021). Only North American and European universities have crossed the limit; Asian universities have approached it, but are not yet able to exceed it. This fact once again proves the catch-up model of the Asian geopolitical centre of the WCU.

As for the vanguard positions in the WCU Rankings, only North American and European universities made the top 20 list. The *National University of Singapore* “broke through” in 2021, moving up to 19th place in the past two years, but this university, like the state of Singapore itself, is of British heritage and embraces a western rather than eastern university tradition.

Going back to the original mental stereotypes, there is a discrepancy with reality: a large part of human intellectual capacity is still concentrated in Europe and tends to grow, and there is a higher number of WCUs in European countries than in the US; there is not yet a strong migration of this capacity to Asia. Consequently, there are distorted perceptions and expectations

⁹ Hereinafter, we will use the English names of all universities, including Russian universities, in order not to deviate from the standard set by WUR and to avoid their ambiguous identification; the English names of Russian universities, in our view, do not cause problems of understanding.

Table 2

The highest achievements of the world's leading national science systems in 2021

Country	Parameters of the highest achievements on the MAU	
	Max number of QS rankings by subject of which the WCU is in the top 50	Place of the best university in the WCU Ranking
USA	43 (University of California, Los Angeles)	2 (Harvard University)
Canada	46 (University of Toronto)	21 (University of Toronto)
Japan	36 (University of Tokyo)	22 (University of Tokyo)
China	34 (Peking University)	25 (Tsinghua University)
Singapore	37 (National University of Singapore)	19 (National University of Singapore)
United Kingdom	41 (University of Cambridge)	1 (University of Oxford)
Switzerland	23 (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich)	12 (Swiss Federal Institute of Technology in Zurich)
Germany	16 (Ludwig Maximilians University of Munich)	53 (Ludwig Maximilians University of Munich)

in public discourse regarding the true balance of intellectual resources of the world's leading geopolitical centres.

A dramatic reshuffle in the Asian university market. It is hardly an exaggeration to say that the Asian region is characterised by the following perception: Japan has traditionally been the intellectual vanguard of Asia.

The "Chinese dragon" has awakened and its intellectual power is gaining momentum; Asia's cumulative intellectual prowess will surpass that of America and Europe in the near future.

The data in Table 3 illustrate important lines of development for the Asian MAU segment. Firstly, it is strengthening its position, but not as dynamically as it may appear. The number of WCUs in Asia has not changed in 6 years – the available reshuffle of universities is predominantly within the Asian region. The Asian region's share of the slightly growing WCU market from 2017 to 2021 declined slightly from 17.8% to 17.1%. Thus intellectual resources have not yet migrated actively to the Asian continent. It is worth noting that G. Arrighi was quite right in

Table 3

Comparing Asian university systems

Country	2017				2019				2021			
	U-1	U-2	U-3	W	U-1	U-2	U-3	W	U-1	U-2	U-3	W
China	9	1	16	31.6	8	3	15	31.9	10	2	20	39.0
Singapore	2	0	0	13.4	2	0	1	14.5	2	0	1	14.7
Japan	5	2	2	18.7	3	2	6	16.4	3	2	4	14.5
South Korea	3	1	6	10.8	3	2	6	10.5	3	3	3	10.8
Taiwan	1	0	3	3.5	1	0	2	2.5	1	0	2	1.6
Malaysia	0	0	4	1.2	0	1	1	0.9	0	1	5	1.7
India	0	0	4	0.4	0	0	3	0.3	0	0	4	0.4
Total	19	4	39	75.9	17	8	35	77.3	19	8	48	84.0

predicting the shift of the centre of global capital to Asia [Arrighi, 1994], and S. Kirdina-Chandler showed empirical evidence of a “shift of growth poles”, i.e. the cycle of economic activity of Western countries in favour of non-Western countries [Kirdina-Chandler, 2019]. However, contrary to these global shifts, there has not yet been an increase in the concentration of intellectual capital in the global university sphere in Asia.

Secondly, the Asian region is strengthening its position in the MAU not *globally*, but *locally*. This means that all achievements on this market affect a very limited number of countries. Considering Taiwan as part of China, the successes of Asia's university system are concentrated in four states – China, Singapore, Japan and South Korea (22.6% of the continent). The rest of Asia is not yet active in this field. Consequently, large-scale diffusion of knowledge and human capital in Asia is still absent, and the WCU sector in 77.4% of the Asian continent is still “asleep” with uncertain prospects for recovery. It is noteworthy that G. Arrighi was careful not to be specific when talking about the Asian centre of capital [Arrighi, 2007], but today it can be stated that we should talk about China and not about Asia in general.

Thirdly, competition between countries on the MAU within the Asian region is taking a very dramatic form. Japan, for example, was firmly in 1st place in the region in 2017. However, four years later, the situation has changed dramatically: China has increased the number of WCUs to six and carried out the final integration of Hong Kong, giving it four more WCUs, which has enabled it to occupy the first position and to pull away markedly from its competitors. Over the years, Japan has also passed Singapore in terms of university capacity *W*, struggling to maintain a slight advantage over South Korea. At the same time, we can see

the “transformation” of Japanese WCUs into a narrowly focused U-3 type universities. The traditional view of the absolute superiority of the Japanese university system in Asia is thus gradually losing its validity.

Japan is currently undergoing a profound socio-cultural crisis, which becomes even clearer when looking at the dynamics of its ranking in the National University System Ranking¹⁰. For example, in 2017 it was ranked 5th and in 2021 it has dropped to 10th, while China has moved from 8th to 3rd over the same time (see Table 2). It is logical to assume that such reshuffle is dramatic for Japan.

As for the prospects of China's intellectual leadership, it is appropriate to recall A. Zinoviev's concept that any social system has a lower and an *upper evolutionary boundary*, within which the system retains its qualitative identity [Zinoviev, 2004]. Chinese society is fully subject to this rule and has its own upper evolutionary boundary. The intrigue lies in answering the question: is its boundary higher or lower than that of Europe and North America?

It is worth remembering that the Celestial Empire was formed with the direct participation and influence of the USSR. And China's amazing technological breakthrough came after the United States established a special trade regime for it, pumped capital and modern manufacturing into its economy, and partially copied American economic institutions and borrowed foreign technology through industrial espionage and widespread patent law violations. If you add to this the fact that 40% of China's current WCU is a legacy from Hong Kong, which in turn is more of an Anglo-American creation, the second nature of China's current intellectual tradition becomes clearer.

Returning to the original thesis of this section, it can be summed up as follows: Japan's unrivalled intellectual and technological leadership in the Asian region is almost over and is today more a historical memory than a reality; China has shown impressive intellectual achievement, but its lack of authentic breakthrough technologies makes it impossible to make any clear predictions about future development; top-level intellectual achievement in the form of WCU is only common to 23% of the Asian continent, which rules out its intellectual expansion in the foreseeable future.

¹⁰ Ranking of National University Systems // Nonergodic Economics. 2017. 21 May. URL: <http://nonerg-econ.ru/cat/16/203/> (accessed on 24/08/2021).

Table 4

Parameters of European university systems

Country	2017				2019				2021			
	U-1	U-2	U-3	W	U-1	U-2	U-3	W	U-1	U-2	U-3	W
England	17	1	39	126.5	18	0	41	138.4	15	3	42	134.2
Switzerland	2	3	9	16.9	3	2	16	17.9	3	2	17	21.0
Germany	6	2	8	13.5	6	4	14	17.7	5	2	12	16.0
Netherlands	5	4	5	14.6	4	6	5	15.5	6	3	8	15.1
France	0	2	10	5.0	2	1	14	8.2	2	1	15	10.5
Sweden	2	3	6	7.1	3	1	8	6.9	4	1	8	7.7
Denmark	2	0	5	6.0	2	0	4	6.4	2	0	5	6.2
Belgium	1	1	2	3.8	1	1	2	4.6	1	1	1	4.3
Italy	0	3	5	3.4	0	2	10	4.7	0	0	13	3.2
Spain	0	1	8	2.2	0	1	9	2.7	0	1	9	2.8
Norway	0	1	3	1.4	1	0	3	1.8	1	0	4	2.3
Finland	1	0	4	1.8	1	0	2	1.8	1	0	5	2.1
Austria	0	0	3	0.3	0	0	6	0.8	0	0	6	1.1
Ireland	0	1	1	0.8	0	0	2	1.2	0	0	3	0.9
Portugal	0	0	2	0.2	–	–	–	–	0	0	2	0.2
Hungary	0	0	1	0.1	0	0	1	0.3	0	0	1	0.2
Greece	0	0	1	0.1	0	0	3	0.3	0	0	1	0.1
Poland	0	0	2	0.2	0	0	1	0.1	–	–	–	–
Russia	1	0	4	1.7	1	0	2	1.3	1	0	7	2.1
Total	37	22	118	205.6	42	18	143	230.6	41	14	159	230.0

The diversity and unpredictability of Europe. In Europe, an extremely persistent stereotype is the belief in Germany's absolute technological and intellectual leadership. At first glance, such a view of the world seems quite natural and justified. To verify this, let's look at the data in Table 4.

As it turns out, Germany's position is quite ambiguous. For example, among continental European countries, it was the clear leader in terms of the number of WCUs in 2017 and has further strengthened its position in 2019. However, in 2021 Germany "loses" one WCU and Holland, on the other hand, adds two WCUs and becomes continental champion. Note that in terms of aggregate university capacity *W* Germany moves from fourth place in 2017 quite confidently to third place in 2019, almost on a par with Switzerland, but in 2021 it falls sharply behind. Between 2017 and 2021, the UK added 7.7 points on the *W* indicator, Switzerland – 4.1, France – 5.5 and Germany – only 2.5.

Thus, Germany can, with a high degree of convention, be regarded as the leader in the European segment of the MAU. Moreover, an analogy is inevitably suggested: Germany in Europe is like Japan in Asia. The post-war restrictions on these two countries and the current global geopolitical turbulence expose their development challenges.

Europe as a whole is a seething cauldron, with different states exhibiting different trends and unexpected surprises. For example, Sweden has increased the number of WCUs from 2 to 4 in four years. Norway, Austria and Finland have all performed at their best. However, countries such as Spain, Italy, Portugal and Ireland, which have a rich university tradition, are clearly in a doldrums and do not show themselves in any way on the MAU. This situation suggests that the WCU market in Europe is in a state of bifurcation – in the coming years, the region is just as likely to grow sharply stronger as it is to weaken sharply.

In favour of a positive development, there is quite a variety of sources of growth in Europe for WCUs, and the passive countries have the cultural potential to "wake up" quickly. In

Asia, for example, there are currently four countries (Taiwan is conventionally considered part of China) supplying WCUs to the global market, while there are 11 such countries in Europe (including Russia).

Thus, a closer look at the European university market shows that the UK and Switzerland are the country drivers, while Germany is not yet in a position to set the agenda. In general, however, it is too early to write off Europe because of the unique experience of combining competition and cooperation mechanisms that, on the one hand, allow universities from all countries in the region to act as a single entity and, on the other hand, not to become a homogeneous mass and not to lose individual activity [Balatsky, Ekimova, 2019]. Table 2 also shows that Europe has a significant advantage in the number of universities in the U-3 group. Of these, 25 per cent are narrowly focused universities specialising in the arts, culture, architecture and tourism. The same figure for universities in the US and Canada does not exceed 17%.

In an era of emerging "robotomics" – an economy based on mass automation and robotics – and the concomitant rise in technological unemployment, the employment focus is shifting towards creation and creativity. It is therefore essential that a new cohort of specialists is formed today, and that universities readjust and retrain in this direction, as many professions may not be in demand in the next decade. European universities are the first-movers and drivers of this process.

Latin America and the post-Soviet space: who has the future? In addition to the three defining geopolitical centres of WCUs on the world map, there is Africa and the Middle East, where such structures do not exist, and Latin America and the post-Soviet space, where there are sporadic sprouts of the phenomenon. In this section we will look at these peripheral zones of the MAU, which have potential and can show themselves in very unexpected ways.

The low and late start of the Latin American countries and, conversely, the relatively recent scientific and technological power of the ex-USSR predetermine the second territory to have a more impressive intellectual potential than the first. To verify this mental stereotype, let us turn to Table 5.

Already in 2017 the MAU in Latin America was more developed than in the post-Soviet space, where only Russia had a presence. As a result, after the collapse of the USSR, almost 24% of its territory was excluded from the market of WCUs in principle. This fact is not surprising, as the holders of the WCUs are either territorially large countries or small states with unique historical and geopolitical advantages. The republics of the former USSR (except Russia) did not have such initial conditions, which is why they have become a scientific and educational desert.

The following facts give evidence of Latin America's superiority over the post-Soviet space. Firstly, there are many indications that the market prospects for WCUs in Latin America are better than in the post-Soviet space. For example, five countries from the first region have entered the international university rankings, and only one country from the second region. However, Colombia, which has been quite aggressive on the MAU, has a larger population

Table 5

Parameters of Latin American university systems

Country	2017				2019				2021			
	U-1	U-2	U-3	W	U-1	U-2	U-3	W	U-1	U-2	U-3	W
Brazil	1	0	4	2.4	1	0	2	2.1	1	0	2	2.7
Mexico	0	0	2	1.4	0	0	1	1.3	1	0	1	1.8
Argentina	0	1	1	1.1	0	1	1	1.1	0	1	0	1.2
Chile	0	0	3	1.2	0	0	3	0.7	0	0	3	0.7
Colombia	–	–	–	–	0	0	2	0.2	0	0	3	0.4
Total	1	1	10	6.1	1	1	9	5.3	2	1	9	6.8
Russia	1	0	4	1.7	1	0	2	1.3	1	0	7	2.1

Table 6

Parameters of the Latin American and Russian WCUs

University	2017		2019		2021	
	R	N	R	N	R	N
University of Sao Paulo (USP)	9	74	9	79	13	67
National Autonomous University of Mexico (UNAM)	12	–	13	–	12	84
Lomonosov Moscow State University (LMSU)	6	99	5	107	6	101

than any country in the former USSR; the same is true of Argentina. There is reason to believe that in the next 7 to 10 years, these two Latin American states will be able to create their own WCUs, which no post-Soviet state (except Russia) can do.

Secondly, if there is any prospect of building a WCU market in the post-Soviet space, it is in Russia. It has objective – territorial, demographic, historical and cultural – factors, unlike other countries of the former USSR, which have neither the necessary human capital nor the historical and geographical prerequisites.

Examining the cases from the inside makes it clear why the social label for the two regions is outdated and needs to be corrected. For this purpose, let us refer to the data in Table 6, which compares the key characteristics of WCUs in Brazil, Mexico and Russia and uses the following notations: *R* is the number of subject rankings of the QS system in which the university appears in the top 50 list (scientific diversification coefficient); *N* is the order number of the university in the WCU Ranking¹¹.

Table 6 shows the following. Firstly, the scientific diversification of the Mexican and Brazilian WCUs is twice as high as that of the Russian ones. In these countries, the concentration of diverse scientific disciplines and high-level researchers in one place is immeasurably more successful than in Russia. This conclusion is not just unpleasant, but also very “dangerous” for our country. Thus, the “cut-off point” in the WCU identification algorithm was taken to be $R = 5$. On this basis, *LMSU* has a very weak position in the tournament list in question and risks losing its high status at any time. The Brazilian *USP* and the Mexican *UNAM*, on the other hand, are crossing the diversification boundary by a wide margin, which makes their position in the ranking quite secure.

Secondly, the dynamism of promotion in the WCU Rankings of Latin American *USP* and *UNAM* is immeasurably higher than that of *LMSU*. The Brazilian *USP*, for example, now ranks 67th, which is an important symptom. A comparison of the WCU rankings for 2017, 2019 and 2021 allowed the entire top list to be divided by some empirical “reliability boundary” – the top 70 universities and the rest. The first group of universities is characterised by relatively low volatility of ranking changes and is virtually guaranteed to remain in the WCU Ranking; the rest demonstrate high volatility of their achievements and act as contenders for displacement from the list and replacement by other universities. Against this background, *LMSU*'s fluctuations in the 99–107 range are an indication of its lack of internal reserves for meaningful advancement in the rankings.

Thirdly, international rankers sometimes give highly skewed estimates that take a considerable amount of time to correct. The history of Mexican *UNAM*, which, as shown in Table 7, already in 2017 had a level of diversification greater than some of the first half-hundred universities of *WUR*, and yet was systematically ignored by the main ranking players, is typical in this respect. It was only in 2021 that the QS *WUR* ranked it at the closing 100th position and thus enabled it to enter the category of WCUs. The above shows that the subject rankings of global rankers are more immediate, while the *WUR* is a more conservative marker. The case of the Mexican *UNAM* itself is significant: on the one hand, it shows a two-step strategy for universities to join the ranks of leaders (through subject rankings in *WUR*) and, on the other hand, it sets a precedent and changes the attitude of the international expert community towards

¹¹ Ranking of World-Class Universities // Nonergodic Economics. 2017. 19 May. URL: <http://nonerg-econ.ru/cat/16/201/> (accessed on 24/08/2021).

Table 7

Dynamics of ranking parameters of Russia's leading universities

Universities of Russia (years)	Scientific areas											
	Modern languages	Linguistics	Performing arts	Philosophy	Mining engineering	Petroleum engineering	Mathematics	Physics and astronomy	Politics and international relations	Sociology	Computer science and information technology	Management in the hospitality and leisure industry
Lomonosov Moscow State University (LMSU)												
2017	44	13		51–100		–	33	21			48	43
2019	33	23		51–100		–	34	26			48	–
2021	36	24		41		32	34	29			58	51–100
Moscow P.I. Tchaikovsky Conservatory												
2017			41									
2019			–									
2021			34									
Tomsk Polytechnic University												
2017						–						
2019						–						
2021						23						
Novosibirsk State University												
2017								50				
2019								51–100				
2021								90				
Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT)												
2017								42				
2019								51–100				
2021								50				
National University of Science and Technology MISIS												
2017					31							
2019					19							
2021					42							
St. Petersburg Mining University												
2017					15							
2019					42							
2021					12							
HSE University												
2017									51–100	51–100		
2019									51–100	51–100		
2021									45	50		
MGIMO University												
2017									51–100			
2019									51–100			
2021									41			

the Latin American region. It can be expected that, with the notable successes of the leading universities in Argentina and Colombia, they will be recognised more quickly than the one in Mexico's capital city.

We emphasise that perceptions of Latin America's backwardness and the essential superiority of post-Soviet countries are no longer so incontrovertible and unambiguous.

Intra-Russian prejudices and misconceptions. The final touch that remains to be made to the overall picture of the MAU concerns the Russian university system and its potential. There is also an entrenched stereotype that there are latent opportunities in the country that can manifest themselves with some stimulus from the authorities. This vision is also supported by initiatives of the Russian government, which is launching programmes to support domestic universities (Project 5–100, Priority 2030).

To verify these public expectations, let's consider the data in Table 7. Modern WCUs are facilities that concentrate research at the highest, global level in many scientific fields. This is an important and challenging property of the WCU. High-level, narrowly focused institutes can be found in many countries, while the integration of many different scientific disciplines into one institution is rare. The stability of a university's position in international rankings suggests that its success is natural and not accidental; otherwise, questions arise about the reasons for the failures in the dynamics. Not surprisingly, attempts to create a WCU from scratch are rarely successful, as it is difficult to compensate for the lengthy process of organising the work of creative teams.

It can be stated that the only WCU in Russia, the *LMSU*, does not have any of these qualities. The university is consistently ranked in the top 50 in only four subject areas – modern languages, linguistics, mathematics and physics. The other directions are unsustainable. In 2017, for example, *LMSU* had a good position in the leisure industry, but then lost it, compensating for the loss with a decent place in philosophy. Similarly, the university held good positions in computer science in 2017–2019, but dropped out of the top 50 in that field in 2021, compensating this by a top spot in petroleum engineering. This alternation of successes and failures against the very narrow range of disciplines in which *LMSU* steadily dominates makes its position very precarious. At any moment, the country's only WCU could lose its status, and it would be extremely difficult to regain it, given the insistence of competitors.

We should also note the sheer scale of the academic diversification of the Russian WCU: in 2021 it loses 7.7 times to Canada's *University of Toronto* (6 subject rankings against 46) and 2 times to Mexico's *UNAM* (6 against 12).

Apart from *LMSU*, there are eight other universities in Russia that have marked their presence in the top 50 subject rankings, but none of them can yet pretend to be a WCU in the foreseeable future. Of all these institutions, only *HSE University* steadily improved its position, finishing in the top 50 in two subjects – political science and sociology. However, even this success has not yet passed the sustainability test, let alone the need to increase the number of such items by at least 3 times.

The *Moscow P.I. Tchaikovsky Conservatory*, the *St. Petersburg Mining University* and the *National University of Science and Technology MISIS* show a certain stability in their fields, but they were originally established as narrowly focused institutions and cannot be expected to diversify further. The success of the other four universities cannot be assessed for sustainability due to a lack of data.

Notably, until 2020, *LSMU*, *HSE University* and *MGIMO University*, which joined them in 2018, were in the homogeneous 51–100 group for political science. The publication in the QS rankings of the ranked universities in alphabetical order gave the illusion of *LSMU* dominating its competitors. However, a detailed analysis of the ranking parameters and the calculation of the final score according to the QS methodology showed that as of 2018 *HSE University* was not only the clear leader among the three universities in question, but also steadily increased its lead over its closest competitors, which ultimately enabled the institution to break the top 50 barrier in 2020 and become one of the world leaders. The year 2021 saw another landmark reshuffle: *MGIMO University* entered the top 50, ranking 41st and ahead of *HSE University* in 45th place.

Thus, the examination of the Russian university system within the framework of the Government's Project 5–100 initiative against the WUR criteria revealed its extremely low international competitiveness. This forces us to rethink the thesis that Russia has serious scientific and intellectual reserves.

Conclusion: Towards the rejection of false stereotypes. The facts reviewed regarding the development of MAU have shown that outdated perceptions of a changing world need to be re-examined. For example, North American universities in the US and Canada remain the benchmark for academic diversification and productivity; no country in the world has yet managed to surpass the best North American universities, although the region's former dominance is diminishing. The proverbial "Decline of the West" which to many seems self-evident, has been postponed indefinitely; indeed, it is European universities that are in the vanguard of training for a post-industrial society. The Asian WCU market is still far from becoming a distinctive authentic phenomenon, being only the result of a successfully implemented "copycat" model of Western models, although individual achievements in the region cannot fail to be impressive.

The conclusion about the superiority of Latin American MAU over post-Soviet countries is unexpected and unpleasant. The former USSR gave only one player in the WCU market, Russia. However, the latter is by no means at its peak, with only one recognised WCU (*LMSU*), which does not have a sustainable scientific record. A further eight universities in the country have so far only marked their presence in the subject rankings. The experience of Mexico, whose metropolitan university has long been unrecognised by the international expert community, despite its more than impressive success in the preliminaries, shows that even under the best of circumstances the same fate awaits Russian universities, which would further delay their entry to the leaders.

Despite these circumstances, it would be wrong to think that Russia has suffered a complete and utter fiasco in the struggle for a place in the world university market. Firstly, it is important to take into account the fact that Russia has joined the global trend of building a WCU since the end of the last century: public financing of special programmes in Canada began in 1989, Denmark – in 1991, Finland – in 1995, China – in 1996, Japan – in 2002, Australia and Norway – in 2003, Germany – in 2006. Russia joined the initiative only in 2008 [Salmi, Frumin, 2013]. Secondly, despite the fact that the goals of the Project 5–100 have not been achieved, it has made it possible to conduct a global inventory of the Russian university system, revise approaches to the development of Russian universities, and make itself known on the international arena. This is the first time in a quarter of a century that Russia's best universities have ceased to be "invisible" to the international information space. Thirdly, Russia, consciously or not, follows a *staggered strategy* in shaping the WCU, which first aims to get into a less ambitious pool of advanced universities (top-50 subject rankings) and then, through gradual scientific diversification, moves to the lower boundary of the top-100 WUR and finally passes through it and enters the category of truly advanced universities in the world. So far Russia has implemented only the first part of the way, preparing the ground for further achievements. The reality of this is demonstrated by China, which has passed relatively quickly through all stages of the "road to WCU" and is now well positioned on the MAU.

Another important aspect of the competitive university race cannot be overlooked. The world is divided into two groups of countries – those that have entered the race and those that, for various reasons, ignore it. Russia falls into the first group, with the tradition of a command economy leading to a rapid bureaucratisation and imitation of all good deeds. In these conditions, positive reports from universities and officials to higher authorities about their outstanding achievements prevail, making it difficult to diagnose the true state of affairs, to identify organisational errors and to correct them in a timely manner. The real potential of Russian universities remains unclear: either it is very low (even compared with Latin American countries) or it is not so low, but its inept organisation by the current bureaucracy does not allow it to be realised in full. In our view, Russia still has a chance for a scientific breakthrough, but time is not working for it.

REFERENCES

- Arrighi G. (1994) *The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of our Times*. London; New York: Verso.
- Arrighi G. (2007) *Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century*. London; New York: Verso.
- Balatsky E.V. (2014) Prerequisites for Global Geopolitical Inversion. *Ekonomicheskie i sotsialnye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz* [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast]. No. 2(32): 28–42. DOI: 10.15838/esc/2014.2.32.4. (In Russ.)
- Balatsky E.V. (2017) *University Endowments and Competitiveness of Russian Universities*. Moscow: Buki Vedi. (In Russ.)
- Balatsky E.V., Ekimova N.A. (2019) Geopolitical Meridians of World-Class Universities. *Vestnik Rossiyskoy akademii nauk* [Herald of the Russian Academy of Sciences]. Vol. 89. No. 10: 1012–1023. DOI: 10.31857/S0869-587389101012-1023. (In Russ.)
- Balatsky E.V., Ekimova N.A. (2020) Global Competition of Universities in the Mirror of International Rankings. *Herald of the Russian Academy of Sciences*. Vol. 90. No. 4: 417–427. DOI: 10.1134/S1019331620040073.
- Balatsky E.V., Ekimova N.A. (2018) World Class Universities: Experience of Identification. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya* [World Economy and International Relations]. Vol. 62. No. 1: 104–113. DOI: 10.20542/0131–2227–2018–62–1–104–113. (In Russ.)
- Hamdan A., Sarea A., Khamis R., Anasweh M. (2020) A Causality Analysis of the Link between Higher Education and Economic Development: Empirical Evidence. *Heliyon*. Vol. 6. No. 6. Article 04046. DOI: 10.1016/j.heliyon.2020.e04046.
- Kirdina-Chandler S.G. (2017) Radical Institutional Economics and Fakery for the 21st Century. *Journal of Institutional Studies*. Vol. 9. No. 4: 6–15. DOI: 10.17835/2076–6297.2017.9.4.006–015. (In Russ.)
- Kirdina-Chandler S.G. (2019) Western and non-Western Economic Institutional Models in Time and Geographical Space. *Terra Economicus*. Vol. 17. No. 1: 8–23. DOI: 10.23683/2073-6606-2019-17-1-8-23.
- Lebedeva I.V. (2013). Fake as a Sociocultural Phenomenon of a Modern Society. *Gumanitarnye issledovaniya* [Humanitarian Researches]. No. 2(46): 157–164. (In Russ.)
- Lundestad G. (2012). *The Rise and Decline of American "Empire": Power and its Limits in Comparative Perspective*. New York: Oxford Univ. Press.
- Salmi D., Frumin I.D. (2013). Excellence Initiatives to Establish World-Class Universities: Evaluation of Recent Experiences. *Voprosy obrazovaniya* [Educational Studies Moscow]. No. 1: 25–68. (In Russ.)
- Stepanova T.E., Manokhina N.V. (2019) The Fake Economy: The Truth is out There. *Kreativnaya ekonomika* [Journal of Creative Economy]. Vol. 13. No. 3: 433–448. DOI: 10.18334/ce.13.3.40101. (In Russ.)
- Taleb N. (2014) *Antifragile: Things that Gain from Disorder*. Moscow: KoLibri. (In Russ.)
- Valero A., Reenen J.V. (2019) The Economic Impact of Universities: Evidence from Across the Globe. *Economic of Education Review*. Vol. 68. Iss. C: 53–67. DOI: 10.1016/j.econedurev.2018.09.001.
- Zinoviev A.A. (2004) *On the Way to Super-Society*. St. Petersburg: Neva. (In Russ.)

SOCIOLOGICAL STUDIES

Monthly

2021 No. 9

CONTENTS

XXIII KHARCHEV READINGS

- 3 Theoretical Sociology Abroad and in Russia Today: A 'Round Table'
16 ADAMYANTS T.Z. Social Meanings as a Subject of Sociological Analysis

DEMOGRAPHY. MIGRATION

- 26 SUSHCHIY S.Ya. Russians in the South Caucasus: Factors of Dynamics in the Post-Soviet Period and Geodemographic Prospects
42 SAKEVICH V.I., DENISOV B.P., NIKITINA S.Yu. Pregnancy Terminations in Russia According to Official Statistics

SOCIOLOGY OF EDUCATION

- 54 IBRAGIMOVA Z.F., FRANTS M.V. Dynamic Analysis of Achievement and Opportunity Inequality in Russian School Education
64 ZINKINA Yu.V., SHULGIN S.G., NOVIKOV K.E., KOROTAYEV A.V. Universal Impact of Formal Education on Value Attitudes in Cross-Regional Perspective
71 OSIPOV A.M., MATVEEV V.V., MATVEEVA N.A., VORONTSOVA T.I. School Administrators: Agents and Victims of Paper Pressing

MILITARY SOCIOLOGY

- 80 MALEŠEVIĆ S. The End of Warfare? A Sociological Analysis of Recent Approaches to War Studies

HISTORY OF SOCIOLOGY

- 94 SHMERLINA I.A. A.S. Lappo-Danilevsky and Methodological Issues of Studying History of Russian Social Thought
105 KONONOV I.F. Nikolay Bukharin's Marxist Sociology Project

DISCUSSION. POLEMICS

- 117 BALATSKY E.V., EKIMOVA N.A. World-Class University Market: Rethinking Geopolitical and National Stereotypes

FACTS. COMMENTS. NOTES

- 132 SMIRNOV R.G. Institutional Factors of Social Mobility of Graduate Students
137 ALIYAROV E.K., ZHANGUZHEKOVA D.Zh., NUROV M.M. Occultism in Consciousness of the Kazakhstan City Dwellers

ACADEMIC EVENTS

- 143 OSINSKY I.I. Population of Siberia and the Far East: Problems of Saving and Development
- 147 WANG Qi, RUBAN L.S. The 18th Russian-Chinese Expert Forum
- 149 MARKIN V.V., KHARCHENKO K.V. Sociology of Regional Governance vs Sociology in Regional Governance

REFLECTING ON A NEW BOOK

- 151 KARASEV D. Yu. J. Arnason's Civilizational and Relational Analysis and Global Dimension of Soviet Modernity
- 157 **BOOK REVIEWS** (reviewed are books: *Jemielniak D. Thick Big Data: Doing Digital Social Sciences*. Oxford: Oxford University Press, 2020. **Reviewed by N.N. Meshcheryakova**; Vanke A.V., Polukhina E.V., Strelnikova A.V. *How to Collect Data in a Qualitative Field Research*. Moscow: VShE, 2020. **Reviewed by S. Yu. Demidenko**)

ANNIVERSARY

- 165 Antonov A.I. is 85!

167 JOURNALS' GUIDE IN MEMORIAM

- 173 [V.I. Chuprov](#)

- 174 [A.O. Lapshin](#)

1991: A LOOK AT EVENTS 30 YEARS LATER

- 175 MIRONOV B.N. The Formation of National Elites as a Factor in the Disintegration of the USSR
- 189 YAKOVENKO A.V. USSR as a Mirror of an Unrealized Humanistic Perspective

SOCIAL POLICIES. SOCIAL STRUCTURE

- 198 ANDREEV A.L., ANDREEV I.A. Russia-2021: Experiencing the Present and Looking into the Future
- 208 KUZNETSOV I.M. Foundations of Russians' Value Consolidation: Traditionalism and Renewal

ECONOMIC SOCIOLOGY

- 217 SHABANOVA M.A. Separate Waste Collection as Russians' Voluntary Practice: The Dynamics, Factors and Potential

XXIII KHARCHEV READINGS

- 231 Theoretical Sociology Abroad and in Russia Today: The Round Table

DEMOGRAPHY. MIGRATION

- 242 SUSHCHIY S. Ya. Russians in the South Caucasus: Factors of Dynamics in the Post-Soviet Period and Geodemographic Prospects
- 257 SAKEVICH V.I., DENISOV B.P., NIKITINA S. Yu. Pregnancy Terminations in Russia According to Official Statistics

MILITARY SOCIOLOGY

- 267 MALEŠEVIĆ S. The End of Warfare?

DISCUSSION. POLEMICS

- 278 BALATSKY E.V., EKIMOVA N.A. World-Class University Market: Rethinking Geopolitical and National Stereotypes

291 CONTENTS

NEW BOOKS IN SOCIAL SCIENCES (INSIDE FRONT COVER)
IN THE NEXT ISSUES (BACK COVER)